

СТРЕЛЬЦОВ



Александр
Иван



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

ОТ РЕДАКЦИИ	4
БРОНЗА И ЧЕРНИЛА	6

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОСХОЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ФАНТАЗЕР ИЗ ПЕРОВА	10
В ОЖИДАНИИ СТРЕЛЬЦОВА	34
СТИЛЯГА-ОЛИМПИЕЦ	54
«...ГЛАЗУНОВ, СТРЕЛЬЦОВ И ЕВТУШЕНКО»	96
«ОТ ВЫПИТОГО Я ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПЛОХО»	120
МЕЖДУ СТАДИОНОМ И ДОМОМ	128
СТАКАНЧИК СУХОГО	141
СКОРЫЙ СУД	168

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ФУТБОЛ БЕЗ СТРЕЛЬЦОВА

КАРТ-БЛАНШ ЛЕСОПОВАЛА	174
«ЗА ЗОНОЙ ЕСТЬ ПОЛЕ»	188
ИВАНОВ В ОТСУТСТВИЕ СТРЕЛЬЦОВА	209
«ВТУЗ БЫ Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКОНЧИЛ...»	228
ПУТЕШЕСТВИЕ В МЯЧКОВО	248
СТРЕЛЬЦОВ И ГЕНСЕКИ	260

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОСТАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВПЕРЕД	271
В СБОРНОЙ У ЯКУШИНА	312
ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ СССР	333
ЧТО ЖДАЛО НАС ВСЕХ ВПЕРЕДИ?	355
«АХИЛЛ»	370
В ЗАФУТБОЛЬЕ	385
«... ДО КЛАДБИЩА НЕ ДОЙДЕШЬ»	412
КОНЪЮНКТУРА ПАМЯТИ	419
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЭДУАРДА СТРЕЛЬЦОВА	422
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ	424
ФОТОГРАФИИ	425

Александр Нилин

Стрельцов. Человек без локтей

Жизнь замечательных людей – 799

«Нилин А. П. Стрельцов: Человек без локтей»: Молодая гвардия; М.; 2002
ISBN 5-235-02438-9

Вниманию читателей предлагается не вполне обычная биография. Книга А. П. Нилина написана в биографическо-мемуарном жанре: она наполнена личными воспоминаниями автора, его размышлениями не только о судьбе Эдуарда Стрельцова, но и о времени, в котором довелось жить великому футболисту, а также о времени, в котором тот оставил нас жить после своего ухода. Автор раскрывает малоизвестные страницы быта своего героя, его жизни как на свободе, так и в заключении, подробности взаимоотношений с матерью, женами, детьми, друзьями, случайными знакомыми. В книге использованы письма из архива семьи Стрельцова, мемуары, многочисленные свидетельства современников, а также редкие фотографии, многие из которых публикуются впервые.

Издательство и автор благодарят всех фотомастеров, работы которых вошли в книгу, а также родственников Э. А. Стрельцова за предоставленные изобразительные материалы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Выпуская в Свет книгу Александра Нилина об Эдуарде Стрельцове в серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия» преследовало две основных цели: во-первых, познакомить читателя с драматической жизнью великого футболиста, в судьбе которого с необыкновенной отчетливостью отразился весь драматизм нашей эпохи (скажем даже, нашей истории), а во-вторых, расширить жанровые рамки серии «ЖЗЛ», добавить в ее палитру новые краски. Предлагаемая вниманию читателя книга не вполне обычна. Прежде всего тем, что перед нами не привычное научно-биографическое исследование и даже не художественное повествование, но биографическо-мемуарный взгляд очевидца — и больше того, участника многих из описываемых им событий — на человека, чья жизнь и творчество (именно творчество, пускай и выраженное на футбольном газоне!) потрясли чувства без преувеличения миллионов наших соотечественников.

«Нерв затеянного мною повествования, — пишет автор, — в том, прежде всего, что сам я видел, слышал, почувствовал в момент разговора или ощутил, понял позднее, когда воспоминания не отпускали меня от себя». Конечно, это вносит в рассказ несомненный элемент субъективности. Но автор и не собирается скрывать главную особенность своей книги. Чувство личной причастности ко всему, что происходило со Стрельцовым и вокруг Стрельцова, дает ему возможность увидеть жизнь страны во всем ее многообразии, отнюдь не замкнутом границами футбольного поля. Автор рассуждает о времени, в котором довелось жить его великому современнику, а также о времени, в котором тот оставил нас жить после своего ухода. А потому героями повествования естественным образом становятся и сам автор, лично знавший Стрельцова, и читатель книги, видевший игру торпедовского центрфорварда с трибуны стадиона или хотя

бы на редких кадрах кинохроники.

Но при всей нескрываемой субъективности повествования книга А. П. Нилина строго документирована. Автор раскрывает малоизвестные страницы жизни своего героя, его быта — как на свободе, так и в заключении, куда Стрельцов попал силой обстоятельств, а может быть, и чьей-то злой волей, рассказывает о подробностях — иногда весьма нелицеприятных — его взаимоотношений с женами, матерью, детьми, друзьями, случайными знакомыми. В книге использованы письма из архива семьи Стрельцова — кстати говоря, впервые опубликованные автором, а также мемуары, многочисленные свидетельства современников. Особо следует сказать о редчайших фотографиях, представленных в книге, — многие из них читатель увидит впервые.

Страницы книги, посвященные описанию знаменитых стрельцовских матчей, забитым им голам (болельщики со стажем помнят их до сих пор), несомненно, удовлетворят самого взыскательного футбольного гурмана. И все же книга — не только и не просто о великом футболисте. Автор задается вопросом: в чем феномен Стрельцова, какое место сумел он занять в нашем сознании, в нашей жизни, в нашей истории? И почему так произошло? Ответ на эти вопросы — надеемся — и предстоит дать читателю по прочтении книги.

БРОНЗА И ЧЕРНИЛА

Уже в двухтысячном году, когда все изваяния ему высились, турниры, ему посвященные, регулярно проводились, имя стадиону присвоили, когда все связанное с его памятью и высочайшим признанием футбольных заслуг легализовалось, даже канонизировалось и — чего уж от своих скрывать — оказнилось, опошлилось аляповатой мемориальностью, меня вдруг несказанно растрогала одна картинка. Точнее, подпись под нею...

Вырезанная из иллюстрированного журнала фотография была припилена на стене возле зеркала в крошечном кабинетике за кулисами торпедовского стадиона. И под снимком, изображавшим смущенную улыбку на знаменитом лице, рукой дамы, хозяйки кабинета, сделана была чернильная подпись: СТРЕЛЬЦОВ ЭДИК...

Может быть, только для того, чтобы попытаться объяснить, что же меня растрогало в этом, я и засел за книгу, жанр которой готов посчитать развернутым комментарием к той рукописной подписи...

А эпиграфом к затеянной работе я беру слова, изреченные героем повествования в не слишком частой для него ситуации, когда он разговорился в автобусе, везущем куда-то футбольных ветеранов, — и нетерпеливый пассажир перебил Стрельцова некорректным вопросом: быть ли то, о чем он сейчас говорит?

Рассказчик рассердился: «Какая на х... быть? Это — правда!»

* * *

В какой, назовите, из мировых столиц стоят памятники сразу трем футболистам? (И раз уж процесс, как говаривал наш недавний руководитель, пошел, то вряд ли есть сомнения в том, что ряд изваяний людям этого цеха продолжится.) Несколько удивляет, правда, что памятники Игрокам возникли во времена, когда все равнодушное к футболу население страны посвятило себя критике положения дел в нем.

Замечу, кстати (или, пожалуй, некстати), что сегодня к бедам страны можно бы присоединить и пугающую малочисленность всенародно уважаемых людей — не истерически непомерно популярных от искусственной растиражированности и не кликушески боготворимых на выжженной зомбированием почве, а именно уважаемых — спокойно, без воплей и скандирования с приплясыванием — за нечто настоящее и вызывающих долгий интерес непрерывностью судьбы.

Памятнику, если он не в кладбищенской ограде, суждено бывает стать опорой для взгляда в городском ландшафте.

И закрадывается подозрение, что фигурами футболистов в рекламном — отчасти — градостроительстве отдается дань инерции (или это все же чья-то воля?) упрощать сегодняшнюю жизнь до глянцевых истин, когда в миг торжества всего общедоступного заведомо отдается предпочтение расхожей славе перед величием понятного лишь самостоятельно мыслящим...

Однако до такой ли уж степени Москва исключительно футбольный город, чтобы ставить памятники замечательным или несравненным Игрокам — и только?

А все дело, я думаю, в том, что ни в одной стране, кроме нашей, драматизм истории не выражался так отчетливо в судьбах футболистов. И не отливался столь естественно в бронзе их памятников.

В изображениях Николая Старостина, Яшина и Стрельцова — вне зависимости от ценности усилий ваятеля — пожалуй, вся наша история: с лагерями, со Сталиным, с выпивками, с высшими правительственными наградами, со всеобщим обожанием, не исключаяющим временами глухого равнодушия к жизни былых кумиров нации, с надрывными похоронами и посмертной, в отдельных случаях, славой, возвышающей нас разбуженностью памяти.

Из всех послуживших изваяниям натур Эдуард наиболее точно — что на работе скульптора сказалось, к сожалению, минимально — выразил особенности национального характера в его фольклорном преломлении.

Но памятник (в том числе и футболисту) — идеологический, прежде всего, заказ.

Невнятность для большинства населения послесоветской идеологии и опасное (как всякое незнание) отсутствие интереса молодой части общества к идеологии вчерашней затрудняют восприятие самого факта памятника Эдику — а их, между прочим, в Москве целых два (в то время как у Льва Яшина официально только один: второе изваяние — на стадионе «Динамо» — из-за налоговых, как мне говорили, страшилок именуется как-то иначе).

Для нас же — старожилов, способных все-таки кое-что и упомнить — памятник опальному на протяжении всей футбольной карьеры Стрельцову — прямой вызов ортодоксальности советских времен.

Тем не менее я бы не торопился считать установление памятников хэппи-эндом.

Пожалуй, явление нам Стрельцова в бронзе и разрешает обращение к жизни, прожитой им, с той строгостью, какая может разрушить миф о нем...

Обманчивая близость хэппи-энда, на мой взгляд, всполошила стрельцовских биографов: обретший официальный статус вечный штрафник возводился в тот же ранг, что и скучно канонизированный Яшин. Драматургия увлекательного и словно специально заданного противопоставления исчезала на глазах. Вот и спешат нарушить наступившее равновесие.

Я догадываюсь, что выгляжу эгоистически и ревниво страстным к тем, кто в новейших версиях судьбы Эдуарда Стрельцова задерживается с максимальной обстоятельностью не на его футболе, а на жестокости властей, настоявших на непомерности наказания.

Но не сложилось бы у потомков впечатления, что, не случись со Стрельцовым несчастья, слава его была бы гораздо меньшей. А это, согласитесь, обидно для футбола.

Тем более что документальных съемок стрельцовой игры почти не сохранилось: до смешного куцые кадры кинохроники. Ныне давно уже преуспевающий Лев Никитич Гуцин — главный в прошлом редактор «МК», «Огонька» и шеф разных других изданий — в бытность свою молодым и безденежным технологом, владельцем любительской камеры, мечтал запечатлеть все победы Эдуарда, но на узкую пленку средств не хватило, а когда разбогател, натура уже ушла. И самое поразительное в том, что никого другого в футбольной империи не нашлось, кто бы осуществил этот не ахти какой оригинальности замысел. Для описания же матчей с участием Эдика репортеры и сочинители в редчайших случаях находили верные слова, а в откликах специалистов больше жестов, мимики и восторженного мычания, сленг их на общепечатную речь бледно переводим, да и они грешат гиперболами: магия Стрельцова равно воздействовала и на знатоков, и на профанов. Остается судить по фотографиям — они весьма выразительны, но лучше передают мощь, чем тонкость футбольных ходов: о тонкости можно догадаться, наслушавшись рассказов. Правда, на снимках, при внимательном рассмотрении, она проступает вроде водяных знаков на крупных денежных купюрах.

Хотим мы того или нет, но памятник Стрельцову напротив стадиона, носящего ныне его имя, самим фактом своего существования вмешивается в распорядок действий, связанных с благородным — кто же спорит — замыслом реабилитации.

Надо решить для себя: кого мы реабилитируем на рубеже веков — Стрельцова или памятник ему?

Если же мы не хотим различать их, то попробуем ответить на другой вопрос: футбольному величию поставлен памятник или жертве строя? Политика вторгается в оба толкования — опять же: хотим мы того или нет...

Я лично предполагаю третье — и готов искать это третье толкование в подробностях жизнеописания Эдуарда.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВОСХОЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ФАНТАЗЕР ИЗ ПЕРОВА

1

Когда полуторагодовалый Эдик, разбежавшись, впервые ударил по резиновому мячику, соседи по двору принялись уверять Софью Фроловну, что ее сын непременно будет футболистом. Матерей часто обольщают уверениями в необыкновенной одаренности их детей в той или иной области. Но перовские соседи Стрельцовых не ошиблись — Эдуард никем другим быть не мог и остался футболистом, действительно уж, всему вопреки и всему назло.

2

Он выглядел на поле — в свое первое пришествие в футбол — так, как во дворах обычно выглядит парень постарше годами, а то и вовсе взрослый мужик, решивший вдруг поиграть с детворой. Образ этот, пожалуй, грубоват и, наверное, слишком уж приземлен — но расстановку тогдашних (да и позднейших, относящихся уже к футбольной истории) сил он, по-моему, передает поточнее иных эпитетов.

Неслыханная простота — с нескрываемо веселым намеком на безграничное своеволие в игре — и сделала Эдика всеобщим любимцем, едва шипы его бутс весомо вмялись в газон стадиона в Черкизове, тогда именуемого «Сталинцем», а теперь «Локомотивом», что, может быть, для сегодняшнего уха даже больше символизирует мощь, отраженную в облике юного Стрельцова.

Он получил от партнера мяч — и, разворачиваясь с ним, буквально продавил, смял вздумавших помешать ему защитников, а дальше ускорился в сторону ворот и вколотил свой первый гол за команду мастеров на глазах у московской публики, сразу заворуженной этим чудом простоты...

Когда он исчез, так же внезапно, как явился, современники принялись сочинять для потомков свои впечатления от стрельцовского начала, справедливо уверовав в неповторимость происшедшего при них явления. И многие твердили про какую-то

бразильскую технику — дальше воображение не простиралось — у подмосковного малого, заполученного в нежном возрасте столичным «Торпедо».

Гипербола сразу стала единственной оценкой и того, что делал Эдуард на поле, и того, что он позволял себе не делать. Я ловлю себя на неких крылатых преувеличениях в жизнеописании, в котором откровенно намереваюсь если не приземлить, то хотя бы заземлить легенду о Стрельцове. Но сам он — очень возможно и не желая того и не помышляя о том — слишком уж обжил легенду о себе. И сочиненное о нем едва ли существенно противоречит реальности. Он мне сказал однажды: «Ты же фантазируешь, когда пишешь? Вот и я на поле фантазировал». Так почему в жизни, к которой он приспособлен был явно меньше, чем к игре, он должен был быть реалистом?

Законы игры нарушались им ради законов, писанных для него одного, — он подчинялся по-настоящему только зову собственной игрецкой природы, с чем всем пришлось смириться.

Он принимал, например, мяч на своей половине поля — и весь стадион вставал со своих мест в предвкушении индивидуально ответственного решения...

Но в следующей игре, а нередко и в нескольких играх подряд он бывал никаким, нулевым, как говорят спортсмены. В матче он демонстративно не принимал участия, выглядел лишним человеком на поле. Трибуны негодовали, однако негодовали дежурно, суеверно. Трибуны знали, что единственным фантастически остроумным ходом даже на девяностой минуте игры он сможет совершить невозможное — и восемьдесят девять минут бездейственности простятся ему: от него ведь и не ждали правильной и полезной игры. Ждали чуда. И впечатление от случившегося надолго заряжало бесконечностью терпения.

Тренер и партнеры иногда чуть ли не насильно выталкивали его на поле — он сопротивлялся, рефлексировал, канючил, что не хочет и не может сейчас играть: «ноги тяжелые». Но вот после этого он иногда играл гениально от первой до последней минуты. Познакомившись ближе со Стрельцовым, я понял, что сравнение великого атлета с принцессой на горошине ничуть не притянута за уши. Эдуард сказал мне однажды — уже после завершения им карьеры футболиста, — что вообще не любил играть летом: «очень жарко».

Проникнуться его состоянием дано было людям, хорошо его знавшим, — и мне, похвастаясь, пришлось быть свидетелем того, как чудо подобного проникновения предвосхитило чудо, произошедшее через мгновение на поле.

Из Ленинграда транслировали полуфинал Кубка СССР. Шел год, кажется, шестьдесят шестой. Мы смотрели футбол у меня дома с

Борисом Батановым, только-только расставшимся с «Торпедо», и еще с одним приятелем. Под трансляцию пили водку. Когда Стрельцов принял мяч в центральном круге, Борис спокойно сказал: «Можно чокнуться». Мы с приятелем подняли рюмки с некоторым сомнением: Эдуард той поры реже, чем раньше, баловал слишком уж эффектными индивидуальными действиями, восхищал главным образом парадоксами распасовки. Но Борис безошибочно уловил настрой и решение недавнего партнера. Комментатор лишь после забитого гола произнес общие слова об уникальной значимости Эдуарда Стрельцова в отечественном футболе, а мы, благодаря батановскому чутью, успели не только чокнуться, но и выпить за Эдика.

3

...Стрельцов рассказывал, что в детской команде завода «Фрезер» он был самым маленьким по росту, но играл центрального нападающего почти в той же манере, что и потом за мастеров. За одно лето — сорок девятого года — он вырос сразу на тринадцать сантиметров — и совсем мальчишкой стал выступать за мужскую команду завода. Когда после игры взрослые футболисты собирались в кафе, Эдика кормили и совали три рубля в кулак — на мороженое. И поскорее отсылали: «Иди, нечего тебе взрослые разговоры слушать, иди гуляй». И он уходил от них — без всяких обид. И — без сожаления. Вне футбольного поля у него ничего с ними общего не было.

Он ехал из Перова в Москву — на футбол. На стадионе «Динамо» часа по четыре отстаивал в очереди за билетом — школьным, самым дешевым.

«По-настоящему, — говорил Стрельцов, — моей командой был, конечно, „Спартак“. Но из-за Федотова и Боброва — они мне все-таки нравились больше всех — я болел и за ЦДКА.

Московское «Динамо» и ЦДКА побеждали тогда чаще, чем «Спартак». Но в спартаковской игре была раскрепощенность. Никто не жадничал — все играли в пас. Я чувствовал, что в «Спартаке» ценят игрока понимающего: когда придержать мяч, когда отдать. С мячом они охотно, свободно расставались. И никто из спартаковцев, по-моему, не воображал себя героем, когда мяч забивал».

«Мне хотелось, — признавался Стрельцов, — играть в „Спартаке“ и тогда, когда я уже вырос и в „Торпедо“ считался стоящим игроком».

Софья Фроловна в разговорах с журналистами любила рассказывать, в какой бедности они с Эдиком жили: сын прибегал,

наигравшись во дворе в футбол, а дома куска хлеба не находилось... Маму Эдуарда можно понять. Она в нестарые еще годы перенесла инфаркт, болела астмой, получила инвалидность, но работала — сначала в детском саду, потом на «Фрезере». И Эдик после семилетки не только играл в футбол за команду завода, но и был слесарем-лекальщиком.

Разговоров о бедном детстве он избегал. Может быть, оттого, что, когда мы познакомились, жил он по советским меркам хорошо — и не в его характере было вспоминать о плохом. На банкете в Мячково по случаю выигрыша чемпионата страны в шестьдесят пятом году он в своем тосте весело говорил о свалившемся на него несчастье, искорежившем всю жизнь, как о «случившемся с ним случае». А может быть, молчал про давнишнюю бедность из-за обостренного с годами чувства справедливости. Он-то знал, что провел детство без отца благодаря женской гордости матери.

В сорок третьем году отец приезжал к ним на побывку с фронта. Его сопровождал ординарец. С четырьмя классами образования, столяр с «Фрезера» Стрельцов-старший уходил на войну рядовым — и стал офицером разведки. «Отец у тебя везучий, — объяснял Эдику ординарец, — столько языков на себе притащил, а на самом ни одной царапины...» Эдик в общем-то знал о хладнокровии, которое отец проявлял в экстремальных ситуациях. До войны у отца с матерью случилась как-то буйная ссора. И Софья Фроловна бросила в мужа горячий, схваченный с электроплитки кофейник. А тот подставил свою огромную ладонь — и кофейник врезался в стену. А потом закурил папиросу и спросил у матери: «Успокоилась?»

Ординарец же сообщил зачем-то Софье Фроловне, что у отца на фронте есть женщина — и мать написала отцу, чтобы домой не возвращался. Он и не вернулся. Жил в Киеве с новой семьей.

Эдуард встретился с ним за всю послевоенную жизнь лишь однажды — уже семнадцатилетним игроком команды мастеров — в Ильинке, когда хоронили деда, работавшего на «Фрезере» фрезеровщиком. И у отца, и у деда, считал Эдик, руки были золотые — отец всю мебель дома сделал сам.

И в Ильинке возник конфликт. Кто-то полез на Стрельцова-старшего с топором. Сын, здоровый парень, испугался — псих этот топором мог убить папу. «Что ты, сынок, — успокоил его отец, — мне его топор...» И, как тогда, закурил.

Софья Фроловна считала, что Эдик — «вылитая я». Но Стрельцову хотелось быть похожим на отца. «Я и похож, — говорил он мне, — у него вот только волосы сохранились...» Эдик полысел, вернувшись из заключения.

«Между нами, мать свою я не уважаю», — сказал он в том разговоре неожиданно для меня. Мать в этот момент жарила нам на

кухне котлеты. Я понял так, что он не смог простить ей принципиальности, проявленной по отношению к отцу. Конечно, в послевоенном Перове отца ему очень не хватало. Первая жена Стрельцова — Алла — вообще считала причиной всех бед своего непутевого супруга безотцовщину...

...Футбол, который видел подростком Эдик на «Динамо», по его словам, «в меня прямо впитывался, отдельные моменты тех матчей у меня всю жизнь в памяти».

У них во дворе в Перове был ледник, лед засыпался опилками — и когда лед увозили, освобождалась площадка для игры.

С ощущения этих опилок на подошвах и начиналось, возможно, своеобразие его футбола. Но Стрельцова Стрельцовым сделал еще и талант внимательного и благодарного зрителя послевоенного футбола: матчи, увиденные им на «Динамо», привили ему вкус к элитарному толкованию игры.

4

Кто бы поверил, но я помню в некоторых подробностях свое состояние и суетные мечтания в тот мартовский день, когда я узнал о существовании Стрельцова.

Тринадцатилетний школьник, я сидел, вернувшись с уроков, на кухне в квартире на углу Хорошевского шоссе и Беговой улицы, ведущей к стадиону «Динамо», — что совсем немаловажным было в моем самоощущении, — и читал газету «Советский спорт», которую родители после долгих уговоров выписали мне с нескрываемой горечью: узость моих интересов вкупе с невысокой успеваемостью в учебе резонно вызывали у них большие сомнения в будущем сына. Газета действовала на меня терапевтически — углубляясь в ее чтение, я забывал про все неприятности. Непонятно, правда, как уживалось отсутствие личных достижений с происходящим в большом спорте...

Помню, однако, свое смятение перед открывшейся судьбой еще секунду назад неизвестного мне человека, чья близкая молодость вдруг вдохновляюще подействовала на меня. Я помню полуденное солнце на хрусте сминаемого нетерпением газетного листа. Весной я тогда остро испытывал (и до сих пор испытываю) непонятную тоску. Сейчас — зная все дальнейшее — мне, наверное, легче объяснить происхождение этой тоски нежеланием смириться со своим несовершенством и ожиданием воздействия извне, которое ощущал я несомненно, вчитываясь в никак не окрашенные эмоционально строчки, посвященные предстоящему футбольному сезону.

Я допускаю, что, сложись моя жизнь по-иному, Эдуард бы вошел

в нее в иных объемах — почему-то мне кажется, что для внутреннего родства с ним неблагополучия во встречной судьбе должно быть больше, чем благополучия, или, может быть, ровно столько же — для остроты чувства равновесия на грани срыва в никуда...

В газетной заметке ничего не предрекалось — сообщался возраст торпедовского новобранца: шестнадцать лет — и всё.

Но ведь различной мною в строке информации хватило и впоследствии она подтвердилась — и я уверен, что никому из тех, кто застал Стрельцова, не покажется удивительным мое излишне, может быть, личное восприятие всего, что случилось с ним в футболе.

5

Думаю, что для душевного здоровья Эдика — каким-то чудом сбереженного им всему вопреки, до преждевременного смертного часа — гораздо лучше было бы попозже узнать не славу даже, а тяжесть лидерства, особенно трудного для него по его человеческому складу и вместе с тем неизбежного. Из теперешнего далека не фокус догадаться, что предвестником выпавших на долю Стрельцова бед стала ответственная жизнь уже в семнадцать лет у всех на виду, но без сколько-нибудь надежных опор в чем-либо или в ком-либо.

Перегрузки премьерства и лидерства для юного существа, не созданного ни верховодить, ни подавлять чью-то волю, склонного, напротив, поддаваться любому влиянию, быть ведомым, управляемым и безотказным, необыкновенно осложнили жизнь Стрельцова с первых шагов, которые у него несравненно удачнее получались на траве футбольного поля, чем на почве внефутбольного быта. Общительный и безудержно компанейский парень, не признающий дистанций между людьми и принятой в любом обществе субординации, он был — так уж получилось — изначально обречен на невидимое другим и едва ли осознанное тогда им самим одиночество.

Одиночество это — после всего пережитого гордо, горько и молчаливо, без жалоб и обид осознанное, но по-прежнему незаметное для окружающих — он пронес через всю оставшуюся от ослепительной и жестокой к нему юности жизнь...

6

Изобразив Эдуарда в картине футбола середины пятидесятых взрослым мужиком среди детворы, я отвечаю за правдоподобие предложенного образа, хотя и испытываю неловкость перед огромными в своем значении для нашего футбола заслугах и классе

мастерами, которыми восхищаюсь в некотором смысле никак не меньше, чем Стрельцовым. Но не могу иначе как бесцеремонным дворовым сравнением передать свое впечатление от стрельцовского начала и стрельцовского же продолжения.

В поисках подтверждения обращаюсь к звезде сороковых и пятидесятых годов — Сергею Сальникову.

Москвича Сальникова, бравшего мальчишкой первые уроки футбола в спартаковской Тарасовке (ходили, между прочим, упорные слухи, что Сергей — внебрачный сын Николая Петровича Старостина), после войны немедленно забрали из «Зенита» в «Спартак».

Но проявлялся он там медленнее, чем ожидали от игрока, зарекомендовавшего себя мастером в раннем возрасте. В ленинградском «Зените» — победителе Кубка-44 — знатоки выделяли левого крайнего, опаснейшим манером подающего угловые, умеющего забить и не уступающего в технике никому из признанных знаменитостей.

Стать лидером спартаковцев ему, очевидно, мешала ревность к его таланту ветеранов и нерешительность тренеров, боявшихся конфликтов с этими ветеранами. Но вот сложилась подходящая для Сергея компания (Николай Дементьев, Симонян, Нетто...). Сальникову воздали должное — и вдруг органы госбезопасности потребовали от него перехода в «Динамо», угрожая, по слухам, репрессировать родственников. Сам Сальников не видел себя в «Динамо», Якушин его тоже не жаловал, но когда сошел Сергей Соловьев и Карцев стал уже не тот, каким был, Бескову и Трофимову пришлось согласиться с партнером из чуждого им по стилю клуба. Подчинив себе по-спартаковски свободолюбивого Сальникова, органы все равно ему не доверяли — иначе чем же объяснить отсутствие его в олимпийской сборной? И он, и Никита Симонян наверняка бы усилили потерпевшую фиаско в Хельсинки команду. Но в расцвете сил им выступить не дали — пришлось ждать следующей Олимпиады в Мельбурне, где они, уже в зрелые годы, стали все же чемпионами.

Когда кончился срок ссылки Старостинных и они вернулись в футбол, старший брат потребовал, чтобы и Сальникова возвратили в «Спартак». Обратный переход не обошелся без скандала. Руководители «Динамо» с помощью своих лубянских шефов (для которых времена существенно не изменились) мстили футболисту — с него сняли звание заслуженного мастера. Но никогда он так здорово не играл, как по возвращении в родные пенаты. Место левого края к тому моменту занял молодой олимпиец Анатолий Ильин, но Сергею Сергеевичу и в роли инсайда никто не мог помешать быть в своем амплуа первейшего «технаря» отечественного футбола. Времена стояли либеральные в сравнении со сталинскими — и

телекомментаторы не боялись называть игрока, вызвавшего неудовольствие руководства тайной и явной полицией, сильнейшим в стране. Я не был болельщиком ни «Динамо», ни «Спартак», но помню, что всячески желал Сальникову, лишившемуся редко присваемого тогда звания, полноты официального признания.

Тем не менее в том же сезоне пятьдесят пятого года, едва достигший восемнадцатилетия — его день рождения двадцать первого июля — Эдуард Стрельцов эдаким гигантским шагом переступил через привычные представления об искусстве и классе форварда. И стрельцовская игра — куда вроде бы менее стабильная, чем у Сальникова и других выдающихся спартаковцев, задававших тон, — заслонила всех, увлекла, как приключение.

Сказывалось, разумеется, то обстоятельство, что Эдик играл центра нападения.

В послевоенном футболе создавался культ центрфорвардов — игрок с девятым номером на спине обязательно становился и героем кинофильмов про футбол, один из которых так и назывался — «Центр нападения». Фильмы делались совсем не на документальной основе, но публика все равно готова была видеть в «девятке» черты кого-либо из признанных премьеров атаки.

В реальном футболе выбор центрфорвардов был тогда на все вкусы. И те, кто конструировал игру, — Григорий Федотов в ЦДКА (стелющийся, кошачий бег, пусть уже не столь стремительный, как до войны, но способный придать коварный разворот самому простенькому маневру, удар с пол-оборота по высоко летящему мячу и поэтому всегда неожиданный), Константин Бесков в «Динамо» (после войны он играл поэффективнее Федотова, много маневрировал по фронту атаки, увлекая за собой опекающего защитника, тем самым освобождая место для индивидуалиста-инсайда Карцева, иногда игравшего и в центре атаки), Борис Пайчадзе в тбилисском «Динамо» (он значил для своей команды то же самое, что значили для ее московских соперников Федотов и Бесков, но зритель-эстет, вне зависимости от клубных пристрастий, обожал великого грузина за артистичность его игрового поведения и факсимильность исполнения), Никита Симонян (в отличие от вышеназванных он начинал в послевоенном футболе, и с его приходом в «Спартак» связано возрождение самого любимого народом клуба; как игрок новых времен, он был универсальнее предшественников, сложнее укладывался в принятые определения амплуа, отличался бомбардирскими качествами). И те, кто преуспевал в таранной игре, более понятной неискушенному зрителю, однако ценимой и знатоками (ведь нередко ситуации, когда только атлетического склада игроку удастся быть по-настоящему убедительным в непосредственной близости к воротам противника) —

Сергей Соловьев все в том же московском «Динамо» (быстрее всех бегущий «лось») и Александр Пономарев в «Торпедо» (невысокий крепыш, вероятно, в чисто атлетических статьях уступавший Соловьеву, — как в технике и кругозоре он уступал Федотову, Бескову, Пайчадзе — Пономарев чаще всего превосходил их по бойцовским качествам и, случалось, опережал их в списке лучших). И, пожалуй, если бы не Стрельцов с Ивановым, прямолинейный хозяин на поле «Пономарь» так бы и остался навсегда эталоном торпедовского форварда.

Журналисты, не выдавшие в деле ни Боброва, ни Стрельцова, но тяготеющие к расстановке исторических оценок, видят преемником Всеволода именно Эдуарда. Поспорить с этим при желании можно, но незачем. Мысль о «Стрельце» как о преемнике «Бобра» возникла среди футбольной публики сразу же. А кроме того, Бобров со Стрельцовым всегда испытывали приязнь друг к другу, обнаруживая сходство черт в характерах.

Всеволод Бобров закончил карьеру футболиста как раз в том сезоне, по завершении которого торпедовский тренер Маслов, представляя шестнадцатилетнего парня из Перова, одетого в рабочий ватник, предрек — по существующей легенде, — что перед старшими товарищами стоит сейчас с деревянным чемоданом великий в самом недалеком будущем игрок.

Для любителей многозначительных совпадений напомним, что официальный дебют в столице и Боброва, и Стрельцова состоялся на стадионе «Сталинец» в Черкизове в матчах против московского «Локомотива». Ну а о том, что оба вызывали любовное негодование трибун привычкой постоять на поле с безучастным видом, все, не сомневаюсь, знают и без меня.

Бобров формально играл левого инсайда. И только в сборной страны выходил под девятым номером. Но и в амплу «десятки» он был наделен тренером ЦДКА Аркадьевым всеми полномочиями центрфорварда. Аркадьев приветствовал атакующий эгоцентризм Боброва.

Хитрость и тайна бобровского дриблинга — в его видимой, но одновременно спутывающей все карты обороняющихся элементарности. Физические данные не противопоставляли ему вступить при желании в силовую борьбу. Но он не на таран шел, он шел — в прорыв. По только ему в тот момент различной тропе. Он не сокрушал преграды. Он их миновал. Он мог обыграть на «пятачке» нескольких обороняющихся, но на такое способны бывали и другие классные форварды всех времен (правда, обычно это лучше удается нападающим с меньшими габаритами). Особенностью же Боброва было умение проходить защиту на движении. Он не тормозил, не задерживался. Двигался прямо на защитника, встык вроде бы, но

неуловимое движение корпусом — и защитник теряет ориентацию, а Бобров уже выдвинулся на ударную позицию. А уж позицию для удара он чувствовал, как никто.

Не надо забывать, что футбольная жизнь «Бобра» сложилась так, что в полном здравии ему суждено было провести целиком лишь сезон сорок пятого года. Все последующие сезоны он провел, без преувеличения, инвалидом. Однако этот гениальный инвалид сумел великолепно распорядиться своими — ограниченными травмами — возможностями наилучшим образом. Он сконцентрировал себя на игровой мысли предельно — и раздражавшие публику выключения из игры, иногда и продолжительные, обязательно предшествовали сверхэнергетическим в нее включениям, когда в игровой момент — подобно тому, как в секунды сновидения вмещается иногда длиннейшая история — упаковывалось всё бобровское знание о футболе, всё его уникальное умение.

Стрельцова очень уж серьезные травмы до тридцати с лишним лет миновали. Олег Маркович Белаковский — прославленный спортивный врач и близкий друг Боброва еще по Сестрорецку, где жили они с Всеволодом в детстве, — сказал, что отсутствие у Эдика чувствительных повреждений означает доброкачественную работу на тренировках. Впрочем, когда я выразил сомнение в излишнем трудолюбии Стрельцова, он согласился, добавив, что природа поработала на торпедовца с большим запасом: функциональная готовность у него была высокой даже после нарушений режима (это на молодом организме никак не сказывалось), а уберечься от травм помогали и очень могучий корпус, которым он прикрывал доступ защитникам к мячу, и длинные мышцы бедер... Но защитники не расставались с надеждой сломать Стрельцова. И первая жена Эдика через многие годы призналась в интимной подробности: в супружеской постели ей приходилось прикасаться к мужу с осторожностью, после игры у него болело все тело.

Свои частые паузы в игре Стрельцов чаще всего объяснял плоскостопием — от излишнего движения деревенели ноги. И он с юности сохранял себя для максимального выражения в тех эпизодах, где его влияние на игру могло стать решающим. Кроме того, в игровых паузах — иногда он в этом признавался, а иногда отмахивался и смеялся, когда такие предположения от нас слышал, — Эдик словно фотографировал в игрецком мозгу расстановку сил на «поляне», ее динамику. Откуда и происходило прославившее Стрельцова в более поздние времена видение поля.

Стрельцов крайне редко (а в трезвом виде вообще никогда) не разглагольствовал подолгу, тем более о своей игре. Его жанр в беседах — застольных и прочих — смешная реплика или иногда короткая история, тоже обычно веселая. Я никогда и не пытался

расколоть Эдика на длинный рассказ, но что-то в одном из наших разговоров о футболе его задело — и он высказался достаточно пространно, а я по горячим следам, не доверяясь памяти, записал этот монолог:

«Вот сколько играл я в футбол, столько и приходилось мне слышать упреки — за то, что стою.

Причем говорили бы, кто ничего не понимает про игру — ладно: чего им возражать? Но говорят же и люди опытные, которых ценю, — туда же. Мол, если бы он еще не стоял — остальное их, слава Богу, устраивает...

Но я же мог отстоять и сорок минут, и сорок пять, но вот за каких-нибудь пять или даже за одну минуту вступления, включения в игру мог сделать то, чего от меня требовали и ждали.

Я ведь, случалось, или в самом начале игры, или в самом ее конце — неважно — забивал гол, становившийся решающим.

Вот, пожалуйста, вспомни: в пятьдесят восьмом году, когда играли против Румынии, я почти все время оставался в стороне от главных событий — ни в одной комбинации не участвовал. И румынские защитники про меня забыли. Но когда уже играть всего ничего оставалось — а мы проигрывали 0:1 — я вдруг увидел возможность с левого инсайда догнать уходящий за лицевую мяч. Догнал — и под очень острым углом пробил мимо вратаря, который мне навстречу выскочил. Мяч о дальнюю штангу ударился — и отскочил прямо в сетку.

Я часто заставлял защитников врасплох — значит, бывал эффект неожиданности в том, что я на поле чудил. А все равно потом про меня говорили: лень, поза...

Возможно... Но из такой вот лени или позы я иногда выскакивал, как из засады.

Потом, я же тебе говорил: не все знали — а мне зачем признаваться, пока играл? — у меня плоскостопие. После тяжелой игры я еле плелся — шаг, бывало, лишний сделать больно. И кроссы в предсезонный период старался не бегать.

Я обычно мог хорошо отыграть игру лишь в своем, для себя найденном режиме — и к нему себя готовил, правда, иногда не то чтобы сачковал, но, дело прошлое, подходил несерьезно. Хотя неготовый лучшим образом в отдельных случаях играл даже лучше, чем перетренированный.

В игре я искал момент — то есть находил в большинстве случаев такие ситуации, в которых мое непременно участие только и могло привести к голу.

За мячом, с которым не видел возможности что-либо конкретное сделать, я и не бежал, как бы там трибуны нервно на это ни реагировали.

Но за тем мячом, с которым знал, что сделаю для необходимого в игре поворота, для внезапного хода, я бежал, уж бедных своих ног не жалея, и к такому мячу редко опаздывал. Мои партнеры на меня реже обижались, чем сидящие на трибунах специалисты и зрители. Правда, и партнеры не всегда меня понимали. Но я на них в обиде не бывал. Иногда только сердился. Но про себя.

Я стоял — берег силы. Но берег-то для момента, в который мог сам забыть или отдать такой пас партнеру, чтобы он больше не жалел о времени, потраченном на ожидание от меня мяча.

Все, что возможно, что казалось мне возможным сделать на поле, я уж пытался, скажу тебе, сделать на совесть, что бы там ни говорили: стоит, мол, он и прочее...»

С другой стороны, некоторая вялость — в молодости иногда и душевная — коренилась в самом складе Эдуарда. Бобров как-то сказал мне, что ненавидел себя, когда не мог сделать задуманного. И я понял, что это касается не только игры — мы разговаривали в красногорском госпитале незадолго до кончины Всеволода Михайловича. От Эдуарда Анатольевича, с которым я общался несравнимо чаще и продолжительнее, чем с Бобровым, я ничего подобного и не ожидал услышать. Недовольство собой или другими из него выплескивалось в редчайших случаях. Но уж с такой непосредственностью! Однажды в молодые годы он самовольно ушел с поля во время матча, а изумленному и возмущенному Маслову буркнул: «Вы лучше всех остальных научите играть!» А вообще-то к промахам партнеров был поразительно для премьеры терпелив. Наоборот, успокаивал — помню, как из-за удара Геннадия Шалимова мимо ворот из выгоднейшей позиции в Киеве торпедовцы лишились ничьей с лидером, необходимой им для турнирного куража в сезоне шестьдесят восьмого, и неудачник в слезах твердил, что бросит теперь футбол, а Эдуард сердито, что лучше всяких утешений, сказал ему: «Перестань! Что за дела? Со мной, что ли, такого не бывало? Какие я мячи не забивал — ты бы посмотрел! Из таких положений — лучше не бывает».

Стрельцов как спортсмен проигрывает в сравнении Боброву. Но уступая «Бобру» в спортивном величии, Эдик в чисто футбольных возможностях, в том проникновении в игровую суть, которая отличала осень его карьеры, был, по моему разумению, выше.

Мощь — слишком общее слово для выражения стрельцовой индивидуальности в сезонах первого его пришествия. Но на этой мощи, скорее всего отвлекающей от иных несомненных достоинств, без которых нет великого футболиста, задерживается буквально каждый из современников, кто берется характеризовать преимущества Стрельцова перед всеми в самой ранней стадии признания.

Борис Батанов, склонный видеть в игре, как правило, тонкости и

нюансы — подробности, недоступные взгляду неспециалиста, — когда его спросили: уверен ли он, что Эдик — фигура, превосходящая природным даром Пеле, привел пример, лишний раз утверждающий гулливерский статус одноклубника. Борис вспомнил, как обманутый маневром Стрельцова неуступчивый киевский защитник Виталий Голубев, некогда сыгравший и за сборную страны, изловчился все-таки и отчаянным рывком вцепился в майку обошедшего его и набравшего паровозную скорость Эдика. И тот протащил его за собой, не снижая темпа... Голубев сначала волочился, скользил по траве, а затем растянулся в горизонтальном полете. Стрельцов же дошел до штрафной площадки — и пробил. Мяч врзался в штангу, но выскочивший из-под земли Валентин Иванов довел прорыв своего партнера до гола... Батанову вторит Белаковский. Он считает, что Эдику — такому, каким он был накануне мирового чемпионата пятьдесят восьмого года, — Пеле заметно уступал и в скорости, и в физических возможностях. И в своеобразии игровых ходов.

...Боброва и Стрельцова выделяют еще и как два наиболее былинных характера в футбольной истории, лстящих расхожему народному чувству.

И все равно я бы их полностью не отождествлял.

При всей ощутимой трибунами вольнице Боброва и на поле, и вне поля, при нескрываемой разухабистости была в нем и офицерская дисциплина — военная солидность, с примесью, конечно, гусарства по-советски, не поощряемого напрямую ПУРом, но допустимого в народившемся типе официального спортсмена, в демократическом противовесе возомнившим о себе — и за то наказуемым — братьям Старостиним, слишком уж кичившимся породистым егерским аристократизмом. Нет, порода и в Боброве чувствовалась, но вызова режиму никто из вышестоящих не хотел в ней видеть. Предполагалось, что прежде, чем облачиться в красную фуфайку армейского клуба, он стянул через голову военную гимнастерку. А вот в стрельцовой развалке за версту виделась разболтанность, расхлябанность — и бдительным начальникам так и чудилось, что в футболку сборной СССР переодевается стилига, сбросивший длиннополый стилиажный пиджак и узкие брюки и переступивший в бутсы бомбардира из модных мокасин. Впечатления парня, прибывшего на торпедовскую базу в поношенном ватнике, Эдик, превратившийся в знаменитого футболиста, не производил. Вальяжность его на поле смотрелась повадкой барина в халате. Правда, когда он хотел играть, он сбрасывал эту вальяжность, словно халат боксера, вступая в матч яростным тяжеловесом...

В Боброве — и на поле, и вне поля — ценили еще и жожака, которого в Эдике, особенно за пределами спортивной жизни, никто (даже из самых рьяных почитателей) никогда не видел.

Знаменитый хоккеист, пришедший на смену Боброву, Константин Локтев говорил, что «Михалыч» создавал на льду образ рубахи-парня. Говорил не в упрек — в большом спортсмене много от артиста, и продюсеры профессионального бокса, хоккея, баскетбола и футбола при масштабной «раскрутке» звезд пользуются этим великолепно. Но рубахой-парнем Бобров несомненно был и на самом деле. Он умел отдать последнее, как, впрочем, и Стрельцов — оба (уж Стрельцов-то точно) могли бы и по миру пойти, если бы не жены. На пятидесятилетии Всеволода Михайловича уже после торжественного ужина выяснилось, что все подарки, сложенные в сених кафе, украли. Ничуть не огорченный юбиляр хохотал: «А-то бы и нечего потом было вспомнить!»

Бобров и в застолье любил верховодить, пил красиво и тосты умел говорить. Неприятности из-за очевидной нетрезвости и с ним изредка случались, но Стрельцов в умении искать приключений на свою задницу в пьяном виде превосходил и Боброва, и всех прочих. «Из-за водки и весь скандал, — говорила его мама Софья Фроловна, — я его Христом-Богом просила, Эдик...» О чем нас матери просят, многим, к сожалению, известно... Не в защиту, а лишь для тех, кто близко не знал Стрельцова, скажу, что был он из тех стеснительных натур, кого водка раскрепощает в быту, кому помогает высказать ближним (и дальним) то расположение, на какое в трезвом виде в полной мере человек не способен. Для таких людей и муки совести с похмелья всего острее — совести они не пропивают. Таланта, как показывает судьба Эдика, тоже. Он извинял себе пренебрежение спортивным режимом, лучше других, наверное, представляя, каким талантом одарен. Кто-нибудь, не сомневаюсь, возразит мне, напомнив о нередких случаях, когда пьющий человек обманывался, излишне положась на природный дар. Стрельцов пострадал, но не дар свой переоценив, а только добрые к себе чувства...

В быту водка помогала Эдику из свойственной ему склонности к молчаливой прострации резко перейти к активности общежитейского состояния, в иных обстоятельствах к активности, резко противоречащей его мягкой натуре.

Футбол был самой естественной средой обитания Эдуарда Стрельцова, и в ней переход от душевной статики к предельной активности истинного самовыражения ассоциировался с морским приливом после отлива.

...Кроме спартаковца Никиты Симоняна, в футболе середины пятидесятых выделялись и другие центрфорварды, от которых ждали продолжения традиции — выдвигать во главу атаки игроков по-разному замечательных. Из Баку московские динамовцы призывали Аликпера Мамедова и Юрия Кузнецова. О Мамедове вспомнили, когда

праздновали сорокалетие победы в первом Кубке Европы — он выступал в предварительных играх за сборную. Памятливые болельщики наверняка не забыли и четырех голов, забитых им в игре за «Динамо» «Милану». А вот Юрий Кузнецов, похоже, остается в тени — я видел его на открытии памятника Яшину на динамовском стадионе: Кузнецов живет в ведомственном доме напротив входа на Малую арену и в центр внимания, как и большинство ветеранов, не попал.

Из-за тяжелой травмы карьера Кузнецова оказалась совсем недолгой. Но чтобы представить себе меру уважения коллег к нему, стоит вспомнить: в составе чемпионов страны, московских динамовцев, Юрий сыграл за сезон девять, кажется, игр. Но футболисты и тренеры настояли, чтобы вклад центрфорварда в победу был непременно отмечен золотой наградой.

За сборную страны Юрий провел в сезоне пятьдесят пятого года пять игр — и забил шесть голов. В историческом сражении со сборной ФРГ он на семидесятой минуте заменил Исаева из «Спартака». В сборную его пригласили раньше, чем Иванова со Стрельцовым, — и он составлял известную конкуренцию и тому, и другому. Вместо травмированного Валентина Иванова играл правого инсайда при Стрельцове в центре — и получалось неплохо. В списке тридцати трех лучших Юрий Кузнецов — все в том же пятьдесят пятом году — стоял третьим: после Стрельцова и Симоняна. Но... Недавно в футбольном еженедельнике проводился конкурс для знатоков — и одной из задач стало угадать, кто изображен на фотографии вместе со Стрельцовым уже последних лет его жизни. Мне позвонила вдова Аркадия Галинского с просьбой — подсказать их внуку Саше: кто стоит слева от Эдуарда? К своему стыду — снимок этот опубликован был и в книге стрельцовских мемуаров — я узнал лишь Геннадия Гусарова: он стоял справа, а соседа слева, чье лицо показалось мне мучительно знакомым, никак не мог вспомнить, чем подорвал свой авторитет в глазах родни превосходного журналиста и человека, которому мы обязаны многими футбольными знаниями. Но в буклете, посвященном Валентину Иванову, фотография-ребус дана была в более широком формате, чтобы вместить сюда и самого Валентина Козьмича, и сопровождается подписью: я не зря стыдился, поскольку не узнал постаревшего Юрия Кузнецова. В том же буклете на групповом портрете сборной СССР образца пятьдесят пятого года в Индии они все стоят рядом — Иванов в распахнутой рубашке с выложенным поверх пиджака воротничком, Стрельцов со щенячьей застенчивой улыбкой и между ними заматеревший, с волнисто уложенной прической, похожий на героя иностранного кинофильма о спорте, форвард из «Динамо», не задержавшийся на пути восходивших торпедовцев.

Армейский клуб имел виды и на Иванова, и на Стрельцова — он взял их и Валентина Бубукина из «Локомотива» на матчи в ГДР.

Восемнадцатилетний Стрельцов вспомнил, что оставил в гостинице плавки, когда уже приехали на стадион. Сказал об этом кому-то, кто был рядом, а Григорий Иванович Федотов, работавший вторым тренером в ЦСКА, услышал. И перед выходом на разминку протягивает ему плавки: «Держи!» Он за ними в гостиницу съездил. Стрельцов рассказывал, что не знал куда деться от стыда: кумир его детства — и вдруг какие-то плавки: «Григорий Иванович! Да зачем же вы, я бы...» А Федотов: «Знаешь, я тоже играл, но как ты играешь, Эдик...»

Эдик забил тогда четыре мяча, но неловкость перед Федотовым оставалась у него до конца жизни Григория Ивановича, да и своей жизни тоже.

По типу характера Стрельцов, наверное, ближе был к Федотову, чем к Боброву. И в годы после возвращения в футбол играл ближе к федотовской послевоенной манере.

Я бы сказал, что для своего поколения Эдик стал и Бобровым, и Федотовым, если бы не считал, что судьба его — быть Стрельцовым. Ни Есениным футбола, ни Шаляпиным, ни Высоцким, а Стрельцовым — и только...

7

Дело не в том даже, что послевоенный футбол снимали на кинолентку мало. Хроника черно-белого копошения в тесноте борющихся за мяч неуклюжих из-за длины трусов тел дает выход ностальгическим чувствам постаревших современников отшумевшего футбола, но не только не задает нетерпеливого нынешнего ценителя, а и не дает оснований историкам-аналитикам судить о классе мастеров сороковых, превращает наши свидетельства в сказки старого болельщика.

Зато прерывистая кинохроника донесла до нас в своем выцветшем моргании лица зрителей — и через выражение этих лиц к нам через полвека, через толщу разнообразных впечатлений доходит свет того футбола.

Намного позже вошедшее в обиход понятие «звезда» без преувеличения относимо ко многим футболистам из тогдашних суперклубов — их имена остаются в памяти даже в беспамятные времена.

Но никогда ничего не услышишь о главном феномене футбола нашего вечного детства — о болельщике-звезде, без чего большая игра невозможна. И если прервать жизнеописание Стрельцова и

заговорить на модную тему о несовершенствах нашего сегодняшнего футбола (кстати, в книге об Эдуарде она не кажется столь уж праздной и уводящей от основной), то начинать придется со зрителя, который или не приходит на матчи вовсе, или приходит не игру посмотреть, а себя показать...

Взаимозависимость звезд-игроков и звезд-зрителей вроде бы и не требует доказательств. Но у игрока — имя, а звезда на трибуне — безымянна.

Когда я с кем-нибудь из футбольных людей заговариваю об этом, они понимающе кивают головой — и тут же называют фамилию кого-нибудь из знаменитых людей, равнодушных к игре.

Само деление трибун на динамовском стадионе в Москве — по цене за билет и соответственно по престижу — имитировало социальные этажи, возводимые над полем большого футбола. Северная трибуна — для самой избранной публики, достойной близости к ложе правительства, космически дистанцированного в сталинские времена даже от самых высокопоставленных болельщиков. А на Восточной, Западной, Южной трибунах, куда билеты подешевле, сидят непризнанные маршалы и вожди той армии ревнителей футбола, что на «Севере» представлена маршалами с настоящими (форменными то есть) красными лампасами, а также богемой со значками лауреатов сталинской премии.

Имена лидеров с непрестижных трибун так и остались в неизвестности, если только кто-либо из них не составил секретного списка соплеменников. Правда, в лучшие для футбола времена всякая самодеятельность (и самонадеянность) в составлении списков наказывалась очень строго. Списки составлялись по другому ведомству, где по долгу службы болели исключительно за «Динамо».

Кстати, про «Динамо». Дмитрий Шостакович, когда жил в Ленинграде, болел за местное «Динамо» (его друг кинорежиссер Лев Арнштам вспоминает, что дома у гениального композитора нередко гостили футболисты — и после совместных гулянок оставались вповалку ночевать), а когда переехал в Москву, стал приверженцем динамовцев столичных. Рассказывают, что на стадионе подозревавший всех в причастности к сыску Дмитрий Дмитриевич утрачивал свою игольчатую некоммуникабельность и раскрывался навстречу людям, ничем вроде бы на него не похожим. Главный парадокс Северной трибуны в том и заключался, что на ней могли запросто столкнуться тот же Шостакович и, например, министр госбезопасности Абакумов — тоже болельщик и шеф «Динамо». Но ведь что-то подобное происходило и на других трибунах — в безымянном, как мы уже заметили, варианте.

Само собой, операторы кинохроники старались выхватить в толпе физиономии знаменитостей. Но главной заслугой

видеорепортажей со стадионов стал собирательный образ болельщика, его групповой портрет. Между прочим, публика на футболе сороковых годов совершенно безразлично относилась к тому, кто как одет в дни больших матчей: каракулевые манти спокойно сочетались с армейскими шинелями, иногда и со спортивными погонами, без тени намека на классовый антагонизм. Трибуны приводили всех присутствующих к общему социальному знаменателю. Как-никак футбол — единственное из элитарных зрелищ, рассчитанных на массового зрителя. Любому человеку — независимо от заслуг, должности, возраста и пола — дано стать великим (и необходимым футболу) болельщиком, зрителем, ценителем, если способен он углубиться в игру до понимания ее сути. Но понимание вряд ли намного важнее способности к сопереживанию, что и отличает прежде всего болельщика, приближая его к игроку...

Однажды я спросил Боброва, как ощущал он послевоенную публику. Не склонный к разглагольствованиям, киснувший обычно при навязчивых расспросах, он, однако, ответил без раздумий, что особо тонкого понимания у этой публики, может быть, еще и не было. Но и более отзывчивого народа Всеволод Михайлович, пожалуй, никогда позднее не встречал.

До отказа заполненный стадион создавал для игроков атмосферу обтекающего уюта: знаменитый динамовский правый край Василий Трофимов говорил, что через пять минут игры публика своей всецелой поглощенностью матчем позволяла забыть про нее и сосредоточиться на том, что делалось на поле.

Вместе с тем вспоминаю весьма распространенный упрек наиболее популярным футболистам в том, что они «играют на публику» — в этом, несомненно, сказывалось общественное ханжество: скромность проповедовалась на государственном уровне и декларировалась как принципиальное достоинство советского человека.

Но игроков и публику влекло друг к другу неудержимо.

Мало кого так любила послевоенная футбольная аудитория, как левого края ЦДКА Владимира Демина — полноватого шустряка, искусного в работе с мячом, часто для игрока своего амплуа забивавшего голы и, кроме того, вносившего в игру комическое начало, развлекавшее трибуны. Демин обычно выходил из цедэковского автобуса возле метро «Динамо» — и дальше шествовал, размахивая чемоданчиком, к служебному входу сквозь толпу болельщиков. Подразумевалось, что соприкосновение с народом заряжает «Дёму» на игру.

Что меня более всего привлекает в этих людях, когда вижу их теперь на экране? Открытость, доверчивость и доброта, странная, казалось бы, для людей, прошедших и выдюживших войну, загнанных

в круглосуточный страх предвоенными репрессиями, которые настигнут многих из них и после войны...

Их лица позволяют нам думать, что в зрелище захватившей их игры не было агрессии и злости.

Да: играли на публику. На многострадальный и терпеливый народ, оставшийся теперь лишь в изображении футбола сороковых годов.

...Ни с чем не сравню — при том, что возраст почти болезненно принуждает все со всем сравнивать и отдавать предпочтение прошедшему с подкорковой надеждой на возможность возвращения к невозвратному — праздник, происходивший второго мая. Он, кстати, и вправду не сравним — ни в ту, ни в другую сторону. Он весь в смоле своего времени, естественно превратившейся в янтарь.

Праздник второго мая, связанный с открытием футбольного сезона в Москве, отличен для меня от всех других торжеств детства всепоглощающим предвкушением того, что вновь со мной произойдет. Шелуха облупившейся за зиму краски на ограде и трибунах стадиона с чернотой остатка апрельского снега под интенсивностью фирменной динамовской синевы и яркой вспышкой первой зелени. Нарядный, как океанский лайнер, спортивный Колизей вот-вот причалит к Ленинградскому шоссе, охваченному в день большого матча не теснотой даже движения, а движением тесноты: предвестием аншлага битком набиты машины, троллейбусы и трамваи.

Я рано начал жить по футбольному календарю, где праздник не просто смещается или удлиняется еще на день, но обретает корпоративность, разрешает заговор нескольких десятков тысяч в стране герметической секретности.

Мой третий в жизни выход-поход на футбол пришелся на второе мая. Тогда казалось, что случайно. О предначертанности судьбы, назначенности судьбой я не мог в свои восемь лет подозревать.

Родители дважды сводили меня на футбол осенью сорок седьмого года, вряд ли представляя себе катастрофу моего подчинения футболу. Да и догадывался ли я сам, что впадаю в инакомыслие внутри семьи — причем, добавлю, в столь примитивном направлении?

На матч открытия сезона сорок восьмого года между ЦДКА и «Спартак» меня неожиданно взял приятель отца еще по Иркутску Михаил Григорьевич — или, как его называли у нас в семье, Миша Поликанов, работавший в международном отделе газеты «Правда». Поликанов казался мне человеком более суровым и сухим, чем мои родители. Но в отличие от них, ничуть не интересовавшихся футболом, Миша был настоящим болельщиком, регулярно ходившим на стадион. В редакции он занимал скромную, но достаточную, чтобы иметь возможность купить билеты на любой важности матч,

должность. Человек с подобными возможностями во времена футбольного бума выглядел уважаемым членом общества. Люди с иными правами могли купить билеты, или заняв с ночи очередь в динамовские кассы, или, если были отмечены везением, переплатив за них вдвойне в последний перед началом футбола момент, сунув купюры в чьи-нибудь запасливые и ловкие руки...

У Поликанова — он пришел на стадион с женой и двумя сослуживцами — билеты были на Южную трибуну. Затрудняюсь сказать сейчас: знал ли я уже о меньшей престижности «Юга». Но точно помню, что новизна ракурса сразу взволновала меня — предыдущие разы я смотрел игру с люксового, виповского, как теперь сказали бы, «Севера».

В первый раз — в сентябре сорок седьмого (дата моего очного знакомства с футболом) — трибуна пустовала (темнели под холодным дождем ребра скамеек) из-за незначительности матча, кончившегося, между прочим, сенсацией: куйбышевские «Крылья Советов» выиграли у московского «Динамо». Кто-то наверняка рассердится на меня за избыток личных впечатлений, не имеющих отношения к жизнеописанию Стрельцова. Но воспоминание о выигрыше «Крыльев» к судьбе Эдика отдаленное отношение все-таки имеет. А для моего о нем повествования так уж точно имеет — не случись тогда сенсации, меня скорее огорчившей, я бы стал не таким, каков я сейчас, — и книга моя о Стрельцове складывалась бы по другой логике.

В свои семь лет я твердо знал, что в мире, охваченном футболом, есть две силы — ЦДКА и «Динамо». Мир впервые разделился для меня на тех, кто за «Динамо» и кто за ЦДКА. И я впервые в жизни сделал в этом мире свой выбор. Правда, соседи по даче — дети покойного Евгения Петрова (я еще не читал «Двенадцать стульев» и Евгений Петрович был для меня только погибшим на войне папой товарищей) — болели за «Спартак». Но в мое сознание такое чудачество просто не вмещалось. Мне легче было руководствоваться в жизни стихотворением Агнии Барто про мальчика Петю, который с бабушкой пошел на матч ЦДКА — «Динамо», где, к ужасу внука, бабушка «начала хлопать динамовцам» и вообще болеть за них...

Сделав свой трудно объяснимый, как трудно объяснимы все пристрастия в футболе, выбор в пользу ЦДКА, я не был полностью уверен, что встал на сторону окончательно победившей силы.

Всё вокруг футбола пронизано было мощными динамовскими токами: магазин «Динамо» на улице Горького, в котором продавались теннисные ракетки с динамовской эмблемой, станция метро «Динамо» с мраморными барельефами, изображавшими спортсменов всех жанров, и, что самое главное, стадион, где проводились все стоящие матчи, тоже принадлежал «Динамо». Оставалось тшить себя надеждой, что хотя бы один из двух борющихся за мяч футболистов

во дворе Третьяковской галереи, напротив писательского дома в Лаврушинском переулке, не динамовец, а из ЦДКА...

Блеклый матч под скучным дождем, не собравший публики, имел, однако, самое прямое отношение к тому, чтобы ЦДКА во второй раз стал чемпионом, превратив меня в маленького человечка, угадавшего направление, которого стоит придерживаться в предстоящей жизни.

Теперь я могу сказать, что всем лучшим (и точно в такой же мере худшим) я объясан не книгам, а футболу. Про Давида и Голиафа я в сорок седьмом году не слышал. Но видел, как игроки, защищавшие невыразительные цвета далекого от меня до того дня Куйбышева — кстати говоря, города, куда на самое опасное время войны эвакуировались правительственные учреждения и МХАТ, где на краткий срок собирался весь советский бомонд и чье имя я наверняка слышал, хотя и не связывал с футболом, целиком занимавшим мои мысли, — победили тех знаменитостей, чьи фамилии были мною заучены лучше, чем стихи Барто, пускай с трибуны я пока и не разбирал: кто из них кто?

Расстроенные поражением от черт-те кого динамовцы не справились и с совсем уж жалкими московскими «Крыльями». И теперь, чтобы снова стать чемпионом, наш ЦДКА должен был выигрывать у сталинградского «Трактора» обязательно со счетом 5:0 для лучшего, чем у динамовцев, соотношения забитых и пропущенных мячей.

После заказного убийства «Трактора» мог ли я сомневаться, что для ЦДКА нет ничего невозможного?

Правда, в следующие сезоны традиция куйбышевских «Крылышек» (на «Крылья» в обиходе они из-за мизерности своих успехов не тянули) раз в сезон, но непременно выигрывать у сильнейшего клуба, распространилась и на клуб Армии.

Голы знаменитым вратарям «Динамо» и ЦДКА обычно забивал кто-нибудь из двух переехавших в Куйбышев и недооцененных столицей футболистов — либо центр нападения Александр Гулевский, либо правый, инсайд Виктор Ворошилов, прозванный в честь «красного маршала» Климом. Клим вернулся потом в Москву — и стал выступать за «Локомотив». Очередь была за Гулевским. Я к тому времени, узнавший несправедливость жизни, внимательнее стал относиться к тем, кому в ней не везло. И радовался за самарского центра, когда после ухода Пономарева его пригласили в московское «Торпедо». Но в «Торпедо» в тот же год пришел и Стрельцов.

Осенью сорок седьмого года я успел еще побывать на матче московского «Спартака» с командой, которую считал своей задолго — за год, наверное, — до того, как увидел воочию. Как могло такое произойти? Видимо, что-то загадочное конкретизировалось в моем

детском воображении после рассказов про армейский клуб во дворе городского дома и на даче в Переделкине. Не исключая магического воздействия самой аббревиатуры ЦДКА. Ребенок военного времени, я не связывал, однако, команду ЦДКА непосредственно с армией. И красный цвет ее футболок будил во мне скорее эстетические, чем верноподданнические чувства. Я и сейчас — сквозь склеротическую толщу разнофактурных воспоминаний — вижу «ясно до галлюцинаций» энергию движения красных торсов, когда синий низ и ноги в гетрах с меньшим контрастом форсировали пространство, рассекая зелень.

В единственном иллюстрированном журнале тех лет цветные снимки, посвященные футболу, были редкостью. Но я все же знал, что белая спартаковская полоса пересекает алый фон. И у ворот стадиона я пытался вообразить себе, как сопряжется одинаковость цвета, обозначающего столь разное. Но «Спартак» вышел в зеленых футболках.

На этот раз на «Динамо» был аншлаг — и непривычное мне скопление народа поглотило меня и отвлекло от зрелища сугубо футбольного: шевеление зрительской массы размывало мое внимание. Я даже пропустил момент гола, забитого ЦДКА. Но спартаковский вратарь запомнился мне сгруппированностью своих прыжков и белым воротничком, выпущенным поверх свитера. Много позднее мы вместе с Алексеем Леонтьевым служили в газете «Советский спорт». И он, как старожил редакции, бывал со мною ревниво некорректен. Но я — с тогдашним своим гонором — никогда не сердился на его предвзятость. Я помнил и те выходы Леонтьева из ворот на втором в моей жизни футбольном матче, и тот день летом сорок девятого года, когда по вине защитника-одноклубника, желавшего взять в «коробочку» динамовца Карцева, вратарь получил травму, прервавшую его карьеру. Карцев успел выскользнуть, а Сеглин врезался в своего. Леонтьев не смог подняться без помощи врачей и санитаров — его унесли на носилках.

Я был странным ребенком, редко находившим понимание и у сверстников, и уж тем более у взрослых. В футболе я подсознательно искал драматургию: в цифрах счета, в сочетании противоборствующих сторон, в белом стихе имен. В наступившем сезоне мечтой моей — забегая вперед, скажу, сбывшейся — было увидеть матч между ЦДКА и столичным «Динамо». В «Спартаке» я не видел конкурента избранному мною клубу.

Мне как-то даже не пришло в голову, что взрослые, с великодушием жалости взявшие меня с собой, относятся к неведомому мне большинству — к народу, болеющему за «Спартак». Мое же пристрастие вызвало в них озадачившее меня раздражение — разница в годах вдруг стерлась: я почувствовал враждебность к себе в

тех, чья опека была мне необходима и, главное, казалась сама собою разумеющейся.

У меня ведь и билета не было — меня, как это называлось тогда, провели. И потеснились на скамейке, чтобы и я сел — лишили себя комфорта. Я испытал не только конфуз, но и унижительный неуют. Старшие видели во мне конъюнктурщика, болеющего за чемпионов без тех корней в довоенном футболе, какие имел «Спартак» и о которых я и не подозревал (о братьях Старостинных я услышал чуть позднее и чуть позднее увидел справочник-календарь конца тридцатых годов, где фамилии братьев были густо замазаны чернилами).

Но я-то чувствовал нутром, что страдаю за убеждения — и впервые осознавал себя одиноким и чужим. «Спартак» играл хуже, чем ЦДКА. Мои благодетели-враги ворчали, что «эти ленинградцы» землю только роют. Одним из «этих ленинградцев» был, между прочим, Сергей Сальников. Гол спартаковцы все-таки забили — отквитали один мяч после двух пропущенных. И мне почудилось после ответного гола «Спартак», что взорвавшийся криком стадион обрушился на одного меня, хотя приверженцев армейского клуба на стадионе «Динамо» второго мая тысяча девятьсот сорок восьмого года наверняка было ненамного меньше, чем спартаковских болельщиков.

Второго мая сорок восьмого что-то началось в моей жизни — и вот сейчас, спустя более полувека, завершается.

Второго мая следующего года я на стадион не попал. И находился в состоянии, близком к отчаянию, — встречались ЦДКА с «Динамо». Я уже чувствовал необходимость не пропускать ни единого звена футбольного зрелища, испытывал зависимость от того, что происходит на стадионе, — и жаждал вновь и вновь впитать в себя атмосферу матча.

Я, повторяю, не видел матча, но — в обычной жизни рассеянный с улицы Бассейной — слушал репортаж Синявского с такой мерой сосредоточенности, что и сегодня — все с той же удивляющей в галлюцинацию ясностью — вижу асфальт и ограду палисадника возле дома, когда в состоянии глубочайшей подавленности вышел после игры во двор на Беговой: территориальная близость со стадионом усугубляла чувство случившейся беды. ЦДКА проиграл.

А матч 2 мая пятидесятого года я видел — опять с Южной трибуны: отец моего дворового приятеля, майор МВД, достал билеты. Приятель вообще-то болел за «Спартак», но сейчас — из солидарности с папой — за «Динамо». И от меня правила приличия требовали бы согласия с ними — если уж не ЦДКА играет, то какая мне разница... Но я — без каких-либо предчувствий — выбрал «Торпедо». И они победили — гол Хомичу забил левый инсайд Нечаев

(это имя не звучало, подобно именам Пономарева, Жаркова, Акимова или Гомеса, о которых я читал в «Огоньке», но с него начиналась конкретность моего живого интереса к «Торпедо»).

Я забыл сказать, что сезон открывался 2 мая непременно матчем прошлогоднего чемпиона с обладателем Кубка. В случае если команда делала дубль, как ЦДКА в сорок восьмом, чемпион встречался со вторым призером. Драматургия нового сезона начиналась в итогах предыдущего. Впрочем, сезон начинался на юге, и прошлогодние фавориты и лидеры приходили иногда к встрече со столичным зрителем не в лучшем настроении, но это, однако, не могло испортить праздник истосковавшейся за зиму по большому футболу избалованной столичной публике.

В матче второго мая пятидесятого подразумевался динамовский реванш — минувшей осенью их поражение от торпедовцев в финале Кубка обрадовало любителей сенсации: в сорок девятом году московское «Динамо» было сильнее всех наголову. Но в Кубке сенсации почти запланированы. А вот проигрыш на глазах у всей праздничной Москвы — сигнал тревожный. И кончился этот год для «Динамо» отставкой тренера Якушина. Почему-то, кроме гола Хомичу после замкнутого торпедовским инсайдом прострела, я запомнил в той игре и Сергея Сальникова, выбежавшего за мячом на гаревую дорожку в динамовской форме, что вызвало иронические реплики спартаковских болельщиков. Хотя мой сосед по трибуне новоиспеченному динамовцу все равно симпатизировал и даже поспорил с женой из-за внешности форварда. Мужу он казался красавцем, а ей, скорее всего из чувства противоречия, наоборот...

В ОЖИДАНИИ СТРЕЛЬЦОВА

Я намечал рассказать о дострельцовском «Торпедо» сколько-нибудь подробно в дальнейшем повествовании, предварив экскурсом в прошлое момент возникновения в команде Эдика. Но получается, что соскользнул в торпедовскую тему раньше, чем собирался, — и у кого-нибудь может закрасться подозрение о моем равнодушии к этой команде с давних пор. «Обратите внимание, — воскликнул Анзор Кавазашвили, когда увидел, как здороваюсь я за руку с Витей Шустиковым на каких-то футбольных торжествах конца века, — с кем он первым здоровается. С торпедовцем!» (Мне не сразу пришло в голову, что Анзор причисляет себя к спартаковцам по, так сказать, последнему месту работы.) Но я все же считаю себя скорее «стрельцовцем», «воронинцем» или «ивановцем», «батановцем», может быть, и «маношинцем» — (в последние годы мы соседствуем с Колей), чем «торпедовцем» по идее и в принципе. «Торпедо» в мою жизнь вошло, когда я уже склонен был привязываться не к целым командам, а к отдельным и приметным людям в них, людям, которых почему-либо узнавал ближе или лучше понял и на положенном расстоянии, но все равно относился, как к хорошим знакомым... При том, что команды органичнее и грандиозней, чем «Торпедо» начала шестидесятых, не видел — и у нас в стране, наверное, уже и не увижу. Не доживу...

А дострельцовское «Торпедо» я, как и большинство людей из футбольной публики, считал четвертой по силе московской командой, способной в очном соревновании с фаворитами упереться — и нанести чувствительный укол их самолюбию, не повредив, впрочем, репутации суперклубам, не изменив установленной иерархии. В Кубке они дважды на моей памяти приметно били ЦДКА. И в сезоне сорок восьмого — во втором круге — выигрывали у моей команды с перевесом в один гол за пять минут до завершения матча. Но перед чудом, на которое способны бывали игроки в красных футболках, спасовали — и проиграли за эти считанные минуты. Я не видел той игры, но... чуть не сказал, что по случайности (а какие же могут быть случайности в футбольном сюжете жизни человека, в этом сюжете по собственному желанию заблудившегося?)... оказался на стадионе «Динамо» через час после матча, когда раскаленные трибуны остывали внутри темнеющего Петровского парка. И я ходил по аллеям, пугая родителей, которых уговорил прийти сюда со мной, своей взволнованной увлеченностью вовсе не занимавшими их событиями... У ребенка началась своя, отдельная от домашнего уклада жизнь.

Сезон пятьдесят первого года снова открывшая матчем ЦДКА, потерявшим букву «К» в названии — начальство сообразило, что политически не совсем верно называться армии по-прежнему «красной» вместо «советской», — и «Спартак». Я и забыл, что «наши» тогда выиграли — сейчас уточнил, что 1:0, как в незабываемом сорок седьмом. Да и весь сезон оставил меня непривычно равнодушным. Я и по сей день считаю, что существует связь между потерянной буквой и утратой командой ЦДКА (то есть ЦДСА с обязательным «С» во всех последующих именах или псевдонимах) фамильной игры. Мне казалось, что с погасшим в афише и прочем «К» исчез из названия команды маняще красный (не от идеологии, а только от эстетики, от лингвистики) цвет.

Что запомнилось из сезона пятьдесят первого? Вымученная победа армейского клуба в финале Кубка над таинственной командой города Калинина. На самом-то деле город Калинин был ни при чем. Просто Московский военный округ собрал в команде с таким будничным названием тех игроков, что не пришлось ко двору прежде всего в дубле ЦДКА (правда, среди них нашелся и настоящий талант — будущий динамовец Борис Кузнецов, ставший позднее олимпийским чемпионом вместе со Стрельцовым) — и обиженные и недооцененные выбили из розыгрыша Кубка московское «Динамо». Через год «калининскую» команду пополнили звездами из расформированного за олимпийское поражение ЦДСА Николаевым, Деминым, Нырковым, Грининым, Коверзневичем, но такого эффекта, как в пятьдесят первом, не добились.

Из футбола уходили — мне думалось — люди, творившие чудеса. В своей верности этим людям я кажусь себе трогательным и забавным. Отболев той верностью, я в дальнейшем полюбил перемены декораций, полюбил изменять свое отношение к людям, рассмотрев их пристально. Или, может быть, верность к чему-то, навсегда меня поразившему, существует во мне пунктирно?

При мне ушел с поля Василий Карцев — тот Карцев, что забил первый гол в английском турне «Динамо», репортажи о котором Синявского я слушал совсем ребенком. Игрок, посланный ему на замену, припрыгивал нетерпеливо возле бровки, а бомбардир успел все же забить свой гол Чанову (успешному дублеру армейского голкипера Никанорова и отцу двух вратарей впоследствии) — и видно было, как же не хочет покидать он поле, понимая, что покидает его навсегда. Исчез было Бобров — не появлялся в основном составе ВВС. И вдруг в репортаже того же Синявского — не слышал бы сам его хриплую скороговорку из радиоприемника на даче у Корнея Чуковского, ни за что бы не поверил, что могли транслировать игру одной шестьдесят четвертой Кубка, — среди незнакомых в подавляющем большинстве фамилий: Бобров. Бобров играет за

команду ВВС-2, предназначенную для внутримосковских турниров. Бобров никогда не бил пенальти, а тут бьет — и забивает. Но в дополнительное время ужгородский «Спартак» берет верх с чувствительным преимуществом над уцененным вариантом клуба Василия Сталина. Мы возбуждены появлением в эфире «Бобра» — но и шокированы его бессилием перед каким-то Ужгородом. Мы и понятия не имеем, что Ужгород — футбольный город, и по словам усилившего состав киевского «Динамо» в сорок девятом Комана, они там, на Западной Украине, всю войну в футбол играли, не воевали...

Аксель Вартамян жил в пятидесятые годы в Тбилиси... В моем повествовании мы с Вартамяном напоминаем персонажей из так и не решенной мною арифметической задачи о двух путешественниках, вышедших навстречу из пунктов «А» и «Б». Аксель жил в Тбилиси — и школьником (он на два года старше меня и на год моложе Стрельцова) на запасном поле местного стадиона «Динамо» увидел Эдика, вернее специально пришел на него посмотреть, сбегав с уроков. Московский футболист, о котором еще до первой игры его в начале апреля уже шла молва (их тысячи три собралось в непогоду на торпедовской тренировке) среди тбилисских болельщиков, как о вундеркинде, показался будущему знаменитому статистику каким-то по-особенному чистеньким, светленьким.

На каждое удачное движение не по годам рослого и длинноногого голубоглазого блондина — финт ли, рывок ли, удар — разбиравшаяся в футболе публика отзывалась восторженным гудением.

Он подбежал к трибунам за укатившимся мячом — и, зардевшись, заулыбался, когда ему зааплодировали. Возвратившись на поле, он словно в благодарность за такое к себе отношение пробил под невероятно острым углом в дальнюю девятку.

Вспоминая, как он оказался в двух-трех шагах от прибежавшего за мячом Эдуарда, Аксель говорил: «Настолько близко я никогда больше его не увижу». Вартамян так и не познакомился со Стрельцовым, хотя и переехал потом в Москву. Но дал нам в итоге исчерпывающий статистический портрет Эдика. А я от строчки в спортивной газете, всколыхнувшей фантазию, дошел-таки до личного знакомства с Эдуардом — и прикалываю теперь листочки разрозненных мемуаров к частоколу уточненных цифр.

Аксель Вартамян жил в пятидесятые годы в Тбилиси — и он утверждает, что в начале сезона Бобров был очень хорош. Но теперь мы знаем, что попал он в опалу к другу-шефу. В Риге на матче ВВС с местной «Даугавой» он в перерыве подрался с более молодым лидером команды Константином Крижевским. И разгневанный Сталин-младший сгоряча решил их разделить — и ограничить Боброва хоккеем с шайбой. Ну а за команду типа ВВС-2 ему

разрешили и в футбол играть.

Со следующего сезона — с печально памятного во многих смыслах пятьдесят второго года — в нашу жизнь (в жизнь моего поколения впервые) вошло понятие «сборная СССР». Для конспирации (а вдруг проиграют) звалась она сборной Москвы (а позднее ЦДСА, что ЦДСА после Олимпиады дорого обошлось), но мы же видели, что в состав ее входили и грузины: Гогоберидзе в первую команду, Антадзе — во вторую. Перед началом сезона разыграли приз Комитета по делам физкультуры и спорта — в канун Олимпиады чемпионат страны отошел на второй план. Победители в четырех подгруппах должны были дальше состязаться в Москве. Сезон открывался матчем первой сборной с ЦДСА, вышедшим на поле без тех, кого призвали в сборную, — и это интриговало. Николаев, например, играл против Гринина и Демина. За ЦДСА играл Александр Петров, вскоре призванный в сборную и забивший решающий гол югославам, когда счет сравнялся — стал 5:5.

При еще долго остававшемся во мне максимализме я не мог спокойно пережить, что, пускай и сознательно, для пользы общего дела, ослабленный клуб Армии проигрывает, и уж тем более не допускал в те годы крамольной мысли о поражении от кого бы то ни было сборной нашей страны.

Сборную СССР не созывали с тридцать пятого года. Фамилии тех, кто играл за нее в древние по моим представлениям времена, давно обросли легендами. И превращение в игроков с новым статусом тех, кого знал я со вчерашнего детства, вызвало во мне смешанные чувства, в которых и сейчас нелегко разобраться. Теперь всё новые понятия входят в мою жизнь не без сопротивления. А тогда я жаждал любой новизны — обязательности перемен, расширяющих мир моего восприятия.

Сборная выиграла у ЦДСА 2:0. В кукольном театре у Сергея Образцова шел спектакль «2:0 в нашу пользу». Я спешил согласиться, что и эти «2:0» всем нам очень полезны...

Никто тогда — а уж из футбольных людей и подавно — не подозревал, что к середине века советская империя, напугавшая весь мир и заставившая весь мир считаться с абсурдностью своего режима, впадала в неизлечимую депрессию. Я далек от мысли привязывать спортивные достижения к происходящему в стране и ее верхах. Напомню, что в годы наибольшего свободомыслия у нас — на подступах к девяностым годам, на их рубеже и в самом начале последнего десятилетия века — некоторые из писавших о футболе публицистов (один из них стал литзаписчиком книг президента Ельцина и даже одно время возглавлял его администрацию) объясняли неудачи наших игроков невозможностью вольно дышать и жить в закрепощенном столько лет обществе. И мысль эта казалась

острой, оригинальной. Но вот на пороге нового века мы уже в ностальгической истерии корим иногда футболистов, принявших ментальность свободного мира, предлагая им как недостижимый идеал спортсменов из советского прошлого, побеждавших не за деньги, а за идею. Хотя совсем недавно с аффективной горечью смаковали подробности идеологических расправ за поражения от зарубежных атлетов.

Олимпиада-52 не могла быть ничем иным, как политической акцией — и акцией, как видим мы теперь, запоздалой. Страх неудачи в сорок восьмом помешал поколению потенциальных победителей — мастеров послевоенного советского футбола — выполнить свою историческую миссию: страна ведь сберегла их от войны (замечу, что в сорок третьем году для ряда ведущих игроков утвердили статус членов сборной, чтобы выдать им литерные карточки и кормить чуть-чуть лучше остальных граждан, трудившихся в тылу) в надежде на будущие спортивные победы. Но уровень жизни в стране, так по-настоящему и не оправившейся от войны за долгие десятилетия, не позволял и лучшим из атлетов создать условия для активных выступлений после того, как минет им тридцать или немножечко больше. Вместе с тем и молодым особенно-то не давали ходу. Культ личности, вернее, то, что стали называть так позднее с вопиющей неточностью (был культ диктатора и положения в обществе его временных и обычно безликих выдвиженцев — слуг, а вовсе не личностей, личности выкорчевывались), бюрократически требовал нескончаемой системы «матрешек» — в каждой области и отрасли (поэзия ли это, или биология) назначалась фигура номер один, нередко и по заслугам. Казалось бы, в спорте такой подход заведомо нелеп — в ниспровержении чемпиона смысл соревнования. Но спортивный болельщик и сам не всегда знает, чего хочет: то с детской жестокостью жаждет падения знаменитостей, то вдруг сам теряется в опустевшем без былого кумира времени. А начальство, курировавшее спорт по партийно-правительственной линии, разбиралось в порученном им предмете номенклатурно-относительно — и потому в страхе за свои кресла доверяло проверенным кадрам: заслуженным чемпионам, не решаясь на своевременную ротацию. Или бросалось в крайность после неудачи — делало оргвыводы.

Бобров перешел из армейского клуба в клуб ВВС — и, казалось бы, в своих отношениях с футбольной аудиторией зашел в некий тупик: за ВВС никто, в общем-то, и не болел, а болеть за одного великого Боброва по советским коллективистским меркам казалось противоестественным. В хоккее с шайбой — другое дело — там все склонились перед силой: Василий Сталин собрал под своим флагом столько выдающихся игроков, что конкуренции и соперничества с ними никто не выдерживал. Клуб, не имевший приверженцев, ставил

ценителей перед фактом своего превосходства. А в футболе переодетые в форму летчиков постаревшие мастера выше четвертого места прыгнуть не могли. И значение даже Боброва девальвировалось...

Но, судя по тому, как жадно слушали мы репортаж о матче одной шестьдесят четвертой розыгрыша Кубка, лидера в курносом облике «Бобра» нам все же не хватало. И это было отнюдь не дилетантским впечатлением.

Борис Аркадьев, от которого Бобров ушел к Сталину-младшему, определившись как главный тренер, отвечающий за подготовку сборной к Олимпийским играм, немедленно призвал Всеволода: оправдывать свое имя. Назначение Аркадьева произошло не сразу — пробовали прибегнуть и к коллегиальному руководству, но, слава Богу, наш советский стиль подразумевает единоначалие со связанными, впрочем, руками. В момент призыва «Бобер» вряд ли был в наилучшей форме, зимой он не только в хоккее играл, но и залечивал травмы — Аркадьев сильно рисковал, веря в Боброва как в талисман. Но в нем как раз не ошиблись...

В товарищеском матче сборной Москвы против команды Польши Всеволод вышел на замену — центра в первом тайме играл Константин Бесков. А со следующей игры олимпийский состав и нельзя вообразить было без Боброва в центре атаки — Бескова в состав вернули, но на место левого инсайда.

...Сезон пятьдесят третьего прошел уже без переименованного ЦДКА, наказанного за провал на Олимпиаде. Я не смог себя заставить ни болеть за другую команду, ни вообще смотреть футбол. Возможно, я начал огорчительно взрослеть. Хотя взрослость в отрочестве обычно подражательна. Однако подражание это частенько затягивается — и оглянуться не успеешь, как перестал быть собой. Живешь заимствованной у всех жизнью — и не замечаешь, как уже привык к ней. И если даже спохватываешься, не видишь путей возвращения к себе. Взрослое восприятие бездарнее детского. Но жить с ним спокойнее и солиднее.

Интересовал меня по инерции, конечно, Бобров, объявившийся в «Спартаке», где он смотрелся совсем уже непривычно, как знаменитый гость, с которым лестно познакомиться поближе и пообщаться, но всем, пожалуй, легче станет, когда он, провожаемый почтительными взглядами, уйдет.

Бобров ездил со «Спартакoм» в Будапешт на открытие нового стадиона, играл в Москве с «Юргорденом» — в более регулярных встречах с командами из капиталистических стран мы угадывали намеки на изменения (после смерти вождя) в нашей жизни за железным занавесом. В шведском клубе выступал знаменитый хоккеист «Тумба»-Юхансон (он и до сих пор частенько приезжает к

нам по делам гольфклуба, им вдохновенного и основанного в столице России). «Тумба» — шведский Бобров — с менее, как и положено иностранцу, драматической судьбой. Впрочем, по нашим понятиям, и Бобров относительно благополучен — в сравнении с тем же Стрельцовым...

Попасть на стадион в день открытия сезона — его зачем-то перенесли на первое мая — не составляло таких уж неимоверных усилий. Но я в тот год на стадион и не стремился — трансляции телевизионные были еще новостью. Правда, и смотрели еще с непривычки больше телевизор, чем футбол. Но футбол превращался в главный телевизионный жанр — аудитория его немислимо расширилась: новые игроки безотлагательно приобретали известность, далеко не во всех случаях заслуженную. Вместе с тем экранный документ казался мне скучнее рождаемого дотелевизионными играми мифа. Не сравнишь ведь слона в зоопарке с мамонтом? Только где увидишь мамонта, а зоопарк открыт...

Сейчас вспомнил, что «Торпедо», как обладатель Кубка, участвовало в матче открытия сезона — и свело ничью со «Спартаком». Кажется, 1:1. Но во втором круге торпедовцев ждал разгром, растиражированный телетрансляцией, — они проиграли «Спартак» 1:7. И никакого общественного удивления этот страшный конфуз не вызвал — при том, что в итоге команда автозавода заняла призовое третье место в чемпионате. Тогдашний «Спартак» котирировался несравнимо выше. Как и московское «Динамо», несмотря на то, что в таблице розыгрыша оно стояло ниже «Торпедо» и в призеры не попало. Но выиграло Кубок. А через год — и чемпионат.

Пятьдесят третий год характерен и некрасивой — со стороны «Торпедо» — историей, хотя необоснованный протест продиктован был тренеру Маслову из руководящих инстанций. В случившемся замешана политика — отнюдь не высокая, но выдаваемая за таковую начальством.

Сосланный в пятидесятом году из московского «Динамо» в тбилисское Михаил Иосифович Якушин с наслаждением занялся ювелирной работой с местными виртуозами, а кроме того, подтянул южан физически, отучил, так казалось, от привычки капризно прекращать борьбу, когда иссякает кураж и необходимо упереться и терпеть. И динамовцы из Грузии смогли претендовать на первенство не в апрельских дебютах на юге, а в завершающей стадии сезона.

Но в год смерти Сталина и низвержения Берии успех грузин в чемпионате Советского Союза был совершенно нежелателен.

Якушина отозвали в Москву — спасать и сохранять столичное «Динамо», а тбилисских одноклубников постарались общими усилиями попридержать. Вот тут и пришлось кстати недовольство торпедовцев судьейством в проигранном тбилисскому «Динамо» матче

на московском стадионе. Продиктованный Маслову протест тотчас же приняли. Разобиженные тбилисцы расслабились — ставший тренером вместо Михаила Иосифовича Борис Пайчадзе не сумел совладать с норовом земляков, уже начавших было привыкать к хитроумной строгости москвича, — и проиграли повторную игру с треском. 1:4. Я сочувствовал талантливым грузинам, но в тот вечер — матч проходил при электрическом освещении — меня навсегда перевербовал в свои болельщики Валентин Иванов.

...Облик игроков в ту пору видоизменялся — укорачивались считавшиеся еще недавно верхом футбольной элегантности длинные, до колен, трусы, появилась модная стрижка вместо бритых «по-спортивному» затылков. Футбол подстраивался под общеэстетические категории, отказываясь от некоторых обаятельных, но допотопных причуд. И вот на гребне волны своевременных перемен и появился Валентин Иванов.

Второй матч с несчастными тбилисцами показал молодого «Кузьму» во всем блеске. В памяти осталась стереоскопической выразительности картинка, где преобладает белый цвет: белый шар влетает под белую перекладину ворот (до года Олимпиады ворота на стадионе «Динамо» окрашивались витой синей полосой поверх белого, а уж дальше был принят чисто белый стандарт рамы) после удара, нанесенного легкой, летучей, гибкой фигуркой тоже во всем белом: «Торпедо» избавилось не только от длины, но и черноты трусов.

...Решусь, наконец, на признание — столько потеряно, что не так уж и страшно, оказывается, терять и дальше, — которое может (и должно) отвратить от меня настоящих футбольных болельщиков. Вот только где они теперь?

Первого мая — отчасти извиняю себя тем, что не 2-го (биологический ритм нарушился не по моей вине), — я позволил себе невероятный поступок: ушел со стадиона в перерыве между таймами.

Я не то чтобы заскучал — в составах и «Динамо», и «Спартак» играли выдающиеся футболисты: герои футбольного бума середины пятидесятых: Яшин, Симонян, Николай Дементьев, Крижевский, все, словом, классики (дорого дал бы сегодня за возможность увидеть их вновь хотя бы на несколько минут) — но пришла в голову шальная мысль: сопоставить тех, кого сейчас вижу на поле, с ними же, преобразованными телевизионным изображением. За десять минут я успел доехать на трамвае № 23 до Беговой — и сел перед экраном телеприемника «Ленинград». В сравнении с КВН-49 — кстати, приемниками этого типа московских динамовцев наградили за победу в чемпионате сорок девятого года (что можно счесть символом — начиналась и в футболе эра телевидения) — у следующей модели экран был заметно побольше, но все равно смехотворно меньше

самых маленьких нынешних телеприемников, если не считать портативных на батарейках (цивилизация ведет к замыканию круга, но это уже другая тема, углубляться в которую пока не буду).

Смотреть телепродолжение матча было увлекательно. Однако чувствовал я себя дезертиром — и до сих пор чувствую, когда вспоминаю свое исчезновение со стадиона. И до сих пор неловко перед теми, кто сидел рядом, — кого-то я лишил билета: матчи между «Динамо» и «Спартак» ведь не переставали быть аншлаговыми...

...Грешно при всем при том казалось не пойти на стадион специально «на Стрельцова» после закипевшей вокруг молвы о новом, ни на кого не похожем игроке — при том, что пресса не торопилась выделять его и если отмечала, то с нравоучительными оговорками.

Я отправился взглянуть на него в самом что ни на есть рядовом календарном матче — и смотрел на Эдуарда с полупустой Южной трибуны с надеждой на возможность возрождения во мне вдруг ушедшего и одновременно с успевшим вьестись во все поры скепсисом: в пору тинейджеровской рефлексии я хотел составить собственное мнение о том, кого единодушно превозносили, едва успел он ударить при публике по мячу, к тому же я всерьез считал себя зрителем, выдавшим виды (да оно так и было, если вспомнить действующих лиц футбола сороковых, прошедших к тому времени передо мною).

Я попал на матч, не удавшийся ни Стрельцову, ни «Торпедо». Но, по-моему, сила впечатления от «нулевого» Эдика и позволяла мне теперь самому судить о степени магнетизма, которым привлекала к себе всех его индивидуальность. Я вслед за ним пропустил мимо себя игру, не удостоенную им сколько-нибудь заметного участия, — и безотрывно наблюдал все девяносто минут за Эдуардом.

На поле, разделенном вдоль на пепельную тень от трибуны и засвеченную зелень газона, он выглядел словно нарочно укрупненным для досконального рассмотрения: от прогулочной поступи до носа, добродушно вздернутого, до веселого кока блондина. Среди искаженных гримасами борьбы лиц он выделялся домашним выражением на детской физиономии, соединившей простодушие с ленивой лукавостью врожденного артистизма, входящего во вкус им же и генерируемого обожания баловня, своею безучастностью то зазря, то многообещающе вызывавшего азарт зрителя...

Перед ним — да и передо мной — простиралась в своей биологической упоительности жизнь. И невозможно тогда было представить себе край этой жизни — вообразить, что через тридцать шесть лет мы будем сидеть у Стрельцова дома, в креслах друг напротив друга — и он с улыбкой спрятанной боли, с гипсово-бледной печатью смертельной болезни, спавший с лица до неузнаваемости

будет спокойно говорить о предопределенности близкого финала, а я запутаюсь в жалко неестественных словах ободрения... Но то, что судьба, ему предстоящая, некое касательство имеет и к моему будущему, я откуда-то знал и тогда, когда смотрел на Стрельцова с трибуны на солнечной стороне. Что-то метафорически созвучное мне тревожно мерещилось уже тогда.

И дальше были матчи великолепные и матчи, откровенно им проваленные, но отчего-то тоже памятные и важные для понимания и Стрельцова, и его зрителя, щедро вознаграждаемого за терпение.

Но среди вихря впечатлений для себя эгоцентрически выделяю стрельцовскую игру против «Спартак» в самом начале олимпийского сезона. «Торпедо» еще не турнирными достижениями, но классом своих лидеров Иванова и Стрельцова бросало вызов и «Динамо», и «Спартаку». Игры суперклубов с командой двух восходящих звезд-форвардов превращались в долгожданное событие для знатоков и гурманов.

Тогда играли с пятью нападающими. И все пять форвардов «Спартак» без проблем претендовали на основной состав олимпийской сборной, нацеленной на Мельбурн.

Но это был день торпедовской атаки. Точнее, бенефис Стрельцова, при том, что и Валентин Иванов, как всегда, изобретал, комбинировал, исполнял, завершал, словом, действовал в своем стиле. Эдик, однако, затерзал, затиранил, запугал стойких спартаковских защитников до того, что на внимание к стрельцовским партнерам их не хватало. Эдуард не забил «Спартаку» ни одного из двух безответных мячей. Тем не менее говорили после матча только о нем, его одного превозносили, забыв про самоотверженный труд одноклубников.

Персонально против Стрельцова играл герой исторического матча советской сборной с ФРГ Анатолий Маслénкин. На разборе игры Николай Петрович Старостин попенял ему: «Посмотри, Толя, как грамотно сыграл Борис Хренов против нашего Симоняна — и опережал при приеме мяча, и вообще...» Маслénкин перебил основателя клуба: «Да против Никиты я бы тоже сыграл». Чем, естественно, возмутил центрфорварда, напомнившего, что на тренировках в Тарасовке в «двусторонках» Маслénкин не так уж часто с ним справлялся...

Но я все к тому веду, не сказав сразу для поддержания интриги, что «Торпедо» встречалось со «Спартаком» именно 2 мая. Нет, традицию продолжали нарушать — и 1 мая Москва увидела первый для себя календарный матч начавшегося сезона — «Динамо», кстати, с ЦДСА. Но во всем вкусе ощущения футбол в столице открылся стрельцовской игрой.

Хемингуэй вошел у нас в моду несколько позднее, ближе к

шестидесятым. Поэтому про то, что праздник может быть — при сильном желании и, конечно, возможностях — с тобою всегда, я узнал, простите, из творчества Эдуарда Стрельцова, который вернул мне 2 мая. Правда, в дальнейшей моей жизни этот праздник не повторился — и не жил я больше никогда по футбольному календарю. Но верю, что праздник, равновеликий предвкушению праздника, возможен. И кому-то еще предстоит...

Стрельцов открыл сезон пятьдесят шестого года, завершившийся поздней осенью победой в Мельбурне.

8

В рассказе Батанова о том, как тащил на себе Стрельцов киевлянина Голубева чуть ли не полполя — после чего Борис всю жизнь отдает Эдику предпочтение перед Пеле, — без всякого выражения произнесена была фраза о том, что попавший все-таки в штангу мяч превратил в гол Иванов.

Уточнение, однако, во всех смыслах весьма существенное.

Стрельцову бы, вполне возможно, и простили незабываемый гол за испытанное потрясение от мощного продвижения его к воротам. А Иванов обязан забивать — с него иной, без каких бы то ни было любовных послаблений, спрос.

Но я не представляю теперь переложения судьбы и жизни Стрельцова на драматургические колеи сюжета без непрямого поиска соучастия в судьбе этой и жизни Валентина Иванова, чья собственная история кому-то, может быть, и кажется обедненной отсутствием тех катастрофических перепадов, какие узнал в отношении к себе властей и части публики Эдик, при том, что свой счет, особенно к публике, мог бы предъявить и его великий партнер.

Не уверен, что жизнь Стрельцова на протяжении всего пути смотрелась бы так неослабевающе остросюжетно, не возникли бы занимательных параллелей с Ивановым. И, очевидно, параллель увлекает некоторых из нас больше, чем пересечение...

На фуршете, организованном после открытия памятника Стрельцову при входе на стадион его имени, Валентин Козьмич отсутствовал, хотя на церемонию открытия пришел, чем привлек повышенное внимание журналистов разных поколений, одинаково взиравших на него как на реликт. Я вообще заметил, что Иванов из всех ветеранов своей поры наиболее узнаваем — вероятно, внешнему забвению отчасти воспрепятствовала активность бывшего партнера Стрельцова на тренерской скамейке, растиражированная телеоператорами. Да и сохранился Кузьма совсем неплохо, чуть располнел, а все же выглядит молодо и браво. Но отсутствие Иванова

не осталось незамеченным группой торпедовских футболистов, выступавших с ним в середине шестидесятых (я оказался у банкетного стола рядом с ними), причем вызвало немедленный отклик-комментарий. «А Кузьмы нет?» — оглядел зал один из этих несправедливо, в общем, позабытых господ. «А разве надо объяснять — почему?» — с иронически сочувственной улыбкой проговорил другой, сделавший карьеру на несколько неожиданном для полузащитника дипломатическом поприще. Из его недоговоренности посвященным следовало понять, что Валентину Козьмичу нелегко перенести посмертный триумф Эдика, превратившегося в монумент.

Но сами того, наверное, не сознавая, подшучивающие над кажущейся слабостью Иванова, они высказывали тем самым наивысший комплимент: кто же, кроме него, мог позволить себе пусть и ревниво-ранимо, но соотнести себя с натурой для изваяния, кто же еще достоин соседствовать с ним в футбольной истории — пусть и не вполне, как показало беспощадное время, конкурентоспособно?

Когда Эдик пришел в команду, двадцатилетний Иванов уже занимал в ней положение — и мог бы надуться высокомерно, высказывать свое старшинство и подчеркивать свою принадлежность к группе ведущих игроков. Но — к чести Кузьмы — он сразу разглядел Стрельцова. И я думаю, что поверил не только чутью тренера Маслова, но и своему игроковскому — в первую очередь. В сближении с Эдиком, которому не стукнуло и семнадцати, была наверняка и высокая корысть. Он разглядел в нем прежде всего необходимого себе партнера.

Но разве наилучшие партнеры становятся друзьями?

Обычно совсем наоборот.

В сороковые годы, кроме футбольного бума, был и волейбольный. Увлечение волейболом представлялось повальным. И волейбольные звезды не уступали в популярности звездам футбола. Со всех уст почитателей этой игры не сходили имена Щагина и Якушева — некий аналог футбольных Боброва и Федотова. Они оба выступали за клуб «Динамо» и за сборную страны. Щагин рассказывал, что на площадке они друг для друга превращались в Лешеньку и Володичку — и не было для них в игре любимее партнера. Но вне площадки, кроме ритуальных выпивок всей командой в дни побед, ничего их не соединяло. Более того, команда распадалась в быту на группировки, возглавляемые одна — Щагиным, а другая — Якушевым.

Ни в «Динамо», ни в ЦДКА, ни в «Спартаке» никто не замечал особо приятельских отношений между Федотовым и Бобровым, Бесковым и Карцевым или Симоняном и Нетто — друзьями лидеры и звезды делают только в мемуарах...

Иванов же со Стрельцовым вместе проводили и все свободное

время; их поселили в одном доме на Автозаводской — и даже фельетонист Нариньяни, прицеливаясь в Эдуарда, не спешил отвести «мушку» ядовитого пера от Валентина.

В нетрезвом состоянии Стрельцов проговорился мне, что настоящего друга в жизни ему так и не удалось обрести. Но из путаных его объяснений я все-таки понял, что в молодости — задолго до подведения жизненных итогов — он считал Кузьму другом. Да и всем, кто знал их, кто видел их часто, ежедневно в годы все более и более значительного сотрудничества центрфорварда с правым инсайдом, они представлялись единым целым, неразлучной — некуда и некогда было им разлучаться — парой, когда один был до смешного невообразим без другого: они всегда вместе выходили из дому, шли к метро Автозаводская, где в ожидании автобуса собирались торпедовцы, всюду бывали только вместе. И на поле Эдик обязательно вставал на защиту менее крепкого физически Вали. Его и с поля как-то раз удалили за то, что он — не таясь — ударил защитника соперников, обидевшего Иванова.

Я догадываюсь, что в этой дружбе до определенной поры Иванов был ведущим, но вовремя понял, что покладистый Эдик в общем-то неуправляем, а подчиниться стихийности его проявлений — значит погубить себя, не реализовать свою козырную возможность жить и рассуждать здраво.

Иванов был гораздо умнее Стрельцова в жизни, а в чем-то и на поле. Те озарения, что посещали Эдика в игре, Валентину — по его-то природе — и не требовались. Эти озарения и адресовались тому мышечному дару, которым никто, кроме Стрельцова, в футболе не обладал. Гениальность Эдуарда никак не заставляла Иванова комплексовать на поле, но на то всепрощение, на которое подсознательно надеялся Стрельцов, умный Валя не мог и не собирался рассчитывать. Ум оберегал его и от ненужной зависти — он и не посягал на предназначенное партнеру. Он проникся перспективой сотрудничества на поле — и очень правильно распорядился слитностью их силы в футболе. Специалисты отмечали, что в своем дострельцовском премьерстве Иванов не дотягивался еще до мастеров уровня, скажем, Сальникова или Нетто, а при Стрельцове быстро приобрел игровую весомость — и теперь всякие сравнения, кроме, как со Стрельцовым, чаще всего оборачивались в его пользу... Иванов, как и положено большому игроку, умел только максимально воспользоваться ситуацией на поле, вызвав из нее все возможное, но и сам мог ее создать. Однако Стрельцов одним своим присутствием в футболе являл ситуацию чрезвычайную — с образуемым его участием в матче форс-мажором примирились, словно со стихией. Очень долго Кузьма проявлял удивительную широту, когда вынуждали его на разговор, затрагивающий щекотливую

темужурного сравнения со Стрельцовым, — и безоговорочно признавал превосходство стрельцовского гения над огромностью своего таланта, значение которого он готов был даже и принизить, дабы сказать об Эдике не сказанное другими вслух и вовремя.

Но в последнее время, когда отошел он от тренерства и выкроилось больше времени на представительство и воспоминания, а Эдуарду уже успели воздать должное, мне показалось, что Валентина Козьмича стал раздражать не то чтобы культ Стрельцова, но обязательная привязанность ивановской жизни к стрельцовской с бестактным минусом в оценке, неведомо кем выставляемой. Почитатели Стрельцова, похоже, забыли, что Иванов сыграл семь сезонов без Стрельцова, выступил небезуспешно на двух чемпионатах мира, лидируя в советской сборной. Что так много, как Кузьма, никто для «Торпедо» и не сделал...

И я допускаю, что некая горечь от того, что глупо прожитая жизнь Эдика (Стрельцов вполне мог сказать вслед за Фаиной Раневской: «У меня хватило ума прожить свою жизнь глупо», но не сказал, конечно, да и не слышат никогда ее парадоксального высказывания) постепенно превращается в пример для назидания, слегка отравляет нынешнее славное существование Валентина Иванова.

9

Иванов с детства болел за московское «Динамо» — он попал на футбол впервые вместе со старшими братьями Владимиром и Николаем, а они оба были динамовскими болельщиками — и не мог сделать иного выбора. (На матч, где в финале Кубка встречались «Динамо» и «Торпедо», сумел проникнуть единственный из трех братьев Коля с букетом цветов для динамовских игроков — какие могли быть сомнения в их победе? — но приз впервые в своей истории взяли футболисты автозавода. И ближайший родственник лучшего впоследствии торпедовского бомбардира вернулся с цветами домой.)

Стрельцов — за «Спартак».

Оба не оригинальны в ранних пристрастиях.

Оригиналы (морально подкрепленные почти семидесятитысячным коллективом автозавода сначала имени Сталина, а потом — Лихачева) болели как раз за «Торпедо», не испугавшись оставаться на трибунах в меньшинстве.

Иванов и Стрельцов пришли, однако, в команду с прошлым, которого никто в ней не стыдился и от которого никто в «Торпедо» не собирался отречься. Пришли в команду, возглавляемую уважаемым

тренером, немало уже натерпевшимся до знакомства с Валентином и Эдуардом за свои взгляды на футбол и характер, никогда почему-то не устраивавший начальство, при том, что был «Дед»-Маслов человеком кутузовского склада и вряд ли намеренно сердил заводских командиров.

В чем же выражались традиции московского «Торпедо» доивановской и дострельцовской эры?

Торпедовцы могли, повторяю, выиграть у любого сильного и знаменитого клуба, включая и динамовцев с армейцами в пору их непобедимости, а позднее возрожденный «Спартак». Но дух противоречия никогда не мешал «Торпедо» проигрывать тем же командам с крупным, позорным, разгромным счетом.

Еще во времена, когда институт тренеров только начинал складываться, «Торпедо» показало себя командой управляемой и способной соблюдать игровую дисциплину.

В сезоне тридцать восьмого года имя тренера Сергея Бухтеева вспоминали чаще других тренерских имен. Не потому ли, что работал он с командой, где звезд не числилось? Хотя торпедовский центрфорвард Синяков на какой-то миг затмил всех знаменитостей своего амплуа. Но в этом — исключительно тренерская заслуга. Бухтеев раньше всех коллег применил «дубль вз»: выдвинул Синякова неожиданно для соперников далеко вперед — и тот беспрепятственно забивал гол за голом. Торпедовцы, впервые выступавшие по высшей лиге, некоторое время лидировали. То, что они не выдержали гонки за более опытными и гораздо лучше укомплектованными клубами, не пошатнуло авторитет Бухтеева. В сороковом году ему предложили тренировать одну из лучших тогда команд — ЦДКА. Сергея Васильевича можно отнести и к пионерам в теории футбола. Он написал книгу «Основы футбольной техники».

Я думаю, что Бухтеев удачей — пусть и кратковременной — своих экспериментов пробудил интерес к тренерскому делу в игравшем полузащитника Викторе Маслове.

Маслов — ровесник Якушина: они оба десятого года рождения. И почти одновременно — Маслов чуть раньше — стали тренерами. В отличие от знаменитейшего и действительно выдающегося игрока «Михея» Виктора Александровича скорее назовешь середняком. Но вовсе не посредственностью — в список пятидесяти пяти лучших игроков за сезон тридцать восьмого года он входил. Под пятым, кажется, номером на своей позиции. Но, для примера, главная послевоенная звезда «Торпедо» Александр Пономарев — и до войны очень и очень приметный лидер атаки сталинградского «Трактора»! — в этот список (не важно, справедливо или несправедливо) не включался.

Громкой победой динамовцев в чемпионате сорок пятого и

мифологизированным турне на родину футбола Михаил Якушин мгновенно поставил себя на несравнимую с началом Маслова в «Торпедо» высоту. Более того, в год триумфа тренера «Динамо» Виктора Александровича вообще отставили от занимаемой должности.

И в дальнейшем за сколько-нибудь чувствительный неуспех вверенной ему команды «Деда» (это прозвище он получил от игроков, надо полагать, за «домашность» создаваемых им отношений внутри команды) немедленно освобождали от тренерства. Считается, что из великих тренеров от места чаще всего отказывали Константину Ивановичу Бескову. Но Бескова увольняли из разных клубов, а Маслова шесть раз из одного только «Торпедо». Склонность к перемене тренеров в суперклубах с такими шефами, как органы безопасности и внутренних дел, министерство маршалов и генералов с большими звездами и зашифрованное начальство «Спартак», понять легче: отрицательное мнение накапливалось в инстанциях, а уж дальше доводилось до сведения государственных людей. Но на автозаводе-то начальственных этажей поменьше... Тем не менее директор ЗИСа Иван Лихачев не без оснований тоже считал себя человеком государственным, руководил своим заводом, как Сталин страной, а кроме того, как заядлый болельщик, вникал во многие детали жизни родной команды. Что, с одной стороны, давало подшефной команде дивиденды, но с другой — до крайности усложняло тренерскую жизнь.

Смешно бы считать третье место в первом послевоенном чемпионате неуспехом. У «Торпедо» не было и не могло быть такого звездного состава, такого приближенного к идеалу подбора игроков, как в ЦДКА и «Динамо». Но Лихачев помнил, что в годы войны его команда в первенстве и Кубке Москвы и с армейцами, и с динамовцами, и со спартаковцами играла совершенно на равных, а то и посильнее.

В «Торпедо» взяли гремевшего до войны в составах «Спартак» и «Динамо» Анатолия Акимов. По результатам сезона сорок восьмого Акимов в списке лучших опередил и Хомича, и Никанорова — голкипера ЦДКА. Но лучшую свою пору восхитивший еще в тридцать шестом году парижан Акимов миновал — выручал теперь Анатолия Михайловича и команду его опыт. В команде завода Лихачева собрались и другие, пусть и чуточку менее чем Акимов, популярные и выдающиеся игроки. Были сильные защитники Владимир Мошкаркин и Августин Гомес. Был полузащитник Николай Морозов, ставший заслуженным мастером спорта во времена, когда звания присваивались с большим разбором, в дальнейшем тренер «Торпедо» и сборной СССР. Очень много ждали от форварда Александра Севидова — впоследствии элитного тренера — но он

получил тяжелую травму и рано закончил карьеру, правда, в сезоне сорок пятого сыграл. Инсайд Георгий Жарков котировался среди специалистов и болельщиков. И Александр Пономарев, конечно. О нем — особый разговор. Но в основных составах ЦДКАи «Динамо» — на то они и суперклубы — игроков не выдающихся не было вовсе.

Судя по справочникам, третьим местом в чемпионате сорок пятого года (с отставанием от чемпиона на двенадцать очков, что директора, конечно, огорчало) торпедовцы обязаны были «королю воздуха» двадцатых — тридцатых годов Федору Селину, служившему на автозаводе имени Сталина (где и Маслов во время войны командовал транспортным цехом). Но Селин пришел и команду в сентябре — ближе к завершению сезона, — а весь сезон работал с нею Маслов. В назначении тренером Селина был некий педагогический трюк. Маслов, между прочим, разгневал директора безобразным проигрышем в Киеве (судьба: через двадцать лет Виктор Александрович станет самым удачливым — до Лобановского — тренером киевского «Динамо»).

Селин, как и многие из прославленных футболистов, не был приспособлен для тренерской деятельности. И Маслова на следующий год вернули обратно. Он уже успел войти в число наиболее известных в стране тренеров, и один мой приятель — сын профессора Общественной академии и заместителя редактора «Московской правды» — врал в доверчивом послевоенном дворе, что его отец — тренер «Торпедо» Маслов.

Нет сомнений: постановка игры «Торпедо» в сезонах сороковых и пятидесятых — заслуга Маслова и только Маслова. Правда, главные достижения пришлось на более поздние времена. Легко предположить, что взгляды его на футбол, в дальнейшем признанный фирменно масловским, формировались и в опыте работы с более послушными тренерской воле игроками, и в ненастойчивом укрощении «Дедом» Александра Пономарева.

Тренера Маслова за Пономаревым вроде бы и не видно было — с трибун кричали: «Саша, распорядись!» Пономарев, вероятно, ассоциировался у автозаводских болельщиков с Лихачевым, в честь которого и переименовали завод после смерти Ивана Сергеевича (и разоблачения Сталина — соответственно...).

Кубок у торпедовцев был шанс выиграть в сорок седьмом году. Победившие в полуфинале ЦДКА, они считались фаворитами перед финалом, а не «Спартак». Но «Спартак» в самые трудные для себя сезоны и стал признаваться всеми командой кубковой — они дважды подряд били в решающем матче тех, кому заранее отдавалось предпочтение. В сорок шестом году знатоки ставили на тбилисское «Динамо», а грузины не удержали выигрышного счета и в дополнительное время не устояли перед спартаковской жадой

возвращения в элиту.

Кубок сорок девятого года — в матче, с которого брат Валентина Иванова принес обратно домой цветы, — торпедовцы выиграли под руководством не Маслова, а Квашнина — самого удачливого довоенного тренера, приводившего в чемпионы и «Динамо», и «Спартак». Лихачев, ходили слухи, на радостях премировал победителей машинами заводской марки. Ликование от первой исторической победы должно было вознести Константина Квашнина и предать забвению Виктора Маслова.

Но цену Маслову — при всех придирках — на заводе знали.

И в следующий заход «Деда» в команде и появились герои нашего повествования. Но сначала «Торпедо» покинул Пономарев...

Александр Семенович ушел, но не сошел — он уехал, вероятно, подзаработать на конец карьеры, к себе на родину в Донбасс. Футболисты донецкого «Шахтера» (Донецк назывался тогда Сталино) были поставлены в наилучшие условия, прикреплены к шахтам, где им шла приличная шахтерская зарплата (а платили тогда шахтерам хорошие деньги, они считались весьма привилегированной частью рабочего класса). Вокруг «Пономаря» собрались приличные игроки — и, предводительствуемые им, они заняли впервые третье место. Но следующий сезон он уже явно дотягивал на авторитете. А в год прихода Стрельцова в «Торпедо» Александр Семенович Пономарев стал старшим тренером «Шахтера».

Игра «Торпедо» без Пономарева поначалу казалась менее колоритной. Вместе с тем без необходимости работать всем только на одного лидера футболисты гораздо меньших, но несомненных достоинств стали чаще оказываться на виду. Я бы не назвал их — Нечаева, Габичвадзе, Золотова, Сочнева, Соломатина — выдающимися игроками, но вот помню же каждого и через полвека. Из относительно — в сравнении с наступавшими — хороших для «Торпедо» времен оставался в составе испанец Августин Гомес — по-прежнему один из лучших игроков обороны в стране. Перед началом сезона пятьдесят третьего года Гомеса встретил в Киеве конферансье Кравинский — и посетовал, что вот болел он с войны за ЦДКА, но клуб армейский расформировали и не знает он, за кого же теперь болеть. Может быть, за «Торпедо»? Команда ему симпатична — со своим лицом. Вот жаль, «Пономарь» перешел в «Шахтер». Лысеющий испанец в ответ сказал, что жалеть об ушедшем лидере, наверное, вряд ли стоит. В команду пришла неплохая молодежь. И посоветовал: «Запомните простую русскую фамилию — Иванов!»

Иванову в «Торпедо» предшествовал Петров.

Нет, не тот Петров, сверстник Маслова, заслуженный мастер спорта, выступавший в «Торпедо» со дня присутствия в классе «А» (высшей лиге) и до сорок девятого года. Я про Петрова, которого ни в

каких справочниках нет, но которого из истории «Торпедо» никак не выкинешь.

В пятьдесят втором году «Спартак» был всех сильнее — он выиграл чемпионат и в финале Кубка, казалось, мог без усилия разгромить «Торпедо», у которого в основном составе и резерве не нашлось центрфорварда и пришлось призвать из клубной команды завода, игравшей на первенство Москвы, центра по фамилии Петров. И вот этот самый Петров на последней минуте матча сумел использовать чудовищный ляп спартаковского стоппера Белова, за который в раздевалке после игры вратарь Чернышев швырнул в того бутсой.

После случившегося Петров должен был стать игроком команды мастеров. В программке первых матчей следующего сезона я видел фамилию героя кубкового матча, но больше никогда о нем не слышал.

Иванов же — тот Иванов, которого все знают, — в пятьдесят втором году закончил семилетку — и поступил слесарем-сборщиком в ЦИАМ: Центральный институт авиамогоров. Разбирал американские самолеты, сбитые в Корее. Их фотографировали, изучали, копировали.

В том же году в финале юношеского Кубка Москвы «Крылья Советов», за которые, как «авиационщик», выступал Валя Иванов, проиграли «Спартаку». На матче был Георгий Иванович Жарков — бывший, как мы уже упоминали, торпедовский инсайд, партнер Пономарева и брат жены Григория Федотова. Жарков теперь работал с Масловым вторым тренером. И «Дед» поручил ему подобрать для просмотра в Сочи способных юниоров. Подносчик снарядов для «Пономаря» обратил внимание на Валентина Иванова.

Пройдет год — и путь Иванова в команду мастеров повторит Эдик Стрельцов: он тоже, по настоянию Маслова, поедет с командой на юг — и тоже обратит на себя особое внимание.

В Сочи Иванов в числе еще двадцати претендентов съездил в декабре пятьдесят второго, а в январе пятьдесят третьего его устроили на автозавод в электросиловой цех. И поскольку про основной состав мастеров никто еще не загадывал, то до весны он действительно приходил на работу — и мотал какие-то провода. Учился, кроме того, в техникуме при заводе. Но весной уехал с командой на южные сборы — в штат «Торпедо» его, однако, пока не включили...

Первую игру, в которой Валентин Иванов участвовал, против вильнюсского «Спартакa» в Вильнюсе торпедовцы проиграли 1:3. После матча, когда старшие огорчались из-за уплывших восьмисот рублей на брата, (в старом исчислении), он впервые узнал, что за выигрыш платят особо. Ему шел девятнадцатый год — он родился 19 ноября, а разговор происходил 2 мая. «А теперь, — смеется

сегодняшний Иванов, — мальчишки в четырнадцать лет уже получают за футбол деньги и отлично знают, за что им причитается...»

Смешно и странно, наверное, сейчас, когда знаешь, что говорим мы про фигуру, равную или даже превосходящую едва ли не любую из современных ему европейских звезд, мастера, вряд ли уступающего, скажем, Платини, вспоминать, как вращался он и как не потерялся в компании футболистов, никак не претендующих на международное признание и рядом не стоящих с классиками, к сонму которых и Валентин Козмич ныне принадлежит. Но мы ведь говорим скорее про Маслова, прозорливого и, тем не менее, шедшего на риск, — и видим, как «Дед» не давал возобладать окончательно «дедовщине» в достаточно возрастной и оттого гонористой команде, уже привыкшей к тому, что заводское начальство не всегда берет сторону тренера, когда экспериментирует он с основным составом.

Маслову было важно, чтобы Валя в своем первом же сезоне затасовался в сложившуюся «колоду» безболезненно, не «ступая в конфликт с „тузами“». В протекции тренера не должно было чувствоваться насилия над личностью кого бы то ни было из ветеранов. „Получил мяч — отдай“, — наставлял „Дед“ дебютанта. Игру, иными словами, бери на себя постепенно, иди в обыгрыш, когда уж обретишь уверенность, которую недолго и потерять при первых же ошибках, сопровождаемых окриком недовольных и влиятельных партнеров.

Маслов увидел в Валентине Иванове игрока команды, которой пока нет, но которая при коллекционном подборе исполнителей, может когда-нибудь и сложиться, сочиниться у наученного горьким опытом «Деда».

В августе проиграли несколько игр — и тренера в «Торпедо» сменили: место Маслова занял Николай Петрович Морозов. Свой, из «Торпедо», хотя на сходе Петрович изменил автозаводу ради сталинского ВВС.

Морозов почувал в Иванове программного масловского игрока — и поскольку при замене одного тренера другим считается хорошим тоном ломать построенное предшественником, перевел Иванова в дубль, мотивируя это тем, что он, Николай Петрович, сторонник становления только шаг за шагом: группа подготовки, дубль и только потом основной состав. Но у «Торпедо» оставалась возможность побороться за призовое место. Через три игры тренер вернул Валентина, подтвердив тем самым безошибочность масловского решения. И правый инсайд получил первую в своей жизни медаль — бронзовую.

На следующий сезон у него в команде Морозова появился партнер и — случайно ли? — тоже протеже «Деда».

СТИЛЯГА-ОЛИМПИЕЦ

10

Вцентре — на месте Пономарева — и при Маслове, и при Морозове играл Евгений Малов. Типичный для этого амплуа (в элементарном понимании) игрок — крепыш, не очень высокого роста (но и «Пономарь» не был рослым), Малов отличился в обещавшем команде третье место матче — забил единственный гол московскому «Динамо» за две минуты до конца. Обиженный приглашением в команду Гулевского — или испугавшийся конкуренции с известным форвардом — Малов накануне сезона перешел из «Торпедо» в «Локомотив». А может быть, и не Гулевского, а замаячившего на горизонте Стрельцова опасался преемник Пономарева? Но уверен — про Эдика и Гулевский, наверное, ничего не слышал... А то бы зачем принял приглашение в Москву?

Торпедовские юноши в пятьдесят третьем году приехали на стадион «Фрезер» — сыграть с первой юношеской командой завода. «Торпедо» привез тренер Василий Севастьянович Проворнов, работавший с клубными командами, а до того игравший в нескольких командах мастеров (в «Торпедо» при Маслове и при Квашнине). Проворнов дружил с тренером «Фрезера» Марком Семеновичем Левиным. Левин и просил его посмотреть на трех своих ребят — Женьку Гришкова, Леву Кондратьева и Эдика Стрельцова.

Но стадион «Фрезер» — в Плющево, а Стрельцов в тот день играл у себя в Перове за первую мужскую команду — и пока он из Перова ехал на велосипеде, первый тайм уже отыграли. Стрельцов успел ко второму. И Проворнову впечатления от его игры во втором тайме хватило для принятия решения — взять всех троих в «Торпедо».

В шестьдесят четвертом году я сидел рядом с Юрием Золотовым в торпедовском автобусе — ехали из Мячкова в Москву — и уж не помню в связи с чем тогдашний второй тренер команды мастеров сказал, что то ли Гришков, то ли Кондратьев показался им поинтереснее Эдика... Мне очень понравилось это «им» — им: надо понимать, торпедовским ветеранам, подпавшим под «дедовщину» Маслова, дедовщину наоборот, где молодые Иванов со Стрельцовым, как любимцы «Деда», всем верховодили. Вместе с тем не могу не напомнить, что Маслова в команде довольно долго — до пятьдесят седьмого года — не было. И взаимоотношения с торпедовскими стариками молодые люди налаживали сами, на свой страх и риск. И

спайка между ними поистине моряцкая — не отсюда ли? Футболисты в команде живут тесно — Стрельцову с Ивановым и в быту надо было отстаивать собственную самостоятельность — с точки зрения Золотова, Марьенко и компании, преждевременную.

Я, каюсь, провокационно — совсем еще недостаточно зная тогда Эдика — спросил у него: помнит ли он Гришкова и Кондратьева, намекая, что рядом с ним бывали и такие, что котиrowались выше. Но Эдуард — редкий или вообще единственный из спортсменов, кто никогда не переживал — мог себе позволить — из-за конкуренции, не комплексовал из-за того, что ему кого-либо ошибочно предпочитали.

Про Гришкова (или Кондратьева, не помню) он только и сказал: да он же и не захотел играть, пошел в институт учиться.

За дублирующий состав «Торпедо» Эдик сыграл в Батуми на сборах всего четыре раза — зимой на турнире в Горьком он бегал по снегу уже как игрок основного состава. Чтобы не мерз, налили ему стакан портвейна в перерыве — с непривычки «я о...уел», — вспоминал потом со смехом ветеран.

В первых матчах сезона пятьдесят четвертого года он все-таки посидел немножечко на скамейке запасных. Выпускал его Морозов минут на двадцать.

В Харькове — Харьков считался югом — торпедовцы провели две игры: с местным «Локомотивом» и ленинградскими «Трудовыми резервами». И в матче против ленинградцев Эдик принес-таки пользу. Он вышел на поле при счете 2:0 в пользу Ленинграда. И второй гол отквитали при непосредственном участии новичка — Стрельцов пошел прямо на защитника — и тот в испуге пробил мимо своего вратаря.

В первый раз с начала игры Эдуарда поставили с тбилисским «Динамо». Обида на «Торпедо» у динамовцев оставалась с прошлого года — и за зиму не прошла. И состав у грузин — будь здоров. Автандил Гогоберидзе — левый инсайд — в сборной мог не хуже сыграть и на месте правого. И призывался в основной ее состав.

Во втором тайме тренер «Торпедо» показал жестом замену — Стрельцов подумал было, что меняют его. А когда понял, что остается на поле — и только с правого края переходит на левый — обрадовался. И сразу же разыгрался, стал брать игру на себя — с легкой душой шел в обводку двух защитников. Воспользовавшись моментом, пропихнул мяч у защитника между ног, развернулся и пробил с левой ноги в верхний угол — известный вратарь Владимир Маргания и не пошелохнулся... Торпедовцы острили, что мяч после такого удара из ворот надо вытаскивать трактором. Стрельцов рассказывал, что запомнил не мяч в сетке, а крик с трибун. «Ко мне публика в Тбилиси как-то по-особенному после того гола отнеслась и потом всегда хорошо встречала». В Тбилиси и начался роман

Эдуарда Стрельцова с футбольной публикой...

Про дебютный триумф Эдуарда в Черкизове уже говорил. Но не сказал, что быстро освоившийся в составе Стрельцов поцапался с опытным центральным защитником «Локомотива», рыжим Геннадием Забелиным, — и Морозов счел за благо прыткого новичка заменить, не доводить дело до удаления с поля: необходимость Эдика для команды становилась для тренера очевидной. В той игре ясным стало и то, что роль центра нападения переходит от Гулевского к Стрельцову.

Но Забелин остался при особом мнении — Стрельцов показался ему всего-навсего раскапризничавшимся пижоном. И когда турнирный календарь снова свел их в единоборстве, он решил приструнить стилиягу. Защитники не цацкаются с не нравящимися им форвардами — Геннадий высоко выставил ногу навстречу мчащемуся Эдику, чтобы тот на нее наткнулся грудью. И вдруг, как рассказывал Забелин футболистам уже второй лиги, куда он после случившегося спустился из «Локомотива», стоппер почувствовал, как собственная нога вдавливается в него обратно, входит внутрь его, словно в футляр...

Забелина и прочих игроков соперничавших с «Торпедо» команд убедить оказалось легче, чем торпедовского старшего тренера.

Когда по завершении сезона Николай Петрович Морозов давал игрокам письменные характеристики, перспективы Эдика он оценил ниже возможностей, скажем, Вацкевича... Будем думать, что пером все-таки водила рука педагога, а не футбольного специалиста.

На перестановку в составе Петрович решился после того, как вернулся в мае из Венгрии — он ездил в Будапешт на матч хозяев поля с англичанами. Англичане осенью пятьдесят третьего проиграли в Лондоне 3:6 — и клялись, что возьмут реванш на поле соперников, ставших в мировом футболе законодателями моды, но проиграли еще круче: 1:7.

Настоящий тренер должен уметь подхватить, уловить, по крайней мере, идею, исходящую из самих же игроков — в идеале надо и свое сокровенное преподносить игрокам, как заимствованное в их практике. И при Гулевском в центре атаки левый край Стрельцов взаимодействовал с Ивановым. Освобожденные от черновой работы полностью — в оборону оттягивался Алексей Анисимов — они выдвигались далеко вперед, сориентированные исключительно на атаку.

Все команды играли тогда в три защитника — и Стрельцов с Ивановым чаще всего выходили вдвоем на одного обороняющегося.

И от Иванова, и от Стрельцова я слышат, что они с первого совместного матча понимали друг друга так, как будто родились, чтобы сыграть в футбол сообща.

Но друг с другом они только и могли поначалу

взаимодействовать.

Менее дипломатичный Стрельцов труднее — он сам это признавал — находил контакты на поле с торпедовскими старожилами. Он шутил, что пасы ему стали отдавать, когда он уже за сборную выступал. А так, кроме Кузьмы, никто мячом не хотел поделиться. Правда, тут же добавлял Эдик, «он, Иванов, один многих стоил»...

Стрельцов сердился на упорство ветеранов — и простодушно спрашивал: что же вы? Мне никто не мешает, нет рядом защитника, самый момент пас отдать, а вы не отдаете? Ветераны отмалчивались. Позднее, через годы и годы, Эдуард говорил, что понять их, конечно, можно. Кто он такой — в команде без году неделя — чтобы создавать ему особое положение? Наверное, думали: еще один гол забьет — совсем занесется... И юный Стрельцов старался не обижаться на тех, кто ревновал к нему футбол. Надеялся вдвоем с Ивановым разобраться, без их помощи.

В год дебюта Стрельцова «Торпедо» выступило в чемпионате заметно хуже, чем в предыдущем сезоне. Девятое место. Победили всего в восьми матчах. Забили они из тридцати четырех командных голов одиннадцать: семь Иванов и четыре Стрельцов.

Но и в Москве, и во всех городах, куда «Торпедо» приезжало, народ стал приходить на стадион — посмотреть на новых форвардов...

Стрельцову очень нравилось жить на сборах в Мячково — в команде собралось много острословов, шутников. Юмористы не щадили Эдика, не выделяли его из числа высмеиваемых. Но он говорил, что никогда потом не бывало ему так весело, как в первое футбольное лето.

Свободные дни он по-прежнему проводил в Перове — в кино или на танцах. Все, конечно, знали об изменениях в его жизни — и уважали больше. Но ничего существенного в отношениях с окружающими не менялось. Мать стирала форму, кормила. Софья Фроловна очень быстро превратилась в болельщицу и строго критиковала сына — тоже спрашивала: «Чего же ты все время стоишь?»

Он уже чувствовал себя постоянно на людях. Но не мог еще точно ответить себе: нравится ли ему это или стесняет?

В Москву переезжать он и не хотел. Можно сказать, что переехал не по своей воле. Жил бы себе в пригородном Перове и дальше — в Мячково на торпедовскую дачу ездили по

Старо-Рязанскому шоссе — как раз мимо... «Семизтажка» — самый большой перовский дом — был ориентиром: Стрельцов подходил к нему (как позднее к метро «Автозаводская») — и автобус с командой его подбирал.

Но однажды, не зная, что сроки международной встречи передвинутся, игроков отпустили по домам, а они немедленно потребовались. За Эдиком послали в Перово автобус — и два часа не могли его дом найти. А когда нашли — не застали. Ведущий игрок «Торпедо» на танцверанду ушел.

Вот после этого случая зилдовское руководство решило переселить его на Автозаводскую — поближе к остальным. Позднее деятели парткома и завкома сознались, что они еще очень надеялись оградить Эдика от дурного влияния его перовских приятелей.

Они стали жить с Ивановым в одном доме — тот на втором этаже, а Стрельцов на шестом. Софья Фроловна в Москве из-за набора болезней своих больше не работала, сын мог ее теперь полностью содержать, а мать Валентина была поздравнее, устроилась лифтершей.

В пятьдесят четвертом году возродилась футбольная сборная СССР.

Подшли к созданию новой команды, на мой взгляд, с умом — в том смысле, что действовали спокойно, не впадали в крайности: настолько, насколько такое у нас возможно. Тому способствовало и время некоторых послаблений — не устану повторять, что послабления в советском режиме сильнее всего ощущались в своей наименее декларируемой стадии. Когда никто официально от Сталина не отрекался, на самом верху продолжалась борьба за единоличное руководство — и до какой степени откручивать затянутые до срыва резьбы гайки, решалось в подковерной борьбе. Либерализм мог и принести очки в такой борьбе, а мог и — нет. Но сами намерения, намеки даже на них позволяли вообразить несколько большее, чем потом произошло.

Самое страшное из того, что могло случиться в пятьдесят втором году для спортсменов, случилось на олимпийском турнире по футболу. Виновные понесли наказание по советским меркам относительно мягкое. И от начальников спорта требовалось не так-то и много — с пользой распорядиться временем, отведенным для подготовки к Олимпиаде в Мельбурне: не наступать на грабли.

Из прошлого взяли псевдоним для пробных игр — сборная Москвы. Эта сборная провела по две товарищеские встречи на родине с хорошо знакомыми спарринг-партнерами: сборными Болгарии и Польши.

Имя Василия Соколова в истории тренерского цеха отмечено меньшим пиететом, чем имена Аркадьева, Якушина, Качалина,

Маслова и тех, кто пришел им на смену. Но Соколов — очень известный левый защитник, многолетний капитан московского «Спартака», игрок с довоенным стажем — выступал почти до сорока лет и очень органично перешел на тренерскую работу. И привел команду к победам в двух чемпионатах подряд. Если придирааться к Соколовским достижениям, можно заметить, что дали ему фору. ЦДСА расформировали. Бориса Андреевича отправили в «Локомотив», который надо было поднимать из руин. Михаил Иосифович трудился в Тбилиси, в московском «Динамо» управляли Виктор Дубинин и якушинский подшефный Михаил Семичастный, не задержавшийся на тренерском поприще. В «Спартаке» сложилась наилучшая рабочая обстановка — старший товарищ продолжил сотрудничество с младшими, с теми, с кем вчера играл. Иногда такой расклад становится непреодолимым препятствием в новых отношениях. Но Соколов-игрок был на четырнадцать лет старше Симоняна, на восемнадцать — Нетто, на девятнадцать — Ильина, остальные в дети ему годились: он для них и на поле был играющим тренером.

В помощь Соколову, назначенному руководить возрожденной сборной СССР, отрядили Якушина, возвращенного в Москву. Это было спорным решением. Якушин, конечно же, — и разве без оснований? — ставил свою квалификацию, опыт и вообще тренерский талант выше возможностей поставленного над ним Василия Николаевича. Но на тот момент состав «Спартака» был посильнее. У «Динамо», кроме вратаря Льва Яшина и форварда Сергея Сальникова, не перестававшего чувствовать себя спартаковцем, несомненных кандидатов в сборную страны, пожалуй, и не было — даже Константин Крижевский в том сезоне был не в самой лучшей своей форме.

Протежируемые Якушиным Шабров и другие в сборной Москвы поначалу показались слабее иных кандидатов. Сборная один матч выиграла, один свела вничью и два проиграла — паники, как я говорил, неудачи не вызвали, но коррективы в состав внесли. Под флаг сборной СССР к матчу со шведами в устоявшийся состав ввели Анатолия Башашкина — он, как и Бобров, в пятьдесят третьем году поиграл сезон за «Спартак» и вернулся в реабилитированный по приказу маршала Жукова, ставшего после ареста Берии министром обороны, ЦДСА к тренеру Пинаичеву, а также Автандила Гогоберидзе, составившего правое крыло с быстрым спартаковским краем Борисом Татушиным.

Сборная создавалась как некий постоянный институт с большим доверием к ее ключевым, проверенным в деле игрокам, под которых подбиралась тактика и пристрастиями которых в футболе определялся стиль — тогдашняя национальная команда ни минуты не

была безликой и в дни побед, и в дни неудач.

Сказав о доверии к проверенным мастерам, не удивлюсь ничуть коварному вопросу: а разве в сборной, опозорившейся на Олимпиаде, не доверяли в первую очередь знаменитостям? Но я-то никогда не соглашусь хаять нашу первую олимпийскую сборную. Ее просто погубила возрастная несбалансированность. Сколько раз говорено: не сломайся перед игрой с югославами молодой Ильин, еще неизвестно, как пошли бы дела в атаке, которой не хватило свежести и скорости... В сборной же образца пятьдесят четвертого ведущие игроки переживали лучшую пору — ни Сальникову, ни Симоняну не было тридцати. Нетто — двадцать четыре, Ильину — двадцать три, Татушину — двадцать один, в обнадеживающем для вратаря возрасте пришел в национальную команду Лев Яшин...

Привлечение к тренерскому штабу Гавриила Качалина вместо Якушина — и с перспективой на большее, при том, что никаких претензий к Василию Соколову не высказывалось, — тоже говорило в пользу постоянного института.

Гавриил Дмитриевич ничего ни с какими клубными командами не выигрывал. Работал с московским «Локомотивом» перед назначением туда Аркадьева без заметных достижений. Но репутация специалиста тем не менее за ним утвердилась. Можно было посмеиваться над обликом и манерами клерка, каким казался Качалин в сопоставлении с интеллектуальной респектабельностью Аркадьева, за версту выдающими гения чудачествами Якушина, мудрой простоватостью Маслова, чье время главенствовать в цехе еще не пришло... Вместе с тем внутри большого футбола бывший полузащитник московского «Динамо» — Качалин выступал в чемпионском составе тридцать седьмого года — не вызывал у знающих людей отчуждения, что-то важное они успели о нем узнать и поверили в него... Однако Качалин Качалиным, а к важнейшей для начала своей истории игре сборная подошла в сезоне пятьдесят четвертого с прежним руководством — спартаковским тренером Соколовым.

...Победа венгров на Олимпиаде в Хельсинки вызвала в кругу советских футболистов завистливое недоумение: мы же без урона своему достоинству встречались с будущими олимпийскими чемпионами совсем незадолго до начала Игр. Но венгерская сборная выигрывает у англичан в Лондоне и разгромом тех же англичан в Будапеште заявила о себе как о претенденте на звание чемпионов мира.

С мировым первенством у них вышла неувязка. Выигрыш со счетом 8:3 в подгруппе у команды ФРГ, вокруг которой накануне турнира никакой шумихи не возникало, помешал венграм полностью мобилизоваться на финал — и финал остался за немцами, так,

впрочем, и не разубедившими футбольных снобов, что венгры все равно сильнейшие по гамбургскому счету. Вместе с тем упущенный исторический шанс для футбольной страны обычно приводит к депрессии то поколение игроков, которому не суждено было стать поколением победителей.

Пройдет четыре с половиной десятилетия и в обновившихся «Известиях» журналист Семен Новопрудский, родившийся намного позже матча нашей сборной с футболистами ФРГ в ранге чемпионов мира, выступит с эссе, утверждающим, что Германии шок от фашизма помог преодолеть футбол. Мысль примечательная и в том еще контексте, что постановка спортивного дела в ГДР копировала советскую, но из-за немецкой пунктуальности во многом ее утрировала. Успехи на международных соревнованиях были значительными, но слепо служили пропаганде, а не одушевлению страны, калькирующей чужую казарменность.

Новопрудский в германской истории XX века акцентирует три ключевые даты: 1918 год — поражение в Первой мировой войне, после чего последовало крушение монархии и многолетняя изоляция страны, 1945 год — поражение во Второй мировой войне, расколовшее страну надвое, 1954 год — нежданная победа немцев на мировом чемпионате по футболу, ставшая началом возвращения Германии под именем ФРГ в мировое сообщество. Новопрудский предлагает отрешиться от ассоциации команды-чемпиона с прочной машиной, сделанной с кондовым немецким усердием. Он видит в победившей всех сборной ФРГ Германию, выражающую себя в футболе с не меньшей полнотой, чем в своих автомобилях или трактатах своих великих философов.

У нас же, при всей запрограммированности во все советские времена на победу любой ценой, отличать победы от поражений на уровне аналитики не хотят и не умеют.

С той победы над чемпионами из Германии и должно было начинаться наше восхождение к чемпионству, сумей мы понять, что сильны мы тем, что в нас чудом не задушено.

Но у нас господствовала беспочвенная мечта превратить себя в немцев, больших, чем сами немцы, и мы, чаще всего вместо того, чтобы стать кем-то, становимся никем только от неодолимого желания стать всем — и немедленно.

Года за два до публикации эссе Новопрудского в издании, расположенном напротив «Известий», высказано было по-своему аргументированное предположение, что есть сегодня резон поискать необходимую нам национальную идею в футболе. Не помню сколько-нибудь внятных откликов на такой призыв. И думаю все же, что национальная идея лежит в культуре нашей, искусстве и литературе — и не надо искать ее, она давно найдена, хотя, увы, не

защищена населением страны, с каждым годом всё слабее ощущающим себя народом... А что до футбола, то ему, футболу страны, декларирующей себя великой, нельзя, по-моему, страшиться быть зрелищем для избранных, а не просто званых. Демократический характер действия не должен уводить его вовсе уж из поля эстетики, когда диктовать футболу свой вкус, точнее, безвкусие, могут те, кто ничего в футболе, кроме нарастающей агрессии, не видит. Своеобразие отечественного футбола в корневой связи с культурой страны, где стал он за прошедшее столетие всепроникающе популярен. И разве же не соотносимо явление в нем Эдуарда Стрельцова с наиболее типичными явлениями народной жизни, преобразуемыми в искусстве и литературе?

Приглашая в Москву венгров вслед за поляками и болгарями, советские спортивные руководители демонстрировали верность методам подготовки, опробованным перед неудавшейся нашим футболистам Олимпиадой... Кто-то умный подсказал, что у олимпийских чемпионов и без пяти минут чемпионов мира вряд ли может быть моральное преимущество перед сборной СССР накануне московского матча. Пик формы венгры прошли. А воспоминания о приезде двухлетней давности в столицу социалистического лагеря вряд ли доставляли им удовольствие. Будущие чемпионы Хельсинки проиграли тогда второй матч — первый закончился вничью, — и многие издания обошла фотография, где изображен перед пустыми воротами соперников Бобров, обведший и защитников, и вратаря Грошича.

Матч с венграми наметили на конец сентября, а в начале месяца играли со шведской сборной — и в присутствии пятидесяти четырех тысяч зрителей на стадионе «Динамо» забили семь безответных мячей, причем четыре в первом тайме. Симонян и Сальников отметились в дебюте возрожденной сборной двумя мячами каждый, лишний раз напомнив о досадном их отсутствии в олимпийском составе пятьдесят второго года.

Победа над шведами не вызвала у нашей публики большого ликования — к ней скорее отнеслись, как к должному. Шведов у нас долго — до печально заверщенного четвертьфинального матча с хозяевами чемпионата в Стокгольме — всерьез не принимали. В сорок седьмом году московское «Динамо» съездило в Швецию — и выиграло два матча у сильнейших клубов с одинаковым счетом 5:1. Но соотечественники динамовцев, не располагавшие достаточной информацией о положении дел в мировом футболе, не испытали и десятой доли гордости, охватившей всех по возвращении команды из турне по Великобритании в сорок пятом. У нас никто и не подозревал, что шведы перед Олимпиадой-48 в Лондоне были посильнее англичан — и по игре стали первыми.

Словом, спортивный интерес преобладал перед встречей с венграми. Никакого политического подтекста в пятьдесят четвертом году не подразумевалось. И знатоков, и широкую публику интриговали, гипнотизировали имена инсайдов Пушкаша и Кочиша, пожалуй, никак не меньше, чем через несколько лет — Пеле или Гарринчи.

«Спартак» — в сборную входило шестеро спартаковцев, трое из которых были форвардами (с ними соединяли динамовца поневоле — Сальникова) — играл в атакующий футбол. И кто же сомневался, что в домашнем матче сборная СССР в обороне отсиживаться не станет. Но атакой — мы ведь уже упомянули ее лидеров, а кто у нас не знал тогда Хидекути, Цибора? — славились и венгры.

И Василия Соколова нельзя не похвалить за контрход. Он связан был с вызовом в сборную нового для нее игрока. Впоследствии Юрия Воинова — родом он из Подмосковья, а выступал тогда за ленинградский «Зенит» — чаще будут вспоминать за голы, забитые им мощнейшими ударами издалека, в том числе и в венгерские ворота. Но дебютировал Воинов как полузащитник оборонительного плана, приставленный тренерами персонально к Пушкашу, — и он так и не дал Ференцу проявить себя в Москве. Когда наш малоизвестный игрок противостоял мировой знаменитости, часть публики признавалась себе в двойственном чувстве: гордости за своего и некоторой досаде, что не увидели иностранную звезду во всем блеске. Впечатление от Пушкаша у огромнейшей аудитории (матч транслировало телевидение) оказалось тогда весьма приглушенным. Но венграм для равновесия в счете хватило правого инсайда Кочиша. Он отыграл мяч на пятьдесят девятой минуте.

А сначала игра развивалась с преимуществом сборной СССР — и ее история в изменившиеся, как мы все считали, времена началась голом Сергея Сальникова. Он выпрыгнул, сгруппировавшись, на выверенную передачу — и энергичным кивком вколотил мяч Дьюле Грошичу. Ну а Кочиш особенно ценился за игру головой — и гол, забитый им великолепно отстоявшему свой первый матч за сборную страны Льву Яшину, чем-то напоминал наш...

Сегодня профессиональный игрок и не пытается сыграть товарищеский матч в полную силу — он вынужден беречь себя для долгой биографии, и никакой тренер не в состоянии заставить его перенапрячься физически или эмоционально, если к священной жертве не потребует бог коммерции, заправляющий футболом и превративший его в индустрию, крайне прибыльное, выгодное дело. Один бог (коммерции, повторяю) теперь отвечает за то, чтобы не потеряли мы к игре интерес. Узнав пресыщение зрелищем, далеко не всегда выразительным, мы все равно жаждем продолжения этого зрелища во все новых и новых, все более и более жестких и жестоких

модификациях. Но развращенная многократными повторами видеозаписей память удерживает в себе все меньше и меньше имен, событий и лиц. И дикой, наверное, кажется моя затея превращать строчки ветхих справочников в связное повествование о давным-давно забытом. И сам я себе кажусь «ископаемо-хвостатым чудовищем» со своими сиюминутными переживаниями давних и канувших в неосязаемую вечность событий и фигур в них, чьей эмблемой неожиданно-негаданно стал для нас в зеленой конкретности футбола изваянный в духе бессмертной «девушки с веслом» памятник парню из Перова Эдику Стрельцову, за один сезон потеснившему тех, кто сгонял ничью с лучшими на тот момент в мире игроками...

...26 сентября сыграли с венграми, а в первых числах февраля следующего года сборная прилетела в Индию — в расширенном составе, где среди кандидатов-новобранцев были и Стрельцов с Ивановым.

Качалин — при нем Эдуарда взяли в сборную — отмерил не семь раз, как советуют люди, далекие от футбола, но три. Чем больше тренер, тем большим он рискует — риск вообще неотъемлемая часть расчета в футболе. Гавриил Дмитриевич славился осторожностью — поэтому поработал со сборной он в советские времена намного дольше, чем те титаны, что слишком много о себе понимали с точки зрения начальства.

Предсезонная поездка в Индию — счастливая идея. Футбол тамошний воображение не поражал, но и не порождал никаких комплексов. Вместе с тем играли индусы не вполне стандартно — и это наших европейцев могло и раззадорить. В общем, подходящие спарринг-партнеры и к тому же страна, к которой у нас многие испытывали интерес и даже слабость после фильма «Бродяга» — песенку оттуда вслед за Раджем Капуром запел весь могучий Советский Союз. Конечно, футболисты приезжают за рубеж не на экскурсию — и мало чего кроме полей на стадионах видят. Но в сказочно-экзотической Индии неожиданности на каждом шагу. И подготовительный цикл никому не казался монотонным.

За февраль и март в Дели, Бомбее и Калькутте сыграли три товарищеских матча со сборной Индии, каждый раз собиравшие на трибунах не меньше двадцати тысяч зрителей. Учитывая не ахти какую физическую подготовку хозяев, таймы укоротили до тридцати минут. Но и за короткие игры десять мячей в общей сложности забить успели, а вратари наши (в первом матче вместо Льва Яшина поставили Олега Макарова из Киева) не пропустили ни одного.

Состав почти не варьировали, наигрывали одну и ту же (с незначительными изменениями) команду. И Стрельцова в нее ни разу не включали. Иванов же в Калькутте провел оба тайма.

Но летом — двадцать шестого июня — в Стокгольме в центре

нападения играл Стрельцов (травмированный Симонян и за свой клуб почти не играл, и в сборную до поздней осени не привлекался), а на месте правого защитника впервые попробовали Михаила Огонькова из «Спартака».

За первый тайм Эдик — на четвертой, двадцать пятой и сорок второй минутах — забил три гола. А во втором тайме традиционный в те годы разгром шведов довершили Татушин, Сальников и на последней минуте матча Валентин Иванов.

Через два месяца в Москве на стадионе «Динамо» проводился матч опять же товарищеский, но и по сей день остающийся легендой о силе русского духа в футболе.

Все мы уже ждали участия в этом матче Стрельцова. Но Эдик оставался в запасе. Потом на не заданный вслух вопрос отвечали, что тренеры пошли на применение тайного тактического оружия. Эдуард же искренне признался мне через много лет, что тренеров смутила подхваченная им по молодому гусарскому легкомыслию болезнь.

Можно было сто раз говорить, что венгры сильнее чемпионов мира. Но приезд в Москву сборной ФРГ превращался в событие, которому аналогов не находилось.

Кто бы и за год до матча с немцами мог себе вообразить, что в столице Советского Союза — пусть и на стадионе — исполнен будет через десять лет после окончания войны с Германией «Дойчланд юбер аллес»?

В Москву приехали — специально на матч — свыше полутора тысяч иностранных туристов, принесших на динамовский стадион трещотки и трубы — атрибуты разнузданной буржуазной публики с чуждыми нам нравами, высмеиваемыми у нас с ненавистью годы и годы.

Игроков, спокойно вышедших на бой с элитарным венгерским футболом, трясло перед сражением, ассоциируемым впрямую с боями Великой Отечественной войны...

И с той, и с другой стороны играли в футбол дети войны.

Тайное оружие — не особо заметный спартаковец Николай Паршин стал вдруг много забивать в играх за свой клуб в чемпионате и приглянулся тренерам сборной — не подвело. На шестнадцатой минуте вратарь чемпионов мира Геркенрат не смог парировать удар Паршина. Потом шутили, что одним забитым мячом в единственном за свою карьеру матче за сборную форвард «Спартака» решил неразрешимые для подавляющего большинства советских граждан проблемы — получил комнату в хорошем доме и смог приобрести машину «Победа» (ту самую, про которую товарищ Сталин, обнаружив в ней сходство с «Опелем-капитаном», сказал: «Победа, но небольшая», хотя в случае с Паршиным этот автомобиль символизировал принципиальную победу: и над немцами, и над

чемпионами).

Но фартовый спартаковец вполне мог быть и ничем не награжден и никогда больше не упоминаем в футбольных летописях. И не по своей вине — просто немцы через тринадцать минут отыгрались, а в начале второго тайма Шёфер забил с острого угла второй мяч Яшину. Времени до конца матча оставалось еще немало, но и замандражировать, когда игра переломилась не в нашу пользу, было вполне возможным делом. Занервничать на поле — и потрепать всей усевшейся перед телевизорами стране нервы до предынфарктного состояния. Длился этот кошмар аж семнадцать минут.

Юрия Воинова — полузащитника, дважды забивавшего с дальней дистанции голы индусам, — в сборную больше не брали. Он из Ленинграда перебрался в Киев, а не в Москву, чего больше хотелось футбольным начальникам, — и по одной версии навлек на себя их гнев, а по другой показался тренерам сборной утратившим лучшую форму.

Но советский лозунг: «Незаменимых нет» в день патриотического единения страны подтвердился. На месте Воинова играл более тяготеющий к защите Анатолий Масленкин. Тот самый Масленкин, что по простоте душевной скажет через год, что против Симоняна бы он запросто сыграл, а вот поди справься с Эдиком Стрельцовым: «Я его толкаю, а он не падает!» Тот самый Масленкин, что не станет юлить, когда спортивный министр Романов спросит: справедливы ли слухи, что спартаковец и на сборах прикладывается к рюмке? — Масленкин ответит искренне: «Николай Николаевич, я в шахматы не играю, книг не читаю, что же мне тогда делать, если не...» Анатолий Масленкин сыграл в стиле Воинова — неотразимо пробил издалека. И хотя буквально через четыре минуты главным героем стал его тезка и одноклубник Ильин, проведший немцам победный третий мяч, гол Маслénкина из тех, что не имеет права забывать нация, которую теперь некоторые собираются сплотить футболом, а тогда удавалось иногда сплотить и без деклараций...

Больше чем через год — в середине сентября пятьдесят шестого — в Ганновере, при широком стечении публики (немецкий стадион был на двадцать тысяч вместительнее нашего «Динамо») сыграли ответный матч. Немцы изменили состав. Из знаменитостей отсутствовали правый крайний Ран, центр защиты Либрих, центр нападения Морлок, произведший своей игрой в Москве наилучшее впечатление на запасного Стрельцова. Между прочим, немец тоже хорошо запомнил Стрельцова после Ганновера. И когда не увидел его в числе футболистов, прибывших в Стокгольм на мировой чемпионат, поинтересовался у нашего доктора Белаковского: а где у вас этот парень — центрфорвард? Белаковский, чтобы лишнего не сболтнуть,

прибегнул к международной жестикуляции: сложил пальцы в кулак и прихлопнул открытой ладонью, а затем четырьмя пальцами изобразил тюремную решетку... И Ран не смог взять в толк: как же можно наказывать замечательного парня за столь естественное в его возрасте действие?

К игре на родине немцы подготовились основательнее — имели теперь точное представление о противнике — и очень рассчитывали на реванш. В советской сборной уменьшили спартаковскую квоту в атаке — в нападении включили Иванова со Стрельцовым, что в пятьдесят шестом году никому из специалистов и болельщиков (даже спартаковских) не могло показаться неожиданным.

Эдик забил гол на третьей минуте. Шредер уже через две минуты счет сравнивал. Но в первом же тайме пришли к окончательному результату: атакующую комбинацию завершил Валентин Иванов.

Ответный матч не транслировался из Германии на СССР. Кроме клочка кинохроники с голами Эдика и Вали у нас никто ничего и не видел. О более обширной киноинформации не позаботились — в повторный успех, тем более на территории соперника, мало верили. И на случай неудачи страховались демонстративным невниманием: мы, мол, и не придавали этой игре большого значения. Выигранный Ивановым и Стрельцовым матч не успели рекламно раскрутить перед надвигающейся Олимпиадой. Почти накануне отъезда в Мельбурн как-то досадно неудачно выступили вроде бы окончательно сложившимся составом в Париже — 1:2, после чего начальство засомневалось в смысле нашего футбольного участия в Играх. Анатолий Исаев вспоминает, что собирали всех игроков сборной у спортивного министра и от каждого требовали клятвы лечь для победы костыли.

Но под конец года победная Олимпиада все неудачи списала, а бывшие удачи померкли в сравнении с нею... Значение победы футболистов в олимпийском турнире мы тогда — о том и не ведая — преувеличивали.

...За две недели до матча с чемпионами мира в Москве Иванов неудачно столкнулся в контрольной игре между двумя составами сборной с динамовцем Виктором Царевым — крик форварда был слышен на трибунах. «Скорая помощь» увезла Кузьму прямо с поля в ЦИТО. Ему сделали две подряд операции — вырезали мениск, а затем вынимали окаменевшие в суставе сгустки крови. После больницы койки он ходил до конца сезона на костылях и с палочкой.

Эдик остался в окружении спартаковцев.

С французами на «Динамо», когда мяч в игру на радость публике ввел гостивший у нас с делегацией кинодеятелей Жерар Филип, Стрельцов сыграл правого инсайда, а в центр поставили Никиту Симоняна.

За сборную Франции выступали знаменитости — Копа, Пьянтони: они и забили голы Борису Разинскому, заменившему на этот раз Яшина. Но и Стрельцов с Никитой Павловичем не оплошали. После гола Симоняна во втором тайме повели в счете, но не успели за Пьянтони — и пришлось довольствоваться ничьей.

В мае следующего — Олимпийского — года излеченный партнер Стрельцова по «Торпедо» вернулся в строй и в сборную — без него команда автозавода в сезоне пятьдесят пятого удерживалась на третьем месте почти до конца первого круга, а дальше покатила вниз. Спуск начался с игры против «Локомотива», при счете 1:1 Эдик вызвался произвести одиннадцатиметровый удар (как-никак бомбардир с пятнадцатью забитыми в итоге голами) вместо Юрия Золотова и промазал, а после этого удрученные одноклубники и уязвленный виновник промаха дали забить в свои ворота три мяча.

С Ивановым за место в сборной конкурировал Анатолий Исаев из «Спартака» — Кузьме как-то и левого инсайда пришлось сыграть в матче с датчанами — но тренеров, в общем, устраивали оба правых инсайда: возможны становились разные варианты сочетаний на фланге и при смещении в центр.

В пятьдесят пятом на матче в Будапеште наши футболисты поняли, что венгры перед играми со сборной СССР стали нервничать больше своих соперников. Приближались известные «венгерские события» — антисоветские, антирусские настроения в «братской стране» были очень сильны, и политическая наэлектризованность наверняка мешала Пушкашу и другим, как совсем недавно мешали компании Боброва всяческие накачки перед состязанием с командой титовской Югославии...

В Будапеште хозяева проигрывали 0:1, но на последних минутах в яшинские ворота рефери назначил пенальти. Когда Пушкаш собрался бить с одиннадцати метров, его супруга на трибунах упала в обморок. Яшин угадал, куда муж этой впечатлительной дамы нацелит удар, но до мяча не дотянулся.

В сезоне пятьдесят шестого венгерскую сборную принимали на новом московском стотысячном стадионе в Лужниках. Такой стадион превращался в символ возросшего интереса футбольной публики к Стрельцову и другим. Но Эдику (и не только ему одному) больше нравилось играть на «Динамо»: старый стадион был, по его словам, уютнее — в Лужниках из-за раскинутости трибуны «поляна» казалась больше.

Осложнившиеся отношения между странами вынуждали чувствовать себя не совсем в своей тарелке и футболистов империи, подавляющей свободу союзника по социалистическому лагерю. Рассерженность на недовольных русскими мадьяр, возможно, и помешала сосредоточиться на игре — поражение потерпели с

минимальным счетом. Гол ответный могли и должны были забить — после прострела Стрельцова Ильин не попал в пустые ворота, мяч подскочил перед ударом.

Реванш взяли уже на следующий после Олимпиады год — в Будапеште (матч закончился со счетом 2:1). Эдуард забил решающий гол: «мы с Кузьмой разыграли, и я один на один с Грошичем вышел...»

Летом пятьдесят шестого в тех же новых Лужниках, возведенных к Spartakiade народов СССР — помпезному действу, проводимому как репетиция к Олимпийским играм с дорожостоящей идеологической нагрузкой: констатировать нерушимую дружбу народов в советской стране, — Эдуард Стрельцов и Валентин Иванов впервые получили в награду золотые медали. Spartakiадный турнир по футболу прошел интереснее, чем ожидалось. Загримированные под национальные сборные союзных республик киевское и особенно тбилиское «Динамо» надеялись в краткосрочном соревновании дать непобедимой Москве бой — реванш. И резон в таких притязаниях был: в сборной Москвы предстояло найти взаимопонимание игрокам разных клубов, а украинцы и грузины надеялись на сыгранность своих «Динамо». Но сборная Москвы являла собой по существу сборную Союза. И будущие олимпийцы отстояли честь столицы империи.

...Последний сбор, занявший месяц, проводили в Ташкенте. В Мельбурн летели через Индию — посадку сделали в знакомом игрокам олимпийской сборной СССР Дели. Потом сутки провели в Рангуне — столице Бирмы. Дальше летели над океаном. И наконец оказались в олимпийской деревне — в двухэтажном коттедже.

12

Если вынести за скобки мельбурнскую победу — что за давностью лет, вероятно, не возбраняется и опирается к тому же на ясное теперь осознание разницы в уровне олимпийского турнира и мирового чемпионата, — если вынести за скобки возвышающий наших спортсменов итог, а потом напомнить результаты проведенных советской командой матчей, лишь один из которых выигран с крупным счетом, да и то после переигровки встречи с несерьезным противником, первоначально закончившейся нулевой ничьей, успех в далекой Австралии выглядит не очень-то и эффектно.

Конечно, любая, кроме восторженной, оценка игры той сборной выглядит с наших сегодняшних позиций совсем некорректно — и главное неблагоприятно. Но про современных игроков мы в редчайших случаях отзываемся с безусловной похвалой. А о тех, кто победил тогда в Мельбурне, повествовать можно, пускай и с оговоркой, но все равно не иначе как с присовокуплением эпитетов в самых

превосходных степенях.

Вызову ли я к себе доверие, как к летописцу или просто рассказчику, если приведу в повествовании результаты игр в Мельбурне, не сопроводив их хотя бы краткими собственными соображениями о причинах скромного, если судить по счету, преимущества над своими соперниками наших мастеров, многих из которых называю и считаю великими?

Сборная Советского Союза второй половины пятидесятых годов могла быть постоянным институтом с долгосрочными лидерами и вожаками при условии, что опираться она будет на «Спартак» образца тех лет. Я потому еще задерживаюсь на этом обстоятельстве, что в двухтысячном году, когда пишу свое повествование, нам не привыкать оставаться заложниками все той же самой ситуации в российском футболе. При том, что на рубеже веков тренер сборной Романцев отказался от абсолютности отождествления своего «Спартак» с национальной командой.

«Спартак» — самый консервативный из отечественных футбольных клубов — в лучшем смысле этого понятия, возможно, не всем осознаваемого как необходимое условие для душевного равновесия.

Оттого, что мир меняется и, как все чаще нам кажется, не в лучшую сторону — да и мы, боюсь, вместе с ним, — любовь населения нашей страны к «Спартаку» не только остается неизменной, но и, похоже, возрастает. Всем нам, даже тем, кто не симпатизирует «Спартаку», — нужна опора в чем-то постоянном. И парадокс, весьма точно отражающий время, заключается в том что есть основательные и здравомыслящие люди, на дух не принимающие «Спартак», и есть самые невыносимые спартаковские приверженцы в лице (точнее, в оскале) хулиганствующих фанатов-разрушителей. Вспоминаю, кстати, что один из основателей главного футбольного клуба страны Андрей Петрович Старостин ненавидел фанатов своей команды — его и в давние дни мучила очевидность противоречия...

«Спартак», как я уже говорил, — любимая команда Эдуарда Стрельцова. И я не вправе в книге о нем не задержаться на феномене именно этой команды.

Кроме того, тема «Спартак» и национальная сборная, или национальная сборная и «Спартак» все еще ждет настоящего исследователя — и на рубеже тысячелетий остается одной из наиболее щекотливых тем, пронизывающих мир футбола.

Сейчас, когда все играют примерно одинаково или, скажем так, предсказуемо — и всё почти решает лучшее или худшее физическое состояние или команды в целом, или отдельных ее ведущих игроков, мало понятны оставшиеся в глухой дали лет споры — стилевое

противопоставление динамовского, допустим, футбола спартаковскому.

Судя по всему, динамовские корифеи в довоенных и особенно послевоенных сезонах считали свою игру наиболее прогрессивной и футболистов «Спартака» именовали «боярами», а Якушин — еще в бытность свою игроком — в сердцах обозвал кого-то из знаменитых соперников «спартаковской деревней». Можно предположить и то, что «Динамо» ревновало «Спартак» к популярности у публики, как сегодняшние классики, допустим, ревнуют детективщиков. Но «Спартак» как никто умел черпать энергию в популярности — и связь с трибунами превращалась, без преувеличения, в мистическую. «Спартак» можно посчитать единственной в стране командой Игрока и Зрителя. И предположить, вызвав нарекания строгих специалистов, что публика способствовала сохранению спартаковцами присущей им игры в течение всего обозримого футбольного века. Ведь никто из российских команд, кроме «Спартака», не сохранил факсимильности в игре по сегодняшний день. Сколько уже поколений сменилось со времени, когда братья Старостины основали клуб, а памятный болельщик, сличая почерки команды разных созывов, видит тот же самый наклон букв, легкий нажим на перо, тесное соединение букв в слово, попросту говоря, стойкую предрасположенность к игре накоротке, способность зажигаться игрой от близости друг к другу на поле, прошивать оборону противника подробной, как на швейной машинке, спартаковской строчкой и неприятие длинного паса: эталонный «спартач» Нетто вообще любил к восторгу зрителей пройти середину поля дриблингом, хотя аксиома, что проходить ее надо в оптимальном темпе, достигаемом исключительно скоростью паса. Но Игорь Александрович в пас начинал играть только на подступах к штрафной площадке...

Бесков, реформируя «Спартак», на рисунок игры команды, заметьте, не посягал. Любимый зрителями и исповедуемый спартаковцами с малолетства «узор» комбинационной игры он сплетал из более суровых, чем в «Спартаке» привыкли, нитей. Ну и, соперничая с киевскими динамовцами Лобановского, не мог не стремиться подключить эту фирменную комбинационную сеть к более мощным энергетическим источникам. Однако повторяю, на рисунок Константин Иванович не посягал — да некоренному спартаковцу никогда бы этого не только не простили, но и не позволили бы ни в коем случае. Николаю Петровичу Старостину немало пришлось потерпеть от Бескова, но посягательства на суть и стиль принятого в «Спартаке» футбола он бы не стерпел.

Не надо, однако, забывать самый, может быть, главный нюанс в отношении Бескова к спартаковским манерам. В пятьдесят пятом году Бесков работал вторым тренером в сборной у Качалина. И знал

«Спартак», составивший основу сборной, изнутри. И вряд ли оставался совсем уж равнодушным к тому великолепному «Спартаку». Но мину замедленного действия «Спартаку» следующего дня Константин Иванович все же подложил — в лице своего ученика и последователя Олега Романцева, которого именно Бесков превратил в спартаковца из спартаковцев (ну в самом деле, у кого сегодня язык повернется попрекнуть Олега Ивановича красноярским прошлым?). Старостина над душой у Романцева больше нет, и в новом веке стал вероятен и новый «Спартак». Добавлю, что для национальной сборной — долгожданно новый, позволяющий привить к себе и фланговые ветви, и могучего форварда в центре.

В отсутствие репрессированных в самом начале войны Старостиных хранить священный огонь, казалось, некому. Но не было бы счастья, да несчастье — во всех смыслах — помогло. Отсутствие твердой руки в руководстве клуба продлило жизнь ветеранам в послевоенных сезонах, что сказалось на результатах. Однако при засилье ветеранов гарантировалась незыблемость традиций. И новички, все-таки пришедшие им на замену, принимали спартаковский устав безоговорочно — еще бы: они же не с неба свалились, а родились в стране, где чуть ли не половина населения болела за «Спартак».

Судьба и берегла «Спартак».

В сорок восьмом году Василий Сталин вознамерился вытащить Николай Петровича из ссылки. Старшего Старостина на самолете доставили в Москву — и авиационно-спортивный генерал предложил ему возглавить футбольную команду ВВС. Сын вождя проявил удивительную прозорливость — его воображаемому суперклубу нужен был не столько тренер, сколько вождь. В свое время Николай Петрович выдал себя, когда придумал название: «Спартак». Правда, потом он утверждал, что дух романа Джованьоли при этом не витал, а заимствовал Старостин имя у какого-то немецкого клуба. Значит, подсознание — по Фрейду — задействовал ось...

Упрекая в конце восьмидесятых годов Бескова в тяге к диктатуре, Николай Петрович говорил, что Константин Иванович воспитан военизированным динамовским клубом, а «Спартак» — команда демократии. И не добавлял, что спартаковская внутренняя демократия всегда бывала надежно защищена вхожестью своего вождя-долгожителя в кабинеты верховной власти.

Кто, как не наш любимый Николай Петрович, надавил на своего друга Косарева, заведовавшего комсомолом, чтобы показательный футбольный матч сыгран был не где-нибудь, а на Красной площади, в присутствии самого товарища Сталина, понятия не имевшего, насколько привилась у нас английская игра. Мудрый Старостин задумал матч на правительственной брусчатке с целью доказать не

только государственную важность игры, но и приоритетность в ней своего клуба — «Спартак».

Спектакль перед Мавзолеем ставился спартаковскими силами. Начальник одного из отделов НКВД Молчанов, расстрелянный в один год с покровителем Старостиных Косаревым, заподозрил неладное — и выражал небеспочвенные опасения, что футбол на брусчатке может не только принести травмы футболистам, но и травмировать чувствительную душу товарища Сталина при виде повреждений у игроков. Но упрямство — фамильная черта Старостиных. До поры до времени им удавалось переупрямить и НКВД. Матч на Красной площади все же состоялся. И, работая над книгой своих воспоминаний, прошедший тюрьмы и лагеря, почти восьмидесятилетний Николай Петрович Старостин продиктует литзаписку: «Путь к „высочайшему“ признанию, на который „Динамо“ потребовалось тринадцать лет, „Спартак“ преодолел за сорок три минуты...»

Не покажи вовремя Николай Старостин футбол Сталину, неизвестно, какими бы темпами эта игра у нас культивировалась.

Популярность игры подстегивалась политикой. Но прорастала эта популярность из богатства выбора талантливых игроков разнообразного типа, склада, колорита...

Игроков Николай Петрович ценил гораздо больше, чем тренеров. Бог дал ему чисто футбольного таланта меньше, чем менеджерского. И талантом больших игроков он восхищался совершенно искренне. Профессия же тренера была ему, на мой взгляд, менее понятна и менее интересна. Послевоенного расцвета тренерской мысли Аркадьева и Якушина, имевших тогда возможность опереться на великих игроков и принявших на веру некоторые из их идей, Старостин не застал — находился далеко от Москвы.

«Спартак» же, в который он вернулся, в характере взаимоотношений не изменился с его времен — и более того, игроки ведущие верховодили, пожалуй, заметнее даже, чем при довоенных тренерах.

И он сделал вид, что доверился знаменитым мастерам, отчего значимости своего влияния не утратил — кто бы стал спорить с Николаем Петровичем в хозяйственно-финансовых вопросах, дипломатических подходах к высшему начальству, кто бы мог ему возразить, когда речь заходила о спартаковской этике? «Спартак» долгое время напоминал театр с волевым директором и замечательными артистами, которые особой воли главному режиссеру не дают. Нетто мог запросто навязать свое мнение такому, например, тренеру, как Гуляев, мог перебить в сугубо футбольном разговоре даже Николая Петровича, и тот отечески неизменно прощал Игорю несносность характера. На поле благородный Никита Симонян,

занимавший в команде положение ничуть не меньшее, чем Нетто, никогда не позволял себе по-гусиному шипеть на партнеров, совершавших ошибки, и не мешал Игорю Александровичу выглядеть самым главным. Но стоило Никите Павловичу стать старшим тренером «Спартака», как первая же непочтительная выходка оставшегося вожаком для игроков Нетто укоротила тому футбольную карьеру. При том, что до конца дней Игоря Александровича Симонян о нем трогательно заботился и всячески помогал.

Вот такого особого склада люди из столь своеобразного клуба пришли под начало Качалина в сборную.

Подозреваю, что в начальственных инстанциях, заменяя домашнего тренера Василия Соколова на чужого для спартаковцев Гавриила Дмитриевича Качалина для превращения суперклуба (супер — по классу игры, разумеется, а не по финансовым возможностям) в олимпийскую сборную, исходили из необходимости в человеке со стороны, способном не заблудиться, не увязнуть строгим коготком в заповеднике-междусобойчике и вместе с тем не стать самодуром-разрушителем, остаться корректным, широкомыслящим специалистом.

Иванов со Стрельцовым были Богом или судьбой посланы для усиления команды, составленной из спартаковцев. За их призыв в сборную некого конкретно хвалить, кроме самой природы, создавшей Эдика и Кузьму. И дело даже не в объеме — хотя и в объеме тоже — их футбольного дара, а в гармонии совпадения их возможностей с тем, что подходило, и с тем, чего не доставало «Спартак».

Если кратко, то Иванов спартаковской компании стопроцентно подходил, а Стрельцова им не доставало.

Кузьма умел мгновенно избавиться от мяча и очень скоро получить его обратно — чем не формула спартаковской игры? Эдик же решал проблему, над которой, в общем, безуспешно бился Бесков и над которой продолжает с не всем понятной настойчивостью биться Романцев, привлекавший для решения этой задачи соотечественников Пеле, когда соотечественники Стрельцова с нею не справились.

При известной ажурности, в чем-то «мотыльковости» (выражение Бориса Аркадьева) спартаковской игры им, по идее, нужен в атаке резкий контраст, мощная асимметрия, разрывающая оборонительные порядки противника не только острыми кинжальными уколами, но и ошеломляюще разящим ударом топора. То есть нужен во главе атаки атлет, несокрушимый в силовом противоборстве.

Вероятно, «Спартак» нуждался в таком центре и в сороковые годы. Но в конце сороковых пришел в команду двадцатитрехлетний Никита Симонян, склонный тонко комбинировать и много забивать, —

и стало казаться, что ничего иного и быть не может, не должно. Симонян всех устраивал. Центр-таран английского типа в глазах клубной аудитории непременно проигрывал бы в сравнении с обожаемым спартаковским народом за изобретательные ходы Никитой.

Юного Стрельцова на самых первых порах по недомыслию спешили объявить тараном. Однако таранил он оборону по-особому — с небывалой чуткостью для подобного гиганта (по физическим данным) и былинного богатыря (по восприятию футбольной реальности), с пониманием ситуации для привлечения к соучастию в ее использовании партнеров, — он многое, а чаще и вообще все брал на себя, но и от партнеров успевал взять то, что считал полезным для развития атаки. А партнерам оставались крошки с барского стола? Но они же не роптали — в отвоеванном Эдиком пространстве им хватало места и времени проявить себя.

Словом, потаенная спартаковская мечта воплотилась в сотрудничестве со Стрельцовым в сборной у Качалина. Делу партнерства весьма способствовала и крайне легкая совместимость со Стрельцовым в быту. Он не робел и не заносился — был, прошу простить меня за подобие каламбура, просто противоестественно естествен в общении с именитыми и старшими товарищами. Сам же Эдик считал, что в сборной его хорошо встретили: «Сергей Сергеевич Сальников всегда повторял, что любит со мной играть. Выходим, помню, на поле — он на трибуны посмотрит: много ли народу? „Полно... Надо сегодня выигрывать“».

...Национальная сборная России на рубеже веков выступает без особого — за редчайшим исключением — блеска. И критикуют ее с одинаковым жаром и знатоки, и профаны. Среди критических отзывов выделяются голоса ветеранов — соратников Стрельцова. Они, разумеется, имеют на такие придирки особое право с высоты ими некогда достигнутого. Но ворчание со стороны классиков из-за кажущегося им или действительного снижения класса нынешних игроков мне, например, легче принять, чем их же популистский тезис о том, что у футболистов сборной «глаза не горят», а у советских мастеров они «горели».

Согласимся, что «горели», но тогда почему же при таком, как мы уже здесь говорили, богатстве выбора великолепных игроков настоящей конкуренции за место в сборной и своевременном выдвигании лучших в основной состав победы давались с неимоверным трудом и причем над соперниками явно ниже уровнем, чем наша команда?

Не вправе защищать игроков наступающего футбольного века — за выступления в сборной их ругают, скорее всего, правильно. Но попробуем войти в обстоятельства, предложенные им временем. Они,

по-моему, небезынтересны.

...Омари Тетрадзе рассказывал, что когда на следующий день после поражения иностранного клуба, в котором он, игрок сборной России, дебютировал, он явился на тренировку в мрачном состоянии духа, новые партнеры встревожились: не случилось ли у него неприятностей в семье, с близкими людьми? И даже тренер рассмеялся, узнав, что Омари терзается подобным образом из-за проигрыша.

Зная, как оплачивается работа футболиста за рубежом, глупо предполагать, что иностранцы могут спокойно относиться к неудачам. Дело совсем в другом. Промахи в непосредственной близости от ворот соперников совершают и наши, и иностранцы. И промахи эти сопровождаются одинаково — как правило, падением на газон. Но, как мне объясняли специалисты, наш игрок целиком погружается в горечь переживания, а иностранец использует паузу для восстановления в памяти и последующего запоминания всех фаз неловкого движения, промаха.

Вероятно, то же самое происходит и после проигранных матчей — наши надрывно тешат себя страданием, бережат себе душу, а иностранец ради сбережения душевного потенциала в дальнейшей игровой жизни рационально анализирует неудачу как бы со стороны, а не изнутри, что, конечно, для нервной системы полезнее.

Наши легионеры, призываемые в сборную, кажется, постигли уже азы культуры переживаний после проигрыша. Однако наша привычка к метаниям из одной крайности в другую сказывается. Прежде на стены готовы были лезть от горя в таких случаях, а теперь хорошую мину при плохой игре считают за доблесть. Но, наверное, все постепенно образуется. И тот из нас, кто доживет до побед национальной команды, сможет, надеюсь, в этом убедиться.

...В перечне наших великих хоккейных тренеров, как правило, забывают назвать Николая Семеновича Эпштейна. Человека, сделавшего невозможное: подмосковный городок, где лед для игры заливать не умели, он превратил в одну из мировых хоккейных столиц. Из скромного Воскресенска родом звезды НХЛ Игорь Ларионов, Валерий Каменский и еще несколько нынешних хоккеистов-миллионеров. Но я вспомнил здесь Николая Семеновича ради одного лишь эпизода из его тренерской практики. «Химик» из Воскресенска неожиданно оказался серьезнейшим соперником для суперклуба ЦСКА, руководимого Анатолием Тарасовым. Команде, сплошь состоящей из мастеров экстра-класса, в редчайших случаях удавалось настроиться на матч с ним. Анатолия Владимировича раздражало буквально все: город в одну улицу, несоизмеримость в значимости игроков (хоккеистов «Химика» он называл «карликами»; правда, из подавляемого в себе чувства справедливости добавлял: «с

огромными ху...ми»), национальность тренера (за «Химик» выступали, как на подбор, одни русские, но полковник Тарасов требовал снести «эту еврейскую деревню»). И установки на игру против команды Эпштейна чаще всего делались с несвойственной нашему главному тренеру элементарностью...

«Химик», если и выигрывал у ЦСКА, то у себя дома (Эпштейн и Дворец спорта построил), но однажды в Лужниках, при аншлаге, в присутствии начальства в правительственной ложе, при трансляции матча по телевидению на всю страну, команда из Подмоскovie перед решающим периодом вела в счете 3:1. В перерыве Эпштейн, чтобы лишний раз испытать судьбу, купил себе несколько лотерейных билетов, а игроков своих засадил в раздевалке за лото, чтобы отвлеклись и не думали о том, какая яростная атака тарасовской команды их ждет. И счет в свою пользу «Химик» удержал.

Вот чего-то подобного в работе с футболистами — мастерами, что по классу ближе к несравненным гвардейцам Тарасова, чем к самолюбивым «карликам» Эпштейна, — всегда и не хватало тренерам, возглавлявшим сборную нашей страны наиболее перспективных для отечественного футбола времен. И великим Аркадьеву, Якушину, Бескову, и замечательному специалисту, методисту, педагогу Гавриилу Дмитриевичу Качалину.

В оправдание мэтрам замечу, что и намек на эпштейновское лото никто из курировавших сборную идеологических командиров не допустил бы. Тренерская голова за подобные номера полетела бы и в случае победы. Поступить серьезно, когда дело касалось государственного престижа, у нас во все времена было совершенно невозможно.

Глаза у тех знаменитых мастеров — никто не отрицает — «горели», но за свои клубы они выступали, на мой взгляд, выразительнее, чем за сборную. Валентин Иванов говорил в те времена по секрету — не мне, конечно, мне пересказал его слова Лев Иванович Филатов, когда я занимался у него в университетском семинаре: «в „Торпедо“ я играю, а в сборной работаю».

Понимал ли Гавриил Дмитриевич, что в детском еще лице Эдика Стрельцова он приобрел не только мирового класса центрфорварда, но и единственного в нашем футболе — не, касаясь сейчас других областей, но в запальчивости мог бы и коснуться — свободного человека?

Свободного не по убеждениям, не от осознанного диссидентства (при Сталине и в постсталинские времена у нас никто и слова такого не слышал), а от природы, от редкостного генотипа, который не мог не усложнить неизбежным несчастьем стрельцовскую жизнь: без жертвенной платы за все, что дано ему от Бога, в судьбе его ни время, ни Россия с такой бы метафорической определенностью и не

выразились бы.

Стрельцов — и в молодости, и сразу после возвращения в большой футбол — испытывал минутами колоссальное сомнение в себе. Он по-русски огорчался из-за поражений — он мне сам рассказывал, что после проигранного киевлянам финала Кубка в шестьдесят шестом году, когда он по тренерскому замыслу попробовал сыграть на непривычной для себя позиции и получилось неудачно, всю ночь не спал, пил вино (не водку, не коньяк, а «красненькое») и крутил на проигрывателе много раз одну и ту же пластинку — «Черемшину» в исполнении Юрия Гуляева.

Но на поле он не знал себе равных в раскованности, в той — не устану повторять — внутренней свободе, которой он всю жизни интуитивно руководствовался, хотя и обвиняли его в недостаточной твердости характера. И в самых незадавшихся своих играх он оставался раскованным, свободным — ждал (в иных случаях и напрасно), что снизойдет на него свыше — и он заиграет адекватно своим возможностям.

С этой же свободой он пытался прожить и обыденную жизнь, ждал и в общежитии такого же, как на поле и на трибунах, всепрощения за промахи, которые он искупал в миг вдохновения. Только вне футбола не существовало — о чем он в молодости и не подозревал — точки приложения его дара. И Эдик со своей свободой был обречен на неприятности и несчастья; он прошел сквозь них, не потеряв, при всех видимых утратах, самостоятельной души, в которую при всей своей гиперболической открытости и общедоступности так и не дал никому глубоко заглянуть...

Незадолго до смерти Эдика мы как-то разговорились с ним о профессиональном футболе в его полноценном, зарубежном варианте — в конце восьмидесятых годов всех футбольных людей занимала эта тема. И я засомневался: а смог бы он играть за какой-либо из мировых суперклубов? Я ему всегда в глаза говорил о его гениальности. Но и вслух сомневался в том, что он — при его подвластности настроениям — профессионал в иностранном смысле. Он сказал, что мог бы: «там же такие деньги платят». Я удивился: он же много раз мне говорил — и в том, что это так, я тоже много раз убеждался — о безразличии своем к деньгам: «они для меня мало что значат...» Но потом — его уже не стало, а я продолжал о сказанном им мне в разные времена думать — понял, что при совестливости Эдуарда астрономические суммы контрактов в профессиональных клубах вынудили бы его обязательно соответствовать оплате совершаемого в футболе галерного труда, а не вдохновению, посещающему его не каждый раз. И ему бы пришлось ломать себя, пахать, как пахут менее одаренные, — и меньше получать удовольствия, чем тогда, когда имел он возможность играть по настроению.

И может быть, лучше для всех нас, да и для него самого, что прожил он в иное для футбольной России время?

...В третий раз за последние два года противниками — теперь уже в официальном матче — нашей сборной стали немцы.

В Мельбурне Германия была представлена Объединенной командой, но в футбольную сборную вошли любители из ФРГ. И нервничать бы им перед встречей с командой, дважды побеждавшей лучших немецких футболистов. Но получилось так, что, разглядев в соперниках игроков, умеющих хорошо защищаться, команду с организованной обороной, слегка замандражировали наши звезды.

Немцы отдали им инициативу, только контратаковали.

В олимпийском турнире, где каждая случайность может оказаться роковой, такая тактика для команды, исповедующей атаку, обещает нервотрепку. Особенно, когда игра у нападающих не пошла.

Анатолий Исаев забил гол на двадцать шестой минуте. Но увеличить счет никак не удавалось, страх попасться на контратакующий выпад сковывал опытных игроков — игра все же была первой на турнире.

Но ведя необычайно жесткую оборону, молодые немцы прежде всего вымотались физически сами. И Стрельцов первый обратил на это внимание — увидел вдруг, что опекавший его защитник, что называется, «наглотался», вот-вот выключится из игры, выпустит русского форварда из внимания. Эдик крикнул Сальникову: «Сережа!» Тот, как всегда, все видел — и сразу же ему пас. Гол Стрельцов забил за четыре минуты до завершения матча. У всех от души отлегло — а на предпоследней минуте немцы «размочили» Яшина.

Качеством своей игры все наши были, конечно, недовольны. Без обид выслушали замечания Качалина. Но на легкую, как ожидалось, игру со слабенкой командой Индонезии вышли уже чересчур серьезно, по обыкновению, отмотелизованные.

И опять тяжело пошло дело у знаменитой атаки.

Индонезийцы не мудрствовали — всей командой оставались в обороне: в штрафной площадке столпились все одиннадцать их игроков. Такая манера игры наших форвардов-классиков и во внутреннем календаре всегда сердила. Самолюбивое раздражение мешало сыграть остроумно и тонко против бездарностей-оборонцев. Момент следовал за моментом, между тем время шло, а счет открыть не удавалось — и форварды начинали сердиться друг на друга за прямолинейность. А уверенность в себе форвардов напрямую зависит от забитого гола. И когда мяч, как заколдованный, не мог никак проникнуть в индонезийские ворота, лихорадить стало и самых опытных и хладнокровных. Спешка сменялась апатией. Хуже не придумаешь. Двадцать семь угловых ударов подали игроки советской сборной — и никакого эффекта. Ничего не удалось сделать и в

дополнительное время.

Потом убеждали себя, что помешало желание победить малой кровью. А не излишняя ли закрепощенность?

Но обсуждение случившегося — под руководством не только футбольных командиров, но и руководителей в больших чинах всей советской делегации в Мельбурне, проводимое в стилистике и лексике партсобраний, — могло бы привести к еще большему закрепощению.

Выручило привыкание к обязательным накачкам. И футболисты инстинктивно не поддались размагничиванию ответственностью.

И на повторную игру вышли лишь чуть-чуть подразозленные пережитым разочарованием — и состав несколько скорректировали: Масленкина поставили вместо Парамонова, а на левый край Ильина вместо динамовца Владимира Рыжкина — и действовали посвободнее. И голы забили те, кому и полагалось их забивать: два Сальников и один Иванов, а четвертый Игорь Нетто: он не так часто забивал, но один из четырех своих голов за сборную забил как раз заупрямившимся индонезийцам. Причем три мяча забили в первом же тайме — чего было мучиться накануне?

И обидно еще, что зря растратили энергию перед полуфиналом с болгарями — труднейшим для нашей команды противником.

Полуфинал с болгарями вспоминали потом, может быть, чуть реже, чем матч в Москве против ФРГ.

Болгарам обычно удавалось навязать неприятный для сборной СССР рисунок игры. Известная общность в тактике требовала много терпения, а мотивация у сборной из маленькой Болгарии неизменно оказывалась выше, чем у наших футболистов, знавших, как тяжело играть с болгарями, но все равно считавших себя классом выше. Класс действительно был выше у ведущих наших игроков. Но до безусловной победы без ссылок на большее, чем у соперников, везение нашим футболистам постоянно чего-то недоставало. В составе у сборной Болгарии среди мастеров выделялись еще и те, кого считали «специалистами по России». Например, Колев — за ним советским защитникам никогда не удавалось до конца уследить.

Никто не сомневался, что игра предстоит нервная, но всех драматических для нашей команды поворотов не мог никто предвидеть.

На скамейке запасных ерзали бледные Симонян — он рвал в отчаянии траву, — Маслénкин, доктор Белаковский... Белаковский заметил, как двинулся с искаженным лицом к их скамейке Николай Тищенко, поднявшийся с земли после столкновения с Яновым, — и бросился ему навстречу. Тищенко требовал, чтобы доктор «вправил» ему «выбитое» плечо. Белаковский повернул ему голову, чтобы тот не видел своими глазами травму, разрезал потемневшую от крови майку — и сам ужаснулся: ключица прорвала кожу и торчала наружу...

Тищенко сердился, торопил доктора, рвался обратно в игру. Белаковский с помощью другого доктора наложил повязку — и раненая рука оказалась прижатой к телу. Полноценно играть с такой рукой невозможно. Но и замены — по установленным для Олимпиады правилам — делать тоже нельзя было. И Качалин велел Тищенко, носившему прозвище Тракторист, уйти из защиты на левый фланг нападения — и стоять там, ни во что не ввязываясь. Остались на поле даже не вдесятером, а вдевятьером. У Валентина Иванова распухло большое колено — и его тренер держал на правом краю.

А Колев свой гол — на пятой минуте добавочного времени — забил. Наша сборная проигрывала 0:1. Вдевятьером надо было идти вперед, а не сосредоточиваться на обороне. Но каким образом? Болгары и контратаковать умеют, и уперлись, понимая, что не будет больше никогда такого шанса, когда у противника в полуфинале Олимпиады сразу двое игроков выйдут из строя.

Вместе с тем по защитнику и возле Кузьмы, и возле Тракториста на всякий случай они оставили.

Анатолий Башашкин сильно выбил мяч от нашей штрафной площадки. Стрельцов его подхватил и во всю мощь двинулся с ним прямо к болгарским воротам. Опекавшие Иванова и Тищенко защитники — оба — бросились к нему с двух сторон. Он между ними протиснулся...

Стрельцов говорил потом, что доля секунды была выиграна из-за того, что Кузьма прочел момент — и его намек на маневр на эту вот долю секунды и задержал защитника. В незаблокированное пространство Эдик и втиснулся, убегая в одиночестве с центра поля.

Опытнейший вратарь Найденов, изучивший досконально советских форвардов, правильно занимал позицию. Но мяч — форварду-звезде должно везти и везет — после стрельцовского удара «скиксовал» и влетел в другой, чем направлял он, угол. Счет сравнялся за восемь минут до конца добавочного времени.

Но все знают, что ничейный счет всегда воодушевляет тех, кто отыгрался. Пока болгары сетовали на свою перманентную невезучесть в матчах против сборной СССР, атаки на их ворота продолжались.

На левом краю, как и в первом матче с индонезийцами, играл Рыжкин — очень скоростной крайний форвард. Он сыграл в стенку с Тищенко, чего никто из соперников не ожидал, — и помчался по своему краю. Борис Татушин, выскакивая на его продольный пас, опередил Найденова на какой-нибудь сантиметр — и на сто шестнадцатой минуте сборная СССР вышла вперед. В оставшиеся четыре минуты и стойкие болгары не смогли собраться — после матча они плакали.

Финал — как и четыре года назад с югославами — давил

страшно на психику игроков и особенно тренера еще и по инерции. Не разум, а поротая задница влияла на предыгровое состояние. Опять возбуждали себя ответственностью перед страной, партией и народом.

Никак не повлияло на самочувствие и то обстоятельство, что отношения между странами перестали быть враждебными. Во времена правления Хрущева сложили даже частушку: «Дорогой товарищ Тито, ты теперь наш друг и брат, оправдал тебя Никита, ты ни в чем не виноват». Но спортсменам вообще-то необходим образ врага. И с другой стороны, неужели бы дома простили проигранную футболистами Олимпиаду — неважно: югославам или кому-либо еще?

Олимпиаду в Мельбурне считают олимпиадой Куца. Великий стайер победил на двух дистанциях. Но футболистов, победивших в один с ним год, чествовали никак не менее эмоционально и долго — следующую олимпийскую победу в футболе пришлось ждать тридцать два года и дождаться на седьмой послемельбурнской Олимпиаде.

Качалин поставил на финал в нападение целиком спартаковский состав. Иванову и нельзя было играть с таким коленом, а Стрельцову объяснили тренерское решение тем, что он много воды пьет в Австралии и вообще подустал. Для пользы дела лучше будет, если сыграет свежий Никита Павлович.

В финале победили со скрипом, при том, что выглядели да и были сильнее «югов». Но обязанность выиграть лишила футболистов изобретательности. Двигались тем не менее хорошо. Пресловутые «горящие глаза» вселяли в тренера и друг в друга уверенность. Единственный забитый гол оказался в статистическом отношении курьезным. Закрученный Исаевым мяч пересек линию ворот, однако очень грамотно завершавший атаку с фланга Анатолий Ильин для порядка забежал за мячом внутрь ворот и прикоснулся к нему лбом (как сказали бы в наши дни: «контрольный выстрел»). У Ильина, говоря по-современному, был имидж игрока, забивающего решающие мячи, — это он ведь, напомним, забил третий мяч немцам в Москве. Спартаковский край и в дальнейшем забивал важнейшие голы. И ему охотно приписали гол югославам, разрекламировав его как «золотой». Про телетрансляцию из Австралии на Советский Союз тогда и не заикались. Но существует кинохроника, где эпизод с забитым и добытым мячом зафиксирован. Информационный курьез, однако, никак не повлиял на přátельство двух великолепных футболистов. Они и на банкет в честь сорокалетия победы в Кубке Европы пришли вместе...

По правилам Олимпиад не только замены запрещались, но и медалей отчеканили ровно одиннадцать — и тот, кто в финале на поле не выходил, оставался без золотой награды. Сразу же после вручения произошла красивая сцена, многократно описанная

журналистами — с добавлениями и документально (со слов присутствовавших при этой сцене — я, например, слышал о ней от Стрельцова, Симоняна и доктора Белаковского).

Симонян не тот человек, чтобы принять медаль, не заслуженную им стопроцентно. И после награждения, вернувшись в раздевалку, он сразу же протянул ее Стрельцову: «Она твоя, Эдик». Эдик, может быть, не совсем тактично, но со всей чистосердечностью, сделал протестующий жест, заметив, что Никите Павловичу — тридцать лет, а ему, Стрельцову, — девятнадцать. И он свою медаль получить еще успеет... Происшедшее настолько в характере того и другого, что мне этот эпизод после награждения и неудобно пересказывать как нечто из ряда вон выходящее. Между такими людьми, как Симонян и Стрельцов, по-иному и быть не могло.

Олимпиад в жизни Стрельцова, однако, больше не случилось. Золотую медаль — за победу во внутреннем чемпионате — он еще получит девять лет спустя. Но за успех в Мельбурне его не обнесли наградами. Он получил орден «Знак Почета» («трудовика» ему, учитывая молодость и уже замеченную легкомысленность в поведении, наверное, дать побоялись; орден Трудового Красного Знамени получил Лев Яшин, а орден Ленина — капитан команды Игорь Нетто). Ему и Кузьме присвоили звания заслуженных мастеров спорта. Кто бы из недоброжелателей, считавших присвоение преждевременным, предположил тогда, что Стрельцова этим званием придется удостаивать вторично? Через одиннадцать лет — в шестьдесят седьмом году — ему «заслуженного мастера» почему-то не восстановят, а присвоят новым указом.

13

Валентин Иванов вспоминает, что на одном из множества праздников, посвященных победе в Мельбурне, заметный на автозаводе человек говорил в своем тосте об их с Эдиком переходе из «Торпедо» в команду поименнее как о деле решенном...

В ЦСКА Валентина и Эдуарда поначалу попытались заполучить элементарно — «забрав» в армию. После поездки армейского клуба в ГДР с Ивановым и Стрельцовым в составе всем тренерам, генералам и маршалам окончательно стало ясно, что былая слава к ЦСКА вернется безотлагательно, если форварды-торпедовцы сменяют белые футболки на красные. Но командиры и другое знали: заводское начальство их отстоит. Как говаривал Стрельцов, «армия — армией, ЦК — ЦКой». Наверху не захотят сердить рабочий класс. Тогда армия предложила им условия получше — квартиры, в частности. Им уже ключи от двухкомнатных квартир готовы были вручить. Однако в

последнюю минуту что-то молодым людям в настойчивости генералитета не понравилось — и никуда они из «Торпедо» не ушли. И никогда никуда больше не намыливались. Заводской человек, скорее всего, особых перспектив в жизни своей команды не видел. Но Иванов-то со Стрельцовым в футболе разбирались — и чувствовали, какая подходящая компания вокруг них складывается. А уж условия двум великим футболистам завод как-нибудь обеспечит не хуже, чем у стоящих людей в тех клубах, куда Стрельцова с Ивановым переманивают.

Эдуард, правда, не скрывал, что приглашение в «Спартак» его увлекало. Но подсаживать Никиту Павловича? Такого бы он себе не простил...

Когда на банкете по случаю чемпионства в шестьдесят пятом году сильно побагровевший от радости и выпитого Эдик держал речь с фужером в руке, он опять вспомнил, как звали когда-то в «Спартак», но правильно он сделал, что остался в «Торпедо».

...Прошло шестнадцать лет с того банкета. Мы вместе с Эдиком пришли на панихиду во Дворец спорта ЦСКА — прощались с Валерием Харламовым. Стрельцов посмотрел на бывших футболистов и хоккеистов, надевших по такому случаю мундиры с погонами майоров и подполковников, а кто-то и полковников, и сказал вдруг: «Пошел бы тогда в ЦСКА — и не посадили бы...»

И уж точно не посадили бы, если бы пошел в «Динамо». Туда не начальники даже звали, а «Лева» — в смысле Яшин. Но Стрельцов сыграл за динамовцев на международной встрече, взял майку бело-синюю на память — и продолжил молодую жизнь в «Торпедо». А может быть, и стоило держаться Яшина?

Лев Яшин старше Эдика на восемь лет, но у всех на виду раньше Стрельцова всего на год. Он-то посидел в запасе, поиграл за дубль динамовский несколько долгих сезонов. Правда, к появлению Эдика в «Торпедо» Лев и в сборной был первым вратарем, фигурой № 1 не из-за номера на свитере.

Яшин вошел в славу и авторитет зрелым мужчиной, защищенным сложившимся характером, изжившим в жестокости обстоятельств раньше, чем вышел в люди и на люди, те черты (ведь, наверное, были же они в нем изначально), которые в Стрельцове оставались до конца жизни.

В популярности Эдик дотянулся до Льва очень скоро. Но по обязательной драматургии советской жизни им отводились противоположные амплуа.

Оба происходили из рабочей среды, однако Льву поручалась роль эдакого пролетарского голкипера, партийного, может быть, государственного вратаря, «Вратаря Республики», а Эдик давал повод видеть в себе инфан-террибля, подлежащего активному

общественному воздействию: осуждению с оставляемым шансом на исправление... В Фергане — играли там кубковый матч — Стрельцов повздорил со вторым тренером «Торпедо» Владимиром Ивановичем Гороховым. Владимир Иванович — человек, конечно, заслуженный и замечательный, но второму тренеру, как бы ни был он уважаем в футболе, премьерские грубости не привыкать сносить. Однако про выходку Эдуарда доложили директору завода — и тот скомандовал, чтобы Стрельцов немедленно собрал свои вещи и отправлялся домой. Домой, разумеется, никто премьера не отправил, сам же Горохов после принесенных ему искренних извинений поспешил с предложениями, как «отмазать» Эдика. Да и директор сердился понарошку. Тем не менее... Я к тому, что воспитанием Стрельцова всю дорогу кто-нибудь занимался.

Яшин знаменовал собой поколение, умевшее осознанно отказывать себе в рискованных радостях или, по крайней мере, скрывать свою тягу к этим радостям. И маску идеологического спортсмена он согласился надеть, обрекая себя на никому не видимые муки...

Стрельцов же и внутри поколения, гораздо более откровенно, чем старшие, тяготевшего к запретным плодам, невольно выделялся той непринятой у нас свободой, о которой мы уже говорили. Кузница пролетарского воспитания не обожгла его вовремя — и он, подобно красивой бабочке, летел на огонь...

По всем признакам юноша, производящий такое легкомысленное впечатление, должен был вызывать неприятие у человека строгой судьбы Льва Яшина. Но своей беззащитностью в беспощадном мире Эдуард по-своему привлекал к себе главного вратаря. Эдику Яшин и симпатизировал, и под свое покровительство готов был взять, перейди он в «Динамо»...

И Стрельцов видел всегда в Леве не партийца с догмами, а человека пусть и с правилами (которые Эдик не считал для себя необходимыми), однако и с пониманием, с тайной печатью сочувствия к людям, осмеливавшимся жить по-другому, чем он живет.

Яшин оказался для Эдуарда и сильнейшим спортивным раздражителем.

...Я сдержанно отношусь к футбольному комментатору Владимиру Перетуруну. Но все готов ему простить за вырвавшуюся у него в репортаже о юбилейном матче Пеле фразу: «Пеле отдал мяч пяткой по-стрельцовски...»

Пяткой великолепно пользуются многие известные футболисты, но стрельцовское исполнение превратилось в хрестоматийное.

Стрельцов говорил, что излюбленные приемы он «брал из игры», а не специально разучивал или копировал чьи-то, увиденные, скажем, в детстве у кого-нибудь из знаменитостей. И пас пяткой он не

практиковал до игры с московским «Динамо» в пятьдесят четвертом году.

«Торпедо» в те сезоны очень трудно давались игры против «Динамо». Стрельцову с Ивановым стало казаться, что забить Яшину невозможно. Не знали — как? Доходили до ворот — и начинали мудрить. Не могли принять окончательного решения, когда бить...

«И вот, — рассказывал Эдик, а я записал (и литзаписчик, помогавший делать книгу Яшину, процитировал потом, надеюсь, с яшинского ведома, этот рассказ в мемуарах вратарских), — иду я с мячом вдоль линии штрафной. Лева, как всегда, стал смещаться. А вся защита двинулась за мной. Кузьма остался сзади, за нами не двинулся (с таким партнером всегда знаешь, что он в той или иной ситуации сделает, абсолютно ему доверяешь и смело идешь от обстановки к решению — и сейчас я и не смотрю, но точно знаю, что Кузьма остался...) Я довел защитников до дальней штанги. И мягко так откинул пяткой — мыском же здесь не сыграешь, правда? — мяч Кузьме...

Он прямо и влепил в «девятку» динамовских ворот.

Я к нему бросился, говорю: «Вот так только можно Лева забивать». Во втором тайме Яшин расстроился и уже сам ошибся.

С тех пор я и почувствовал, что пяткой дела делать можно, но с умом, конечно...

А я лично полюбил Яшина за ответ в интервью, которое взяли у него для десятого номера еженедельника «Футбол».

Еженедельник стал выходить с мая шестидесятого года. Возглавил его Мартын Мержанов, журналист, прошедший университеты партийной печати непосредственно в газете «Правда». И действительная страсть к футболу, может быть, главная в жизни страсть этого человека, не излечила Мартына Ивановича от сужающей кругозор ортодоксальности и во времена совсем умеренного людоедства. Редактор еженедельника «Футбол» — один из совсем немногих в стране людей, которые изначально относились к Эдуарду Стрельцову неприязненно и подозрительно (знаю еще коллегу Белаковского — тоже видного спортивного врача, но с динамовским уклоном, Зельдовича: он считал Эдика «гнилым парнем»). А уж после суда над Стрельцовым Мержанов, по советскому обыкновению, слепо поверил в его виновность и форменным образом возненавидел. И потом всегда противопоставлял ему своего любимца Валерия Воронина как образец.

Но к Яшину редактор относился со всем почтением — и вот номер нового еженедельника открывался интервью с вратарем сборной. И среди стандартных вопросов закрался вопрос по западному типу — о любимом блюде. Яшин ответил: «Омар под майонезом», добавив, что лучше всего готовят его во Франции. И не

объяснишь сейчас, в чем уж такая революционность ответа... Но Хрущев, например, неизменно отвечал иностранным журналистам, что любит борщ — и правда любил. И Яшину по заданному для пролетарского голкипера стереотипу лучше было назвать, допустим, картофель или что-нибудь такое же простое и кондовое. Но Лев в зарубежных поездках полюбил омара под майонезом — и не захотел это скрывать...

В «Футболе» за тот же шестидесятый год после выигрыша сборной Кубка Европы опубликовали комплиментарную статью Бориса Аркадьева о Валентине Иванове — мне в ней запомнились слова, что наш правый инсайд владеет всеми видами удара..

14

Стрельцов, опять же едва ли не единственный из футболистов, никогда не жаловался и не обижался на своих тренеров. Обиделся слегка, может быть, только на самого последнего в своей футбольной карьере... Но об этом речь впереди. А так он даже Михаилу Иосифовичу Якушину, не прислушавшемуся к его намекам и отчислившего его из сборной с необязательным ударом по самолюбию великого игрока, никаких «предъяв» спустя годы не делал.

Не новость, что тренеры всего чаще конфликтуют со звездами. Но Стрельцов с тренерами никогда не конфликтовал — и, однако, умудрялся находиться от них в минимальной зависимости. Получал от них не то чтобы карт-бланш, но задание, не заставлявшее его изменять своим привычкам.

Перед сезоном пятьдесят шестого года — сколько, однако, памятных событий на этот год приходится — тренером московского «Торпедо» был назначен Константин Иванович Бесков. Морозовым за выступления команды в пятьдесят пятом остались недовольны. Когда теперь мы знаем, кто такой Бесков, кому-нибудь покажется, что торпедовцев все поздравляли с этим назначением. Но в пятьдесят шестом у Константина Ивановича не было никакого тренерского имени. А репутация выдающегося футболиста для «Торпедо» была несколько подпорчена тем, что играл он за «Динамо». Лестно, конечно, но все равно — не свой, а вместо своего. Тем более что вроде бы наступал черед Маслова — «Деда» всегда прежде возвращали после неудач сменщика. Но Маслова оставили старшим тренером в ФШМ — и довольно скоро все убедятся, что работа Виктора Александровича в футбольной школе сослужит «Торпедо» лучшую из возможных служб. Пока же автозаводскому клубу приходилось примириться с начинающим тренером Бесковым из «Динамо».

День рождения Константина Ивановича приходится на позднюю осень, и в «Торпедо» он пришел, когда ему и тридцати пяти не сравнялось.

По завершении карьеры игрока устроен Бесков был, в общем-то, совсем неплохо. При сложившихся у них взаимоотношениях с Якушиным «Михей» не захотел брать «Костю» себе в помощники. Но Качалин позвал его вторым тренером в сборную. Что бы для начала могло быть лучше? Но самолюбие Бескова в роли второго страдало. Кстати, пятьдесят пятый год для сборной знаменателен победой над немцами — чемпионами мира, а слышал кто-нибудь, чтобы этот успех связывали с участием в тренерском штабе вчерашнего динамовского лидера? Вторые тренеры не выигрывают матчей. Правда, когда за поражение увольняют старшего тренера, совсем необязательно немедленно лишают работы его помощника. Однако, как правило, во втором тренере старший тренер хочет видеть преданного себе с потрохами работника. Качалин — опытный человек и тоже родом из «Динамо» — вряд ли ждал от Бескова особой преданности. Возможно, Гавриил Дмитриевич и видел в нем полезного советчика — в сборной все же черновой работы поменьше, чем в клубе. Второй тренер может позволить себе роскошь порассуждать вслух, не превращаясь в оппонента старшего. Но и при очень сильном воображении не представишь тридцатичетырехлетнего Константина Ивановича у кого-то на подхвате — даже если разрешают ему иметь собственное мнение. Бесков понимал, что у Качалина опыта побольше, чем у него. Только принимал ли он всерьез опыт работы с «Локомотивом»? В «Локомотиве», между прочим, доигрывал старый приятель Бескова по динамовской команде сороковых годов, защитник Александр Петров — это с ним Костя шел по улице Горького, когда познакомился с Лерой (Валерией Николаевной). И все же, как истинный динамовец, тем более динамовец — премьер и корифей, он презирал «Локомотив» и не думал тогда, что и железнодорожный клуб ему придется тренировать. В тренерской работе Константина Ивановича заведомым препятствием становилось то обстоятельство, что он с неуклонной динамовской репутацией приходил варягом в большинство из доверяемых ему клубов. Но не априорная ли отчужденность сделала его самым профессиональным из отечественных тренеров?

Руководимое Константином Бесковым «Торпедо» отлично начало сезон пятьдесят шестого — я всегда помню, что матч, в котором Стрельцов вернул мне ощущение праздника 2 мая, проходил при его тренерстве победившей «Спартак» стороны.

Спустя годы я с большой — до бестактности — настойчивостью расспрашивал и Бескова, и Валю с Эдиком о сезоне, когда их таланты объединились (точнее, могли бы объединиться) под торпедовским флагом. И слышал весьма уклончивые ответы — чувствовалось, что

ни тренеру, ни игрокам особого удовольствия воспоминание о попытках давнишнего сотрудничества не доставляет. За прошедшие годы они пришли к однозначно высочайшей оценке друг друга, что Бескова с Ивановым все равно не вполне примирило (они ведь еще и возглавляли конкурирующие в более поздние времена команды), а Стрельцову тема не представлялась такой уж интересной, и потом он в гораздо большей степени, чем Константин Иванович и Кузьма, умел сознать себя виноватым, но, как и они, предпочитал вслух ни о чем подобном не говорить.

Да Бесков и не виноват ни в чем перед торпедовскими фаворитами...

Ходил по Москве слух, что Константин Иванович предложил заводскому начальству отчислить Иванова со Стрельцовым — и тогда он обязуется сделать классную команду. А заводское начальство предпочло, мол, отказаться от услуг оригинала-тренера.

Само собой, ничего подобного Бесков никому не говорил. Но остряки правильно угадали направление его рабочей мысли. Бескову всегда хотелось сделать команду своими руками от начала до конца — и более всего любил он игроков, мастерство которых возрастало от предложенных им на тренировках упражнений — и, действительно, разве же не обязаны ему всем или многим Гаврилов, Черенков, Мостовой, Шалимов, Хидиятуллин, Родионов, Дасаев... Перечисляю, заметьте, лишь самые громкие имена.

Для «Торпедо» Константин Иванович отыскал в Горьком Славу Метревели. Метревели — выдающийся игрок двух замечательных клубов и сборной СССР. Чемпионом страны он становился и в торпедовском составе, и через четыре года в тбилисском «Динамо». Бесков взял в штат Николая Маношина. С отцом Валерия Воронина Бесков вместе служил в армии — и когда тот привел к нему на просмотр шестнадцатилетнего сына, сразу же привлек его в дубль «Торпедо».

В своей тогдашней эйфории Иванов со Стрельцовым не видели для себя необходимости в тренере с волевой концепцией игры. Дарованная им Морозовым свобода действий казалась привлекательнее. На установках у Константина Ивановича они скучали, а Стрельцов однажды попросил тренера быть в разъяснениях плана на предстоящую игру немножечко покороче... Стрельцов воспринимал Бескова на тренировочных занятиях как великого футболиста недавнего прошлого — и радовался просто по-детски, когда в двусторонних играх делал ловкую передачу Кузьме прямо из-под носа у пытавшегося отобрать у него мяч тренера.

Но никаких конфликтов между ними не наблюдалось.

В рассказах Бескова о работе в «Торпедо» я никогда не слышал имен ни Стрельцова, ни Иванова — он очень хорошо говорил о них

вообще, но вне контекста работы с ними в «Торпедо»: Иванов поиграл у Константина Ивановича еще и в сборной шестьдесят третьего — шестьдесят четвертого. Охотнее тренер вспоминал, как поставил в центре нападения Ивана Моргунова, когда защитники приготовились противостоять Эдику, а тот их накручивал с места инсайда. Или о том, как в отсутствие фаворитов Юрий Золотов сделал «хет-трик» в международном матче.

Конфликт у Бескова, стоивший ему должности, возник с торпедовскими середняками. Тридцатилетние и старше середняки быстро почувствовали опасность со стороны лелеемой тренером в ближайшем, да и дальнем резерве молодежи — и вовремя приняли меры: настроили против Бескова заводскую администрацию. Уверяли начальство, что динамовец посягает на их торпедовские традиции. Не будем судить интриганов и жалобщиков слишком уж строго — им, людям не шибко грамотным, не имевшим никаких тылов, казалось страшным преждевременное расставание с командой мастеров.

А вот Иванову и Стрельцову, чьим позициям в команде ничего не грозило, наверное, следовало бы поддержать такого перспективного для «Торпедо» тренера. Но эгоизм молодости и занятость в сборной отвлекали лидеров от проблем законфликтовавшего с ветеранами Константина Ивановича.

От перемены Бескова на Маслова Иванов со Стрельцовым ничего не прогадали — и, скорее всего, ласковое слово обожавшего обоих форвардов «Деда» важнее для таких игроков, чем самые прогрессивные тренерские идеи. Валентин Козьмич, множество лет проработавший тренером, рассердился на меня, когда я сказал про одного нелюбимого им торпедовского тренера, что у того нет идей. «Какие идеи? Подбирается хороший состав, хорошая компания...»

Маслов принял команду у Бескова. И когда в наступившем сезоне «Торпедо» поднялось как никогда прежде высоко, никто о Бескове не сожалел и не вспоминал уже.

Ну это ладно — удивительно, что никто не вспомнил про Константина Ивановича и позднее, после шестидесятого года. При том, что даже в богатой свершениями биографии тренера Бескова интеллектуальная инвестиция его в «Торпедо» дорогого стоит.

Бесков пришел работать в ФШМ, откуда отзывали назад в «Торпедо» Маслова.

Академик-физиолог Иван Павлов высказался в том смысле, что они с Зигмундом Фрейдом рыли свои тоннели в поисках, по сути, одного и того же, чем, вероятно, смутил и озадачил во всем несогласных между собой последователей противоположных школ.

От тренеров не дожدهшься великодушия, подобного павловскому, — в их работе, неотъемлемой от конкретной соревновательности, признание хоть каких-нибудь достоинств за

соперником скорее мешает.

Польстило бы Маслову сравнение его с Фрейдом? Не уверен, что «Дед» слышал о нем, но, если бы и слышал, никому бы о том не сказал — не захотел бы выходить из образа, к пребыванию в котором всех приучил и в котором сам чувствовал себя уютно, как в заношенной кофте или растоптанных валенках. Те же, кому хотелось выглядеть культурнее и умнее Маслова, завидовали его таланту самородка, распространяли байки о том, как он признал однажды, что Пушкин это тот же Гарринча в своем деле, раз умеет писать и «лесенкой», словно Маяковский, и душевно, как Есенин. Я понимаю, что «Дед» не кончал ни Оксфорда, ни Кембриджа, но не исключаю, что простотой своей слегка бравировал. Ему важен был теснейший контакт с игроками — и он достигал его, оборачивая нужную ему для внедрения в сознание игроков мысль в оболочку, не отталкивающую ни малейшей наукообразностью. Он настаивал на том, что практику предпочитает всяческим теориям.

Сомневаюсь, чтобы Бесков был меньшим, чем Виктор Александрович, практиком. Но ему нравилось, когда в нем видели белую ворону тренерского цеха. Он бы не отказался от сравнения с Иваном Павловым, раз тот признанный академик. Но больше всего Константин Иванович любил параллели с театральным миром, с деятельностью величайших режиссеров. Свою книгу, собранную журналистом из газетных интервью с тренером или ранее опубликованных выступлений в печати, он назвал «Моя жизнь в футболе». Под Станиславского.

Маслов был на десять лет старше Бескова. Положение его в футбольном обществе позволяло ему или даже обязывало его позаботиться о книге мемуаров — никто из советских тренеров, кроме Лобановского, не выигрывал такое количество раз чемпионаты и Кубки, как «Дед». Но Виктор Александрович никаких воспоминаний не оставил. Не думаю, что причиной тому скромность человека с восемью классами образования. Маслов регулярно приходил в редакцию спортивной газеты на улицу Архипова, где в отделе футбола трудился его приятель Александр Виттенберг, выступавший в печати под псевдонимом Вит. С дядей Сашей Витом я был знаком, когда короткое время служил в этой редакции. Мы иногда выпивали и разговаривали...

Сегодня в спортивную и, в частности, футбольную журналистику приходят сразу — и всю дальнейшую жизнь живут опытом, приобретаемым в общении с игроками, тренерами и коллегами сходной судьбы. А в сороковые — пятидесятые годы спортивными журналистами становились люди, сильно потрепанные жизнью, обычно уволенные из центральных газет за беспартийность, излишнюю разговорчивость на запрещенные темы или за еврейскую

национальность; кое-кто из них бывал репрессирован, а другие смертельно боялись пойти за ним следом. Как правило, это были люди, получившие хорошее образование, читавшие книги, не переиздававшиеся при советской власти. Писали свои корреспонденции или статьи они не слишком выразительно — не хотели новых неприятностей, да и редакторы у «Советского спорта» бывали весьма ортодоксальны и придирались к живой лексике. Но все эти ушибленные и напуганные господа вели себя с достоинством, избегали суеты и празднословия — и у видных футбольных тренеров той эпохи вызвали уважительное доверие. Дядя Саша до войны защитил диссертацию по немецкой литературе и говорил по-немецки настолько свободно, что в лагере настоящий немец, попавший туда одновременно с журналистом, отказывался верить, что Виттенберг еврей из России, утверждал, что встречался с ним в Берлине. Вит читал иностранные спортивные издания, знал мировой футбол — и умел мысли, высказанные Масловым, превратить в статьи, уровень компетентности которых сегодня просто немыслим: нет ни тренеров, склонных к обобщению, ни журналистов, способных размышлять с ними на равных. О статьях «Деда», выходявших из-под пера дяди Саши, говорили после их появления на газетных полосах никак не меньше, чем о нашумевших матчах. Не в обиду Валентину Козьмичу будет сказано, но «Дед» — столь простецкий в быту и тренировочных буднях — в газете высказывал именно идеи... И вызывал едва ли не каждой статьей ответный полемический выпад киевского корреспондента Аркадия Галинского, всегда спорившего с Масловым печатно, а Виттенберга подвергавшего нелюбезной устной критике. Галинский даже грозился написать большую статью под названием «Несчастный русский рабочий Маслов и глупый еврей Виттенберг».

Но в общении с игроками «Дед» ни малейшей важности, присущей руководителям в любой области, на себя не напускал. Мог с ними и рюмку выпить, ошеломляя слишком уж наивных футболистов демократизмом. Конечно, у выпивок с игроками бывала педагогическая подоплека — при тренере у большинства хватало ума не напиваться. В Лондоне после какого-то товарищеского матча Иванов со Стрельцовым и еще двое игроков, приглашенных в зарубежную поездку из другой команды, собрались пойти из гостиницы куда-нибудь выпить. И тут как раз заглянул к ним Маслов с бутылкой коньяка — предложил отметить выигрыш: по сто грамм на брата и получилось. Затем «Дед» сказал: «Я знаю, вы сейчас отдыхать будете», — и удалился к себе. Отдыхать, конечно, никто не собирался — на улицу вышли все-таки, но пить не стали, купили себе по рубашке...

В Париже он взял их с собой в варьете «Лидо». Есть снимок: в

глубине кадра комментатор Николай Озеров с бокалом, Эдуард, не догадавшийся убрать из кадра руку, с сигареткой между пальцами, и рядом с ним Кузьма, опутивший руки на колени, как примерный школьник.

Иванов считает, что особенно близких людей у Виктора Александровича не было. Но без общения он дня прожить не мог. Не переносил одиночества. Подселил к себе в большую комнату на сборах трех своих помощников. Устраивал перед сезоном сорокапятидневные сборы в Сочи — убегал от любимой жены Екатерины Федоровны, противницы застолий, а ему после тренерских трудов необходимо было расслабиться.

К помощи науки, медицины этот самородок не обращался, сам на глазок определял нагрузки игроков в предсезонье и в сезоне. В играх и выборе тактики на матч ошибался в редчайших случаях. На установках бывал краток. Даже в присутствии заводского начальства избегал каких бы то ни было накачек, излишне строгих напутствий. «Дед» ненавидел дилетантов в футболе и не мог скрыть, что сомневается в глубине понимания игры чиновников, руководивших футболистами. И те в отместку не подпускали и близко к сборной мудреца из «Торпедо» и киевского «Динамо», куда он пришел к середине шестидесятых.

Виктор Александрович умел напустить на себя грозный вид, но в «Торпедо» (в Киеве после всего пережитого ему пришлось вести себя несколько по-другому) виновники практически не слышали разносов после поражений. «Дед» ограничивался общим разбором — без упоминания конкретных фамилий.

В душу к молодым лидерам — Иванову и Стрельцову — он тем более не лез. Их игру если корректировал, то минимально. Но вплотную занялся теми, кто окружал фаворитов. Строил омоложенную — дело Бескова продолжалось — команду с учетом выдающихся возможностей своего сдвоенного центра атаки. При таком центре и не нужно было пятерых чистых нападающих — и Юрий Фалин, чтобы не тесниться в первой линии, отходил назад...

В сезоне пятьдесят седьмого года «Торпедо» поднялось на второе место в чемпионате — высшее достижение в истории клуба. А чемпионами стали московские динамовцы — Михаил Якушин был удачлив и с новым поколением игроков.

Бесков же тем временем вошел во вкус преподавательской работы. Он казался созданным для нее. Константин Иванович смягчался под восторженными взглядами мальчишек, во всем ему подражавших, копировавших его пробор в прическе, его манеру говорить и двигаться. Ученики на всю жизнь запомнили «режиссерские показы» Бесковым того или иного приема. Ключевой игрок торпедовской защиты в шестидесятые годы Виктор Шустиков,

занимавшийся у Константина Ивановича в ФШМ, вспоминал, что урок у них начинался с того, что тренер внятно разъяснял им технику выполнения элемента или приема, а потом проводился медленный, словно в рапидной съемке, показ, повторяемый многократно. Рапидное изображение сменялось скоростным... Бесков не старался поразить воображение «школьников» своим умением, а учил. И если показанный им прием получался, радовался больше, чем сами ученики. Константин Иванович подводил подопечных к требованиям команды мастеров. Но если в командах, где потом Бесков работал, он бывал к конфликтовавшим с ним людям нетерпимым, невозможным, отчуждал от себя несправедливостью в отношении к уличным или подозреваемым в неадекватности, в недостаточной преданности тренеру и его идеям, то на мальчишек он никогда не повышал голоса, проявлял бесконечное терпение и — при всей вызываемой им почтительной дистанцированности — достигал короткости в отношениях, какая бывает в лучшие минуты детства с отцом или старшим братом.

Кроме Шустикова в «Торпедо» к Маслову от Константина Ивановича из школы пришли и Олег Сергеев, и Кирилл Доронин. Про тех, кто там уже был, я сказал раньше...

Не помню уж от кого слышал я в ранней молодости, что великие писатели только делают вид, что пишут для толпы. На самом деле они пишут друг для друга.

Но толпа и не читает великих писателей, ограничивается знанием имен некоторых из них — для разгадывания кроссвордов... А сегодня и писатели — не скажу про великих, близко никого из них не знаю — вряд ли друг друга читают.

Футбольные тренеры — и великие, и не великие — встречаются на более узкой соревновательной тропе, чем деятели литературы. (Сегодня, между прочим, из-за общности методик, образцов и влияний извне выделить великих труднее, чем во времена, которые описываю; на слуху скорее имена фартовых, что совсем немало: то есть немало не в том смысле, что имена специалистов известны, а в том, что притягивают они к себе удачу.) И не замечать одному другого и всех остальных коллег нет никакой возможности. Но вражда чаще мешает оценить достоинства соперников, что вообще-то для победы над ними необходимо.

Не стану утверждать, что тренеры-классики умели во всех случаях уважать собратьев по ремеслу и в своих высказываниях о конкурентах придерживались цеховой корпоративности: я сам слышал нелестные отзывы Якушина об Аркадьеве, когда им и делить уже было нечего, недоброжелательные слова о Бескове; слышал и от Бескова уверения в том, что превзошел он и самых знаменитых из старших предшественников...

Но и Якушин, пришедший вместо Аркадьева в послевоенное «Динамо», не ломал из самолюбия выстроенное Борисом Андреевичем, а с молодой энергией стал строить то, что предшественник, на взгляд «Михея», в своем проектировании упустил — и теперь наверстывал упущенное, работая в ЦДКА. И Маслов не захотел убивать в игроках то, что привил им, что посеял в них Бесков, а распорядился выученными другим игроками, согласно собственным воззрениям на футбол.

Во второй половине шестидесятых содержание футбольной жизни в СССР составило тренерское соперничество Бескова и Маслова, руководивших московским и киевским «Динамо». А вот за десятилетие до того они, не сговариваясь, не союзничая, потрудились над «Торпедо».

«...ГЛАЗУНОВ, СТРЕЛЬЦОВ И ЕВТУШЕНКО»

15

По утрам они собирались на краю своей торпедовской улицы — возле входа в метро «Автозаводская». Отсюда автобус увозил их на службу — в Мячково, где жили они на сборах. А пока ждали транспорт, шутили и беседовали с Лизой, прозванной ими Зулейкой, — она сидела в своем павильончике для чистки обуви, торговала гуталином и шнурками, смуглая, эксцентрично-энергично миниатюрная, с жарко-темными глазами и бойким, привлекающим говорком. Безоговорочная спартаковская болельщица, она стала сердечным другом — забытое сегодня сочетание — торпедовцев стрельцовско-ивановского созыва (Зулейка и Кузьма ровесники). Мне рассказывали, что Слава Метревели — уж не знаю, насколько всерьез — делал ей предложение. Но, как я понимаю, у Лизы, не монашки по всей вероятности, длился платонический роман со всем «Торпедо», включая тренера Маслова. Она превращалась в достопримечательность всякого района, где работала. Конец века она застала в будке на Никольской, рядом с ГУМом, — и ее иногда снимают для телевидения, интервьюируют: кладезь занимательной информации. Правда, расспрашивают ее про самых знаменитых, у которых она и дома бывала, которые поверяли ей секреты, которые привозили ей в подарок разные тряпки из-за границы. А для меня, например, Лиза особенно замечательна тем, что в цепкой памяти сердца она держит всю компанию тогдашнюю: люди состарились, спились, умерли, кто-то и при жизни наглухо забыт, смыт злым течением времени, а в Лизиных хрониках, как именую я для себя ее рассказы, где и документ всегда вроде бы подлинный и вместе с тем ни о ком плохого слова, тем более при посторонних, все друзья прожитых лет остались красивыми и молодыми. Да и кто сейчас, кроме постаревшей Зулейки, видит исчезнувшую компанию не просто стайкой бравых парней, а загадочными и одинокими мирами, вне зависимости от высот признания или перепада высот: спортивная известность более всего похожа на электрическую лампочку, которая ярче всего вспыхивает перед тем, как навсегда погаснуть...

Простые ребята, весело толковавшие, от нечего делать, с чистильщицей ботинок, — и вот, полувека не прошло, а один из них в полукилометре каком-нибудь от метро стоит бронзово-изваянный и на пьедестале.

Они топтались в одинаковых иностранных плащах с

погончиками, а указующий перст невидимой угрозы уже задержался на том, кто станет в самом конце века натурой для скульптора.

Все они одеты по тем временам на редкость хорошо, но иноземный «прикид» на Эдике — при его-то стати — показался кому-то нарядом эпатирующим, вызывающим нежелательные для ревнителей советской идеологии параллели: «стиляга и Стрельцов».

Стиляга и Стрельцов — в заковыченных для моего злорадного цитирования рифмованных строчках, выхлестнувших из-под пера культово-либерального поэта вскоре после несчастья с Эдиком. Оба явления преподнесены с маленькой буквы...

Борьба советской власти и ее идеологических институтов со стилягами затянулась на десятилетие. Сам термин, ядовито прилипчивый, сочинил фельетонист из «Крокодила» Николай Беляев (он и в редакторах этого журнала побывал) в сорок девятом году. Но и в пятьдесят седьмом — пятьдесят восьмом, когда в комсомольской прессе начиналась казнь Стрельцова, Эдуарда искусственно пристегнули к тем, кто не переставал быть объектом сатиры.

Стрельцов стилягой не был.

А и был бы, что уж такого предосудительного? — резонно спросят меня сегодняшние люди, начитавшиеся мемуарных книг Виктора Славкина и саксофониста Алексея Козлова (того, который «Козел на саксе», как говорят про него герои пьесы «Взрослая дочь молодого человека»). Сколько талантливых, широко признанных теперь людей вставляли на толстую — и часто самодельную — подошву, натягивали с мылом узкие самострочные брюки, взбивали кок (вот кок, как мы уже знаем, и великий футболист наш носил), вывязывали галстуки с пальмами и голыми дамами... Их так долго встречали по одежке блюстители нравов, что заметить не успели, что мир меняется в направлении, о котором любители джаза и танцев под джаз узнали раньше верноподданных комсомольцев. Ну а что касается моды, то в ней во все времена бывали свои первопроходцы-разведчики — стиляги, первыми улавливающие перспективу, которую несут в себе неожиданности кройки и шитья. Ну и разве грех — неудержимая потребность в особом стиле жизни?

Но я не собираюсь сию минуту лезть в эти чрезвычайно любопытные дебри. Меня сейчас занимает только контекст стрельцовского времени.

И критиков Эдика — добровольных и ангажированных — я тоже очень бы хотел понять. Тем более что из моего повествования о Стрельцове вряд ли вырисовывается некто с крылышками за чуть-чуть сутулой спиной.

Конечно, на придирки к нему он часто сам и напрашивался.

Но неужели человек, чья футбольная гениальность никогда не вызывала сомнений, не заслуживает того, чтобы быть рассмотренным

отдельно и особо, не добираясь сотым до сотни, говоря словами другого поэта, пострадавшего в один год со Стрельцовым?

Собственно, на подсознательном уровне Эдуарда давно выделили, как не выделяли ни до, ни после никого из самых замечательных спортсменов. Время выразилось не в одном таланте его, а в славе, неуместной в том регламенте, что был принят тогда в нашей северной стране, — время рвалось вперед, а его по советской привычке сдерживали недозволёнными приемами.

Автор строчки, где спряглись «стиляга и стрельцов», Евгений Евтушенко сначала ввел Эдуарда в свою прозу под именем Коки Кутузова. Трудно сказать, до или после фельетона с поставленным Стрельцову диагнозом звездной болезни закончил он работу над рукописью рассказа, но точно, что сочинял его после первого июня пятьдесят седьмого года, когда сборная СССР играла в Лужниках против румын. В рассказе Евгения Александровича он и его друзья в каком-то захудалом ресторанчике, который им, безденежным юношам, по карману, встречают своего соседа — футболиста, нарушающего спортивный режим накануне ответственного матча, неумеренно пьющего пиво. Рассказ называется «Третья Мещанская», а Стрельцов из Перова, но поэт разрушает автобиографичность своей прозы ради того, чтобы укрепить ее выразительнейшим знаком: присутствием в жизни автора футболиста номер один. Первый поэт и первый футболист обязаны соседствовать в завоеванном знаменитостями мире. Летом в Коктебеле, когда Эдик будет уже приговорен к лесоповалу, Евтушенко скажет: «У советской молодежи есть три кумира — Глазунов, Стрельцов и Евтушенко». Что не помешает ему очень-очень скоро — поэма опубликована в десятой, октябрьской книжке толстого журнала — для рифмы к слову отцов (речь идет о наплевательском отношении к памяти старшего поколения) соединить Стрельцова со стильягами. Вообще-то и претензии к стильягам в творчестве «первого поэта» не до конца ясны для меня. Помните: «И пили сталинградские стильяги»? Дальше стильяги стреляют там — в стихотворении — винными пробками в стену, где написано: «Сталинград не отдадим». Евтушенко-то зачем встречать кого-либо по одежке? Сам же вроде бы натерпелся от советских пуритан и просто недоброжелателей. Еще в начале пятидесятых в стенной газете Союза писателей Константин Ваншенкин посвятил ему дружеские стихи, где проходилась по длиннополым пиджакам и всему прочему, в чем щеголял недовольный в недалеком будущем стильягами стихотворец. Много позже Евтушенко опубликует стихи, посвященные их давнему спору-ссоре с Василием Шукшиным. Шукшин, избранный во ВГИКе не то комсомольским секретарем, не то — не помню точно — в институтский комитет комсомола, чуть ли не сам ножницами резал узкие штаны различным маменькиным и папенькиным сынкам, с

его точки зрения, затесавшимся в престижный вуз. А в стихах Евтушенко предлагает автору снять позорящий его, как сибиряка со станции Зима, галстук-бабочку. Поэт же заявляет Шукшину, что и сапоги кирзовые — точно такое же пижонство и выпендрож, если человек, сыгравший в кино главную роль, в состоянии купить себе хорошие и дорогие ботинки. И он скинет свою «бабочку» лишь при условии, что Василий Макарыч вылезет из своих «кирзачей»...

Мне хотелось сказать сейчас о загадочности тогдашних состояний и умонастроений, бродивших в нашем обществе, замороженном объявленными послаблениями и прежним расхождением на практике с тем, что декларирует власть. Той же осенью, при публичном избиении Пастернака, Евгений Евтушенко держался очень достойно, чем отличался от многих, не менее достойных, чем он, людей.

Стрельцов, разумеется, не читал строк про себя и стилиг, не слышал никогда про ту публикацию. И был с Евтушенко в прекрасных отношениях. Незадолго до кончины Эдика мы в разговоре с ним коснулись в связи с чем-то Евтушенко — и он, улыбаясь и качая головой, протянул с веселым воспоминанием: «Же-енька». Ему — смертельно больному — продолжал казаться забавным эпизод в Чили конца шестидесятых, когда присутствующий там одновременно со сборной по футболу Евтушенко пообещал по пятьдесят (кажется) долларов личной премии за каждый забитый гол. А Стрельцов забил целых три, а четвертый — в свои ворота — напуганный им защитник хозяев Морис, — и столько денег у Жени не оказалось. Тогда футболисты добавили свои — и знатно отметили победу в каком-то, не из последних, ресторане. Вот такое идиллическое продолжение получилось у «Третьей Мещанской» десять лет спустя...

Летом пятьдесят пятого года, когда Стрельцов уже играл за сборную, а его более поздние критики еще не находили в поведении форварда во вне футбольном быту ничего предосудительного и вызывающего, на улице Воровского в Москве стал выходить журнал «Юность», редактируемый Валентином Катаевым — тем самым, что написал в тридцатые годы эпиграмму на знаменитого футболиста, тренировавшего краткосрочно, как мы здесь уже вспоминали, московское «Торпедо» Федора Селина: «...зелен луг и зелен лес, только очень рыжий Селин в эту зелень как-то влез».

В нашем повествовании, начавшемся размышлениями о памятнике — предмете, обыкновенно повернутом к вечности (хотя и в таких категоричных обращениях к вечности на нашей же памяти не так уж редко попадали впросак), не совсем тактично называть какие-либо события эпохальными, если сами мы не до конца в том убеждены. Тем более что представления об эпохальном слишком часто зависят напрямую от веяний времени, в которое такие заявления делаются. Так

что уж лучше всего, наверное, будет отказаться от глупой привычки смотреть свысока на одно время из другого, опираясь на новейшую или последнюю информацию. Правда, хорошо бы и ностальгию по утраченному не считать точным измерением.

Словом, про «Юность», чей тираж превосходил тираж всех нынешних журналов вместе взятых, — журнал, рассчитанный на сверстников Эдуарда, — резоннее всего говорить с негромкой, чтобы не дразнить тех, кто отрицает все в советском прошлом, но все же похвалой, чтобы расположить к рассказчику тех, кто отрицает в этом прошлом не все подряд.

«Юность» взалхлеб читал и стар, и млад. Журнал Катаева и многое из того, что в нем публиковалось, были прежде всего замечательны по своему успеху у читателя.

Сегодняшним молодым людям, подозреваю, мало что понятно из невероятно нашумевшей тогда повести «Хроника времен Виктора Подгурского». Но в середине пятидесятых в герое молодого писателя Анатолия Гладилина сверстники наши увидели себя — себя, которым вдруг позволено не брать за пример только Павку Корчагина и молодогвардейцев, а и думать с уважением и сочувствием о себе подобных. По тем временам совсем немало...

Я ни в коем случае не буду настаивать на том, что и Эдик Стрельцов в юности (да и в зрелости) был читателем «Юности». Вместе с тем не скажу, что читал он мало или вообще ничего не читал. Но, как и многие действующие футболисты, он полагал чтение чем-то отвлекающим от насущных футбольных забот. И читал в основном какую-то чепуху. Книги, которые я видел у него в руках в Мячкове второй половины шестидесятых годов, я никогда и нигде больше не видел — и под пытками не вспомнил бы их названий. Стрельцов понятия не имел, что после того, как покинул в арестантском вагоне Москву, Анатолий Гладилин сделает его прототипом героя своей следующей повести «Дым в глаза» и попытается превратить фабулу стрельцовской биографии в поучительную притчу.

По существу, молодой писатель поставил в придуманные обстоятельства все того же Виктора Подгурского — тип изученного Гладилиным характера. Про Стрельцова он ничего толком не знал, — слышал, что возник для всех неожиданно, возвысился до всенародной популярности — и, много согрешивший, исчез. Приписываемого Стрельцову греха Гладилин, однако, не касался. Ограничился темой осуждаемого у нас «ячества», кое в чем робко оправдываемого автором противопоставления себя окружающим, за что Эдуарда публично обвиняли прежде, чем покарать. О неординарности человеческого прототипа писатель догадывался, но от реальности заведомо отчуждался — герой повести Игорь Серов вместо

гибельного лесоповала, куда добровольно не отбудешь, попадает на рыболовецкий флот для романтического исправления, как тогда было принято. Герой повести по авторской мысли не знал до рыболовецкого флота тяжести настоящего труда: футбольный талант он получал во временный дар от таинственного незнакомца — и талант оказывался вроде бальзаковской шагреновой кожи. Но ведь и адвокат, защищавший Стрельцова на суде, тоже считал, что труд футболиста — пустяки и не сравним с трудом заводских рабочих. Чуть не забыл сказать, что у Гладилина есть и персонаж, прототипом для которого стал, по всей вероятности, Валентин Иванов — он назван, если не ошибаюсь, Маркеловым. И ему в каком-либо раздолбайстве отказано: Маркелов — положительный герой. Автор, мне кажется, не был знаком с не совсем безгрешным Кузьмой. Но тенденцию Гладилин углядел правильно — Иванова для пользы дела постарались противопоставить Стрельцову. Нельзя же, чтобы рабочий коллектив обожал двух выдающихся футболистов — и у обоих бы подгулял моральный облик. Только писатель для проходимости вещи через редакторов и цензуру перестарайся: если и Серов — фигура лишь отчасти одушевленная, то Маркелов и вовсе — схемка. Правда, мы — читатели, увлеченные футболом, — невольно подставляли под гладилинское изображение реальных Иванова и Стрельцова, и вещь читалась на одном дыхании. Впрочем, на повести «Дым в глаза» я излишне задержался только для того, чтобы проиллюстрировать мысль о том, что в жизнь моего поколения Стрельцов входил не столько персонажем чисто футбольной жизни, сколько вообще натурой, занимающей современников своей несвоевременной крупностью.

Прошедшая после чтения Гладилина жизнь постепенно приучила меня вроде бы к личной драме несовпадения видимого опыта с возможностью убедительно для других им распорядиться. Но я открыл для себя, как показалось мне спасительно, и другой опыт — опыт затянувшейся ремесленной неудалости, позволяющей и дальше ждать новых слов, обещанных ненаступающим, вопреки всему, разочарованием в своих возможностях.

Но пока я нетерпеливо и в то же время непростительно долго ждал от себя нужных для изображения Стрельцова слов, он взглянул на меня с неожиданной укоризной из прозы иного, чем у Гладилина, интеллектуального калибра. В устном изложении я лет тридцать назад слышал эту историю. Но под пером, искусным в превращении прошедшего в прозу, она подействовала на меня предостерегающе — я вот все брожу вокруг Эдика с футбольными мерками, вижу романную даль в истлевающих справочниках, а он уже введен прозой современника в иной круг, в координаты иной эстетики, удален от узколобых восторгов, заимствован безвозвратно в мир ценностей,

необязательных для разделения с массами и толпой.

Поэт Анатолий Найман — младший друг Ахматовой и старший Иосифа Бродского, Довлатова, хороший и уважаемый знакомец стольких замечательных людей, чьи живые черты, в обход лакового студня сомкнувшихся над ними мемуаров, трансформированы им в динамичные портреты, весело начертанные холодным скальпелем.

В его книге описан тот же матч со Стрельцовым, который вспоминал я в начале повествования. Но автор видел игру с трибуны ленинградского стадиона, я в телевизионной расфасовке — и мне понадобилась помощь Бориса Батанова, чтобы разобратся в ситуации. А Толяй из болельщицкой тесноты заметил и мелкие шаги по направлению к мячу, выбитому защитниками из штрафной площадки «Торпедо», и чиркнувшую по этому мячу щечку бутсы, и крутой разворот, когда, бросаясь между защитниками, Эдик рукой коснулся земли, а подрезанный им мяч, пока он выпрямлялся, опустился над схваткой прямо ему в ноги — и дальше форвард бежал через пустую половину поля, не глядя на мяч, немного наклонившись вперед для большей обтекаемости, а защитники гнались за ним с запрокинутыми головами, отставшие после стрельцовского рывка метра на полтора... Да и что же удивительного в том, что собрат Бродского, переступая точными словами через въевшиеся в мозг всей страны газетными и телештампами, пишет футбол рельефно, выразительнее, чем спортивные репортеры? Дать картину футбольного матча словами из обихода избранных удалось не кому-либо из штатных обозревателей, а Юрию Карловичу Олеше в романе «Зависть» — и вот теперь, пожалуй, и Анатолию Генриховичу Найману, с которым я в молодости имел удовольствие встречаться в доме наших общих с ним друзей Ардовых на Большой Ордынке. В дом на Ордынке сейчас водят экскурсии — показать шестиметровую комнатку в ардовской квартире, где останавливалась Анна Ахматова, когда наезжала в Москву. В Ордынском дворе ей и памятник: «...и если когда-нибудь в этой стране поставят задумают памятник мне...» Стрельцову монумент в столице поставили раньше, чем Ахматовой, не только потому, что жила она больше времени в Петербурге. Футбол у нас в стране заменил для миллионов людей если не религию, как считал Довлатов, то уж истинную поэзию — точно. Это, как выражались в советских газетах, обязывает...

Устную «пластинку», ставшую текстом, привожу в жизнеописании Эдика дословно, позволив себе кратчайший к сему комментарий.

«Московский приятель, актер, пригласил в баню, в Сандуны. У двери в „мыльный зал“ мы столкнулись с футболистом Численко, знакомым приятеля. Он сказал, что „все ребята здесь“, парятся перед матчем с Финляндией. Все игроки сборной, и Стрельцов с ними. Я

понял, что сейчас или никогда, и сказал, что хочу с ним встретиться. Численко провел нас в парилку и лежащему на верхней полке телу объявил: „Эдик, тут артисты пришли познакомиться“. Тот сел и, продолжая обмахиваться веником, улыбаясь, протянул руку. Чтобы пожать ее, я должен был подняться на две ступеньки. С каждой жар резко возрастал, а я плохо переношу жару. Он представился: „Эдик“. Я, быстро дыша, назвал свое имя. Я знал: чтобы двинуть разговор, нужно что-то сказать, но кружилась голова, и я просто смотрел на него и дышал. Он смотрел на меня ласково и сочувственно, как если бы понимал мое состояние. Через некоторое время он произнес смущенно, а может, и стилизованно: „Ну, так я ляжу?“ Я кивнул головой, мы опять пожали руки, и я вышел из парилки».

В устном варианте, насколько я помню, не было: «а может, и стилизованно» — Стрельцов говорил: «я ляжу», оставаясь в дремучей стихии своей лексики.

В устном варианте Анатолий Генрихович, как нетрудно догадаться, отдавал обыкновенную в его положении дань той добродушной иронии, с какой нам положено и мы пытаемся смотреть на знаменитых спортсменов, непременно отмечая неуклюжесть их речи, некоторую замедленность интеллектуальных реакций, чтобы не рассиропиться в детскости своего преклонения перед мышечным совершенством, для нас недостижимым.

Но в прозе оказалось бы предательством — причем автор бы не одного Стрельцова предал, но и себя, и всех нас, чью жизнь зрелище футбола мало с чем сравнимо колоритно разнообразит, — нажимать без оговорок на это «ляжу». И, кроме того, почему бы убежденному снобу не предположить ответного самородного снобизма в игроке, артистично готовом подыграть шаблонному представлению о себе, как о простачке со зрячими ногами, а не своеобразно думающей головой?..

Но книги Анатолия Наймана принадлежат совсем другому, надеюсь, времени и приобрели известность ближе к завершению века. А при жизни Эдуарда Стрельцова, особенно в дни его молодости, в ходу был — и воздействовал на массы, как никакая литература ни прежде, ни потом не воздействовала, — бесцеремонный фельетонный слог.

Андрей Петрович Старостин убежден был, что к жестокому приговору по «делу Стрельцова» имел самое прямое отношение фельетон сотрудника редакции газеты «Правда» Семена Нариньяни.

Население страны нашей в те годы могло и не поверить начальству и суду его, но газете, подчиненной тому же начальству, что

и суд, вполне могло и поверить. И разделить несправедливый гнев направленного на спортсмена матерого фельетониста.

История с наказанием Стрельцова — и в настойчивой газетной к нему прелюдии — поможет нашим детям и внукам понять, в какой стране мы жили. Тем более что преждевременно ручаться, что сейчас живем в стране, совсем уж ни в чем не напоминающей ту, для которой ничего не составляло топтать того, кому накануне поклонялась...

17

Ахматова — каким-то образом и Ахматова задержалась в футбольном повествовании: то ли еще будет? — с излишней, может быть, суровостью говорила про умного и талантливое человека, размышлявшего о природе литературной работы, что он знает секреты, но не знает тайны.

Негоже, на первый взгляд, с такого уровня требовательностью подходить к господам, пишущим о футболе. Но разве же сами они не подходят к рядовому игроку с мерками Пеле или Стрельцова? (Что, однако, не мешает им, утратив чувство юмора, рассматривать матчи второй лиги с такой многозначительностью, как будто пишут про игру «Милана» с «Ювентусом».) При этом времени на обстоятельную подготовку к профессии они себе не отводят, а сразу лезут в гущу событий, в кулисы зрелища с перышком обманчивой заточенности. Нельзя, наверное, осуждать за сосредоточенность на секретах, которые они вместе с мусором тащат из той избы, куда получили допуск от редакций.

А тайна — откуда же знать пишущим про футбол его тайну, когда сами ее носители — те, кто играет или играл в большую игру, — не в состоянии ни осознать, ни, тем более, выразить ее словами. И в разговорах, если только совсем уж не заденет что-либо игрока за живое, ограничиваются клише.

Осуждаю я журналистов, однако, только за то, что пишут они свои корреспонденции в таком тоне, как будто бы тайны вообще не существует — в заведомом неуважении к предмету своего изучения, что порождает комплексы и желание искать тылы в среде футбольных профанов, замечательно специализированных в других совсем областях. Не оттого ли любимым блюдом в меню ведущих всяких обозревателей и самодельных шоу становится приглашение в телестудию знаменитого и заслуженного человека, ничего в футболе не смыслящего, но произносящего к восторгу собеседника трюизмы?

Нынешние спортивные издания, в особенности «Спорт-экспресс», делаются квалифицированнее, чем старый «Советский спорт», и по международным калкам. Но выигранный бой

за информацию оборачивается чувствительным проигрышем в аналитике. Аналитики «Советского спорта» лучших для него шестидесятых годов — Филатов, Вит, Галинский — при том, что очень о многом им напрямую запрещалось говорить, — мыслили интереснее и шире.

Перефразируя изречение Наполеона, замечу, что футбол слишком серьезная игра, чтобы общественное о нем мнение создавалось людьми, у которых ничего за душой и в голове нет, кроме футбола...

Форма не столько отчета о матче, сколько рецензии на него, наподобие тех, что пишутся на спектакли и фильмы критиками, во многом сохраняется на футбольных полосах того же «Спорт-экспресса». Но рецензируют все равно репортеры по своей журналистской сути. В прессе отсутствует то амплуа, которое называется за границей спортивной критикой. И Филатова, и Галинского, всегда воевавших между собой, такими вот критиками назовешь, не покривив душой, хотя работали они во времена, когда самостоятельные оценки чего бы там ни было отнюдь не приветствовались.

Наши обозреватели и комментаторы нередко прибегают теперь, желая щегольнуть прикладной эрудицией, к примерам из театральной или кинематографической жизни. Но меня первого — хоть и ратую я выйти за футбольную околицу в разговорах о футболе — это раздражает. Но почему? Большой спорт сегодня не только часть цивилизации, но и часть культуры... Вероятно, сказывается приверженность к ушедшим мэтрам журналистского цеха. В их биографиях, как бы хорошо ни знал их лично, оставалась тайна: и тянуло потому, очевидно, и Льва Ивановича, и Аркадия Романовича от своей собственной тайны — к тайне дела, всем распахнутого, но с невидимым порогом, который не переступишь ногой, умеющей только бить по мячу. А у тех, кто занял место Филатова и Галинского, биографии прозрачны до такой степени, с какой хотелось бы любопытствующим видеть бюджеты футбольных клубов. И хотя с литературной точки зрения пишут они не хуже, а то и лучше классиков жанра, написанное ими иногда напоминает мне задаваемые в мое время школьникам пятых-шестых классов изложения.

И я несказанно рад был, что премии за лучшую журналистику в конце XX века удостоился Аксель Вартанян — футбольную статистику, которой он посвятил себя, похоже, перестают считать чудаческим занятием.

Статистика — партитура впечатления, код зрелища. Вкус большой игры статистика передает, на мой взгляд, иногда точнее немногословных описаний.

Конечно, умение профессионально-живописно вгрызаться во

фрагмент игры великого мастера способно возбудить воображение и у нелюбопытных футбольных потомков. И сам я — свидетель, можно сказать, — с удовольствием перечитываю в книге Александра Ткаченко, где футбол показан и передан изнутри футбольными, в основном, словами, описание игры Стрельцова против киевских динамовцев: «...Эдик с трудом получает мяч в районе центрального круга и начинает двигаться к воротам. Он двигался всегда так мощно, что спустя секунды возникает опасный для киевлян момент. На него пошел отвечающий по заданию тренера за Стрельцова передний защитник Круликовский. Эдик делает замах для удара и... паузу... Круликовский поднимает ногу, корпусом выходя вперед опекуна, вслед за мячом. Сделав такое, я бы (поэт, функционер российского Пен-клуба и автор книги „Футбол“ Ткаченко выступал за симферопольскую „Таврию“, ленинградский „Зенит“, московский „Локомотив“ и пробовался в „Торпедо“ времен возвращения Стрельцова в большой футбол. — А. Н.) уже бил в сторону ворот — попал-непопал (свои-то висты уже набрал, меня бы все хвалили и на разборе игры ставили в пример). Но великий об этом не думает, он ведет дело к завершению, как в Божественной комедии — она уже написана, ее нужно только исполнить. На Эдика (причем происходит это в считанные секунды) с его зверским подкатом выходит последний защитник Вадим Соснихин. Эдик опять замахивается, и Соснихин тоже поднимает ногу и получает между ног в падении, мяч выкатывается у него прямо из-под жопы, и Эдик, обойдя и его, опять может бить по воротам, как сделали бы тысячи других. Но и это — не для него. В этот момент перед ним, уже в штрафной, опять вырос восставший после крушения Круликовский, и Эдик в третий раз укладывает его на замахе, выходя один на один с вратарем. Крик на стадионе стих, возникла тихая паника. Эдик показал вратарю в один угол, и тот дернулся туда, а Стрелец тихо покатил мяч в другой».

Статистика позволяет масштабно обобщить возможности Стрельцова.

В день своего двадцатилетия в матче сборных СССР и Болгарии он забивает два мяча.

В конце июля и начале августа играет в турнире Третьих Дружеских игр молодежи (это в рамках спортивной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве — события мало изученного в истоках инициативы и решающих мотивах: они увели бы на самые-самые верха, в подробностях изыскания средств и сил; как вообще решились власти раздернуть железный занавес настолько широко, чтобы переполнить режимную Москву иностранцами?) и в четырех матчах против молодежных сборных Венгрии и Чехословакии, где немало игроков выступало из вторых и национальных сборных (у нас-то, не умничая, попросту выставили

основной состав первой сборной СССР), а также Индонезии и Китая — еще шесть.

В августе он играет за сборную на предварительном этапе первенства мира с Финляндией — два гола, а за свой клуб в чемпионате и в матче с приехавшей в Москву французской командой «Ницца» забивает три.

В сентябре уже «Торпедо» едет во Францию — играют с «Марселем», «Рэсингом» и снова с «Ниццей» — на Стрельцова приходится семь из забитых французам голов, причем в матчах с «Марселем» и «Рэсингом» он делает хет-трик.

В этом же месяце — голы Эдика в кубковой игре и в трудном календарном матче с киевлянами. Потом с интервалом в неделю две встречи «Торпедо» с динамовцами Тбилиси. В первой — гол и во второй (кубковой) — пять.

В конце, сентября он играет за сборную СССР против венгров и забивает решающий мяч — 2:1. Первый забитый Борисом Татушиным гол венгры отыграли еще в первом тайме, но за две минуты до конца матча Эдик свою миссию исполнил.

Через месяц в игре на первенство еще два гола — донецкому «Шахтеру»:

Итак, за двадцать два выхода Стрельцова в течение девяноста семи дней на поле — тридцать один забитый мяч. Но среди бомбардиров «Торпедо» Эдуард стал с двенадцатью мячами вторым. Кузьма забил четырнадцать.

Но в фельетон Нариньяни и он попал.

Поводом для критического выступления газеты послужил случай на Белорусском вокзале...

Конечно, если на откровенность, были и еще поводы придирааться к Эдику и только к Эдику.

Через несколько часов после свистка рефери, возвестившего — позволю себе штамп как цитату из спортивной журналистики былых, однако не прошедших времен — об окончании в Москве календарного матча «Торпедо» в очень успешном для них сезоне, Эдуарда Стрельцова доставили в отделение милиции за драку, затеянную им в квартире незнакомых людей — представителям правопорядка он сумбурно сообщил, что в чужой дом ворвался, преследуя человека, оскорбившего футболиста действием на трамвайной остановке. Но аргументы трезвых обитателей квартиры показались милиционерам убедительнее пьяных претензий Эдика.

Не успели замазать эту некрасивую историю, как в январе нового года Эдуард повздорил с кем-то на станции метро «Динамо», но на этих эпизодах фельетонисту «Правды» казалось невыгодным сосредоточиваться. Пришлось бы подставить под удар советскую милицию, в обоих случаях отступившую под давлением

представителей завода. А трогать милицию и Нариньяни запрещалось — проще было врезать футбольным начальникам, не называя главных фамилий.

Дополнительный матч против польской сборной, когда решалось, кто же — наши футболисты или поляки — поедет на чемпионат мира в Швецию, назначили играть на нейтральном поле в Лейпциге.

Иванов со Стрельцовым обедали у Валиной сестры — пили, естественно, вино. Эдик, как провинциал из Перова, боялся опоздать на поезд — ехали экспрессом Москва — Берлин, — но старший товарищ его успокаивал. Иванов уверял, что на такси они успеют вовремя. Вообще от «Автозаводской» до «Белорусской» прямая ветка метро. Но как-то несолидно таким заслуженным людям в метро спускаться. Не учили транспортные пробки: выскочили из машины — и бегом на платформу, а поезд только-только от нее отошел. На платформе оставался в ожидании Вали с Эдиком начальник отдела футбола спортивного министерства Антипёнок.

Антипёнок и сумел договориться, что поезд на разъезде под Можайском остановят. А до Можайска мчались на автомобиле.

Стрельцов в матче на первенство с «Зенитом» получил травму — и в конце второго круга за клуб свой не играл. Но в сборную включили. И теперь после опоздания на экспресс не выйти на поле значило надолго остаться в штрафниках. Эдик попросил Белаковского: «Уж вы, Олег Маркович, что-нибудь сделайте, чтобы мне только сыграть...» Но выйти на поле оказалось мало — польские защитники уже знали Стрельцова отлично и с ним не церемонились. В самом начале, на пятой минуте, с одним из них Эдуард столкнулся в воздухе — и приземлился, конечно, неудачно: с такой травмой лучше и не прыгать было. Но в его положении отступать нельзя — впереди Москва с неминуемыми неприятностями.

Олег Маркович, как всегда, выручил — стянул ногу эластичным бинтом. И штрафник вину кровью смыл — забил гол. А второй мяч с его подачи забил динамовец Генрих Федосов.

Тренер сборной Качалин сказал после матча: «Я не видел никогда, чтобы ты так с двумя здоровыми ногами играл, как сегодня с одной...»

Но у Нариньяни было свое мнение.

Фельетон, опубликованный в «Комсомольской правде», озаглавлен был «Звездная болезнь».

О роковом влиянии фельетониста Семена Нариньяни на судьбу Эдуарда Стрельцова я слышал от Андрея Петровича Старостина уже в середине восьмидесятых годов. Мне тогда слова его показались отговоркой — в тот момент я ждал от Старостина подробностей обо всем случившемся с Эдиком — подробностей, которыми он, как

человек вхожий в круги, для меня недоступные, несомненно располагал. Нариньяни же я считал персонажем из достаточно знакомого мне и объяснимого мира. К тому же тянуть тогда за эту нить казалось мне скучным занятием. И лень было рыться в старых газетных подшивках — я по своей натуре не исследователь, привык самонадеянно полагаться на собственную память и притом искренне думал, что в фельетоне, давшем ход и сегодня незабытому, но такому спорному понятию, как «звездная болезнь», вряд ли обнаружится через столько прошедших лет что-нибудь стоящее внимания.

Я ошибся: фельетон тот — весьма выразительный документ времени, без которого не понять, что предстояло заплатить за восхождение, подобное стрельцовскому, и самому Стрельцову, и обществу, его превознесшему.

Людям нынешнего поколения невозможно представить себе, что значил для всей дальнейшей судьбы советского человека любого ранга в то время фельетон о нем. Тем более опубликованный в центральной газете (органом казни Эдика с пропагандистским умыслом избрали «Комсомолку», редактируемую зятем Хрущева Алексеем Аджубеем: она пользовалась максимальным читательским доверием за те либеральные нотки, которые в «правде» для молодежи проскальзывали с ведома коварно дальнозоркого начальства). Да еще написанной фельетонистом № 1 — Нариньяни умел высмеивать и унижать популярных людей. А толпа такие расправы обожает. Страна не просто знала своих героев, но и знала, как веселее с ними расправляться.

Сегодня, когда во всех газетах пишут что угодно и про кого угодно без ощутимых последствий, не вообразить, что одной критической строчки в газете достаточно было для лишения человека огня и воды. Жизнь официально критикуемого человека в Советском Союзе немедленно становилась просто невыносимой, какую бы величину он ни представлял.

Нариньяни был особенно страшен в сороковые годы. Но и во времена «хрущевской оттепели», когда он расправлялся со Стрельцовым, пощады попавшему под фельетон ждать не приходилось. Вот, кстати, вам и подтверждение тогдашней значимости двадцатилетнего футболиста Стрельцова. Сам Нариньяни не смог с первого раза поставить на нем крест...

Фельетон тех времен вносил в жестокость наказания эдакую развлекательность. Но, пожалуй, в смехе, вызванном остроумием фельетониста-киллера (как теперь бы сказали), беспощадности было больше, чем в гневе без юмора. От нас во все прежние времена требовали еще и бодрости, когда приглашали посмотреть на казнь инакомыслящих. Мы, по замыслу властей, смеясь расставались с людьми, в чью вину должны были поверить газетчикам на слово.

Вот как изощрялся тов. Нариньяни «по протоколу», «прямо в глаза», говоря о «вконец испорченном» Стрельцове: «...Эдуарду Стрельцову всего двадцать лет, а он ходит уже в „неисправимых“. Не с пеленок же Эдик такой плохой? Нет, не с пеленок. Всего три года назад был чистым, честным пареньком. Он не курил, не пил. Краснел, если тренер делал ему замечание. И вдруг все переменилось. Эдик курит, пьет, дебоширит. Милый мальчик зазнался. Уже не тренер „Торпедо“ дает ему указания, а он понукает тренера».

Нариньяни был мастером прилипавшего к людям слова. И не свидетельство ли его специфического таланта сам факт внедрения в советский и, к сожалению, в постсоветский обиход наименования открытой фельетонистом болезни? Кого только из одаренных людей не подозревали в мифической «звездной болезни», как в самой что ни на есть дурной? А в советские времена тотальной уравниловки на всех уровнях, во времена действительной и подразумеваемой униформы, во времена казарменных правил поведения на каждом общественном этаже главную угрозу социалистическому обществу и строю видели, судя по литературе и кинофильмам, в зазнайстве, в отрыве от коллектива. Власть боялась чьей-либо самостоятельности — и клеймила даже невиннейшие ее проявления...

Самое удивительное, что распинаявший Стрельцова Нариньяни не переставал быть рьяным футбольным болельщиком и дружил с известными футболистами: с Бесковым и другими. Думаю, что для футбольного мира пристрастие его к московскому «Динамо» не оставалось в секрете.

А может быть, принимая во внимание особенности времени, не надо ничему удивляться?

В избранной для себя манере злой Нариньяни старался выглядеть вроде как удрученно-добродушным, что ему великолепно удавалось. Из досконально известной ему реальности (в случае со Стрельцовым реальности спортивной жизни) он выбирал лишь то, что работало на версию, покорявшую эмоционального советского читателя, информированного тогда крайне скупое. И совершенно, как я уже говорил, не склонного подвергать сомнению прочитанное на газетном листе. Хотя написанное пером если и отличалось от вырубленного топором, то скорее в худшую сторону.

Из шести машинописных страничек своего печально знаменитого фельетона Нариньяни две с лишним уделил эпизоду с опозданием Иванова и Стрельцова на берлинский экспресс: «...И вдруг в самых дверях вокзала неожиданная встреча. И кто бы вы думали? Центр нападения, а с ним рядом правый полусредний (в годы борьбы с космополитизмом иностранные термины вроде „бек“, „инсайд“ строжайше не рекомендовались в печати — и Нариньяни от правдистского обыкновения не захотел отказываться и во времена

послаблений. — А. Н.), оба живехоньки и оба пьяны. Оказывается, дружки перед отъездом зашли в ресторан (фельетонист и ресторан дофантазировал, чтобы Иванов со Стрельцовым не вышли из образа представителей «золотой молодежи», раз они так себя ведут. — А. Н.) за поощком на дорогу.

— Честное слово, Валентин Панфилович (В. Антипёнок — начальник отдела футбола Комитета физкультуры и спорта), мы хотели выпить только по одной, а нам преподнесли по второй...

Ах, с каким удовольствием Валентин Панфилович взял бы да по-отцовски отлупил бы сейчас обоих дружков (в праве чиновника «лупить» великих футболистов Нариньяни, а вслед за ним читающая советская публика не сомневается ни секунды — до разговоров о правах человека еще вечность. — А. Н.). И вместо того, чтобы взяться за ремень, он сажает загулявших молодцов в машину и мчится по шоссе в погоню за поездом. Полтора часа бешеной гонки, и в конце концов у Можайска автомашина обгоняет поезд. А тут обнаруживается новая беда: скорый поезд в Можайске не останавливается. Валентин Панфилович бежит к дежурному:

— Дорогой, сделай исключение. А у «дорогого» от удивления брови лезут вверх к лысине! Антипёнок звонит диспетчеру дороги: «Притормозите, Христа ради, хоть на секунду. Мне только втолкнуть в вагон центра нападения». (По ходу написания фельетона Нариньяни, видимо, решил, что купать в дерьме сразу двоих могут и не захотеть, а Стрельцов добыча для сатирика полакомее и тянущий на дно груз удобнее привязать к его ногам. — А. Н.). Но диспетчеру нет дела ни до центра нападения, ни до начальника отдела футбола. Как быть? Поезд приближается, он вот-вот проскочит станцию. И тогда начальник отдела звонит в Министерство путей сообщения: к одному замминистра, к другому. И один из замминистров, вняв этой просьбе, отдает в Можайск из ряда вон выходящий приказ: замедлить ход поезда у пристанционной платформы. И вот машинист кладет руку на тормоз и два друга хватаются за поручни...»

К изложенному вроде бы не придерешься. Но перед тем как разделить возмущение фельетониста и читателей, хотелось бы спросить-напомнить: в каком государстве происходили события? Почему вдруг при безусловной полицейской строгости головы с плеч пьяных молодых людей не полетели прямо на перроне? Что наверняка случилось бы с представителями любой другой профессии, кроме никогда в ту пору не произносимой вслух: футбольной...

Нариньяни пытается представить — и статус издания ему это разрешает — спортивных командиров незадачливыми няньками при зарвавшихся юных разгильдяях, этим разгильдиям потакающими. И вот уже занесен меч выводов автора: «Пусть талант, пусть забил. Но зачем было Всесоюзному комитету спешить с присвоением почетного

звания (заслуженного мастера спорта)? У нас и в других областях, кроме спорта, есть талантливые люди — в музыке, живописи, пении, науке. Но ни Шостаковичу, ни Хачатуряну, ни Туполеву, ни Улановой, ни Рихтеру, ни Долухановой не присваивали званий в девятнадцать лет. Футболиста нужно награждать не за дюжину мячей, забитых в одно лето, а за устойчивые спортивные показатели, не только за то, что сам хорошо играет, но за передачу опыта товарищам. Почетное звание нужно завоевать, заслужить, выстрадать подвижническим трудом в спорте. А от легких наград наступает быстрое насыщение.

— Я всего уже достиг, — хвастливо заявляет центр нападения, — «все испытал, изведal. Я ел даже салат за 87 рублей 50 копеек»».

Насчет наград строгий Нариньяни высказался по-своему: сделал вид, что не знает о награждении Стрельцова орденом. Обсуждать — или, тем более, осуждать действия правительства, награждающего футболиста, — никакой газете не дозволялось. И еще неувязка: апеллируя к именам Шостаковича, Улановой, Рихтера, фельетонист проболтался, что осознает общезначимость стрельцовского дарования. А то бы стали у нас нянчиться с талантами меньшими, чем у Иванова и Стрельцова... Да и по совести ли попрекать голодавшего в военные и послевоенные годы мальчика, лакомившегося жмыхом, ценой салата, который позволил он себе на заработанные нелегким — знал же Нариньяни кое-что про футбол от своих друзей — трудом деньги?

Но своими рассуждениями про награды сотрудник центральной газеты вполне мог обеспокоить начальство, сигнализировать о беспорядке. И, как у нас водилось, наверху забеспокоились: не почувствуют ли себя отличившиеся спортсмены излишне самостоятельными, независимыми от администрации. Награды в СССР положено было воспринимать как аванс. И не забывать, что у Родины (подразумевалось, конечно, ее начальство) орденосцы в вечном долгу.

«Закручивать гайки» в нашей стране всегда считалось делом своевременным. И в паузе между Олимпиадами наверху посчитали не лишним «подтянуть» возмнивших о себе спортсменов. Вряд ли Семен Нариньяни стал бы отрицать, что получил «госзаказ». Тем более в те времена для золотого партийного пера это не могло не составить чести. Я бы даже заметил: фельетон написан с несколько меньшим разоблачительным пафосом, чем можно было бы ожидать. Нет, «оттепель» в тоне разоблачения положительно сказывалась. А потом не верю, чтобы болельщик Нариньяни не восхищался Стрельцовым. Он и в фельетоне не отрицает, что до выпитой рюмки это «милый славный парень»... Такое признание от газетчика, с воодушевлением творящего злое дело, дорогого стоит.

Конечно, никакой бы заместитель министра не взял на себя ответственность за остановку поезда, не обратился к нему представители футбола — жанра, курируемого соответствующими отделами ЦК партии. Кто из номенклатурных работников не знал, что значат для престижа государства победы или поражения на международной арене...

И заместителя министра, давшего «добро» на торможение поезда, невольно ставшего партнером Эдуарда Стрельцова, смело можно причислить к организаторам победы над поляками.

...Я вряд ли поступаю корректно, анализируя работу нанятого газетного сатирика с позиций сегодняшнего, всем нам разрешенного свободомыслия. Не сомневаюсь, что будь сегодня Нариньяни жив, он над многими посылками своего фельетона прилюдно же и посмеялся бы, набрав очки в другом направлении, — возможно, набрался бы и мужества рассказать, какие же именно из конъюнктурных соображений толкали его на тот или иной выпад, убийственно жалищий юного Эдика. Сегодня я рассматриваю рабский труд фельетониста как примету времени, в некоторых аспектах не самого худшего для нашей многострадальной страны.

Я повторяю, что Нариньяни — мастер. И в написанном им нет ни одной безобидной строчки — каждая умело заминирована...

Конечно, изощренный «правдист» прекрасно знал, что людей посвященных и причастных он своим фельетоном ни в чем не убедит. Но он вполне сознательно и цинично обращался к непосвященной в спортивные дела массе, будил в толпе обывательский протест, не сомневаясь ни на мгновение, что критически заряженное им против привилегированных молодых людей быдло сметет и запугает несогласного с журналистом и его газетой знатока.

Как правило, в фельетоне Нариньяни оперирует фактами. Но до чего же он нечистоплотен в их толковании!

В сороковые годы тем же Нариньяни был написан добрый, можно сказать, лирический фельетон «Приют одиннадцати», посвященный милым чудачкам-болельщикам (один из них, если не ошибаюсь, всеми уважаемый профессор), которые немного стесняются своей несолидной страсти к футбольной игре.

Но здесь, в «Звездной болезни», он обращается к агрессивной сути тех граждан, которые склонны требовать от спортсмена, а не любить его. Талант, как считалось в советском обществе, обязан служить этому обществу во сто крат усерднее, чем бездарность. Иначе никто бы не простил таланту того, что он существует, то есть выделяется из общего ряда. В ходу было выражение: «у народа в долгу». Талант — получалось — не народ. Кого тогда, интересно, считало народом идеологическое руководство, постоянно говорившее от имени народа? Себя же с ним командиры тоже не отождествляли,

поскольку в своем кругу обычно говаривалось: народ нас не поймет. Кого — нас?

Но ставило ли наше государство когда-нибудь своей целью делать из больших спортсменов образцовых — согласно навязанной советскому обществу морали — граждан, воспитывать их соответственно? Разве же не специально их надолго изолировали на сборах, освобождая от житейских хлопот, неизменных для их сверстников — не атлетов? Правда, в домашних условиях по тем деньгам, что им платили, они вряд ли получили бы то питание и все прочее из необходимого для поддержания физической формы. Сборы компенсировали недоплаченное деньгами. Как и звания и ордена, которые спортсменам не «спешили» присваивать — это входило в гонорар за олимпийскую победу.

Всякий думающий спортсмен не обольщался насчет собственного предназначения — быть козырной картой в государственной политике. «Мы гладиаторы», — говорил мой сосед, олимпийский чемпион по боксу Валерий Попенченко, не прекращая хлопот о защите докторской диссертации. Объясняя, почему он не взял Виктора Тихонова (будущего тренера сборной) из расформированного после смерти Сталина клуба ВВС в ЦСКА, Анатолий Тарасов говорил: «Мне нужны были бандюги».

Конечно, в Советском Союзе и «Героя» могли не дать истинному герою, если политотдел не благословил, и «Гертруду» («Героя труда») чаще всего давали, сообразуясь с «моральным обликом» трудяги. И Стрельцову орден «Знак Почета» — «Веселых ребят» (они изображены на ордене) — могли бы и не давать — придержать награждение: наверху были информированы о всяческих промашках в быту будущего орденоносца. Но отпускать Эдика совсем уж в стихию неформальности, вовсе уж не канонизировать его по-советски представлялось идеологам опасным. Это бы только усилило несанкционированную популярность. В присвоении званий и наград был и дисциплинирующий момент. Спортсменам с наградами и званиями, от которых ждали подвигов во имя строя, легче было — с их детской психологией — играть еще и в бойцов идеологического фронта...

Нетерпеливый в развитии своей версии Нариньяни пишет: «...пресыщенный вниманием молодой человек начинает забываться. Ему уже наплевать на честь спортивного общества, наплевать на товарищей. Он уже любит не спорт, а себя в спорте. Он выступает на соревнованиях не как член родной команды, а как знатный гастролер на бедной провинциальной сцене. Товарищи стараются, потеют, выкладывают ему мячи, а он кокетничает. Один раз ударит, а три пропустит мимо: „Мне можно. Я звезда“. И ведет себя, как звезда на футбольном поле и в жизни, не так, как требуют того правила

социалистического общежития, а так, как захочет его левая нога. Левая нога хороша, когда она бьет по воротам да не промахивается. А во всех остальных случаях левую ногу следует держать под контролем...»

«И какой только умник внедрил эту голливудскую аналогию в наш спортивный лексикон!» — восклицает фельетонист, иронизируя по поводу фразы, приписываемой тренеру Маслову: «Помилуй Боже, разве можно так, Иванов и Стрельцов — наши звезды!»

Выражение «звезда» звучало у нас как бы не вполне всерьез, не без пародийного реверанса в сторону заграницы, которую при Сталине самым верным тоном считалось изображать карикатурно — и не только в «Крокодиле», где Нариньяни регулярно печатался, но и в театре и в кинематографе. Из фельетона публике должно быть понятно, что звезда — это плохо, это на потребу чему-то низменному и развращенному.

А вот народный артист — это серьезно. И заслуженный мастер — серьезно, за исключением случаев, когда звание присваивается несерьезному Эдику.

Вообще явление знаменитостей народу бралось советской властью на идеологическое вооружение. Стихийных выдвижений старались, как и в случае с наградами, избегать. Но талант сам по себе стихия. Поэтому в ряде случаев полезнее и правильнее, с точки зрения надзора, надсмотра за народом, иные таланты не заметить, не признать, погубить...

Однако и совсем обойтись без талантов не удавалось. И хотя твердить не уставали, что талант — это, в первую очередь, труд, нигде в мире, кроме, как в Советском Союзе, не существовало знаменитых рабочих и знаменитых крестьян.

Знаменитых передовиков социалистического производства культивировали (раскручивали, как сказали бы теперь) с назойливостью и размахом, мало уступавшим голливудскому.

Стахановское движение не решило проблем производительности труда. Но жизнь самого Алексея Стаханова оказалась сломленной. Вот он-то на самом деле оказался зараженным «звездной болезнью» — и к своему шахтерскому труду не вернулся. Стахановцами называли всех рекордистов и передовиков. А сбившийся с круга и спившийся Стаханов скитался по больницам, работал сначала на командных постах, но потом и на скромных должностях в угольном министерстве. Никто и не вспоминал о нем до юбилея стахановского движения, когда ему в память о былом дали Золотую Звезду. Сейчас, по-моему, уже нет смысла вникать в кафкианскую путаницу понятий и символик: звезды, осуждаемые за сходство с иностранными, рубиновые звезды над Кремлем, звезды на погонах военных, ну и звезды героев...

Вслед за прославленными рабочими шли знаменитые авиаторы. Авиаторы, по меткому наблюдению Модильяни, сделанному еще в начале века, — в общем, те же спортсмены. В первую очередь награждали за рекордные перелеты — в предвоенные годы. И не случайно их потеснили космонавты — рекорд каждого запуска в космос делал труд их престижнее ежедневной работы летчиков-испытателей, чьи имена после времен Чкалова и Громова звучали тише, не говоря уж о строевых пилотах.

В романе Валентина Катаева «Время, вперед!» старый интеллигент — инженер, недовольный затеей установления рекорда по количеству замесов бетона, говорит, что это значит превращать стройку во французскую борьбу. Его раздражает ненужный элемент состязательности в серьезном деле. Допускаю, что спортсменов и тренеров, в свою очередь, раздражали параллели, проводимые между их трудом и трудом рабочих на производстве. Им, может быть, скорее бы польстило, если бы ловили их на сходстве с людьми из мира искусства — вдавались бы в психологию творчества, прощали бы им капризы и срывы, но не сравнивали постоянно со стахановцами, с передовиками производства, что тогда выглядело с государственной точки зрения полезнее. Жили спортсмены получше, чем рабочие и крестьяне. Им и прощали многое, если обстоятельства позволяли. Если не наезжала на них какая-либо воспитательная кампания, когда люди типа Нариньяни напоминали спортсменам о «моральном облике» советского человека.

После войны футболисты, а чуть позже и хоккеисты, стали известны стране не меньше, чем киноактеры. Разницы в статусе не было, но она остро ощущалась в сроках признания. Переставший выступать спортсмен немедленно терял интерес к себе.

«Проигрыш» актера или писателя нередко бывал замечен лишь для ценителя, для знатока. (За исключением, разумеется, случаев, когда неудача художника воспринималась как идеологическая ошибка, — тогда уж начальство заботилось о том, чтобы каждый из жителей страны узнал про эту ошибку и осудил вместе с партией и правительством «заблудшую овцу»: без народной критики командный разнос считался неполным.)

Гол же, пропущенный, скажем, Яшиным на чемпионате мира в Чили, откуда телерепортажей не велось (и, следовательно, вратарского промаха никто у нас не видел), сразу же возвращал боготворимого голкипера на горящую под ногами штрафников родную землю — такие ошибки на футбольном поле всерьез приравнивались к идеологическим.

Стрельцова до поры до времени и спасало то, что никакие художества в частной жизни никак не отражались на его игре за сборную страны.

...Мне бы очень не хотелось, чтобы у кого-нибудь сложилось впечатление, что я специально намереваюсь высмеять в книге о Стрельцове идеологическую подоплеку спортивного действия в нашей стране, иронизирую над вынужденной заидеологизированностью советских спортсменов.

Во-первых, в неменьшей степени были заидеологизированы и все мы, болельщики. Значительная часть из нас ни в коей мере не представляла из себя ценителей, способных к эстетической объективности. Болели, как правило, за «наших» против «иных». Что естественно и с чем спорить в общем-то глупо. Но не прощали мы своим поражениям с не меньшей озлобленностью, чем те спортивные начальники, с которых голову в ЦК снимали за проигрыши подопечных. Прекрасно помню, как обыкновенный, добродушный шофер дядя Миша Кононов после поражения в сорок седьмом году ЦДКА в Чехословакии (и проиграли-то, пропустив на один гол больше в товарищеском матче) кричал, что такую команду надо немедленно разогнать. Сам товарищ Сталин до такого додумался через пять лет. Прямо скажем, в отношении к спорту народ и партия бывали едиными не так уж редко...

Во-вторых, приятно нам это или нет, но идеологизированность заменяла профессионализм в спорте, и не без успеха. И я не убежден до конца: срабатывает ли с таким же эффектом сегодняшняя коммерческая мотивация? Или власть над душами атлетов до сих пор держит традиция прежних призывов и лозунгов, передавшаяся генетически? Теперь вслух говорят о превалирующем материальном факторе. Но, выступая на Олимпиадах и мировых чемпионатах за свою страну, спортсмены не достигают пока результатов лучших, чем при советской власти, когда денежное выражение премий за победу было в десятки раз меньше.

При первом разговоре нашем со Стрельцовым в связи с будущей книгой мемуаров Эдик — в трезвом уме — сказал: «Вот напиши... Страну нашу очень люблю, хотя она и поднаслала мне». Он чувствовал себя штрафником государственного уровня — и при всей глубине обиды это ему в чем-то льстило.

Спортсменам льстила близость к строгой власти — не припомню, чтобы кто-нибудь из динамовцев, например, плохо отзывался о Берии или Абакумове. Спортсмены в СССР чувствовали себя элитой — и не важно, что материальное подтверждение тому касалось (и то достаточно относительно) действующих спортсменов. И звания, и ордена, получаемые, чтобы там ни говорил Нариньяни, в молодые годы, впечатляли не одних спортсменов. Я помню, какой завидной казалась мне судьба Эдуарда Стрельцова, награжденного после Олимпиады. Что же скажешь о тех юнцах, что соединяли свое будущее с большим спортом?

Я думаю, что начальству не нравилось и то, что ведущие себя излишне самостоятельно Иванов и Стрельцов стали кумирами многотысячного рабочего коллектива и превосходили популярностью всех передовиков производства, вместе взятых. И Нариньяни важно было настроить против кумиров этот самый рабочий коллектив.

На заводе у Стрельцова были, однако, не только почитатели.

Журналисты из заводской многотиражки взялись за него раньше, чем Нариньяни, — и опубликовали у себя фельетон «Головокружение» — и потом на допросе у следователя жаловались, что их в парткоме вынудили сделать сокращения в публикации: не рассказывать обо всех безобразиях Эдика. Им же и не разрешили перепечатать в многотиражке фельетон Нариньяни.

Нариньяни я пытаюсь обыгрывать, используя футбольную терминологию, «на противоходе». А вот по отношению к рядовым журналистам из многотиражки мне совершенно не хочется этого делать.

Попробую разобраться в себе...

Надо ли убеждать кого-то, что я — всегда, по определению, — на стороне Стрельцова?

Но легко ли — и реально ли вообще — вставать на его сторону в каждом эпизоде, фиксируемом как разболтанность, раздолбайство и более, более того? (Я читал милицкий протокол о дебоше, учиненном Стрельцовым около метро «Динамо», — даже если что-то в нем и поклеп или преувеличение, все равно в протокольном описании есть, наверное, и непридуманные факты. Да и в том ведь, что происходило со Стрельцовым дальше, не одна же фантазия недоброжелателей?)

Тем не менее мне легко быть на стороне Стрельцова — еще и оттого, наверное, что я не считаю его заведомо правым в большинстве эпизодов, которые ему не инкриминируются.

Просто я — вместе со Стрельцовым — и правым, и виноватым.

Я не оправданием его занят — этим сегодня есть (а вчера еще не было) кому заняться. И не в защиту форварда Стрельцова — а игровое амплуа, несомненно, выражает суть характера, а не только особенности мышечной организации — затеяна эта книга. Я ищу объяснения его поступкам — и объяснения никак не юридического, а лишь психологического порядка.

А от замороченных заводских газетчиков, не задумавшихся, подобно мне теперешнему, о месте Эдуарда Стрельцова в футбольной истории и в истории страны, нелепо требовать выхода за отведенные им рамки. Николай Павлович Смирнов-Сокольский — видный эстражник и выдающийся книголюб — в своих застольных историях обозначал рубеж: «Это было еще до морального облика...» Острослов намекал, что в советские времена подход к богеме с

ханжеским уставом неумолимо перерастал в произвол полиции диктуемых всем нравов, посягавший на укрощение и, самое обидное, на упрощение сложного мира неизученной человеческой личности, на лишение человека, особенно художественной натуры, права быть человеком. Права отвечать за свои поступки, что отнюдь не равнозначно воспрещению самоопределяться в частной жизни.

А газетчики из «Московского автозаводца» видели мало хорошего в своей жизни — и моральный облик представлялся им исключительно разновидностью положенной всем советским гражданам униформы — видимой и невидимой. И я допускаю, что они верили в свою газетную прерогативу — воспитывать среди прочих читателей своей газеты и мятущегося Стрельцова, который в «Автозаводец» и не заглядывал, а если и заглядывал, то сердился, как слон на тявканье моськи...

«ОТ ВЫПИТОГО Я ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПЛОХО»

18

Очень часто спортсмен, вошедший в свою наилучшую форму, напрочь теряет чувство самосохранения...

То, что Эдуард Стрельцов к сезону пятьдесят восьмого года подошел в отличном состоянии, готовым, как никогда прежде, стало очевидным весной. Но, судя по его зимним приключениям — и реакции на них общественности и разнообразного руководства, — до весны ему дожить было непросто.

Фельетон Нариньяни опубликовали в «Комсомольской правде» 2 февраля. Но скучать своим патронам и критикам Эдик, как мы уже говорили, не давал с осени.

Чтобы эффективнее использовать Стрельцова в матче с поляками, ему дали возможность подлечить травму — и в заключительных матчах чемпионата не занимали. Последняя в Москве игра календаря пришлось на праздничный день — восьмого ноября — и Маслову пришлось сделать вид, что он удивлен, когда заметил, что приехавший на стадион поддержать товарищей Эдик выпивши.

После игры выпили еще — и как признавался на допросе у следователя Стрельцов: «От выпитого я почувствовал себя плохо». Со стадиона «Динамо» он поехал на автобусе домой. За время пути к «Автозаводской» у слегка протрезвевшего Эдика открылось «второе дыхание» — и домой идти ему не захотелось, он решил вернуться к товарищам. Но он так и не смог объяснить: с кем же конкретно из одноклубников собирался встретиться? Возле своего дома — в полночь (для справки: матч на стадионе «Динамо» начался в девятнадцать часов) — Стрельцов встретил соседку Галю, которая, сообразив, что домой в таком состоянии соседа не загнать, вызвалась поехать с ним туда, куда он едет, — не было у ней уверенности, что сможет он доехать благополучно. Сели в трамвай номер сорок шесть — и доехали до Крестьянского рынка. На остановке Эдика, что называется, развезло. И он дал себя уговорить Гале ехать обратно домой. Перешли на другую сторону трамвайного пути. Но пока ждали трамвая, к Стрельцову прицепился какой-то парень. Эдику показалось, что он ехал с ними в вагоне. Парень приставал с какими-то советами по части футбола, а когда Стрельцов не захотел его слушать и велел отойти, обиделся и ударил Стрельцова так, что у того кровь пошла из носа. Испугавшись стрельцовского гнева, парень бросился бежать — и пытался перелезть через забор, но Эдик поймал его за ногу, так что

тот повис вниз головой. Парень все же вырвался — и припустил в ближайший двор. Девушка заметила, что скрылся он в полуподвальной квартире. И по ее «наколке» Эдуард в эту квартиру ворвался, все круша и сметая по пути. Он бил посуду, сминал кастрюли, требовал, чтобы ему предъявили спрятавшегося. Жильцы, естественно, вызвали милицию. В протокол занесли, что в отделении Стрельцов продолжал бушевать и в сильных выражениях обвинял милиционеров в укрытии оскорбившего его парня. Надо ли добавлять, что уголовное дело возбудили против Эдуарда Анатольевича. Завком ходатайствовал о прекращении этого дела.

Более того, администрация ЗИПа добилась предоставления центру нападения квартиры из двух изолированных комнат — несбыточная для большинства советских людей того времени мечта. Правда, об этом настоятельно просили спортивное министерство, завод. Моссовет выделил десять квартир — причем отдельных квартир, что для того времени принципиально важно, — игрокам сборной СССР из «Спартака»: Татушину, Нетто, Огонькову и другим. Как же мог тогда ЗИП не улучшить жилищные условия Иванову со Стрельцовым?

У Нариньяни в фельетоне разбушевавшийся Стрельцов якобы кричит тем, кто отнимает у него водку: «Не мешайте моему куражу». Фраза явно не стрельцовская. Но психологический подтекст фельетонист уловил совершенно верно. Стеснительный Эдик искал в выпивке чего-то ему недостающего — может быть, той свободы, которой он, как ему казалось, заслуживал в обычной жизни и вкус которой испытал он на футбольном поле. Наверное, любому настоящему игроку — во что бы ни играл он всерьез — хочется, чтобы игра никогда не прекращалась. Но, как правило, приходится смиряться с обстоятельствами, задыхаться вне игры словно рыба на суше. Стрельцов в быту не выглядел азартным — ну, играл он в карты, но в лихорадочной страсти обязательно отыгаться замечен не был — однако китом, выброшенным на берег, если приглядеться внимательно, себя все-таки часто чувствовал. Просто после завершения футбольной карьеры вида не подавал. А пока играл, внутренне не считал за грех соскальзывать с этого вынужденного берега в алкогольные пучины. Закончив с футболом, он, казалось, «скупее стал в желаньях», но ведь так только казалось — просто Стрельцов был не на виду: игровая неостребованность мучила его, в чем он и себе не сознавался; он загнал жажду футбола глубоко вовнутрь. Выпивка — единственное, что давало ему ощущение, равное тому, что он испытывал на поле. И вряд ли реально было бы его излечить от сладостного недуга. Талант вообще всегда обречен на судьбу, которую никто не в силах изменить.

Пьяным он делался неуправляемым. Но эта же

неуправляемость наверняка клубилась в нем и в трезвом, просто в негероическом быту она ни во что не сублимировалась — преобразовывалась только на футбольном поле, где ей находилось применение в тех выбросах изобретательной энергии, за которые любили мы Эдика.

Пьяным он становился беспощадной карикатурой на себя — им, колоссально энергетически неуправляемым, руководили чаще всего благие порывы, хотя все мы понимаем, что ничем и никем никакие порывы руководить не могут. Он бывал искренен в желаниях, преувеличенных алкоголем, думая во хмелю, что хочет всем окружающим добра, отстаивает справедливость, вступая в потасовки, защищает себя — в трезвом-то виде он хорошо умел скрывать свою ранимость.

Он хотел, как мне кажется, и в быту, в общежитии — на скучном берегу бескрайнего футбольного моря — испытать ту же уверенность, что испытывал в лучшие минуты своей игры. Отсутствие уверенности в себе, находившее на Стрельцова время от времени, — единственное, может быть, что его пугало. Но что в обыденной жизни мог он совершить, равноценное забитому голу?

Кстати, про голы — забитые и незабитые.

В начале восьмидесятых годов Ринат Дасаев вместе с журналистом Александром Львовым написал книгу, выпущенную тем же издательством, что печатало мемуары Стрельцова, — и когда понадобилась рецензия, решили, что лучше всего поручить ее Эдику.

Посредником сделали меня. Эдик отозвался вяло: сказал, что книжки такого рода читает редко, а то и не читает вовсе. Я предположил, что он знает Львова... «В лицо, наверное, знаю». — «Ну Дасаева ты уж точно знаешь?» — «Из „Спартака“?» — «Какого же еще? Вот что-нибудь о нем и расскажи. Трудно ли, например, забить ему гол?» И вдруг Эдуард завелся: «Гол, Санюля, забить всякому вратарю трудно!» И последовало длиннейшее рассуждение о том, сколько же всего надо учесть, принять во внимание, заметить и оценить, прежде чем решить: куда целить мяч? Я жалел, что не успеваю записать эту непредвиденную лекцию. И в растерянности спросил: «Но ведь забивают же все-таки?» — «Приходится. Иногда...»

Фельетонисты, продолжившие начатое Нариньяни, в поисках поддержки обывательской аудитории заявляли, что «человек-то Стрельцов был серый, недалекий... Он искренне считал, что Сочи находится на берегу Каспийского моря, вода в море соленая оттого, что в ней плавает селедка». Я подумал, когда прочел: как же надо не уважать игру, в которую, кстати говоря, один из авторов фельетона и сам неплохо для любителя играл, чтобы ради красного словца замахнуть на едва ли не самый могучий игровой интеллект в мировом футболе. Как будто все гении спорта или искусства

непрерывно сведущи в географии и вообще все, как на подбор, эрудиты...

Когда Григорий Федотов на занятиях в школе тренеров не смог разделить тысячу на пять, Николай Дементьев подсказал ему с первой парты: «Гриша, да это же литр на пятерых». И соученик немедленно выпалил: двести грамм. А Евгений Евстигнеев, умевший, как никто, передать со сцены и экрана мысль, сыграть интеллектуала, считал, что член-корреспондент — это неудавшийся ученый, перешедший на работу в газету.

Я слышал, что в молодости Эдик и с девушками говорил в основном про футбол — рассуждать на другие темы стеснялся, слов не находил. Но к моменту нашего с ним знакомства Эдуард за точным словом в карман не лез — говорил не всегда с большой охотой, но выразительно. При посторонних он мог и замкнуться, однако в кругу постоянных собеседников умел «поддержать площадку» — было ему чего вспомнить и о чем рассказать.

...Для зилковского народа учиняемые Эдиком фокусы новостью не становились — они о них не из газет узнавали. Стрельцов в своих разгулах и загулах от людей не прятался: наделал глупостей в заводском Дворце культуры, что рядом со стадионом, который ныне носит имя дебошира. В безобразиях Эдуарда что-то бывало и от проказ неумеренно расшалившегося ребенка: он, скажем, требовал, чтобы во Дворец немедленно вызвали директора завода Крылова, чтобы тот наказал всех, кто мешает веселиться футболисту из «Торпедо». У людей с чувством юмора это вызывало не возмущение, а смех. Не за один только футбол ему все прощали — ведь и в агрессии его была все та же беззащитность перед жизнью, в которой он только играл в футбол, — во всей прочей сложности она оставалась для него дремучим лесом. И он чувствовал нутром, что заблудится и в трех соснах. Он для полян создан — это и самым строгим блюстителям советских понятий было совершенно ясно.

Но лимит перманентных прощений к зиме пятьдесят восьмого формально был исчерпан. И пьяные манипуляции при входе в метро стоили ему звания — удостоверение заслуженного мастера спорта, которым Стрельцов хлестал по физиономии некоего гражданина Иванова — по мистической случайности, однофамильца лучшего партнера Эдуарда, — отобрали, как дорогую игрушку у ребенка.

Нариньяни пишет: «Терпение игроков по сборной лопнуло, и они собрались позавчера (по каким горячим следам писался фельетон! — А. Н.) для того, чтобы начистоту поговорить со своим центральным нападающим. Возмущение спортсменов было всеобщим. Футболисты вынесли единодушное решение — вывести Стрельцова из состава сборной команды страны и просить Всесоюзный комитет снять с него звание заслуженного мастера спорта...

...Сегодня вечером сборная команда вылетает за границу. Затем отправляются на предсезонную подготовку и клубные команды мастеров. И в этих командах, где на левом краю, а где на правом, имеются «звездные мальчишки». Так пусть посошком на дорогу, вместо традиционных ста граммов, будет этим мальчишкам невеселый рассказ о взлете и падении одного талантливого спортсмена.

Вы спросите: что же это — конец, закат центра нападения?

Все зависит от самого «центра». Товарищи оставили ему возможность для исправления. Они сказали Стрельцову: «Начни-ка, друг, Эдик, все сначала. Поиграй в клубной команде. Наведи порядок в своем быту, в своей семье. Докажи, что ты серьезно осознал свои поступки не на словах, а на деле, и, может быть, мы снова поставим тебя центром нападения в сборной. Но поставим не сегодняшнего Стрельцова — дебошира и зазнайку, а того молодого, чистого, честного, скромного».

Спортсмены (и болельщики вслед за ними) — суеверны. И людям, близким к спорту, не покажется запальчивым мое нынешнее утверждение, что фельетонист сглазил Стрельцова.

Что самому Нариньяни не так уж и хотелось, чтобы Эдуард оказался погибшим для мирового футбола. И что это не входило и в планы тех, кто заказывал фельетон.

В финале фельетона Нариньяни допускает несвойственную ему невнятность — сам себе противоречит. И странен призыв к спортсмену: будь не сегодняшним, а вчерашним. Как будто «чистый, честный, скромный» молодой человек не способен на глупость в несчастливую для себя минуту. И неужели непонятно, что, отсекая Стрельцова в педагогических целях от партнеров по сборной, его обрекают на еще большее одиночество, которое поспешат разделить с ним совсем уж чужие люди?

И опять в духе самых безнадежных для страны лет организуется «осуждение масс». Зачем было заставлять игроков сборной настаивать на отстранении Эдика от подготовительного цикла? Кому на пользу, когда команду настраивают против ее фаворита? Если команда была склонна прощать Эдику легкомысленные поступки, то стоил же он того, наверное? Разобралась бы команда со Стрельцовым без фельетониста...

Я не стал редактировать фразу, некогда сказанную мне в приватном разговоре Владимиром Маслаченко — оставил ее в неприкосновенности: «Не будем забывать о том, что все мы тогда были детьми своего времени — и подчинялись исключительно всем правилам игры отнюдь не по-футбольному».

«...Мы тренировались даже, по большому счету, не по-футбольному», — добавил Маслаченко.

Как теперь объяснить, возвращаясь из нынешнего времени в

тогдашнее, что футбол в самом деле казался иногда большей реальностью, чем сама жизнь, видевшаяся некой дьявольской игрой — с никому до конца не растолкованными правилами. То же самое можно было смело сказать и о других явлениях, где человек самовыражался искренне. Неискренним, однако, приходилось быть во всем том, что окружало эти явления. Неискренность превращалась в сомнительный, однако необходимый прием самообороны, нередко и препятствующий в результате какому бы то ни было выражению себя...

Маслаченко вспоминает, как сидел на собрании в Скатерном переулке (там помещался тогда Спорткомитет), где обсуждали и, как уверяет Нариньяни, осуждали Стрельцова коллеги-футболисты. Сильнее, чем слова «товарищеской» критики, произносимые начальниками, его, наивного, двадцатидвухлетнего вратаря (Володя тоже был юным дарованием), поразила ходившая по рукам фотография: в кровь избитый милиционерами Эдик. Маслаченко говорил, что поразили и сам снимок избияния красавца-парня с необъяснимой, если стражи порядка знали, кто перед ними, жестокостью, и то злорадство, с каким спортивные руководители показывали фото игрокам сборной...

Вести собрание Романов поручил своему первому заместителю Постникову. Начальник сборной Машкаркин, коротенько напомнив футболистам сборной, зачем их собрали в Спорткомитете, передал слово для покаяния Стрельцову. Эдуард послушно сказал все, что в таких случаях следует говорить. Дальше выступали тренеры и футболисты.

Качалин заключил свое выступление словами: «Виноваты мы в том, что не пресекли твоего поведения, Эдик... Хочется верить, что ты станешь человеком. Прошу принять предложение о снятии заслуженного мастера спорта, просить о понижении зарплаты и дать Стрельцову время на исправление».

Предложение о снятии звания и понижении зарплаты поддержали Лев Яшин, Никита Симонян, Михаил Огоньков, Генрих Федосов, Константин Крижевский, Борис Кузнецов... Благородный Аксель, раскопавший протокол этого заседания, не назвал имен двух ведущих футболистов сборной, настаивавших на исключении Эдуарда из нее. Мне не так уж было трудно догадаться, кто эти двое — великие футболисты из одного со Стрельцовым ряда, если, как у нас принято, ставить Эдика в какой-то ряд. Но я тоже их имен не называю. Людям, живущим сегодня, легче осуждать прошедшие (будем думать, что навсегда прошедшие) времена. Но если мы по-суперменски не захотим понять, что происходило с тогдашними людьми, как много ставилось ими на кон в случае несогласия с властью имущими, мы мало будем отличаться от тех, кто вынуждал этих людей предавать и

продавать. В том и заключался замысел власти, чтобы страну спланировала общая вина каждого перед каждым. Страна приказывала быть героем любому, но и быть непорядочным приказывала тоже любому. Сейчас-то легко говорить, что высшим героизмом было послушаться приказа. Иди — послушайся. Очень далеко приходилось идти, послушавшись.

За шесть лет до собрания на Скатерном, посвященном Стрельцову, на таком же уровне проводились собрания, на которых осуждали футболистов, проигравших Олимпиаду. И протоколы тех собраний — тоже очень тяжелое чтение. Тем более что, зная советские порядки, можно заподозрить, что протоколы составлялись заранее, а подписи вынуждали ставить и тех, кто ничего подобного не произносил. Важно было втянуть в историю как можно больше людей в качестве мерзавцев. Но и на собраниях еще сталинской поры люди, поставленные в равные условия, вели себя по-разному... Виновниками олимпийского провала делали футболистов ЦДСА. И вот топили их в говне спартаковцы, а главные послевоенные соперники — динамовцы, чье ведомство и призвано было карать, — вели себя по-человечески. Не стал каяться и тренер ЦДСА и сборной Борис Андреевич Аркадьев — не струсил...

Стрельцова песочили в стране, где послесталинские порядки обещали стать иными, чем все привыкли. Но и в микроскоп было не рассмотреть отличия.

Заместителя спортивного министра никак не устраивала картина, сложившаяся перед голосованием, — и он обратился к собравшимся: «Мы умышленно не принимали решения, давая тем самым коллективу возможность вынести решение о недостойном поведении Стрельцова... Мне понравилось выступление некоторых товарищей (не поручил ли сам Постников тем двоим корифеям выступить так, как они выступили? — А. Н.). Вопрос стоит вообще о дисквалификации и об отстранении от футбола Стрельцова. Большое сомнение в его исправлении. Пусть решает коллектив... Те пожелания и решения, которые высказали члены сборной, будут доведены до сведения Комитета».

Собравшиеся футболисты понимали, куда начальник клонит. Но не захотели ехать на чемпионат мира без Стрельцова. Председательствовавший на собрании Никита Симонян подписал единогласно принятое решение: снять звание и стипендию, выплачиваемую Эдику как игроку сборной СССР.

Итак, в наказание Эдуарда Стрельцова не взяли на сборы в Китай. Дублером Никиты Симоняна стал свердловчанин Василий Бузунов — центрфорвард, замечательный только силой удара. Но как игрок комбинационного плана тренеров сборной заведомо не удовлетворявший.

Чего же лишился Стрельцов, не поехавший со сборной?

«Нас готовили, — рассказывает Маслаченко, — так, как, по-моему, готовят рейнджеров. В Китае мы жили на острове, на реке Хуанхэ. И если бы кто-то из нас захотел переправиться в город, взять джонку, его бы, наверное, бесплатно перевезли. Но для „путешественника“ самоволка была бы чревата комсомольским или партийным выговором, а то и отправкой домой... Мы вставали в половине шестого утра — и начиналась первая тренировка. Было очень холодно. Нам выдали по несколько комплектов прекрасного теплого нижнего белья, с кальсонами, со всеми делами, в чем мы и спали. Кормили нас, как говорится, „на убой“: европейская кухня, продукты великолепные. Но рядом готовили себе пищу китайцы — и мы лягушек попробовали, суп из кошек ели, это, говорили, полезно... После первой утренней тренировки — в двенадцать часов следующая. В четыре — еще одна.

Жили мы по совершенно отличным от всего спортивного мира законам. Меня не разубедить, что футбол — творческий труд. А для такого труда никаких условий не было. Тренировать тогда означало — гонять. К наилучшей форме шли через усталость. Мы существовали в идиотском режиме — ни купаться, ни загорать, ни с девушкой встретиться...

Для рейнджеров такой режим, может быть, и приемлем. Но для актеров, которые должны работать на публике, он — каторга».

Зная, с чем (с кем — не решаюсь в данной ситуации сказать, хотя из стрельцовой истории, из истории футбольной не вычеркнешь теперь личности потерпевшей на станции «Правда», если не переименовывать честность по логике Эдика в «быль») связан оказался гибельный поворот в судьбе героя этой книги, мы вправе, вероятно, вырвать из монолога Маслаченко фразу о режиме, не позволявшем с девушкой встретиться. Тем более что она противоречит свидетельству другого, привлекавшегося к подготовке сборной вратаря, спартаковца Валентина Ивакина, говорившего, что девицы не только из соседних дачных мест, но и из самой Москвы осаждали, оккупировали Тарасовку, охотились за молодцами-футболистами...

Нет, девушек — то, что теперь называют сексом, — футболисты на потом не откладывали. Но Маслаченко прав — откладывалась частная жизнь в своей полноте и многообразии, а чередой девиц однообразного использования не спасала от одиночества и неуверенности в жизни вокруг футбольного поля некоторых юных игроков.

МЕЖДУ СТАДИОНОМ И ДОМОМ

Большой футбол — взрослая жизнь. Она требует самых надежных тылов. И какой банальной ни покажется мысль о хорошей семье — и не родительской, а своей, — об удачной женитьбе, своевременной встрече со своей женщиной, — от нее куда денешься: жизнь вообще банальна. Исключения из общежитейских правил очень редко кому этой банальной жизнью прощаются. Особенно когда приходится соприкоснуться с наиболее противоречивым из неизбежных институтов — браком.

Замечено, что труднее всего приходится в семейной жизни тем мужчинам, которые с детства жили вдвоем с мамой. Выйти из подчинения маме, из неумности маминых забот в сколько-нибудь удачный союз с дамой, на которой женишься, — маловероятно, если не строишь с женой дом наново, отрешившись от бывшего семейного уклада. При квартирном вопросе, неразрешимом при советской власти, вероятность такого строительства (для сверхзаметного к тому же игрока) вообще сводилась к нулю. Правда, футболисты принадлежали к избранной категории советских граждан — им и с квартирным вопросом в большинстве случаев шли навстречу. Однако совсем отдельно от мамы Софьи Фроловны Эдуард стал жить уже в конце шестидесятых годов — при пятилетнем стаже во втором браке.

Валентин Иванов познакомился с гимнасткой Лидией Калининой в конце сентября пятьдесят шестого года в Ташкенте, где собрали олимпийцев перед отправлением в Мельбурн.

И через много лет, когда семью Ивановых, показательную семью знаменитых спортсменов (жена торпедовского корифея побеждала на двух Олимпиадах), с великолепными детьми и образцово налаженным домом, верными и полезными друзьями, прочным положением в обществе, привычно ставили в пример, Эдик все равно говорил мне, что брак Кузьмы не одобряет. Точнее, не одобрял самого Валиного замысла жениться на Лиде. И своего мнения не переменял даже тогда, когда в оценке этой эталонной семьи оставался в одиночестве. Он что-то путано говорил про то, что Иванов заслуживал лучшей партии (Кузьму он считал красавцем). Но я не мог с ним согласиться — Лидия Гавриловна изящна и привлекательна по сей день, мужа поддерживала во все трудные минуты, свою долгую удачливую карьеру никогда семейным делам не противопоставляла, даже наоборот. Однако важно для понимания отношений между партнерами, что Эдик со своей детской прямоотой высказал Валентину свои сомнения — и, боюсь, лез с бестактными, учитывая серьезность чувств Иванова к Лиде, советами...

Не собираюсь одной стрельцовой бестактностью объяснять некоторое охлаждение, наметившееся в дружбе партнеров к началу сезона пятьдесят восьмого года.

Думаю, что Валентин Козьмич — напомним лишний раз, что был он старше Эдика, а мы здесь условились принимать во внимание особые счета спортсмена со временем, отмеренным ему на судьбу и карьеру, и не только старше, но и умнее, о чем я никогда не забываю, когда сопоставляю их жизни в футболе, — так вот думаю, что Валентин Козьмич начал немного уставать от непредсказуемости товарища, с которой в быту он справлялся с гораздо меньшим удовольствием, чем на поле. Кузьма не отказывался от развлечений, но безоглядность в них ему все больше претила. Выпить он мог никак не меньше, если не больше, чем Стрельцов, но никакого кайфа от потери контроля над собой никогда не испытывал. Эдик, прямо скажем, пить не умел. Он был из тех людей, что меры убежденно знать не хотят — хмелеют довольно быстро, но пить продолжают все равно, невольно возлагая на собутыльников необходимость дальнейшей опеки и транспортировки. При славе Эдика ему вроде бы гарантирована была забота и опека. Но, как видим, все равно же влипал в различные неприятности. Мне кажется, Иванову претила роль какой бы то ни было уважаемой, любимой, однако, няньки. Кроме того, он гораздо острее и осмысленнее чувствовал свою избранность. Дорожил ею — и ею же руководствовался, выбирая компанию для отдыха с предполагаемым вкушением напитков. Возможно, развлечения Эдика раздражали его однообразием, круг интересов Иванова под влиянием знакомств, доступных знаменитому футболисту, расширялся.

Ну и чувство самосохранения у Валентина, конечно, было выше. Травму, полученную им в пятьдесят пятом году, излечить полностью не удалось: колено у Иванова так и не сгибается до конца — Лидия Гавриловна считает, что он прихрамывает и при ходьбе. Поэтому свою дальнейшую жизнь в футболе он вынужден был строго просчитывать. Это никогда никому не бросалось в глаза. Иванов не переусердствовал в тренировках. Но и не давал себе поблажек в труднейших матчах. Ни в чем себя не ограничивал, в течение всей футбольной карьеры не забывал дороги в хорошие рестораны. Артистичность в игре сочетал с приветливой общительностью в быту, особенно когда вращался в кругу стоящих, интересных ему, равных по положению в обществе людей. Но внутреннее ощущение опасности, возникшее в годы, когда в молодые их со Стрельцовым безумства стали вливать власти и пресса, никогда больше его не оставляло. Он раньше других осознал, что на ведущих игроков, не спрятанных под кителями и гимнастерками с погонами, идет атака и возможен отстрел... Не знаю, предостерегал ли он Эдика от шагов

совсем уж неосторожных или не верил, что Стрельцов, слишком далеко от берега отнесенный теплым течением эйфории, его услышит, но поведением повзрослевшего человека он уводил себя в сторону от участвовавших нападок на вольничавших футболистов. Недоброжелатели обвиняли потом Валентина в излишней хитрости. Но он своим — отдельным — миром жертвовать не захотел — и что же: бросать в него за это камень?

Иванов женился на Лиде через три года после знакомства в Ташкенте.

Возможно, дававший бестактные советы Эдик считал себя опытным семьянином — он женился в пятьдесят седьмом. А вслух о намерении сочетаться с Аллой браком заговорил еще до Мельбурна — он со своей девушкой знаком был со школы.

«У моей тетки была подруга тетя Лена, — рассказывает Алла (чуть позже я объясню, почему ни слова в ее рассказе не тронул редакторским карандашом), — она была у него воспитательницей в детском саду. Говорила, вроде и не такой уж озорной Эдик был, но в угол поставят — никогда в жизни не попросит прощения.

Мы жили не так уж далеко друг от друга, хотя, чтобы дойти ему до меня, надо было делать такую загогулину — полчаса, наверное, шел. Он жил в Перове, а я на Перовском шоссе. Я в Москве, а он за городом.

Мне кажется, что я его видела в детстве на «Фрезере». Там в одном здании была женская школа № 453 и мужская № 439. Когда мы, девчонки, возвращались домой, вечно нас эти мальчишки гнали через свалку, били портфелями. Почему я думаю, что, может быть, он среди них был? Потому что позже он дружил с одним мальчишкой с моего поселка, с Витькой Канашкиным. Он к нему ходил не зря. У Витьки мама была хлеборезкой, и, когда бы мы, дети, ни входили в гастроном, она нам всё горбушки давала...

Взрослым я увидела Эдика зимой пятьдесят пятого года. Нам очень нравилось ходить в клуб перовский, и вот я там увидела его однажды и как-то первая так на него посмотрела, уж очень выделялся. И он как-то даже лихо рванул ко мне, но был таким кольцом молодых мужчин окружен, что не преодолел его. Прозвенел звонок, и все ушли: кино началось. И до лета, до 10 июня пятьдесят пятого года, я его больше не видела.

Я плохо занималась, плохо готовилась к экзаменам, все бегала на танцы — это, конечно, было главное всяких уроков — туда же в Перово, в Липовый парк. Со всякими мальчишками танцевала, очень много было знакомых, и вдруг один такой маленький, Вовочка Бабичев, говорит мне: «Там с тобой один мальчик хочет познакомиться — Эдик Стрельцов». Мне это имя ничего не говорило. Футбол для девочки в восемнадцать лет ничего не значил. «Вот я

сейчас тебя к нему подведу». И вот я вижу опять того парня. Ну красавец, конечно, красавец. Я в общем-то тоже знала себе цену, но считала, что он уж слишком хорош для меня — высокий, статный, белокурый, голубоглазый такой скандинав. Очень красиво одет (а одет был в такую голубую гамму перваншевую, ну никто из мальчишек тогда так не одевался), красиво курил, и голос такой — приятный, глухой, ну, в общем, все — я влюбилась сразу намертво. Побежали мои счастливые полтора года. Конечно, игры, сборы, отъезды, приезды (если все это вместе, может, будет и не так много), но все-таки это были полтора года до Олимпийских игр в 1956-м. Мы, по-моему, ни разу не ходили в театр, мало ходили в кино. Мы чего-то все гуляли, гуляли, и в центр выбираясь, а чаще, конечно, были у меня, на моем Перовском шоссе. Сквер с одной стороны дома, с другой стороны дома...»

Аллу Стрельцову (она существует в самостоятельной жизни под девичьей фамилией Деменко) привел ко мне в редакцию — я редактировал тогда спортивный журнал «Московских новостей» — Евгений Кравинский. Он ее где-то отыскал — и огорошил меня сообщением, что придет к нам с ней. Я не очень хотел этой встречи. Алла обрисовалась лишь в одном нашем с Эдиком разговоре — он сухо обмолвился о ее красоте, а дальше последовал щекотливый пробор, оборванный мрачным, набыченным умолчанием, которое я тогда не попытался разворошить... Мы же работали над книгой его воспоминаний — и я малодушно представил себе среди первых читателей действующую жену Раису и взрослого сына, заранее почувствовал себя перед ними виноватым и никогда не приставал к Стрельцову с вопросами. К тому же занимал меня в тот момент более всего сам Эдуард, которого я, казалось мне, узан — и, увлеченный поиском интонации в книге, узанным дорожил больше, чем голосом из мне неведомого и хуже воображаемого. С возрастом мы яснее вызываем в памяти давно прошедшее. Но в дни совместной работы со Стрельцовым я был моложе — и концентрировал внимание на близком по времени: жизнь с первой женой превратилась по молчаливому уговору между мной и Эдиком в простительный (издатели не настаивали на всех подробностях) пропуск в автобиографическом повествовании.

Я напомнил Евгению Анатольевичу Кравинскому, что мы оба неплохо знакомы с женой Стрельцова — живой тогда Раисой Михайловной. И кем мы будем выглядеть в ее глазах, затеяв копание в событиях многолетней давности? Копание тем более вряд ли уместное при уже сложившихся формах мемориала (стадион имени, памятник)... Что отличило бы нас с господином Кравинским от голодных безобразников из желтой прессы? Кроме того, в комментариях к мемуарам Эдуарда Стрельцова я, ничтоже

сумняешься, заявил, что до знакомства со второй женой Раисой Эдик не встретил в жизни своей настоящей женщины и оттого, мол, и промахи, скандалы, ошибки и грехи, приведшие к известной всем беде. Теперь — перед встречей с Аллой — я подсознательно боялся своей, показавшейся вначале эффектной версии о главных и неглавных в нашей жизни женщинах.

Плененный языком Аллиного рассказа, плотностью наблюдений и непрошедшим чувством к герою этого рассказа, я не собиравшись, приняв решение опубликовать расшифровку магнитофонной записи без сколько-нибудь существенной редактуры, выдавать его за документ-аргумент; захваченный талантливостью изложения, я все равно чувствовал явные несмыкания в сюжете. И все же без вкрапления исповеди первой жены — пусть и с оговорками — не представляю теперь жизнеописания Стрельцова.

«...Но вот что такое? Почему произошло такое с человеком позже — не понимаю. Какой был добрый, как бережно ко мне относился. Господи, мы же с ним брели такими лесами кусковскими и перовскими, плющевскими. И в двенадцать, и позже. От мамы, конечно, был скандал ужасный. Но как же он ко мне относился замечательно. Не знаю, может быть, у него была какая-то другая жизнь, о которой я не знала. Пьяным я его не видела никогда. Выпивши до 8 января 1957 года три раза видела. Первый раз — это празднование 1956 года. Не в его комнате, а в его доме у какого-то мальчишки, там компания собралась. Потом заключение футбольного сезона 1956 года в Мячкове. Там мы немножко даже поспорились. И вот еще на радостях 8 января 1957 года...

Он мне сделал предложение, когда мне было еще только 19 лет, но я побоялась об этом сказать маме, думаю: ну вот, мать скажет, захотела уже замуж. Говорю ему: нет, это еще нельзя. А он, когда уезжал на Олимпийские, мне сказал: «Вот вернусь — и все-таки будет свадьба». Мы тогда же — 8 января 1957 года — сообщили про свадьбу Алику Денисенко, вратарю из «Торпедо» — ну такие были дураки.

И вдруг рассвирепела его мама: «Вся Автозаводская знает, а я ничего не знаю!» Она нас не то что посорила даже (не очень-то он ее и слушал, хотя все-таки был сын своей матери, конечно, он ее любил, он же нормальный человек), а нашла для него какие-то слова, что вот надо бы подождать. Я думаю, что он не поэтому ко мне долго не появлялся, а именно захватило его звездное гулянье после Олимпийских. И я его не видела с того 8 января.

Потом, где-то в начале февраля, они уезжают на сборы (два месяца сборы), потом ранняя весна. И вдруг его мама, Софья Фроловна, мне звонит на работу на «Стальмост», я работала в отделе главного конструктора. В институт я не поступила и один раз, и второй.

Она мне позвонила и решила нас мирить, а я уже слышала, что у него в Кишиневе произошло. Доносились отголоски, что он вообще ведет себя неправильно. Но по моему молодому легкомыслию меня это уже и не очень интересовало, да приятели кое-какие у меня появились. И вдруг Софья Фроловна: «Ну прости уж ты нас, вот забыли мы тебя. Эдик бы с тобой хотел пойти на балет на льду» (австрийский балет тогда приехал). Я только спрашиваю: «А где же он?» Она: «Вот он рядом стоит». Я говорю: «А что, он не может говорить?» — «Вот даю ему трубку, даю». Молчание полное, говорить должна я. «Приеду, — говорю, — куда ехать?» — «Ну, к нам приезжай сначала».

Никогда до этого я не красила губы, но потом явилась к ним в невообразимом виде совершенно: в канареечной шляпе, с малиновыми губами, с бордовым маникюром. Это был ужас. Попугай. Пошли мы с ним на этот балет. Нет, конечно, как и в детстве, он не извиняется, не просит прощения, ничего не объясняет. Но я его знаю. Гложет его совесть, гложет, только он не может произнести нужные слова. Отсидели мы с ним этот прекрасный, очень красивый, конечно, балет на льду. Ему далеко меня провожать домой. Он уже жил на Автозаводской. Ой как ему хотелось, чтобы в знак нашего примирения мы просто поцеловались, но я была девушка капризная. Я его отпихнула и говорю, что сегодня ничего не значит. Короче говоря, он улетел, по-моему, в Куйбышев.

Была бы я барышня умная, я бы поостереглась, посмотрела бы еще некоторое время, потому что слухи про него доходили неважные, но я согласилась. Короче говоря, 21-го, ой, нет, 17-го мы подали заявление, 21-го мы расписались, он опять уехал на какую-то игру, 25-го у нас была свадьба. И все так хорошо. Софья Фроловна меня, между прочим, в его девушках очень даже любила. Звала всегда «Розочкой» и даже как будто караулила. Только он уедет — она мне звонит бывало и говорит: приезжай ночевать. И я ездила...

Но что же после свадьбы... Как только он в Москве, сразу куда-то к приятелям. Вот и жду, когда лифт хлопнет. Два часа ночи... позже... Но никогда ему никаких скандалов, ничего... (На допросе у следователя Алла рассказала об этом позднем возвращении мужа несколько иначе: «Когда хлопнула дверь лифта, я услышала его шаги и побежала открывать. Я думала, что он извинится, сейчас же все объяснит, почему так долго задержался. А он так нагло улыбнулся, что я не выдержала. Я знаю, что это был некрасивый поступок, но я его ударила, он возмутился. Мать кричала на меня, что я еще не жила в его доме. А уже бью его по лицу. Самолюбие Эдика было задето. После таких слов матери он повернулся и пошел из дому. Я догнала его, попросила прощения за пощечину и вернула домой. Мы помирились. Он обещал не приходить так поздно домой. Следующий день у него был выходной, а я ушла на работу. Когда мы увиделись

снова, не было похоже, что он помирился со мной. Он не разговаривал. С этого дня мать все чаще и чаще говорила ему обо мне плохое...» — А. Н.) Ну, только мама, конечно, как положено, сына пожурит. А мне через месяц стало не до них. У меня начался жуткий токсикоз... Я забеременела. Мне было очень плохо. Это просто была как сомнамбула какая-то. И у бедной Софьи Фроловны оказались две обузы. Сын, с которым она никак не справится, а ее одолевают по телефону — начальство с завода и начальство футбольное его ругают, его грызут, и есть за что. И тут я еще вот такая... И вот она мне стала выговаривать, что я не имею на него никакого влияния. Я действительно не имела на него никакого влияния».

В «Торпедо» и на заводе женитьбу двадцатилетнего Стрельцова восприняли в первую очередь как акт педагогический. (Что не помешало Антипёнку после матча против румын, где Эдик забил невероятный гол, произнести фразу из тех, что нормальному человеку в нормальной стране нарочно не придумать: «Мы узнали, что перед этой ответственной игрой — матч был товарищеским — Стрельцов женился. Факт говорит о слабой воспитательной работе в команде „Торпедо“».) Алла автоматически превращалась и во внештатного члена тренерского штаба, завкома или даже парткома. На тренера Маслова она произвела «наилучшее», по его словам (правда, произнесенным на допросе у следователя), впечатление. В конфликтах с мужем и свекровью «Дед» брал ее сторону. И то же самое можно сказать о враче команды Сергее Егорове, которого тоже настойчиво пытались сделать гувернером Эдика. Доктор Егоров долго уговаривал Софью Фроловну согласиться на женитьбу сына — именно на Алле. Егоров — опять же на допросе у следователя — говорил, что немедленному согласию матери мешали корыстные мотивы: девушка, дескать, из бедной семьи... На Софью Фроловну подействовало и поведение холостяка-сына: Эдик не только стал реже ночевать дома, но и дважды собирал свои вещи, намереваясь уйти от мамы. Однажды они завалились пьяные на Автозаводскую вместе с Михаилом Огоньковым и его девушкой — в развлекательной жизни Стрельцова Огоньков все чаще теперь занимал место Валентина Иванова. Торпедовские деятели считали, что спартаковец плохо влияет на Эдуарда. Егоров настоятельно просил Софью Фроловну, чтобы она не держала дома выпивку. Эдик же, узнав, что мать, несмотря на его предупреждающий об их приходе с Мишей телефонный звонок, не поставила на стол вино и закуску, убежал в одних носках из дому в торпедовское общежитие. А гость из «Спартака» и не подумал уходить — они с дамой легли в кровать Софьи Фроловны. Как «скорую помощь», вызывали доктора Егорова. Он выдворил Огонькова — и в глазах матери Стрельцова стал лучшим другом дома.

После свадьбы Егоров ежедневно навещал молодых — как сам

он объяснял, чтобы смягчать возможные противоречия между свекровью и снохой, справедливо полагая, что напряжение в отношениях между ними вынудит Эдуарда пореже бывать дома. Но однажды разъяренная домашней обстановкой Софья Фроловна набросилась на благодетеля-доктора, обвинив его в том, что он заискивает перед необходимым их команде Эдиком, вместо того, чтобы воспитывать его. Егоров был обижен в лучших чувствах и заявил, что ноги его в этом скандальном доме не будут. И он действительно перестал ходить к Стрельцовым. Но свои наблюдения за их домом продолжил, о чем откровенно рассказал следователю.

«Мне казалось, — продолжает Алла, — что Эдик должен быть как будто старше, что вроде я должна бы его слушаться. Были мы однажды в одной компании возрастной. С футболистом, у которого прозвище „Чепчик“...»

Последнее замечание показывает, сколь далеко от футбола была молодая жена Стрельцова.

«Чепчик» — знаменитейший, выдающийся футболист сороковых годов, звезда послевоенного «Динамо» Василий Трофимов, высоко чтимый Эдиком с детства. Я удивился, услышав от Аллы о такой встрече. Дело даже не в самом Василии Дмитриевиче — одном из немногих, кто относился к Стрельцову без особых восторгов: с его точки зрения, Стрельцов мало двигался, а «Чепец» помешан был на скорости в действиях форварда. Дело в его супруге — Оксане Николаевне — красивой, стильной даме, весьма ценившей воспитание и респектабельность в людях: Трофимовы в футбольной среде очень мало с кем общались. Кроме того, Оксана Николаевна замечательна была тем, что мужниными делами занималась не просто заинтересованно, но властно. Мир футбола обошла ее фраза: «Нет, мы с Васильком на левом краю играть не будем...»

Алла не помнит, «были ли мы у него или он был там же, где мы, но вот жена „Чепчика“ сидела напротив меня. Она так посмотрела и говорит: „Он же вас совсем не слушается, это плохо!“

Конечно, плохо... Мы возвращались из гостей почти всегда порознь. Я не могла с ним рядом идти — мне было стыдно. Останавливался с кем угодно. Лишь бы поговорить. А останавливает каждый встречный. Хлопают по плечам: «Ах, Эдик!» То-се. Короче говоря, Софья Фроловна опять мне выговаривает: «Вот, ты тоже... Я думала, помощница, а ты... Все вот безрадостно!»

Действительно безрадостно.

Она мне говорит: «Нечего дурью мучиться, надо делать аборт. Вот тебе полсотня, и иди, моя дорогая доченька, к маме».

Самое удивительное, я не знаю, может, я под Богом все время хожу или, может быть, я была не такая умная — я легко переносила это все. У меня все это прошло без единой слезы.

Вышла я от них с авосечкой, с сумкой книг (я опять поступила в институт, теперь в стоматологический) и пошла домой. Первым делом я разменяла эту Софьи Фроловны полсотню. Купила себе мороженое, потом я купила ему что-то. Пришла домой, а тут меня моя мама начала грызть: «Если жизнь не получилась, то этот ребенок не нужен. Завтра пойдем в больницу». Я в ужасе. Выручил меня мой младший братишка. Смотрел, смотрел на эту картину, потом сказал: «Никуда она не пойдет. Пусть родит!» Так я осталась дома, и стали мы жить-поживать.

Между прочим, когда я уходила от них, он лежал в коридоре на диване, повернувшись лицом к стене. Эдик все знал, что происходит. Значит, он со всем этим был согласен, а почему — не знаю. Потом, намного позже, выяснилось, что он меня не забывал...

Я пошла в декрет, и меня разыскивали, ну не начальство, а всякие профкомы, парткомы зиловские. Разыскиали меня, и, видимо, совсем было дело «швах» с ним. И они стали уговаривать Софью Фроловну во что бы то ни стало нас помирить. Ну пропадает парень, ну что же это такое. И как-то так все устроили через одну мою приятельницу (в профкоме ЗИЛа она работала), что мы идем с ней по Автозаводской (я даже не знала, что он переехал в другую квартиру из одного дома в другой, прямо напротив) (интересно, знала или не знала Алла, что заводские начальники предоставили квартиру, рассчитывая укрепить этим брак с ней Эдика. — А. Н.), и меня здесь останавливает один такой товарищ — Сергей Александрович Кулаков: «Аллочка, здравствуй! Мы сейчас вот пойдем в гости, давай быстренько». Ну, я чувствую, конечно, в чем дело — сразу догадалась.

Там что-то такое невообразимое. Я даже не поняла. Много мужчин, а моя Софья Фроловна что-то такое на них кричит в истерике. Как я теперь понимаю, примирения со мной ей не хотелось.

По серости своей, она, наверное, думала — уж какая может быть жизнь с этой невесткой, раз она так со мной поступила.

Но я осталась, такая нежеланная своей свекрови, и прожила я там еще «очень много» — две недели. Мы проели мои декретные деньги. Мне не давали ни сковородки, ни кастрюльки, ни соль — я побежала все это закупать. Я начала создавать семью. А день и ночь мне звонили какие-то барышни, дома ли Эдик, и даже в квартиру стучались. Открываю дверь с таким животом, а там стоит... в какой-то драной шубке заячьей: «А мне Эдика». Может быть, какая-нибудь дама и взяла бы веник, и прогнала бы, а я считала, что мне невозможно изменить. И это просто какая-то шваль ходит. Лифтерши мне все время говорили: «Аллочка, да что же ты их не гонишь-то?» Вот одна до двенадцати ночи простояла — караулила. Он от нее и туда, и сюда: «Отстань, я иду домой, никуда не пойду». А та прямо молила вся в слезах: «Брата провожаю. Ради Бога, пойдем!» И

увела... Три дня он пропадал. А со мной все эти три дня торпедовский доктор Егоров провел, потому что Софья Фроловна ко мне даже в комнату не заходила. Доктор успокаивал: «Найдется». Спрашивает: «Ты кого хочешь?» Я говорю: «Мальчика». — «Ну вот, а я куклу тебе купил». Апельсины приносил...

И все-таки Эдик нашелся. В совершенно непотребном виде. Сразу в глаза бросалось, что парень где-то, ну чуть ли даже не на помойке валялся. Все мне уже это стало так противно. Думаю, завтра ухожу, а он...

Завтра его хватают и везут в Сочи на сборы. Февраль.

Я и сплю, и не сплю. И вдруг ко мне в комнату входит Софья Фроловна. Я зажмурилась сразу и делаю вид, что все-таки сплю. Она у меня из сумки вытащила ключи, а когда я открыла глаза, говорит: «Хватит, я не останусь с тобой. Иди домой».

Почему такая была жестокость, я не знаю, не могу этого объяснить. Потому что у меня для этой женщины есть и хорошие слова: она была очень приятная, можно было с ней и поговорить. Она очень аккуратная, прекрасная хозяйка. Очень вкусно готовила и при всей ее бывшей бедности даже непонятно, откуда у нее такое умение было накрыть на стол, встретить людей, посмеяться. Правда, все это время я никогда не видела у нее родственников, она никого не жаловала. Я ничего не поняла в этой семье. Ну что же делать, до свидания. Я ухожу.

Она присылала мне мои вещи со своей приятельницей и ее мужем. Тяжело нести, так они мне привозили. Некрасиво все это.

Продолжаю жить одна, рожаю своего маленького детеныша, которая с первого часа жизни сразу была на него очень похожа.

Говорят, что ему предлагали из Одессы, кажется, приехать за мной в роддом. Глупый, конечно, он парень был, в то время особенно. Ведь это вот дело с вином — оно же не прибавляет ума. Ну, короче говоря, он не поехал, потому что я же говорю, что он мириться не умеет. Это он товарищам своим легко и просто направо и налево «ну, извини». А вот с женщиной, особенно перед которой он виноват, мириться не умеет...»

Выслушав Аллин рассказ я расчувствовался — и подумал, что вот из него и лучше понимаешь, как можно всепрощающе любить Стрельцова — такого, какой он есть, — и понимать с бабьей душевной отзывчивостью, что Эдик сам не знает, чего творит, не осознает, какой жестокостью к близким людям оборачивается желание быть хорошим для всех...

Но вчитавшись в расшифровку записи нашей беседы, я соединил строчки о «кое-каких приятелях», появлявшихся у Аллы, когда Эдик безобразничал в Кишиневе, и о настойчивом желании Софьи Фроловны держать будущую невестку при себе с бормотанием

Стрельцова через много лет о сомнительных моральных качествах первой жены. И Маслов говорил о том, что Эдик предъявлял Алле претензии в неверности. «Дед» считал, что «без видимых причин». И добавлял: «Мы его переубедить не смогли, так как влияние его матери было на Эдика сильнее...» Алла рассказывала следователю: «16 августа 1957 года, в пятницу ночью, он приехал из Финляндии, и пока я спала, мать могла насплетничать ему обо мне. Когда я проснулась, спросила его, почему он со мной не поздоровался, он грубо сказал мне, чтобы я взяла свои вещи и уходила. Я попыталась выяснить: почему? Он говорил словами Софьи Фроловны: не умеешь ничего делать, не помогаешь матери. Сказал, что больше не любит меня, не хочет со мной жить. Я была беременна, поэтому спросила его: а что же мне делать? Он ответил, что я должна сама для себя решить. Он обещал помогать в том и другом случае (будет ребенок или его не будет)». Советская женщина Алла обратилась к начальнику мужа — тренеру Качалину. Гавриил Дмитриевич обещал помочь, но не помог. Как заметит Алла: «Они видели в Стрельцове футболиста и не хотели думать о нем как о человеке. Вмешался завком, горком комсомола, прокурор Пролетарского района, на заводе специально собрали собрание — и жену вернули к Стрельцову. И все же Софья Фроловна после разных издевательств выдворила, как мы уже знаем, беременную Аллу, отобрав у нее ключи. Случилось это в феврале пятьдесят восьмого года.

Автозаводская — большая деревня. И многие из наблюдавших жизнь семьи Стрельцовых были на Аллиной стороне. Многие знали, что Эдуард — первый в ее жизни мужчина. И видели, как терпеливо сносит она выходки мужа. В то, что Эдик — идеальный семьянин, не верил никто из даже всецело расположенных к нему людей. Но зря говорят: со стороны виднее. Ни черта здесь не разберешь со стороны. На Олимпийском балу, когда Екатерина Фурцева хотела познакомить Стрельцова со своей шестнадцатилетней дочерью, тот ляпнул: «Я свою Алку ни на кого не променяю!» Ответ глупый — вряд ли Фурцева собиралась сватать свою дочь за футболиста. Но красиво — испортить отношения с могущественной женщиной, членом Политбюро ради того, чтобы вслух сказать, что никто для него не сопоставим с любимой девушкой: за такую бесхитрость все и любили Эдуарда.

Я тоже не очень верю в Аллины измены. Но из долгого жизненного опыта мог бы привести немало примеров того, как женщины изменяют любимым мужьям только из желания отомстить за нанесенные им обиды.

Ревность же Стрельцова подпадает под пушкинское определение Отелло: он не ревнив, а доверчив. Кроме того, сильно подозреваю, что повышенный градус стрельцовской ревности бывал и

оборотной стороной чувства вины. Спьяну Эдик не мог устоять перед соблазнами — и для самообороны легче было обвинить в грехах жену. Всем нам знаком и алкогольный бред ревности. Ну а мысль о неверности жены, Маслов прав, крепла в нем не без влияния Софьи Фроловны.

Конечно, и натурой он был импульсивной, и гормоны ослепляли — своего этот здоровяк еще не отгулял, не перебесился, — и женский мир с избыточными искушениями и соблазнами размывал податливую психику, неокрепшую в страстях души, и хотелось, наверное, иногда в чье-то обнаженное плечо уткнуться, спрятаться, словно страус в песок. И матерью он, мужчина, выросший без отца, избалован был безнадежно. И, может быть; действительно с женитьбой он поторопился — может быть, следовало дожждаться ему женщины, которую бы он с первого дня совместной жизни называл «мамой», как в последние годы жизни звал Раису?

В бессмысленном, пьяном трамвайном путешествии на Крестьянскую заставу поздней осенью пятьдесят седьмого года Стрельцова сопровождала девушка-соседка Галина Чупаленкова. В письмах к матери из заключения Эдик делает приписки для какой-то Галины, которую, судя по некоторым намекам, Софья Фроловна протезировала как подругу жизни для сына. Я спросил Лизу — сегодня о подробностях молодой жизни Стрельцова уже и некого расспрашивать, да и, может быть, незачем: Стрельцов, изваянный скульптором, и Стрельцов грешных лет вряд ли бы узнали друг друга при встрече — и Зулейка сказала, что Галя из переписки была поклонницей Эдика. А вместе ли катались на трамвае? Не исключено. Но это лучше было у Софьи Фроловны спросить. Она, вспоминаю, и собиралась меня с Галей познакомить, да я не собрался. Репортеры меня, не сомневаюсь, высмеют. Мой приятель-тассовец буквально требовал, чтобы я непременно встретился с девушкой, обиженной в ту злополучную ночь с двадцать пятого на двадцать шестое мая. Теперь и фамилия ее опубликована. Но, смотрю, люди и побесцеремоннее меня и преданные репортерскому делу, воспитанные уже в нравах сегодняшней прессы, не стали ее разыскивать. Один из торпедовских ветеранов, насмотревшись, очевидно, телевизионных сериалов, уверяет, что в одну из стрельцовских годовщин встретил бывшую девушку на Ваганькове с букетом цветов...

Я, однако, никогда не ставил себе целью — составить донжуанский список Эдуарда Стрельцова. И зачем искать в его жизненном приключении женщину, если сам он для себя никого не нашел — не успел или искал не там? По-моему, скорее второе... Но кто же знает, кто подскажет, где искать? И может быть, правильнее всего не ждать ничьих подсказок?

Мне хотелось лишь точнее вообразить себе Эдика в тогдашних

метаниях, в том странном беспокойстве, в неприкаянности невыразимой, в момент, когда он нужен, казалось бы, всем, когда судьба вела его к выполнению, без дураков, исторической миссии, но судьба же (где ты логика?) разрешила ему неосторожный шаг в сторону — и остается гадать: почему невидимые им конвоиры посчитали побегом именно этот шаг?

Никакие победы не важнее понимания — понимают ли тебя другие, понимаешь ли себя сам...

Чем выше поднимался Стрельцов в футболе, тем меньше понимал себя сам — понятия в футболе с законами частной жизни не совпадали.

А что могли понять про него другие?

Они и были — другими. Не такими, как он.

СТАКАНЧИК СУХОГО

19

«По возвращении на родину нас загнали на сборы в Тарасовку», — закончил свой рассказ о Китае Маслаченко.

В Тарасовку прибыл и прощенный — на скорую руку сочинили покаянное письмо за его подписью в «Комсомолку» — Эдик.

Обделенный супом из кошек, он, по общему мнению, ничего не потерял. Готов к сезону был, по мнению знатоков и по собственным ощущениям, как никогда. Но следили за ним после отмененной дисквалификации особенно строго — ни о каких нарушениях с его стороны и разговору быть не могло.

Сезон торпедовцы начинали в Тбилиси. В первой же игре с кишиневской командой Стрельцов забил гол, памятный тем, кто видел его, до конца жизни. Мяч на правый фланг получил он издали — и на большой скорости промчался с ним по лицевой линии, пробив с точки, где эту линию пересекает меловое очертание штрафной площадки, иначе говоря, с нулевого угла, а мяч влетел в дальний верхний угол. Перевозбужденный тем, что все у него на поле выходит, он схлестнулся, забыв о своем подвешенном положении, с Гавриловым — рефери из Сочи. И неизвестно — или, наоборот, известно — чем бы мог закончиться этот спор, если бы между судьей и форвардом не протиснулся Валентин Иванов. Кузьма жестикулировал с такой горячностью, что Гаврилов удалил с поля его. Но для капитана «Торпедо» и удаление очень уж серьезными неприятностями для дальнейшего не грозило, а вот что Эдика за очередную провинность ждало, можно себе представить — спортивный министр уже высказывался в том смысле, что Стрельцов в Швецию не поедет. Николай Николаевич злым человеком не был, в спорте понимал, неплохо относился к Эдуарду, но оставался чиновником сталинской выучки и закала: шутить не любил...

Поэтому к заслугам Иванова перед «Торпедо» и сборной добавим и принятый на себя судейский удар в весеннем Тбилиси пятьдесят восьмого года.

В Тбилиси Эдика настолько любили, что могли восхищаться им даже тогда, когда причинял он огорчение местным динамовцам. В динамовские ворота на глазах у земляков «Торпедо» вбило шесть мячей. Выступая через несколько дней в Тарасовке перед игроками сборной СССР, Евгений Кравинский сострил, обращаясь к входившим в ее состав грузинам, спросив: каково им было просыпаться после

матча с москвичами? — и сам же ответил: как в утро стрелецкой казни.

Динамовцам Тбилиси Стрельцов сам забил только один гол, но четыре мяча с его подачи забил Геннадий Гусаров, начавший играть за основной состав «Торпедо».

За восемь проведенных игр в чемпионате страны Эдуард забил пять голов. Пятый — в последнем своем выступлении за клуб перед вынужденным семилетним перерывом.

К восьмому туру команда автозавода лидировала в турнире вместе со «Спартаком» — и матч между ними вызвал ставшую за последние годы привычной ажитацию.

«Спартак» вел в счете — 2:0. Усилиями Кузмы (Иванов играл еще результативнее Стрельцова, против киевлян он сделал хет-трик) оба мяча отыграли. Но спартаковцы и третий забили, снова переломив ход матча в свою пользу. Но как, не мудрствуя и не мучая себя поиском слов, написал на следующий день в «Правде» Андрей Старостин: «Стрельцов разрядил свою пушку». В фильме, который мы снимали об Эдуарде в начале девяностых годов, спартаковский вратарь Ивакин обстоятельно изобразил нам перед кинокамерой этот эпизод. Ни один из вратарей никогда не распространяется о пропущенных им голах. Но, похоже, Валентин за прожитые со времени того огорчения годы сумел эстетически подняться над самолюбием — и уже с почти зрительским удовольствием показал на пустом газоне поля в Лужниках, как убежал от защитников Эдик и как не угадал голкипер (сам рассказчик) момент нанесения им убийственного удара...

В мае сборная, как у нас водилось, выступила против немцев из ГДР под маркой сборной Москвы. Из четырех мячей три забил Эдуард.

Восемнадцатого мая против англичан он сыграл, в общем-то, в полсилы, не выделялся, но и сомневаться не позволил, что находится в наилучшей форме — просто был в тот день не в ударе. Команду выручил — после первого тайма проигрывали 0:1 — Валентин Иванов. Забил англичанам на семьдесят восьмой минуте — на той же, по многозначительному совпадению, что и год назад Эдик, когда спасал от поражения в игре против румын.

Через неделю, а уж если быть точным — сейчас понятным станет, зачем — 24 мая, провели спарринг с поляками.

Стрельцов с послематчевого банкета — от греха подальше — уехал вместе с заводскими руководителями. Руководители считали, что он направится домой. Он и направился, но только потому, что дама, которой позвонил с предложением тотчас же встретиться, ответила отказом, сославшись на поздний час.

Дама, проявившая похвальное (или роковое для дальнейшей судьбы Эдика?) благоразумие, восхищалась Стрельцовым как

футболистом. Но этим не ограничилась и, узнав телефон любимого игрока, позвонила ему зимой пятьдесят восьмого года. Недели две они перезванивались — девушка закончила университет, вышла, пока училась, замуж за студента, родила от него ребенка, затем с мужем развелась и работала в книжном магазине, продолжая увлекаться футболом. Очное знакомство произошло на стадионе «Торпедо» — она ждала Эдика после тренировки. Перед тем как встретиться у девушки дома, они гуляли по аллеям Центрального парка имени Горького, а после интимного свидания проехали на футбол — вторая сборная СССР играла с «Локомотивом». Дома у новой знакомой Стрельцов бывал уже не впервые — она знакомила его со своими друзьями по МГУ, которым футболист очень понравился, хотя после публикации фельетона Нариньяни они посчитали своим долгом дать ему несколько нравоучительных советов, на что трезвый Эдуард не обиделся. А в дальнейшем приходил в гости с бывшими футболистами «Торпедо» Тарасовым и Чайко, и водил девушку к одноклубнику Лехе Островскому.

Конечно, многое, если не все, в нашей жизни предопределено.

Ну ведь вот могла же девушка, судя по всему, благоволившая Эдуарду, встретиться с ним, ушедшим вовремя с банкета в гостинице «Ленинградская», и на следующий день после примерки костюмов он бы и не захотел ехать ни на какой пикник с коллегами-спартаковцами, а вернулся бы к даме, которая вдруг бы и предложила какую-нибудь культурную программу...

А Борис Татушин, ночевавший после все того же банкета со своей женщиной Инной на квартире у Караханова, чьим родителям принадлежала дача, где и совершилось грехопадение, повлиявшее на будущее отечественного футбола, вполне бы мог отправиться за город и без Эдика.

Но игроки сборной СССР встретились утром на примерке костюмов, которые им пошили для поездки в Швецию в ателье на проспекте Мира.

Кто проводил дни отдыха в прежних футбольных компаниях — а попасть в них мог и человек из публики (при единственном условии: соответствовать заведенным на все двадцать четыре часа в сутки весельчакам, готовым к челночному передвижению по единовременно завоеванному ими городу) — знает, что игроки выкладываются в развлечениях без остатка. Нагуливаются впрок, запасаясь положительными эмоциями надолго. В режим запланированных развлечений должны обязательно вписаться все степени отношения с женщиной.

Своей даме, не захотевшей отдалиться ему сразу же в салоне автомобиля и упрекнувшей его за привычку к безотлагательному исполнению сексуального желания, Михаил Огоньков с печальной

серьезностью ответил: «Такая у нас жизнь...»

20

И еще давался ему шанс — последний, как оказалось.

Встретиться договорились на улице Горького — возле магазина «Российские вина».

Спартакowцы запаздывали.

Через много лет Эдик говорил мне, что почувствовал странную усталость — от всего, в тот момент казалось, — и что-то вроде тоски, ничего ему не хотелось: ни выпивать, ни разговаривать ни с кем. И он решил никого не ждать — ехать к себе на Автозаводскую. Он уже двинулся — или так ему казалось потом? — к мостовой, чтобы такси остановить. Но, как на поле, периферическим зрением увидел Сергея Сергеевича Сальникова — тот поравнялся с дверями магазина. Не Эдик — Сальников предложил: по стаканчику сухого. Сергей Сергеевич, если сравнивать его со стрельцовской компанией, непьющий — ему неудобно отказывать. И потом: сухого — в жару... Чего плохого? Выпили, действительно, по стаканчику — второго и не захотелось. И тут подъехали Миша Огоньков, «Татушкин», приятель Бориса — тоже Эдик. Сергей Сергеевич откланялся. А они сели в машины...

Утром игроки сборной собирались на Ярославском вокзале — в Тарасовку тогда удобнее было добираться электричкой. Доктор Белаковский не мог не заметить прокушенного стрельцовского пальца.

А когда сели Эдик с Яшиным возле вагонного окна, то Лев сейчас же обратил внимание на глубокие, плохо запудренные царапины на физиономии основного центрфорварда: «Кто это тебя так?» — «С кошкой играл...» Вратарь, конечно, пошутил про кошку с двумя ногами. Доктору же не понравилось состояние Стрельцова, квалифицированное им как сильно похмельное. И он порекомендовал Качалину в первой половине дня Эдика не нагружать. Тренер кивнул с пониманием: «Пусть поспит...»

Пробудившийся от оздоровительного сна Эдуард пошел с Яшиным удить рыбу, а на спартакowскую базу тем временем прибыли милицейские «воронки».

21

И тогда-то — сорок с лишним лет назад — до нас (без всякой скандальной хроники и без знакомств в футбольном мире) доходили слухи и о ногте практически откушенном, и о разбитом (или даже

сломанном) девушкином носе.

Но — в который раз здесь повторяю и еще, может быть, повторю — любое возмущение стрельцовой некорректностью меркло перед известием о тяжести наказания.

По-мужски, да и по-женски (солидарность женская послабее мужской) входили в обстоятельства: с кем не бывало? Про рукоприкладство в семейной жизни уж не будем говорить, чтобы лишний раз не расстраиваться, но вспомним фильмы итальянского неореализма — их у нас крутили в пору, когда Стрельцов начинал играть в большой футбол: там разве не бывало, что и при самой романтической любви здоровяк-мужчина отплевывал любимой женщине оплеуху — и ничего же, продолжалась любовь. Замечательным, красивым людям чего не простишь? Вот и мы, горя о том, что Эдика вырвали из футбола и отправили на лесоповал, говорили ему в оправдание: погорячился, распалила, по-видимому, девушка, не так ее понял да и вино со всем остальным в голову ударило, вот он и руки распустил, но ведь и девушка не убежала, осталась: ей поначалу такая темпераментная решительность и понравилась, а уж потом стало обидно, что не лаской взял...

Если не каждый, то большинство из слышавших о «проступке» считали обвинение об изнасиловании притянутым за уши. Что, однако, не мешало запропагандированному обывателю все равно твердить: «насильник». Все уже знали, что у нас-то и зазря свободно сажают. Но советский человек жил в предписанной ему реальности — и блатная романтика в стране тесно соседствовала с прокаженностью зеков из-за боязливости самоощущения многих и многих.

Виновным Эдуарда, по-моему, никто не считал. Уж потом некоторые себя уговорили, чтобы самим не страшно было жить, если снова поверить, что сажают без вины.

Стрельцов — футболист телевизионной эпохи. Миллионы людей видели его на экране — и понимали, что парню с такой внешностью девушка вряд ли уж будет сопротивляться до того, что, потеряв от животной страсти самообладание, он прибегнет к насилию. Откуда и пошли слухи про дочь начальника или посла — нужно же было найти хоть какое-нибудь объяснение несговорчивости дамы. Правда, по-российскому менталитету — он при советской власти несколько не изменился — в таких ситуациях заведомо виновата женщина: нечего кокетничать, подманывать, распалать, тем более если уж осталась с парнем на ночь. В фильме о Стрельцове — естественно через много лет после случая в Тишково — Иванов произносит: уж «если женщина едет за сорок километров от Москвы с ночевкой...». Вообще-то не за сорок — потерпевшая жила рядом — да и ночевка не оговаривалась... Но все мы, кто знал Стрельцова, исходим из его не склонного вовсе к агрессии характера, исходим из

объективных данных, что он — грезы многих женщин, ищем логику в поведении молодых женщин, тянущихся к футболистам, у которых последний день отдыха перед длительной работой в отрыве от дома... А две из четырех приглашенных на пикник дам оказались девственницами: могли разве Огоньков со Стрельцовым ожидать такого поворота, когда ориентировали их наверняка на женщин легко и весело доступных?

Теперь же, когда ради запоздалой защиты Эдуарда собрали и опубликовали под одной обложкой всю документацию: экспертизы, объяснения, протоколы допросов и тому подобное, нам приходится в помойку окунаться, чтобы судить, кто прав, а кто — нет.

Господа, потрудившиеся на славу для собрания всех документов, необходимых для тщательного рассмотрения случившегося с Эдиком, путем перепроверок, уточнений и гипотез приходят к выводу о его абсолютной невиновности. Судьи, как мы и подозревали, по указанию властей фабриковали дело — и к ним у коллег-юристов множество претензий.

Но картина случившегося на даче, принадлежащей родителям летчика Эдуарда Караханова, после столь тщательной реставрации может, по-моему, и от Стрельцова некоторых людей-читателей оттолкнуть — особенно тех, кто мало о нем знает. А ведь таких уже большинство.

И зазывное «Кто заказал Эдуарда Стрельцова?» на обложке книги, где до бредовой навязчивости пережевываются подробности глупого дня и дикой ночи в Тишково, не удивлюсь, если оставит человека, всего насмотревшегося на пограничной полосе столетий, в недоумении. Он привык, что заказывают банкиров и видных бандитов. А кто такой Стрельцов, кому он помешал, вряд ли понятно тем, кто не жил во времена молодости Эдика. Им приходится, как в анекдоте про еврея-скрипача, верить на слово.

22

В конце восьмидесятых годов грамотные люди твердили, что читать сейчас интереснее, чем жить.

В полувовде увлекательнейшего чтива для широкой публики привлекательнее всех прочих был, конечно, «Огонек» под редакцией Виталия Коротича. В каждом номере иллюстрированного журнала публиковалось нечто, переворачивающее наши представления об иерархии и ценностях, привычных для советского общества.

И в такой вот сверхпопулярный «Огонек» мне предложили написать о Стрельцове. Польщенный, я, однако, растерялся. Я уже заметил, что аналитика, занимавшая меня более всего на подступах к

собственному пятидесятилетию, ставится во главу угла в журнале, взвинтившем тираж до астрономических цифр, не так уж и часто. На читателя, в первую голову, воздействуют документированными фактами. Я, между прочим, и тогда думал: а что станется с «Огоньком», когда запасы сенсационных документов иссякнут, а развращенный регулярным информационным наркотиком читатель не захочет ни в какие размышления о случившемся с его страной вникать — будет жаждать все новых и новых подробностей о грехах и бездарности начальства и тех, кто служил ему слепой верой (в необходимость страха) и неправдой? Будет жить беспределом разоблачений — и вконец потеряет ориентиры? Что, на мой взгляд, и случилось, убив у большинства интерес к сюжетам новейшей истории. От имен Сталина и Берии начало тошнить. Что, впрочем, не помешало изображению одного из них взметнуться над недовольной толпой...

Не исключаю, что мои сомнения в правильности линии журнала эгоистически объяснялись сомнением в своих возможностях — я знал, что «Огонек» ждет от меня некоего поворота в истории с изнасилованием, желательно подкрепленного документами. Просто уверен, что нынешняя версия о следе КГБ в деле Стрельцова, приводимая в книге о заказчиках наказания Эдуарда, была бы принята тогдашней редакцией на ура.

Меня, однако, занимала, как и сейчас отчасти занимает, тема футбола и времени.

Мне казалось самым важным сказать не об изнасиловании, в которое я не верил (хотя и не восторгался поведением Эдика на гулянке с девушками), а обратить внимание на известную общественную несостоятельность в момент осуждения Стрельцова. Я увидел некоторое совпадение с происходившим осенью того же года распятием Бориса Пастернака.

Видимая либерализация советской действительности в конце пятидесятых, как и в конце восьмидесятых, происходила под эгидой партийного начальства, которым и была инициирована.

Но в пятьдесят восьмом году просоветские настроения казались мне более искренними — власть осудила Сталина за учиненные им репрессии, реабилитировала и возвращала из лагерей безвинно репрессированных. Очевидности хрущевских беззаконий — например, дела так называемых валютчиков, когда Никита Сергеевич приказал расстрелять Рокотова и Файбишенко, чем напугал самих судей, сделавших из вмешательства главы государства очень далеко заводящие выводы, — видеть не хотелось. По тогдашним понятиям, валютчикам никто и не сочувствовал. Но про порядочность — про талант и говорить нечего — Пастернака элита творческая прекрасно знала, а вынуждена была придуриваться. Стрельцов ходил во всенародных любимцах, играл за команду, представлявшую

класс-гегемон. Никому, однако, не хотелось верить в поворот обратно. И по извинительному слабодушию хотелось, наоборот, предположить, что наказание невиновных эпизод. И не надо, может быть, дразнить властных гусей, вызывая массовые репрессии, память о которых еще была очень свежа.

...Застоявшаяся интеллигенция с забытой искренностью торопилась поддержать объявленную властями «перестройку»; неожиданная близость к начальству, декларировавшему повторную «оттепель», кружила головы людям поумней меня и откровенно прогрессивнее — я себя чувствовал на празднике публицистики ненужным со своим перегруженным ассоциациями Стрельцовым.

По моим ощущениям абзаца о Пастернаке никто и не заметил.

Но довольно скоро в журнале «Журналист» я прочел недоуменный отклик на свою заметку в «Огоньке». Ее снисходительно одобряли, но и сердито удивлялись: а при чем здесь Пастернак? Подпись под откликом была — Илья Шатуновский...

Да, да, тот самый Шатуновский, который вместе с Н. Фомичевым написал фельетон «Еще раз о „звездной болезни“».

Я знаю, что труд газетчика подневольный. И сегодня в разговоры о совсем уж независимой журналистике не верю. Поэтому и Шатуновского с Фомичевым за тогдашнюю подлость — до вынесения приговора они в своей «Комсомольской правде» уже объявили Эдуарда насильником («В то же время, когда наши футболисты готовились к ответственным играм на зарубежных стадионах, Стрельцов оказался недостойным высокого доверия, которое ему оказал коллектив, общественность, напившись, по своему обыкновению, он совершил тяжелое уголовное преступление и вскоре предстанет перед судом, как хулиган и насильник») — даже Шатуновского с Фомичевым (им, обращаю внимание, единственным выпало сказать в печати о насилии, потом, как я уже говорил, по разным конъюнктурным соображениям прибегали к иной терминологии в обвинениях) я осуждаю вместе со временем, формировавшим такой тип журналиста.

Но когда товарищ Шатуновский и через тридцать лет после опубликования фельетона, в котором топил Стрельцова, может без тени стыда обсуждать публикацию, где жизнь великого футболиста интерпретируется по-иному, чем у них с Фомичевым, я понял, что, во-первых, эти люди-перья выкованы тем временем надолго (парадокс лишь в том, что коллеги Шатуновского годами помоложе превратились сегодня в апологетов независимой — уж не знаю, от кого и от чего — прессы), а во-вторых, что параллель с Пастернаком не за уши притянута. Всё в прошедшем времени взаимосвязано.

23

Я бы только обязательно оговорился, пускаясь в рассуждения о злключениях Стрельцова при советской власти и в стране большевиков, что таким, как он, натурам трудно приходится во все времена, во всякой стране и при любом социальном строе...

Тезис о противостоянии гения обществу и неминуемом одиночестве, которое ждет гения везде, я бы заземлил прозаическим предположением о том, что со своими похождениями Эдик бы за границей не сходил со страниц скандальной хроники, какой у нас в его времена не существовало.

И сегодня, когда в цивилизованных странах к сексуальным домогательствам склонны относить и слишком уж выразительные взгляды, брошенные на даму, инцидент на даче Караханова симпатий к разгулявшейся знаменитости в продвинутом обществе не вызвал бы.

Конечно, в сугубые условности советской действительности естественный человек — а Стрельцов под такое определение более всего и подходит — вписывается с неведомыми ординарным людям мучениями.

Условности эти противоречат независимости в самых безобидных ее формах.

Потому-то неадекватный прегрешениям гнев вызвали и ушедший в свой высокий мир от официального признания Пастернак, чудом, но не бедствовавший, освобожденный от неминуемой нищеты кругозором образованнейшего литератора и неутомимостью в изнурительной работе переводчика, разрешавшей минимально кланяться властям, и парень из Перова с семиклассным образованием, позволивший себе по наивности принять некоторые послабления как поощрение за природный дар в стенах казармы за несуществующую свободу; потому-то и оказались они на разных досках одного и того же эшафота.

Независимость в общежитии при определенном для всех режиме поведения рассматривалась наверху как вызов себе. И проходила по номенклатуре чуть ли не бунтарства, когда власть почему-либо не в духе или хочет напомнить о своей безотчетности перед подданными.

24

Стрельцов вспоминал, как обрадовались в милиции, куда его доставили непосредственно из Тарасовки: вот, мол, попался, который

кусался, хотя палец прокушен был как раз у Эдика. Милиционеры знали, сколько раз за последнее время покровители футболиста — вернее, заинтересованные в нем начальники — отмазывали Эдуарда. Честь правоохранительного мундира казалась стражам порядка задетой. И сейчас они надеялись отыграться — и предвкушения мести не скрывали.

И мне бы — по моим либеральным воззрениям — мне бы, долую жизнь прожившему при советском строе и не понаслышке знающему о его строгости и коварстве, подхватить версию про КГБ, все просчитавший и все ловушки для непутевого Стрельцова расставивший. Я и от авторитетных, знающих механику управления страной людей слышал, что Стрельцова подставили, что на недозволенный поступок его спровоцировали... Но зачем — спрашивается — такой детализированный план спецслужб, когда сам Эдик подставлялся столько раз — не проще ли было преградить ему дорогу в Стокгольм, не дотягивая до последнего дня, когда уже на костюм для него потратились и замены сколько-нибудь подходящей ему некогда искать?

А вдруг все проще и грубее?

Пасли (и за нос, вдобавок, водили) не Стрельцова, а всех нас, живущих не только футболом, но и просто живущих в стране Советов?

Я готов поддержать все версии, предлагаемые главными ходатаями о реабилитации Эдика. Согласиться, что ведомственные интересы у нас могут запросто противопоставить государственным — сегодня это почти бесспорно, — что шефы «Динамо» намеренно гробили «Спартак» и «Торпедо». Но те, кто хорошо знают историю футбола и помнят ход сезонов, подтвердят, что КГБ не смог помешать спартаковцам стать чемпионами в пятьдесят восьмом году, а «Торпедо» в ближайшем будущем превратиться в суперклуб.

Такого скользкого человечка, каким выглядит в истории с пикником Эдуард Караханов, могли, конечно, сделать орудием тайной полиции. Но при малейшем желании тайная полиция могла подобрать кандидатуру и попрличнее, к которой бы и сегодня не придаться.

Что-то мне, однако, подсказывает, что Эдика Стрельцова превратили в карту, шулерски разыгранную, не ради футбола единого. И предполагаю, что разыгранную людьми, преследующими несколько иные цели, чем приведение к обязательному чемпионству московское «Динамо». Команду, между прочим, с классными игроками и великим тренером, нуждавшимся, конечно, в поддержке власти предержащих. Но не совсем уж в буквальном смысле, наверное? Хотя, как показал пример с братьями Старостиными, соперничество между суперклубами простирается далеко за пределы футбольной арены.

Про Фурцеву мне и сам Эдик говорил — в ней видел он одну из виновниц происшедшего с ним. Хотя не удержусь — добавлю от себя,

что ни Сталин, ни Берия, ни Фурцева не виноваты в том, что мы не умеем пить. Тем не менее откуда-то известно, что Екатерина Алексеевна передала записку о случившемся в районе железнодорожной станции «Правда» помощнику Хрущева...

Быстрота, с которой информация дошла до самых верхов, всегда меня настораживала. Все как бы делалось специально, чтобы футбольные деятели не успели вмешаться и по разученной схеме хождений по начальственным кабинетам отстоять Стрельцова.

Вместе с тем подобная быстрота донесения высшему начальству могла свидетельствовать и о неуверенности правоохранительных органов в своих полномочиях — наказывать знаменитейшего футболиста без ведома самого Хрущева.

Хрущеву с его стандартно-советским начальственным мышлением бредовой бы показалась мысль, что на его репутации может отразиться история с каким-то футболистом. Логика неврастеников мешает нам и в новых временах вполне определиться в своем отношении к Никите Сергеевичу. Те, кто по-прежнему упрямо именует себя шестидесятниками, до скончания своих дней будут уверять, что Хрущев не только меньшее зло, чем Сталин, но в советских рамках явление вообще прогрессивное. Хотя его-то правление и доказывает, что прогресс в этих рамках весьма относителен, если вообще возможен. Как нам из сегодняшнего дня — бог уж с ним, со вчерашним — совместить воспетую оттепель с произволом в сталинском стиле? Хрущев — не кто иной — произнес: «Использовать на тяжелых работах». Называя вещи своими именами, послал молодого человека, чья вина еще не была установлена, на верную гибель.

Это, на мой взгляд, даже пострашнее выглядит, чем подпись под заготовленным НКВД списком сотен обреченных — покарать конкретного подданного, зная, что твоей стране он не безразличен; вряд ли популярность Эдуарда от Хрущева скрыли. Скорее уж он посчитал ее дутой. И со своей собственной, в которую поверил, несравнимой.

Не оправдывая хрущевской вспыльчивости, что иногда из неизбывного кокетства делают писатели и художники, публично им обруганные (но лес тем не менее валить не посланные), предположу все-таки, что с той историей в конце пятидесятых подставили не одного Стрельцова, но и дорого ему обошедшегося Никиту Сергеевича.

Хрущев не интересовался ни поэзией, ни футболом — и ни личной заинтересованности в наказании, ни собственного мнения о личности великого поэта или великого футболиста у него быть не могло. Была эйфория от всевластия, которой и воспользовались те, кто не хотел его и дальше видеть во главе сталинской империи.

Люди наверху понимали, что империя эта прекратила свое существование в день смерти Сталина — она была скроена по его кровавым меркам и рассчитана на время именно его царствования, когда волевое усреднение касалось всех, кроме самого коммунистического царя. Теперь усреднение для общеруководящего удобства стоило возвести в абсолют. И видимость продолжения империи с ее социальными легендами и мифами можно было сохранить при строжайшем условии, что очередной правитель будет жить без самозванства, не потрясая аппарат — механизм, заведенный Иосифом Виссарионовичем.

Механизму власти никакой Стрельцов ничем помешать не мог — к нему единственную претензию могли бы предъявить: нарушение советской иерархии, при которой никто ни за какие заслуги не имел право высовываться дальше, чем положено.

Это, кстати, — на иной просто номенклатурной высоте — касалось и Хрущева, под чей топор с умыслом подкладывали знаменитого, однако непослушного футболиста.

Но, в сущности, Никита Сергеевич и Эдуард Анатольевич — подельники.

Вынуждая Хрущева рубить по-сталински придуманного врага, претенденты на имперское наследство не только превращали главу государства в свое орудие, но, пользуясь его страстью к детскому разрушению сталинской бутафории, провоцировали на непопулярные решения. Никита Сергеевич, например, закрыл коктейль-холл на улице Горького, ограничивал часы продажи водки и работы ресторанов. В режиссуре общественной жизни Сталин оказывался искуснее. В строгости жизненного распорядка не запрещались колоритные вкрапления — в частности, знаменитые люди вроде Чкалова, Стаханова, народного артиста Ливанова (они одно время жили с Чкаловым в одной квартире) за пьянство критике не подвергались.

И Стрельцову, по-моему, сильно помешала оттепельная каша, заварившаяся во многих тогдашних головах. Бесхитростный Эдик в тумане послаблений опасной черты не видел — не тем тоном, что прежде, произносилось: «нельзя». Сомневаюсь, что при Сталине примерка костюмов накануне отъезда на мировой чемпионат проходила бы без контроля кагэбэшников и что с футболистов бы спустили глаз.

Или же правы все-таки те, кто уверяет, что всё, всё буквально — и гражданский летчик с дачей, и невинные девушки, притворившиеся отпетыми блядьми, и выпивка в неумеренных количествах — было специально подстроено, чтобы Эдик в последний момент сорвался? И Сергея Сергеевича Сальникова нарочно подослали к магазину «Российские вина»?

У авторов книги про «заказавших» Стрельцова негодяев стройная концепция участия КГБ в событиях, развернувшихся вокруг суда над Стрельцовым. «Народ ничего не знал. Но сердцем люди чувствовали — дело нечистое. Глухо ворчал огромный рабочий коллектив Автомобильного завода имени Лихачева. Внедренные агенты сообщали о возможности массовых демонстраций в защиту Стрельцова. В кабинетах ЦК нарастало напряжение. Сверхсекретное совещание разработало план действий с вариантами на случай осложнения. Были даны поручения „Комсомольской правде“ (зять Хрущева А. Аджубей) — столкнуть лбами трудовые коллективы и заевшихся футболистов. Спецгруппе в недрах госбезопасности — запустить по Москве шептунов с отвлекающими народ слухами, организовать возмущенные письма простых советских людей. Рассматривалась реальность вооруженного подавления массовых стихийных выступлений. В цехах ЗИЛа с ходу появилось много новых работников. Эти разработки потом будут использованы в Темиртау и Новочеркасске.

Не зная и не ведая, ошеломленный и раздавленный, в зловонном чреве Бутырок, Стрельцов становился особо опасным для режима, первым крупным советским диссидентом в послесталинскую эпоху. Вот почему ему дали непотребно большой срок в 12 лет. Вот почему судебный процесс гнали как на пожар. Вот почему его отправили в далекие Вятские лагеря с совершенно необъяснимым тогда предписанием «использовать только на тяжелых работах». Стрельцов не должен был вернуться. Ни в Москву и никуда вообще. Вот почему 40 лет были обречены на провал все попытки добиться хотя бы пересмотра приговора. Где-то в Москве лежит и по-прежнему функционирует особо секретная папочка, в которой расписана судьба Стрельцова даже после его смерти в июле 1990 года. Человек умер, а дело его живет.

Я видел выписки из этой папочки. Шесть лет назад мне (генеральному директору научно-правового издательства «Юстиция-М» Эдварду Максимовскому. — А. Н.) принес их подполковник КГБ Владимир Калядин, честный советский контрразведчик, погибший через два дня после нашей встречи при невыясненных обстоятельствах. Из своих рук он показывал мне эти тексты — чтобы не попали на бумагу отпечатки моих пальцев».

Я согласен с господином Максимовским, что советская власть — бесчеловечна. И в бесчеловечности своей доходила порой до абсурда.

Но если считать, что она до такой степени глупа, то чем объяснить, что она отняла у России без малого век? И даже сегодня говорить о ней как о власти над многими умами (про глупость и не говорю) в прошедшем времени мне кажется преждевременным.

Футболист, надевший майку с гербом СССР, выполняя свой гладиаторский долг, пропагандировал строй. И делать теперь из Стрельцова правозащитника (не путать с полузащитником, что для форварда вдвойне обидно) не только смешно, но и некорректно по отношению к самому Эдуарду. Стрельцов интересен тем, что он — Стрельцов. Чужого и лишнего не надо ни ему, ни памяти о нем.

Народ наш действительно одурачивали, и до сих пор — правда, уже другими, не в такой степени зависимыми от КГБ, средствами — одурачивают. И все равно вряд ли надо льстить этому народу, предполагая, что он возьмется за оружие ради свободы одного футболиста.

Пафос такого сорта ставит под сомнение момент доказательства, а насколько я понял, в книге Максимовского важна не беллетристическая сторона (автор закончил литературный институт, но владение пером не его конек), а последовательная аргументация, уличающая судей в ошибках, допущенных в деле Стрельцова. Хотя, на мой взгляд, признание давления на судей из высшего государственного кресла превращает благородный труд разоблачения всецело зависимых от власти юристов в чем-то, извините, в мартышкин. Суд у нас и по сегодня оказывается неправым, когда не служит закону. Но ведь не служит — не так, значит, все просто.

Реабилитации, раз Эдуард Анатольевич Стрельцов, ее заслуживает, добиться необходимо. Но не скрою, что боюсь, как бы Стрельцова вновь не превратили в карту, которую разыграют, желая привлечь внимание не только к судьбе футболиста, но и к тем, кто ею озабочен, — в хлопотах о реабилитации излишен какой бы то ни было саморекламный привкус.

...Главка про одурачивание завершается следующим пассажем:

«Колонны рабочих не вышли из ворот Автозавода.

Отработав на Стрельцове новые методы управления массовой психикой, сверхзасекреченные группы переходят к другому, самому опасному для режима диссиденту. Наступило время Семичастного и Шелепина. Появляется бесчисленное количество анекдотов о Хрущеве».

Одурачивание, мне показалось, коснулось, как Чернобыль, всех.

И впору писать детективный роман «Два диссидента». Как диссидент посадил диссидента. Куда еще заведет нас сюжет реабилитации?

Мой приятель, выдававший себя в детстве за сына тренера «Торпедо» Маслова, в студенческие годы дважды за одну неделю

попал в медвытрезвитель. Оправдываясь перед отцом — не Масловым, а профессором Общественной академии, — он доказывал, что во второй раз его забрали совершенно зря: он и не так уж сильно был выпивши и вдобавок находился в нескольких шагах от дома. «Леня! — сказал отец-профессор, — я тебе верю, что зря. Но со мной этого не могло бы случиться ни в первый, ни во второй раз. И по очень простой причине — я не пью!»

Маслову-тренеру приходилось сложнее. Он трезвенником не был — и не мог прибегнуть к такой веской аргументации. Правда, насколько помню, тот разговор с отцом моего приятеля от винокушества не отвадил.

Я к тому, что не выпей Эдик в «Российских винах» стакан сухого, еще вопрос: удался бы недругам Стрельцова их коварный план?

А пустой стакан из магазина по праву мог быть выставлен в бывшем музее спортивной славы вместо золотой «богини Ники», вручаемой за победу в мировом чемпионате по футболу.

26

В своем повествовании я отдалял этот день — 25 мая 1958 года — сколько мог. Но не в моей, к сожалению, власти вычеркнуть его из стрельцовской жизни.

Язык долго не поворачивался поблагодарить господина Максимовского за полное собрание письменных свидетельств всех участников пикника и ночевки на карахановской даче. Но какое же теперь повествование о Стрельцове без неприглядной картины веселого, может быть, но несчастливой для него дня?

...Зачитавшись протокольным описанием вещественных доказательств, я подумал — по ассоциации, которая сейчас станет понятной, — про Жерара Филипа: что бы он подумал, увидев эти предметы туалета? Не тот Жерар Филип, который Фанфан-Тюльпан или Жюльен Сорель (во второй половине пятидесятых французское кино вытеснило из нашего воображения индийское, и Раджу Капуру женская часть населения предпочла Жерара Филипа, не предполагая, как он их предаст, Жана Маре, который их тоже по-своему предал, Ива Монтана, певшего у нас в Лужниках), а тот Жерар Филип, который привез в Париж, чтобы позабавить своих утонченных знакомых, комплекты ужаснувшего француженок и французов дамского белья советского производства. Секс у нас в те времена происходил преимущественно в темноте, при погашенном свете — и на белье внимания не обращали, оно было исподним униформы. Но теперь через десятилетия, из следственных документов мы знаем и про ситцевый лифчик и фиолетовое трико вошедшей в историю футбола

девушки из Пушкино Марины, и про белые (от торпедовской формы) поношенные трусы Эдуарда Стрельцова, известного, разумеется, Жерару Филипу, который в московском матче сборных СССР и Франции сделал символический первый удар по мячу, — а вот видел ли он игру Эдика в Париже, не знаю; знаю, что Ив Монтан встречался там с нашими футболистами.

Но я что-то заторопился к ночным событиям. А все защитники Стрельцова настаивают — и резонно — на выводах, сделанных из хроники дня. Правда, человек в потемках редко адекватен себе же, но при дневном свете.

Замечу, что отпуск футболистам сборной давался не на весь день, а только до шестнадцати тридцати — в шестнадцать тридцать футболистам предписывалось предстать перед начальством на стадионе «Динамо». Получается, что друзья из «Спартака» и «Торпедо» снова пошли на нарушение?

На допросе у следователя опытный Николай Петрович Старостин, мысленно расставшись с Огоньковым и Татушиным, отстаивал тем не менее спартаковский флаг. Сначала он рассказал про дисциплинированность Сергея Сальникова, а уж потом сознался, что отсутствия двух своих игроков на «Динамо» не заметил. Заметил ответственный работник спортивного министерства Андрианов. Начальник сборной команды Владимир Мошкаркин, известный в послевоенные сезоны торпедовский игрок, — соврал ему, что Стрельцов, Огоньков и Татушин на трибуне. Обман стоил Мошкаркину должности. Футболистов, выяснилось, он отпустил сам — они уговорили его дать им на отдых целый день.

В разные времена люди думают — говорят, по крайней мере, — по-разному.

В книге Максимовского приведен разговор писателя Моргина с Мошкаркиным. И Мошкаркин говорит, что обиды на Стрельцова за то, что потерял из-за него должность, не держит. Жалеет лишь об одном: не пойдя он тогда на поводу у футболистов, не отпусти Эдика на весь день, поехал бы тот в Швецию и затмил бы Пеле. В этом же разговоре он вспоминает, как в ЦК коммунистической партии в комиссии по выездам они с Николаем Николаевичем Романовым отстаивали Стрельцова, когда им сказали там, что пускать Эдика в Швецию не стоит: есть мнение, что он собрался остаться за границей. И он считает, что произошедшее на даче Караханова — не случайность, а провокация. Зачем же он отпустил туда Стрельцова? По логике тех, кто придерживается этой версии, легко и объяснить: почему же после осуждения Стрельцова на административной карьере Мошкаркина не поставили крест? Я никогда специально не затевал со Стрельцовым разговора о Мошкаркине, но, читая взволнованное исследование писателя Моргина, вспомнил, как Эдик сострил по поводу

возвращения Владимира Владимировича на завод в качестве помощника директора. Мошкаркин сказал, что хочет умереть на родном заводе. «Бог смерти не даст», — Стрельцов не стал скрывать своего иронического отношения к старшему товарищу. Незлобивый Стрельцов считал, что этой реплики ему не простили — и не стали устраивать торжественных проводов из футбола.

Мошкаркин теперь говорит, что на Стрельцова год-два до наказания целенаправленно давили, испуганные тем, что своей любовью у народа он затмил «великих советских деятелей».

А почему Яшин не затмил? Нетто? Бобров — в свое время? Мне возражат: Яшин не пил и не безобразничал на людях, но Бобров-то и, лишившись сталинского покровительства, вел себя в чкаловско-стахановском стиле. Мундир выручил? Военный мундир не такие уж широкие права дает вести себя вольно. В погонах и на гауптвахту запросто залетишь, и в дальний гарнизон. И лишиться их не фокус — погон.

Придирались, чего и говорить, к Стрельцову, но вот насчет того, что душили целенаправленно... Не вижу я единства в начальственном наезде — Эдику и покровительствовали наверху (пусть не на самом), и вытаскивали за уши из неприятностей, в которые он не только же по чужой вине влипал, но и по своей тоже. И шанс ему, как никому другому, давался — выскочить из вращения беличьего колеса. Но ему на роду, наверное, было написано за все платить — расплатиться по-царски: судьбой, которая, не дав ему остаться невредимым, все-таки вернула в итоге на поверхность.

...Приму обвинения в чистоплутстве, но в помойку фактов и предположений дальше, чем по щиколотку, не готов вступить, тем более что обстоятельнее погрузились за меня другие. Кроме того, юридическая казуистика мне недоступна — и записанному в протоколах я все-таки верю, пусть с оговорками и с известной завистью к тем, кто не видит на солнце Стрельцова вовсе никаких пятен и клокочет от нерассуждающей влюбленности. Я на такую влюбленность, увы, не способен. И в протоколах, к сожалению, нахожу подробности, которые ни под диктовку не напишешь, ни сочинишь.

Поэтому уверяю себя сюжету.

Итак, они отправились на пикник — от московской двадцативосьмиградусной жары к прохладе Тишковского водохранилища. Трое футболистов и человек со стороны, как говорят артисты, из публики — Караханов. Он и Татушин ехали с девушками. Девушек для Стрельцова и Огонькова предстояло организовать — за это бралась подруга Татушина Инна.

Главная — уж не знаю: по кагэбэшному или по житейскому сценарию — героиня Марина Лебедева сажала картошку. Инна пришла за ней на огород.

Отец Тамары — девушки, доставшейся впоследствии Огонькову, оказался доверчивым читателем фельетона Нариньяни и отговаривал дочь встречаться с футболистами. Но Инна ей сказала: «Одевайся постильнее, они одеты очень шикарно». Тамара причесалась и надела «танкетки» — по дому она ходила босиком. Марину торопили — и она собиралась менее тщательно: помыла у колонки руки и ноги, а причесывалась и чистила ногти на ходу...

Рассказ Марины — и в следовательской записи — показался мне наиболее выразительным: везло Стрельцову на женщин-рассказчиц с несомненной писательской наблюдательностью: «Я сняла босоножки и положила их в машину. Потом с Тамарой пошли опять к воде. Там я спросила у Тамары — кто каждый из приехавших.

Она мне сказала, что светленький — Стрельцов, кто нас вез — Татушин, в тубетейке — Огоньков, а черненький — Караханов. (Как нарочно, и в изначальной изобразительной расстановке: Стрельцов — светленький, а Караханов — черненький. — А. Н.) Затем я и Тамара подошли ко всей компании, которая уже готовила закуску на ковре.

...На ковре, когда мы стали закусывать, я сидела со Стрельцовым. Я пила коньяк — одну четвертую граненого стакана, из четырехугольной бутылки с «Особой» водкой выпила опять четверть стакана, четверть стакана шампанского.

Вина не хватило, и Тамара со Стрельцовым, Огоньковым и Карахановым поехали за вином. Они привезли две-три бутылки пива, две-три бутылки «Старки». Я выпила четверть граненого стакана «Старки». Закусывала я фаршированным перцем, яблоками, апельсинами, маринованными огурцами.

Когда мы кушали, то я еще сомневалась, что это футболисты, и думала, что они выдают себя за них. Но проходящие мимо ребята с лодкой узнали их и предложили им сыграть в футбол. Футболисты отказались. После этого я перестала сомневаться, что они те, за кого себя выдают...»

Девушкам вряд ли понятна была нервозность в поведении этих нарядных парней, пока они не выпили. Футболисты торопились выпить, чтобы окончательно успокоиться — и отдыхать без тревожных мыслей. Они договорились с Мошкаркиным и, кажется, даже с Качалиным, что не приедут на «Динамо». Но пришлось сочинять уважительную причину — день рождения чьего-то родственника. Поэтому выпивка вроде бы оговорена. Однако если что случится, если что будет не так, тренер и эту санкционированную отлучку припомнит. Не станет защищать, если начальство к ним за что-нибудь придерется. Татушин и Огоньков за свое положение в сборной не беспокоились. Но быть при любом конфликте в компании со Стрельцовым все равно для них оказывалось наилучшим вариантом. Его-то всегда прощают — простят при случае и Татушина с

Огоньковым. У Татушина случались проколы — в Германии он задержался со знакомой русской учительницей и к сроку не прибыл в гостиницу. Но тоже ведь сошло. Ну, в общем-то, чего страшного могло с ними случиться за оставшиеся до отъезда дни? Дальше фронта — утешали они себя — то есть чемпионата в Швеции не пошлют. Напитки шибанули наконец — и все трое повеселели. Смешению напитков люди, знающие футболистов, не удивились бы — без шампанского никак нельзя. Но раз последний день гуляем, то и от чего покрепче глупо отказываться. Семь бед — один ответ...

«Покушав и выпив, — рассказывает Марина, отчасти, наверное, забыв, что за выпивкой на пленэре последовало, — мы играли в футбол...»

А вот с девушками в футбол чего же не сыграть. И сами со вчерашнего дня соскучились по мячу. Кто бы знал, что проводят они прощальный матч — больше никогда они друг с другом не сыграют, а Татушин с Огоньковым последний раз выступают (во всех смыслах) в качестве футболистов сборной СССР.

После футбола девушка Татушина Инна уехала со Стрельцовым кататься на машине — и Марина поняла, что «Огоньков очень боялся, что Стрельцов, который разбил свою машину, разобьет и его машину. Поэтому в „Москвиче“ я, Тамара, Огоньков и Татушин поехали искать Стрельцова с Инной, но мы их не нашли и вернулись. Когда мы приехали на поляну, то машина, на которой уехал Стрельцов, уже стояла и Стрельцов с Инной уже были среди компании».

Татушин напрасно ревновал. Инна оставалась ему верна. Из исторической дали с долей цинизма спрошу: к лучшему ли? Уступил Борис Эдику подругу — и никакого бы скандала... Ну, испортились бы отношения между игроками, зато оставались бы в сборной оба...

Компания после новой порции выпитого напоминала уже футбольный матч через какое-то время после начала — каждый игрок взял «своего» в команде соперников. Я не утрирую — мне кажется, что отношения в дачной компании, пусть и сколоченной, как некоторые считают, по замыслу спецслужб, складывались не без естественного в общежитии подтекста. Дама, прибывшая с Карахановым, и дама Татушина имели при начале гулянки рейтинг повыше, чем Тамара и Марина, еще и не знавшие, кому из знаменитостей кто из них предназначен. Но почувствовав интерес к себе футболистов, разгоряченных выпивкой и женской близостью, и, в свою очередь, хлебнув спиртного, они, вдохновленные головокружительным знакомством, осмелели — и держались с ними на равных.

«Время проходило незаметно. — Марина разговаривает со следователем, напоминая, через несколько дней после случившегося, и обстановка никак не располагает к лирике, но рассказывает о

пикнике, как о происшествии отнюдь не самом в ее жизни печальном. — Время проходило незаметно (у девушки, сажавшей с утра картошку, начинался роман или что-то там такое с футболистом, красавцем, человеком из совсем другой, чем у нее, жизни. — А. Н.). В половине седьмого мы собрались ехать домой. За рулем сидел Огоньков, рядом сидела Тамара, на заднем сиденье сидела Ира, рядом с ней Караханов и Стрельцов, у которого я сидела на коленях. Я держалась за переднее сиденье, а другой рукой за другую мягкую спинку. Стрельцов меня держал за талию, а другую положил мне на голову, чтобы я не ударялась головой о крышу машины. По дороге он меня целовал раз пять в шею и в щеку. Пытался поцеловать в губы, но я не давалась».

Между футболистом и ничем не замечательной девушкой завязывалась любовная игра? Перефразируя Толстого, скажем, что портвейн (какое уж там другое вино?) ее неискушенной молодости ударил ему в уже хмельную голову. Или он — сам ведь тоже родом из Подмосковья, четыре года назад с такими же девушками танцевавший у себя в Перове, — почувствовал в этой Марине что-то знакомое и позабытое, к чему захотелось вдруг вернуться? Она откровенно восторгалась им, не скрывая, что ничего подобного в самых смелых девичьих мечтах не могла вообразить. И вместе с тем раззадоривала принца от футбола, убирая губы. И его веселила игра в невинность — себя-то он чувствовал опытным мужчиной, что, наверное, и подвело его, позволило расслабиться.

Со стороны взаимные ласки Стрельцова и Марины выглядели неприкрыто взаимным обещанием всего дальнейшего. Но кто сказал, что обещания девушки, не знавшей до того последней близости с мужчиной, сразу же конкретны? Она выражала ему всяческую приязнь, он ей более чем нравился. Но опытный человек — тем более в славе — мог быть и чуточку если не поосторожнее (осторожность вообще не для Стрельцова), то повнимательнее. Футболисты были настроены на женщин, принявших, как условие пикника и выпивки на даче, обязательность последующего сексуального контакта. Но и Тамара, и Марина испытывали к Огонькову и Стрельцову чувства, заставлявшие их опасаться одноразового варианта встречи. И страх тут же разочаровать их легкой доступностью к завершению разгорячившего всех дня, конечно, присутствовал. Но то ли толстокожесть, то ли установка на исчерпывающее развлечение мешала футболистам инстинктивно — про «трезво» говорить было поздно — оценить случайных подруг, не желавших, судя по всему, остаться в статусе случайных. Они к тому же видели, что Ира «зацепилась» за Караханова, а Инна так аж за Татушина — а чем они хуже? Они рвались, по крайней мере, в постоянную компанию — не уходить же с праздника жизни, раз удалось негаданно на него

попасть?..

Кто выпивал, знает, что попытки на трезвую голову дать четкий рисунок своего поведения под винными парами — затея с негодными средствами. Но следователь допытывается до подробностей, игнорируя фантазию и стремление принять желаемое за действительное. У кого-то из допрашиваемых лучше работает голова — и ему в рассказе иногда удается выгородить себя и тех, кого считает он нужным выгородить. Кто-то путается от наводящих вопросов следователя, лепящего удобную суду версию. Прочитав протоколы всех допросов, убеждаешься, что всего поля гулянки не видит никто, особенно Стрельцов — он вел себя непосредственнее всех прочих: выпивка на пикнике освободила его от тяготивших мыслей о домашних делах, он рассеялся, развлекся, он один был весел и ровен. Караханов разорвал кофту на Ире — и хотя отрицал, что ударил ее, некоторые из присутствующих подтвердили обиду девушки. Летчик приревновал Ирину к Огонькову. Он, мол, хотел записать ее телефон, договаривался о встрече. На Огонькове почему-то была тоже порванная рубаша — ее зашивали в саду, возле дачи, Марина и Тамара. Потом собирали с земли Тамарины бусы, которые Огоньков случайно оборвал. Татушину не нравилось, что Стрельцов, вроде бы не разлучавшийся с Мариной, время от времени слишком уж дружески беседовал с Инной. Марина впрямую ничего об этом не говорит на допросе — но мизансцену, где Эдик частенько оказывался рядом с Инной, мы представляем себе, отталкиваясь от ее слов. Можно догадаться, что Стрельцов привычно чувствовал себя всеобщим любимцем...

Девушки и порывались — по словам Марины, с ее подачи — уехать домой (правда, у Марины и у Тамары денег на дорогу не было). Они отправились на станцию. Но Караханов со Стрельцовым догнали их на машине — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения никого уже не волновало...

Поиграли в пинг-понг. Эдик показал фокус с целлулоидным шариком. Собирались пить чай. Но к чаю хозяева дачи — родители Караханова подали гостям рыбные консервы, маринованные огурцы. Котлет нажарили. Пришлось снова выпить водки. Марина говорит, что выпила глотка два «Старки» и половину маленького стаканчика кагора.

Она сидела в пиджаке Эдика.

Об отъезде домой девушки больше не заговаривали — положились на обещание отвезти их на машине рано утром.

Было уже около полуночи. Хозяева собрались спать. Хозяйка спросила у молодежи: «Вы сейчас пойдете спать или еще поворкуете?» Никто из дам за намек это не счел — я про Тамару и Марину, чья ночная линия поведения, как им казалось, никак не

истолковывалась в нежелательном для них ключе. Марина говорит, что поняла, куда клонит Стрельцов, — и, по ее словам, испугалась даже не тогда, когда Эдуард позвал спать с ним, а когда на отказ девушки пообещал, что все равно она будет его... Вместе с тем никакой грубости со стороны опьяневшего мужчины она не испытывала — он обволакивал обещаниями женитьбы (возможно, Марина вплела в рассказ моменты из разговора с матерью Стрельцова, состоявшегося уже после всего), приглашал приехать к нему в Тарасовку (то-то Качалин бы обрадовался и все руководители сборной). Он ее целовал, а она целомудренно упиралась ему ладонями в потную грудь — тоже пока ничего криминального.

Он втолкнул Марину на террасу, откуда дверь вела в комнату, где зачем-то стояла Инна. При виде Инны соблазняемая Стрельцовым девушка успокоилась. Они заговорили между собой. Потом Марина вспомнила, что Инна не смотрела ей в глаза — сомневаюсь, что такую деталь можно сочинить.

Дальнейший рассказ, по-моему, некорректен, разве что в очень общих чертах. Свидетелей того, что происходило между Эдиком и Мариной, не нашлось — они оставались в комнате один на один.

Сопротивления, оказываемого девушкой, Стрельцов не отрицает, но в серьезность его он так до конца жизни и не поверил — считал, что все происходящее на кровати естественным образом проистекало из предыдущих отношений и не могло быть неожиданным или неприятным для Марины.

Укушенный палец? Она закричала — ему показалось на весь дом — и он ладонкой хотел прикрыть ей рот, зачем привлекать к ним внимание людей за стенами, а когда тяпнула за палец, от боли ударил ее. Но и она же царапалась и тоже очень больно. Квиты.

А то, на чем он настаивал, произошло...

Я говорил, что считаю некорректным входить во все подробности. Следовательно, естественно, придерживался иной точки зрения. Но никто из допрашиваемых им не восстановил в точности хроники вечера и ночи — и хотя сегодня в разночтениях кое-кто усматривает злой умысел или желание свалить с больной головы на здоровую (как будто была такая), мне за этой путаницей показаний видится общая головная боль. Предвзятости же следователя смешно удивляться. И возмущаться теми, кто занимался стрельцовским делом, смешно — на них давили, и они давили. Все было предопределено, когда о произошедшем с футболистами на даче тотчас же узнали наверху, где реакция оказалась неадекватной. Допускаю, что недоброжелатели, которых у Эдика было побольше, чем он предполагал, рассчитывали, что Хрущев разгневется. Но могла ли быть у них гарантия, что спортивные начальники не попытаются напомнить главе государства о политической важности

успешного участия в чемпионате мира?

Конечно, Стрельцов, как наиболее заметная в футболе фигура, скорее попадал под удар, чем товарищи по команде, разделившие с ним досуг.

Крик совращаемой девушки Марины услышали Огоньков и его дама, сидевшие в машине. Тамара говорит, что хотела броситься на выручку, но защитник из «Спартака» удержал ее, напомнив, что хозяин здесь Эдуард Караханов. Из чего нам теперь удобно сделать вывод, что лейтенант был не шестеркой при знаменитостях, а фигурой зловещей — злым гением расслабившихся футболистов.

Между Огоньковым и Тамарой в автомобиле разворачивалась сцена наподобие той, что на даче: спортивный напор и сопротивление невинности, тоже сломленное. Но никто не кричал и никто никого не бил и не царапал.

Утром проснувшаяся компания не досчиталась троих. Ночью уехали Татушин с Инной. И Марина исчезла, чему никто тогда значения не придавал. Только Эдуард сердился на нее, ощупывая кровавые царапины, и просил девушек запудрить ему следы веселья. Тому, что Караханов ночевал в одной с ним комнате, он тоже не придавал значения. Ира, по словам летчика, от него убежала — и спала в машине с Огоньковым и Тамарой. Караханов дал показания, что она обиделась за разорванную им из ревности кофту. Но как тогда об этом могла знать Марина, если это произошло в ночи? Я же говорю: смешение напитков и запредельные для некоторых дозы выпитого... (Эдик, правда, в очередной раз изумляя откровенностью, сказал следователю: «По-моему, как я пью, я был в более чем средней степени опьянения», — однако на следующем допросе он признался, что «после выпивки я сильно опьянел...»). Отшибло память всем участникам праздника. Не думаю, чтобы злодей Караханов был трезвее других...)

Почему-то не сомневаюсь, что не спи столь глубоким хмельным сном Эдик — и Марина бы не ушла по-английски. Не поссорился же с Тамарой Огоньков.

Ира говорит, что, когда она уходила из комнаты в машину, Марина и Эдик спали обнявшись. Но теперь можно сказать, что ее подучил или запугал Караханов.

Подозрение, что к насилию причастен Караханов, возникло после того, как установили, что у них со Стрельцовым одна и та же группа крови. И живо нарисовалась картина, как раздосадованный побегом с ложа любви Иры Караханов воспользовался отключкой Марины и Стрельцова и продолжил начатое Эдиком.

В рассказах под протокол и Стрельцов, и Марина, словно сговорившись, останавливаются у неопределенной черты — получается, что вырубились они одновременно: она от его удара, а он

от обморочной степени опьянения. В этом щекотливом моменте путаются и сегодняшние защитники Эдика: по одной из версий, сексуальный акт произошел полюбовно, а потом подонок Караханов обманом занял место Стрельцова; по другой — Эдик вообще не трогал Марину, а бил и насиловал Караханов. Но ведь нервной реакции на укус сам Стрельцов не отрицал...

И все же мне кажется, что в приписываемых Караханову действиях больше пьяной похоти неудовлетворенного самца, чем преднамеренности расчетливого агента спецслужб.

Если отбросить преднамеренность, связанную якобы с выполнением секретного задания, то Караханов попросту скотина, но и наш Эдик в этой ситуации хорош: не засни он, не рассчитав своих сил, опять бы все обошлось. Наверняка бы они утром сообща уговорили обиженную Марину и чего-нибудь придумали все вместе, чтобы оправдаться ей перед родителями.

Но судьба от Стрельцова временно отвернулась.

Накрученная родителями, избитая Марина написала заявление в милицию об изнасиловании. Мало того, такое же заявление — и тоже по требованию родителей — написала на Огонькова Тамара. В тогдашних простых семьях к потерям дочерью невинности относились с несколько большим драматизмом, чем сейчас. Ну и побои, нанесенные чужими людьми их детям, каким родителям понравятся? Наверное, отцами и матерями девушек двигал и классовый протест — футболисты, особенно после фельетона Нариньяни, были в их глазах избалованными, зажавшимися молодыми барчуками. С таких и содрать чего-нибудь не грех, и наказать знаменитостей за безобразия святое дело.

Все сходилось — и стечение обстоятельств стало для Стрельцова самым неблагоприятным.

Он сердился утром на Марину за царапины, понимая, что опять прибывает на сбор в Тарасовку не в лучшем виде, а его ведь в миллионный раз предупредили: еще одно нарушение — и останешься дома... Вину он чувствовал лишь за нарушение режима.

Девятнадцатилетняя Марина, лишённая невинности самим Стрельцовым, никогда бы не настаивала на изнасиловании, если бы не почувствовала, что отношения оборвались, в сущности, не начавшись по-настоящему. Кто же хочет расставаться с иллюзиями? Еще ее запутали и запугали — и родители, и следователь. Ее излишняя наблюдательность позволяла строить массу версий. Собственно насилия она не помнила, но помнила, как удивилась тому, что одежда ее кем-то аккуратно развешана на стуле, помнила, как Эдик ночью просил у Караханова воды и закурить...

Я противоречу себе.

Обещал не залезать в помойку, а что ни шаг в застопорившемся

повествовании, то вязну в ней все глубже — и, одурманенный запахом, зачем-то углубляюсь в нее еще. За тем, может быть, что в отталкивающих подробностях нет-нет да и забрезжит сюжет. Начинает казаться, что герой мой сделает наконец какой-нибудь правильный шаг или — не буду максималистом — не сделает хотя бы очередной глупости — и спасется. Не случится с ним самого страшного.

Только все уже случилось. Конец свободной жизни для него неотвратим.

И все ходы в цейтноте бесполезны.

Неправда, что тренер Качалин не оббивал начальственных порогов — он лихорадочно раздваивался между командой в Тарасовке, которую надо было успокоить после случившегося с товарищами, и московскими командирами, которых он умолял помочь. Но за порогами знали, что «папе» все уже рассказано и пощады Стрельцову ждать неоткуда.

Группу крови у Караханова устанавливали с умыслом — помилуют наверху Эдика, виновным сделают его тезку-лейтенанта.

Но очень скоро стало ясным, что требуется голова Стрельцова. Ни Огоньков, ни тем более вовремя уехавший (да и со своей девушкой приезжавший) Татушин не представляли интереса для громкого — на всю страну — суда.

Борис Татушин сделал все от него зависящее, чтобы выручить Эдика. Его девушка Инна дружила с потерпевшей со школы. Знала ее родителей. Татушин привез Софью Фроловну к Лебедевым. Стрельцовская мама захватила с собой банку варенья, колбасу, зефир, яблоки и что-то еще. Обещала, что Эдик на Марине женится. Действовала прямолинейно, материнское ее отчаяние в преддверии ожидавшей сына тюрьмы передавалось девучкиным родителям и самой Марине, плакали все вместе. К тому же Тамару без особых трудов удалось уговорить отозвать свое заявление на Огонькова; она написала прокурору Мытищинского района, что «в действительности изнасилования не было, а заявление я подала не подумав, за что прошу меня извинить». И Марина нацарапала на листке бумаги: «Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, т.к. я ему прощаю».

Тамарина бумага составлена с большой толковостью, а прощение Марины никакой юридической силы не имело — следовательно Муретов только усмехнулся, объяснив передававшему бумагу Татушину, что уголовные дела об изнасиловании прекращению за примирением сторон не подлежат.

Огонькова на следующий день выпустили из мытищинского КПЗ, а Стрельцова отвезли в Бутырку, в камеру № 127. Пребывание в этой камере с двухъярусными «шконками» называется «сидеть на спецу». С теми, кто сидит в таких камерах, ведется оперативная работа —

добиваются более полных показаний или признания.

Ему, наверное, казалось, что он уже арестант с некоторым стажем.

Первые две ночи после ареста они с Огоньковым провели на стульях в кабинете прокуратуры. Дело еще было для судебных чиновников сырым — футболисты оставались «в отказе»: не признавали и самого факта половых сношений с дамами, подавшими заявление об изнасиловании. Следователи оставили подозреваемым чайник, Татушин принес два батона и колбасы.

Двадцать восьмого мая — к обеду, когда прокурор санкционировал арест и содержание Стрельцова в тюрьме (постановление изготовили за тридцать минут), — Эдика отвели в подвал, где находилась камера предварительного заключения.

Здесь, как рассказывают, он познакомился с авторитетом Николаем Загорским, который (опять же по рассказам) устроил ему известного московского адвоката Мидовского, сопровождал на все дальнейшее «маявой» («послали коня» — передали записку с помощью нитки через окно или по канализационной системе) о том, что «Стрелец — мужик правильный», — и утром тридцатого он прибыл в следственный изолятор Бутырки.

До лагерей ему предстояла еще пересыльная тюрьма на Пресне.

Судебное разбирательство начиналось и набирало ход параллельно с чемпионатом мира в Швеции.

Решал ли что-нибудь для Эдика результат выступления сборной в турнире?

Нет, уже ничего не решал. В случае благополучного исхода — выигрыша титула или призового места — незаменимость Стрельцова автоматически ставилась под сомнение. В случае же неудачи вина нарушившего режим — пусть даже только режим форварда — усугублялась, странно даже, что ему измену родине никто не догадался приписать.

Жизнь и приключения в ней такого человека, как Стрельцов, опрокидывают и переворачивают штампы в наших представлениях о суровости советских времен или временном (занимательная тавтология) смягчении этой суровости. Хочется думать, что раз не приписали измены, то, значит, что-то меняется в стране к лучшему? Но про какое смягчение можно говорить, когда человека приговаривают не в суде, а в газетном фельетоне, предвещающем — кто же из читателей не понимает — решение суда?

Но и в фельетоне, написанном подонками, пробивается жизнь, не поддающаяся заказной иронии. Шатуновскому и Фомичеву кажется смешным «туманное» определение понятия «широта русской души», данное секретарем Пролетарского райкома комсомола Виктором

Полищуком. Фельетонисты думают, что они с дозволения высшего комсомольского начальства, руководящего их газетой, размазывают по стенке этого секретаря. Но секретарь, неосторожно высказавшийся, благодаря Стрельцову останется в истории. Как, впрочем, и Шатуновский с Фомичевым, которые тоже в ней останутся как гонители Эдика.

В размышлениях Полищука о русской душе есть резон. И вообще комсомольский деятель районного масштаба даже в карикатурном преломлении фельетонистов кажется нам человеком искренним и неглупым.

Секретарь комсомола предлагал то же самое, что и многоопытные тренеры и партнеры Эдика (отнюдь не альтруисты, а люди с амбициями и с самомнением, но реалисты, радеющие за общее дело): принимать Стрельцова таким, какой он есть.

СКОРЫЙ СУД

27

Эдик вел себя под следствием, как в наиболее провальных своих матчах, — не мог заставить себя включиться в действие. Судя по случайной фотографии, где он снят перед столом следователя, он в глубокой апатии, из которой и не пытается выбраться. Ни малейшей активности в поисках оправдания. Глухая, сплошная, детская обида на всех. Нежелание ни в чем оправдываться. Обвиняете — обвиняйте. Не снизойду до оправданий. Себя ему жалко было до детских опять же слез, когда понял, что команда уехала без него. Он чувствовал себя преданным, брошенным. И — впервые в футбольной жизни — ненужным. Сначала, как в страшном сне, хотелось поскорее проснуться — стряхнуть это наваждение. Он легко купился на предложение следователя: поскорее признаться во всем — выполнить формальное требование и сразу же выйти на свободу, успеть, как год назад в Можайске, вскочить в мчащийся к футбольным полям поезд.

В один из наших редких на эту тему разговоров он сказал вдруг, задним числом хорохорясь, что все мог тогда сделать, чтобы его освободили, а не захотел. Но я так и не понял: а ЧТО же он мог тогда, когда дверь камеры за ним захлопнулась? Жениться на потерпевшей? Так он, по настоянию Софьи Фроловны, и соглашался на такую женитьбу. Свалить вину на Караханова? Между прочим, Караханова, если считать его агентом КГБ, конспирировали тщательно: в фельетоне он назван был околوفутбольным болельщиком, «по какому-то недоразумению получившим погоны офицера». Но про Караханова-насильника я ни от Стрельцова, ни от кого из футбольного мира никогда не слышал... Я, правда, допускаю, что не сознававший за собой вины Стрельцов — мог ли Эдик поверить, что какая-нибудь женщина не захотела бы отдаться ему добровольно, а он, по его-то характеру, привыкший, что все с ним в жизни происходит само собой, прибег к силе? — готов был тем не менее принять на себя все неприятности, как бы велики они ни были. Он не переставал себя чувствовать в камере тем Стрельцовым, которому все прегрешения простят за то, что он в состоянии сделать на футбольном поле, особенно когда знает, что вину надо смыть кровавым потом. Он готов был ответить один за всех — такую силу он в себе по-прежнему чувствовал.

Хотя, конечно, всей тяжести последствий вообразить тогда не мог.

Он говорил мне, что в следствии наступил для него момент, когда все ему до такой степени обрыдло, осточертело, сама атмосфера тамошняя до того стала невыносимой, что хотелось одного — поскорее бы они решили, что с ним делать. Шел июль, а он все сидел в Бутырке — и любая перемена обстановки представлялась ему чуть ли не освобождением. С мыслью о настоящем освобождении в обозримом будущем он распростился. Ему предъявляли обвинение по двум статьям — вспомнили и драку на Крестьянской заставе, она потянула на злостное хулиганство.

28

«Когда с Эдиком это случилось, — рассказывает Алла, — я, конечно, была в ужасе. Какой стыд и срам.

У меня была школьная подруга — моя Эллочка Поляк, такой очень человечек сердечный, она ко мне прибежала и говорит: «Нам с тобой надо ехать в эту Бутырскую тюрьму». — «Ты что, с ума сошла? Как это мы поедем в тюрьму?» — «Надо, надо, как это с ним такое случилось, а мы еще толком ничего и не знаем! Милку заворачивай и едем». Господи! Набрала сумку пеленок, поехали. Ребенок-то — крошка (два месяца).

«Передачу не берем, уже была передача». — «С кем поговорить, чтобы я его увидела?» — «Вот, идите в эту комнату». Вошла, сидит дяденька — милиционер такой пожилой, тучный. «Что? Почему? К кому?» Всё говорю, называю. Он так посмотрел на меня и говорит: «Деточка, хватай своего ребенка и беги отсюда, не нужно тебе его»... Ой, думаю. Боже, думаю, какое о нем мнение, а я еще тут стою и чего-то прошу. Я вышла и Элке говорю: «Едем и все, и больше никогда и никуда»».

Алла не рассказывает, что просила дать ей доверенность на машину — у нее на руках как-никак был маленький ребенок. Но Стрельцов решил, что матери машина нужнее — она больна, работать не сможет. И понимал же Эдик, что никто не будет так добиваться его освобождения, сокращения ему срока, как мать. Софья Фроловна действительно в хлопотах за сына была неистовой. И в кабинетах, где сначала на нее позволяли себе кричать — командиров понять можно: считалось, что дело Эдуарда находится под контролем у Хрущева и после суда — стали ее побаиваться.

А жена Алла оформила развод с зека Стрельцовым.

29

На суде футболистов не было. Только Татушин и Огоньков как свидетели.

Судебное заседание проходило при закрытых дверях.

Я о нем знаю со слов Андрея Петровича Старостина, которого все-таки туда пустили.

Старостин говорил, что все выглядело фарсом (включая кокетство с залом потерпевшей, державшейся героиней и намекавшей, что у них с Эдиком все еще сладится), если бы не обух приговора — двенадцать лет строгого режима (это уже после ходатайства рабочих ЗИЛа о смягчении).

Все эти советские запреты и секреты лучше всего работали на слухи и молву, которые и превращаются со временем в лучший материал для мифов и легенд.

Закрытый суд и недомолвки в печати только упрочивали стрельцовскую славу — ему от нее в заключении вряд ли делалось легче, но от забвения он был застрахован.

Людям юридически образованным, когда у них сегодня в распоряжении материалы по делу Стрельцова, не так уж трудно усмотреть ошибки и нарушения в действиях тех, кто судил и непомерно жестоко осудил Эдуарда. Но система, существовавшая для выполнения воли властей, и предусматривала нарочитую неквалифицированность. Тем более что защитить Стрельцова в создавшейся ситуации никто не мог, если бы и захотел. Я поэтому и не ищу виновных, навлекая, вероятно, гнев тех, кто встал на его защиту, когда Эдику, на мой взгляд, она уже не нужна.

Аргументы адвоката Мидовского, изложенные в кассационной жалобе, по-моему, перекликаются с фельетонами в «Комсомолке». Только газетчики требуют ужесточения наказания, берут на себя функции прокурора, адвокат же, как адвокату и полагается, добивается смягчения. Кассационная жалоба — точно такой же документ времени, как и фельетоны, — на эти тексты спроецирована официальная советская мораль. Мидовский пишет: «Суд не учел, что Стрельцов явился жертвой меценатской опеки и уродливых методов воспитания молодых футболистов со стороны бывшего руководства Комитета по физкультуре и спорту, общества „Торпедо“, общественных организаций завода имени Лихачева и ряда других ответственных „покровителей“ футбола.

Насаждая органически чуждые советскому спорту делячество, профессионализм и нездоровый азарт, в безоглядной погоне за лаврами побед на футбольном поле, за количеством забитых голов,

эти люди видели в Стрельцове лишь футболиста, забыв о нем, как о человеке (просто Аллины слова процитированы. — А. Н.).

Не заботясь о его духовном и культурном росте, они создали вокруг него ореол громкой славы «исключительного» и «незаменимого» центра нападения и атмосферу преклонения перед кумиром болельщиков.

По делу известно, что, будучи брошен отцом в четырехлетнем возрасте, Стрельцов воспитывался одной матерью, неразвитой, полуграмотной женщиной; несмотря на эти неблагоприятные семейные условия, Эдуард пришел в столичный спортивный мир скромным, застенчивым, вежливым и дисциплинированным юношей, который не пил, не курил и краснел при замечаниях со стороны тренера.

Знакомство Стрельцова со спиртными напитками произошло не где-нибудь в пивных, а на официальных банкетах, где восхищенные его первыми блистательными успехами меценаты поили семнадцатилетнего рабочего паренька дорогим коньяком, а чтобы это не выглядело непедagogично, искусственно завышали его возраст в печати до двадцати четырех лет (см. «Футбольный календарь» за 1954 год, стр. 53). (В календарике на самом деле возраст указан неправильно, но удивительно, как еще до начала первого в стрельцовой карьере сезона удалось предусмотреть тот грешный путь, на который толкнут его меценаты... — А. Н.).

Ездившему до этого на электричке юноше, по окончании матча подавались комфортабельные «ЗИЛы» и «ЗИМы», в то время как остальным игрокам приходилось довольствоваться автобусом. (Этот факт и Нариньяни возмутил, но Валентин Иванов что-то не припомнит, когда им с Эдиком подавали лимузины. — А. Н.).

Для него останавливали скорый поезд, к нему на дом снаряжали посыльных с подарками, его засыпали премиями, шили ему костюмы у лучших портных, отдыхать отправляли в правительственный санаторий.

В двадцатилетнем возрасте — он уже заслуженный мастер спорта, обладатель отдельной квартиры, «Победы» и солидного годового дохода при отсутствии понятия о том, что такое труд, производство. (Примечательна адвокатская логика: с одной стороны, обвинение футбольных начальников в том, что они насаждают профессионализм, а с другой — упрек профессиональному футболисту, что он не знает, что такое труд: прикажете понимать футболистов как профессиональных отдыхающих? — А. Н.).

Тлетворное, развращающее влияние этой шумной и щедрой опеки и бесконечных восхвалений и воспеваний способного спортсмена не замедлили сказаться на его характере и поведении, со Стрельцовым происходит зловещая метаморфоза: от бесконечных

почестей и дифирамбов у него кружится голова (да и у многих на его месте закружилась бы), поскольку ему внушили, что он незаменим и почти гений, что ему все дозволено, то он становится развязным, самоуверенным, пренебрегает честью коллектива, нарушает спортивный режим, начинает все чаще выпивать и совершать антиобщественные поступки.

Вместо того чтобы вовремя осадить его, поставить на место, наказать и тем самым спасти от дальнейшей моральной деградации — «добрые дяди» меценаты мягко журят его, сквозь пальцы смотрят на его эксцессы, больше того, они ограждают Стрельцова от справедливой критики, преследуя тех, кто осмеливается высказать правду о неблагоприятных поступках знаменитого центра нападения.

Чувство полной безнаказанности растет в Стрельцове и приводит, наконец, к роковой развязке.

Стрельцов должен ответить за совершенное им преступление, но сделать его «козлом отпущения» было бы несправедливо: наряду с ним несут ответственность (пусть не перед судом, но перед нашим обществом) лица, морально растлившие, развратившие, толкнувшие на преступление и погубившие способного спортсмена в период самого расцвета его спортивного таланта».

Насчет «козла отпущения» трудно не согласиться. Но уж очень глубоко утоплена здравая мысль в потоке фраз, неотличимых от обвинения. Возможно, правда, что я не вполне понимаю специфику адвокатской работы.

«Врезал» адвокат Мидовский и потерпевшей Лебедевой за «чересчур легкомысленное поведение, давшее Стрельцову повод для обращения с ней не как с целомудренной девушкой, а как с доступной женщиной». (Чуть было не добавил: и поделом врезал, вспомнив, как заменила она не имевшее силы заявление о прощении на текст, вновь требующий наказать насильника — ну да, наверное, на Марину и на ее маму снова надавил следователь: самое первое заявление она писала чуть ли не под его диктовку, когда следователь пришел двадцать шестого мая к ним домой.)

«Защита Стрельцова не ставит, разумеется, перед собой цели выгораживания Стрельцова, оправдывая его насилие за счет огульного чернения морального облика потерпевшей.

Но вместе с тем защита видит в ее фривольном, недопустимом, легкомысленном (кстати, нехарактерном для нее) поведении со Стрельцовым логическую предпосылку его поступка и смягчающее, в известной мере, его вину обстоятельство.

Описанные ниже взаимоотношения между Лебедевой и Стрельцовым, предшествовавшие преступлению, наглядно свидетельствуют о том, что она явилась жертвой не только насилия со стороны сильно захмелевшего, едва державшегося на ногах

Стрельцова, но и своего собственного неправильного поведения с ним».

И дальше — на казенной бумаге: вино, колени, переход на «ты», поцелуи в разные места, незнание кавалером о девственности партнерши...

Адвокат просил оправдательного приговора по обвинению в хулиганстве. А с обвинением в изнасиловании и он, и, под его влиянием, клиент согласились — и оспаривали лишь меру наказания. Мидовский просил пять лет лишения свободы...

Кассационные жалобы Верховный суд республики не удовлетворил.

Среди болельщиков ходили слухи, что Эдика засудили за вызывающее поведение в судебном заседании. Что он судей сердил, вступая с ними в пререкания, что говорил: «Лучше бы я остался во Франции — меня приглашали...»

Но ни с кем в суде Эдуард не спорил, держался с достоинством, потерпевшей Лебедевой принес извинения, ни про какую границу не вспоминал.

От последнего слова он отказался.

30

У меня дома хранится открытка (как автограф Стрельцова текст ее воспроизведен на обложке второго издания книги мемуаров Эдика, изданных уже после его смерти):

«Здравствуй, дорогая мама!

Мама, Верховный суд утвердил приговор. Скоро, наверное, направят в лагерь. Мама, за меня не беспокойся. Все будет хорошо. Береги свое здоровье, себе ни в чем не отказывай. Если будет тяжело, то продай машину. Мама, купи мне сапоги и подбей их подковами, чтобы они не стаптывались. Найди какой-нибудь плохонький свитер и все это принеси 18 числа. Если не успеешь, то в следующий раз принеси обязательно. Погода стояла плохая, идут дожди, а у меня прохудились ботинки. Еще принеси носки теплые и шапку зимнюю черную каракулевую. В лагере, говорят, дают плохую. Писать больше нечего...»

Из Москвы он еще раз напишет матери до конца августа — из пересыльной тюрьмы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ФУТБОЛ БЕЗ СТРЕЛЬЦОВА

КАРТ-БЛАНШ ЛЕСОПОВАЛА

1

Почему именно так — «футбол без Стрельцова», а не наоборот — повернул я формулировку ситуации? Ведь внешне трагедия Эдуарда «выражалась не только в лишении его свободы, но и прежде всего в отлучении от футбола, без которого кому же он может быть интересен?

Но футбол продолжался в нем в казалось бы невозможных ни для какого продолжения условиях. Что самое необъяснимое в судьбе Стрельцова — талант его каким-то чудом (в жизни Эдика чудо часто становилось обыкновением, а обыкновение, наоборот, превращалось в чудо) рос и в глухом отрыве от практики (это противостоит природе игры). А свобода внутренняя, если ею уж наделен, и за решеткой, за колючей проволокой — свобода: пусть ты и не вор, и не пахан и полностью от них (плюс от вохры и прочего тюремного начальства) зависим на все время срока заключения...

Но само значение Эдуарда в футболе сделалось в его отсутствие очевиднее, чем в присутствии.

И не сказать подробно о футболе отечественном — в те годы великом и без Эдика — значит не дать тем, кто придет после нас, истинного представления о том, кем был в этом футболе Стрельцов.

2

Он был родом из того футбола, где играли с пятью нападающими — по системе «дубль-вэ».

А вернулся накануне перехода (после лондонского чемпионата) на систему четыре — четыре — два.

Без Стрельцова наш футбол примерил бразильский вариант: четыре — два — четыре. Впрочем, как мы знаем, в «Торпедо» Маслова при расцвете Иванова со Стрельцовым с пятью форвардами и не играли. Левый инсайд, уже приглашенный в сборную страны Юрий Фалин, отходил в полузащиту, как в сезоне шестидесятого —

Борис Батанов, вытеснивший Фалина из основного состава: Юрий перешел в «Спартак»...

Без Стрельцова же после чилийского чемпионата (он три мировых турнира пропустил — подумать только!) сдвинулись на рельсы четыре — три — три.

3

...Послание из пересыльной тюрьмы мало отличается по содержанию от той открытки из Бутырки: «...Мама, меня из Бутырской тюрьмы перевезли в пересылочную „Красную Пресню“. Чувствую себя хорошо, так что за меня не беспокойся. Мама, пришли мне эти вещи: сапоги, телогрейку, что я ходил на работу, помазок для бритья, футболку шерстяную красную с рукавами и ремень для брюк. Мама, береги здоровье. Тебе будет тяжело без меня, ты продай машину и ни в чем себе не отказывай. Возьми свидание со мной и мы обо всем поговорим...»

Не обошлось без мифа и о Стрельцове-зеке.

И когда захотели — затрудняюсь сказать: для правды или для были? — представить все так, как на самом деле, когда существовал он за колючей проволокой (как будто это возможно), узнанные факты все равно излагаются вперемешку с осколками сложенного молвой мифа.

Конечно, Стрельцов и в реальности чрезвычайно интересен, но с мифическим Эдиком расставаться всегда жалко — и надо ли: те укрупнения его особенностей, которые отвечают жанру мифа, не так уж входят в противоречия с тем, что вправду в нем и с ним было.

Он еще не доехал в «Столыпине» до места заключения, а на воле уже рассказывали, как удачно обустроился Эдик Стрельцов в лагере, как вместо предписанных ему тяжелых работ целыми днями бьет по мячу — и как лестно для остальных зеков и вохры, что среди них и под их конвоем сам «Стрелец».

В суровости советской жизни с непрерывным, всех сопровождавшим и всех круглосуточно сковывавшим страхом перед неизбежностью репрессий — страхом, загнанным, впрочем, глубоко внутрь и скрытым во внешнем равнодушии к уже посаженным — хотя мир за вышками охраны никогда не давал о себе забыть, — в быту нашем, не оборудованном ни для какого веселья, кроме истерически-хмельного, этот мир нельзя было не превращать мысленно (или как бы сказали теперь, виртуально) в некую зону большей, чем на свободе, справедливости и самостоятельности. Тоска заключенных о воле и о свободе как бы сама по себе в волю и свободу и превращалась — желаемое делалось больше, чем самое

что ни на есть действительное. Назло жестокости властей упорно складывался сказ о мире, где законы есть и законы эти исполняются, по ним живут особой жизнью особые люди — и людей таких немало. Вор в законе и всё ему сопутствующее идеализировались намного талантливее, чем положительный герой в советской пропаганде — тоже не бездарной, но излишне уж прямолинейной: в уголовных сагах неизбежный кич нюансировался все же неожиданное.

Теперь, когда законы зоны распространились на быт людей, казалось бы, окончательно расконвоированных или даже вовсе — что недавно еще было, редкостью — никогда не сидевших, когда криминальная революция, о которой большевики так долго не то что не твердили, а всячески замалчивали ее возможность, победила наконец во всей стране, мы видим в ней никак не меньше несовершенств и несправедливостей, чем в той, якобы озвученной крейсером «Аврора».

В позднейших, изысканиях о том, как избивали великого футболиста на зоне заключенные, кто же увидит противоречия — он, со своей внутренней свободой и природной независимостью, точно так же приходился не ко двору за колючей проволокой, как и в обществе, отдаленном железнодорожными путями от лагерей. И в лагерях его ранняя и всенародная слава вызывала злость и зависть подонков и посредственностей, которых везде большинство. И в той — тюремной — иерархии его место под солнцем определялось по чьему-то произволу. И там он обречен был быть одиноким и лишним.

Но и там, перед карт-бланшем дремучего лесоповала, он оставался Стрельцовым — отмеченной Богом личностью.

И там футбол — непонятная в своей неизъяснимой привлекательности для миллионов совершенно разных людей игра, в которой Стрельцов был как никто из других великих велик, — оставался занятием, дающим некоторым из преуспевших в нем права, которые враз, как ни странно, не отнимешь.

Вот почему и смыкаются в течение рассказа о нем беспощадность неподвластной нам реальности и щадящий стрельцовское самолюбие миф для потомков, которым дальше существовать в неослабевающей жестокости мира.

Гершкович заметил, что Эдик, если рассказывал что-нибудь про годы заключения, всегда говорил таким тоном, как будто бы не о себе он рассказывает, как будто случившееся с ним не к нему относилось. И я тоже никогда не слышал от него грустных рассказов о том, как «гостил он у хозяина» — всегда что-нибудь смешное. Даже то, как пили гнилую воду с головастиками, он излагал как эпизод комический. В новелле о том, как распрягли лошадь водовоза, отогнали водовоза оглоблей и выпили всю бочку чистой воды, предназначенной на кухню, я не услышал сколько-нибудь трагической нотки. Чему объяснения

ищу в единственном — в характере рассказчика.

Конечно, мы разговаривали с ним про тюрьму и лагеря спустя много лет после заключения, когда судьба его по возвращении оттуда сложилась, сложилась — как не устану я повторять в повествовании о нем — всему вопреки.

Но ведь тюрьма, заключение не только убивают, ломают, калечат. Они и утверждают человека — такова уж природа наша таинственная — в самооценке. Особенно у нас в стране. Человек, прошедший тюрьму, утверждался в своей избранности. Он понимал бесценность для советской или, тем более, постсоветской жизни приобретенного там знания. Это было и у людей, прошедших войну, но их навыки нашли себе широкое применение много позднее. А тюремные университеты по востребованности превзошли все гуманитарные вместе взятые...

Но я сейчас не о том. Я лишь о самоощущении. У людей высококультурных, отчужденных напрочь от уголовной среды, я встречал тайную гордость зека — чуть свысока иронический взгляд на коллег, когда в научно-искусствоведческий или литературоведческий лексикон озорно вворачивалось словечко, уместное в устах обмундированных в лагерный бушлат господ, слыхом не слыхавших о тех высоких понятиях, каких сейчас в разговоре, завязавшемся в мирном кругу, касается их былой собрат по несчастью, перебродившему в необходимый опыт. Я не говорю уж об экзотике рассказов, которыми дарили пострадавшие в сталинские времена работники искусств своих друзей. В таких рассказах и Эдик преуспел в узком футбольном кругу. Но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из рассказчиков на эти темы мог настолько не отождествлять себя — что для талантливого баечника главная-то гордость — с теми ужасными в своих словах и поступках персонажами устных опусов, как это естественно удавалось Стрельцову. К нему за годы, проведенные в разных лагерях, ничего не пристало, не прилипло, никаких словечек оттуда в свою речь он не взял. Скинув в снег около тюремных ворот зоновскую телогрейку с отпоротой накануне биркой «Стрельцов Э. А. № 1311», он жил остававшуюся жизнь под тем номером, который на футболке не рисовали, но про который все, кто хоть чуточку понимал в футболе, знали. А под первым номером — про который он, при всем удивляющем знакомых и незнакомых с ним людей демократизме, никогда не забывал — смешиваться с толпой, даже для большей безопасности, ни в коем случае нельзя. Инстинкт ли вел или развитое спортом честолюбие, но чувство собственной значимости никогда Эдика не оставляло, а многие из нас принимали это за душевную вялость, за безразличие... Однажды выпивали у него на кухне — с ним и с зашедшим с верхнего этажа соседом. И уж не помню по какому поводу сосед сказал про Эдика запавшие в меня слова: он

цельный, в отличие от большинства из нас, человек... Эдуард к тому моменту давно уже не играл в футбол, ни в какие сферы не рвался, без жалоб переносил положение обывателя, чья жизнь занимает общество в дни памятных дат и только, довольствовался тем, что ему оставалось, но сойти на нет, как приходилось сходить знаменитостям, чуть забывали про них, он органически не мог, и когда, казалось бы, перестал быть на виду — тогда ведь создавалось впечатление, что навсегда перестал...

Стрельцова уже без малого десять лет не было на свете, когда в печати появились материалы о его избиении в первом лагере (Вятлаге) — удары наносились твердыми предметами, предположительно обрезками железных труб и каблуками сапог. Доктор медицинских наук Джон Балчий-сола считает, что тогда всерьез были нарушены функции почек и что ранняя, в пятьдесят три года, смерть Эдуарда «была спровоцирована (дословно цитирую доктора) зверским избиением».

Свидетельство медика опровергает радовавший поклонников Эдика слух, что авторитеты встретили его в зоне шашлыками и черной икрой. По тюремным законам статус Стрельцова был незавидным — мужик (работающий, то есть беззащитный зек). Блатной малолетка — лет восемнадцать, и тот еще бугай — по кличке Репейник (через сорок лет обнаружилось, что был он осведомителем у опера) подначивал футболиста, выставлял посмешищем перед всякой, с нашей точки зрения, шушерой, перед которой, оказывается, Эдик в лагере должен был голову склонить. Но Стрельцов ничего этого в голову брать не стал — и отметелил здоровенного малолетку. За что отрицаловка, собравшаяся в котельной на толковище, постановила (или как там по-ихнему?) поставить Эдуарда на куранты — убить, говоря прямым текстом... Но избили не до смерти. Предполагают, что оперчасть, получившая агентурное сообщение о решении сходняка, по своим каналам воспрепятствовала убийству известного человека, находящегося под контролем из Москвы. Чем-то, может быть, администрация пригрозила блатным. В тот год большие начальники пытались, говорят, покончить с воровским миром руками самих зеков. Резня шла от брянских лесов до Чукотки. Сучьи этапы шли на воровские зоны — и наоборот. Вот отправкой в сучью зону могли и пригрозить тем, кто затевал убийство. Вместе с тем из тех же источников — за что узнал, за то и продаю — известно, что спас Стрельцова после страшных побоев его сильный организм. Из лечебного лагпункта в поселок Лесной отлежавшийся Эдик уже не вернулся — началась его пересылка из лагеря в лагерь. Из тех же источников знаю, что в последней своей зоне — в Тульской области — у Эдуарда появились покровители из авторитетов. Правда, вроде бы он и сначала шел с малявой от авторитета. Но, видно, не сумел форой

воспользоваться — локти и в тюрьме не отвердели...

4

Во время лагерного шмона среди вещей Стрельцова нашли листочек с записью молитвы, обращенной к святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому, от лица тех, кто терпит лишения: «Святителю Божий Иоанне, милостивый защитниче сирых и сущих в напасях! К тебе прибегаем и тебе молимся, яко скорому покровителю всех ищущих от Бога утешения в бедах и скорбех. Не перестай молиться ко Господу о всех с верой притекающих к тебе!»

5

Мне он говорил... Я, наверное, должен бы был проредить в повествовании все эти «мне» — не перегружать собою рассказ. Но вместо того нескромной настойчивостью подчеркиваю и акцентирую все сказанное Эдуардом лично мне, а не услышанное мною же от кого-то или у кого-то прочитанное. Хотя едва ли не каждое из услышанных или прочитанных слов про Стрельцова я стараюсь тащить сюда, даже (или тем более) когда подвергаю сомнению их достоверность либо мысль, в них заключаемую.

Все меньше становится людей, беседа с которыми в общем-то откровенный с людьми Эдик распахивался до исповеди. Кроме того, память наша слишком уж выборочна и нестойка перед вымыслом. Кое-кто услышанное не от самого Эдика выдает за сказанное им — я иногда с досадой обнаруживаю, что некоторые из формулировок, добавленные мною в развитие сказанного им, когда работали мы над литературной записью его мемуаров, не только цитируются без кавычек, но и вырываются из контекста, используются как аргумент даже в доказательствах юридического свойства.

Нерв затеянного мною повествования — в том, прежде всего, что сам, я видел, слышал, почувствовал в момент разговора или ощутил, понял позднее, когда воспоминания не отпускали меня от себя.

Я заранее согласен с возможным замечанием, что ввожу себя в повествование чаще, чем это принято в биографиях. Но я встречался со Стрельцовым в жизни вовсе не как интервьюер — и если не передать той обстановки, того настроения, в котором наше с ним общение проходило, то и смысл сказанных им слов не всегда будет вполне ясен. Дальше я расскажу, как работали мы над рукописью мемуаров, — и может быть, понятнее станет постоянно мучившее

меня заведомо неисполнимое желание влезть в его шкуру. Я с детства любил играть в футболиста, воображать себя футболистом — и дни игры не в кого-то, а в Стрельцова, относятся к лучшим в моей жизни.

И потом в характере общения со мной как с помощником в непривычной для него литературной работе проявлялась та сторона характера Эдуарда, которой ему совсем незначительно было поворачиваться к другим.

Поэтому в топку повествования я вынужден бросать и те поленья, что кому-то наверняка покажутся лишними. Но они (эти кто-то) и не были вхожи в жизнь Стрельцова через дверь, отвернутую мне.

6

Эдик говорил мне, что по прибытии в лагерь и сам рвался на лесоповал, смутно представляя, чем грозит ему такая работа. Но его отговорил и устроил на работу полегче старик, сидевший еще по кировским делам с тридцатых годов. Москва, посылая на лесоповал, настаивала на «гибели всерьез», но думаю, что и в столице у Стрельцова оставались какие-то надежные связи и для непунктуальности исполнения беспощадного приговора в деталях кое-какие незаметные действия кем-то производились. Но прийти к полному согласию в отношении к футболисту администрация и «братки», особенно первый год заключения, не могли — приобретая в чем-нибудь одном, Эдик тут же терял в другом: допустим, конвойные ему сочувствовали, но внутри зоны их нет — и как бы защитили они Стрельцова от наезда блатных? В первый год Эдуард не переставал верить, что за ним приедут и освободят, что за него там в Москве хлопчат. И в борьбе за выживание никакой твердости, никакой изобретательности не проявлял. По-моему, он, и разуверившись в успехе хлопот, полагался на судьбу, переносил диктуемые обстоятельства, как некогда удары на поле, отделяя от них свою игру...

Для меня главный документ состояния Эдика в заключении — его письма оттуда к Софье Фроловне. Я бы и не дополнял к ним никаких сведений — все в этих посланиях сказано о неволе.

Но теперь я узнал от людей, занятых стрельцовой реабилитацией, что слал он из лагеря письма к друзьям (правда, имена друзей-адресатов не названы) и писал всю правду об издевательствах над собой. Мне казалось, что письма из тюрем перлюстрируются той же администрацией — и вряд ли такая утечка информации возможна.

Тем не менее меня уверяют, что письма неизвестным друзьям

попали каким-то образом в руки Раисы — и Эдик огорчен был, что вторая жена осведомлена о тамошней его жизни больше, чем ему хотелось бы.

Мне об этих письмах Раиса ничего никогда не говорила. Возможно, что Раиса Михайловна недолюбливала меня как собутыльника мужа и с людьми, незнакомыми с Эдуардом, была более откровенна... Я спрашивал сына Стрельцова Игоря: знает ли он про страшные письма — и услышал, что тоже вроде бы нет.

Поэтому уж позволю себе вернуться к тем письмам, которые хранятся у меня дома, — к письмам, которые сегодня широко цитируются по моей публикации. Вместо тех, «закрытых»...

...Когда в первом варианте книги мемуаров появилась фотография: Эдуард, подперев щеку, задумался над тетрадной страницей и в руке у него автоматический карандаш — у многих, знакомых и незнакомых со Стрельцовым, вызвала ироническую усмешку подпись под снимком: «Труднее всего было писать эту книгу». И я каялся, что лучше, конечно, было бы сказать «работать», чем «писать». Я соглашался с замечаниями, что «Эдик же никогда пера в руках не держал», поскольку знал, что задания в Высшей школе тренеров он с легким сердцем перепоручал Раисе.

А ведь вполне могла среди тюремных фотографий Стрельцова оказаться и такая: он склонился в ночи над разлинованным листком — сочиняет письмо маме... Впрочем, в ночи бы ему там писать не разрешили. Но тем более вероятен снимок, сделанный при свете дня.

Про письма я узнал случайно — и уже после кончины Эдика. Разговаривал с его мамой у нее дома — и по какому-то наитию спросил: неужели из лагерей он не слал никаких весточек? И она вынула из ящика комода толстую пачку писем в шершавых конвертах.

В новом издании мемуаров я отвел главу этим письмам, а еще до того с помощью Аркадия Галинского опубликовал их без всякого комментария в спортивной газете — и до сих пор считаю, что в обнаружении лагерных писем Стрельцова — мой основной вклад в общечеловеческое знание о нем, если, разумеется, такое возможно.

И все равно не перестаю сожалеть, что не знал о существовании писем, когда начинали мы записывать мемуары.

«Здесь все связано с лесом, в общем, лесоповал» — в одной такой строчке ключ к пониманию характера Стрельцова, стиль его восприятия этой жизни, умение терпеть душевную боль (физическую он, по-моему, терпел хуже). В подобной интонации — знай я в начале восьмидесятых, что написал он такую строчку, — и следовало выдержать весь ход его воспоминаний.

Над письмами Стрельцова маме, когда опубликованы они бывают отдельно, всегда плачут женщины, весьма относительно

представляющие значение Стрельцова в футболе.

Они написаны просто молодым человеком, попавшим в беду. И нет в них и намек на какую-либо особенность его положения в обществе. При многократном перечитывании стрельцовских писем я заметил один лишь штришок, выдающий привычку к широкой известности, — набитый на автографах почерк, когда выводит он на конверте, сообщая маме обратный адрес, свою фамилию и первую букву имени перед ней...

Текст писем, повторяю, самодостаточен. И женщины плачут над ними, не проводя никаких параллелей с тем миром, где без него играют в футбол.

Но когда стали монтировать документальный фильм об Эдике, где артист читает его письма, выяснилось вскоре, что картинка с тюремными фотографиями, на которую ложится текст, волнует меньше, чем хроника времен отсутствия Стрельцова в мире по эту сторону колючей проволоки.

Когда замелькали кинокадры подмосковного леса с грибниками, концерта в Зеленом театре, обнаженных плеч знаменитой эстрадной певицы, московских набережных с гуляющими в сумерках или на рассвете парами, девичьих ног в туфлях на вошедших в моду, пока не было Эдуарда, шпильках, саксофона Алексея Козлова, репетиций в «Современнике», запусков в космос Гагарина и Титова, я вжался в кресло, вообразив невозможное: что сейчас и я тогдашний проскользну по экранной плоскости, проскользну веселый, на себе сосредоточенный, спешащий в пивной бар «Пльзень» в Парке Горького или на футбол, — я понял, что если бы увидел себя на трибуне футбола без Стрельцова, то провалился бы сквозь землю от стыда...

В повествовании о нем стыд, по-моему, не должен быть далеко запрятан. И переданная им в письмах жизнь не может не приходить в соприкосновение и пересечение с той, которой жили мы, о нем не забывавшие, но очень уж ограниченные в своих возможностях сделать что-либо существенное для изменения его участи.

«...Сейчас я тебе напишу новость, — подготавливает он мать к рассказу о своих обидах. — Прихожу я получить посылку из дому. Но когда надзиратель сказал мне другой адрес, я удивился. Адрес был совершенно неизвестный. Посылку они уже открыли и, проверив, отдали мне. И там оказалось маленькое письмо. И ты думаешь, кто прислал? Прислали ее Сенюков, Великанов и Емышев, но от имени команды. Посылку назад принимать не стали бы, уже поздно было, но если бы я знал раньше, что это от них, я бы не принял. Пришлось писать им письмо. Я написал им, чтобы они мне не слали ничего, переписываться если хотят, то я им буду писать».

...Из разговора с мамой Софьей Фроловной я понял, что

некоторые основания обижаться не только на товарищей, но и на заводское начальство у Эдуарда были. Спустя какое-то время он пишет: «Ты мне в каждом письме сообщаем все новые и новые новости. Что там случилось, такие перемены? Ребята из команды пришли к тебе, послали мне посылку, начальство завода стало относиться по-другому. Мне просто не верится. Ты напиши, что там случилось?...»

7

Никогда не спрашивал Эдуарда: а как до него доходили сведения о происходящем в Швеции? Наверняка же он и в своей ситуации интересовался ходом чемпионата. Транслировали матчи только по радио, но в камере же и репродуктора даже быть не могло...

Я слушал первую игру с англичанами на улице — точнее, в Лаврушинском переулке. Приемник стоял за решеткой открытого окна снесенного теперь домика, служебного, примыкавшего к Третьяковской галерее. Напротив громоздился дом, где жили знаменитые писатели, Пастернак, еще ниоткуда не исключенный... Я приучен был к радиорепортажам с футбола — и видел перед собой игру отчетливее, чем на телеэкране. Несправедливый пенальти в наши ворота назначили за резкую игру Константина Крижевского. Крижевский был моим соседом по Беговой — я переживал, что вину за неустраивающую нас ничью свалят на него.

Лучших игроков команда лишилась накануне отъезда. Ничего изменять в заявке было нельзя — и откуда было взять замену Стрельцову, Татушину, Огонькову? В заявку входило сорок человек. Когда Эдика после драки на Крестьянской заставе вывели из сборной, в заявку включили Вадима Храповицкого из Ленинграда. Но весной в нее вернули Стрельцова — и наигрывался состав с ним.

Между матчем с англичанами в Москве и в Гетеборге прошло меньше месяца — и после трудной ничьей играть с тем же противником, но в существенно ослабленном составе, для дебюта в таком турнире было, наверное, психологически дискомфортно.

Иванов теперь должен был играть в связке с Никитой Симоняном, выступавшим последний раз за сборную в официальном матче в октябре пятьдесят седьмого. От этой связки ждать той мощи в атаке, что генерировал Стрельцов, не приходилось, оставалось уповать на тонкий розыгрыш. Ну и забивать они — лучшие в своих клубах бомбардиры, да и многие из голов сборной на их счету — умели. Симонян на четырнадцатой минуте забил первый для нас в мировых чемпионатах мяч. И на перерыв ушли с преимуществом в гол. И по игре выглядели лучше. Левое крыло, превратившись

целиком в спартаковское (инсайда играл вместо Фалина Сальников), укрепилось. Но второй мяч забили, атакуя правым флангом. Борис Татушин не играл ведь и в майском, московском матче — на его месте попробовали Германа Апухина из армейского клуба. Но в сезоне пятьдесят седьмого года был очень хорош в «Зените» Александр Иванов — и тренерам сборной он очень приглянулся. В сборной стало два Ивановых. Ленинградский Иванов забил на пятьдесят шестой минуте второй мяч англичанам — и казалось, что дебют удался. Нашей опытной защите и великолепному вратарю — Яшин находился в лучшей своей форме — не составит проблемы удержать счет. Отыгранный Кевинот мяч не испугал. Рисунок игры советской сборной не менялся. Но за пять минут до конца венгерский рефери Жолт усмотрел нарушение в нашей штрафной площадке, тогда как сбитый центральным защитником Крижевским английский форвард упал, не добежав до линии, окаймляющей штрафную. От венгра — патриота своей страны, оскорбленной вторжением советских войск, подавивших мятеж, — полной объективности ждать, конечно, не приходилось. Но пенальти на исходе матча все-таки слишком. От политики отечественному футболу не спрятаться. Мстили опять названные братья.

Индивидуальный мятеж Иштвана Жолта, однако, дорого обошелся и венгерскому футболу. Судья из советской империи, интеллект уал Николай Латышев, рефери поквалифицированноее обидчика нашей сборной, искусно засудил сборную Венгрии, не дав ей победить команду Уэльса и выйти из подгруппы в четвертьфинал.

С Австрией выставили тот же состав. И владели инициативой, как и намечалось. Но не парируй Яшин пенальти от Буцека, вдруг бы и снова завязли в ничейном счете. А так сохранилось преимущество в забитый Ильиным гол. А второй очень эффектно исполнен был уже Ивановым из Москвы. Кузьма перед тем, как пробить, обвел нескольких обороняющихся.

Несколько известных советских тренеров поехали в Швецию наблюдателями. Среди них был и Константин Бесков. Он продолжал работать в детской школе, но как аналитик уже приобрел авторитет, заметно возросший после чемпионата мира. Бескову поручили просмотр матча Англия — Бразилия. Он вернулся после игры в гостиничный номер, разделяемый им с обозревателем «Советского спорта» Львом Филатовым, — и вместо вероятного прогноза предстоящей игры нашей команды с бразильцами сказал журналисту, что точно знает, кто станет чемпионом мира. У нас в те годы к южноамериканской школе футбола относились с некоторой снисходительностью. Приезжавшие к нам клубы — в том числе и бразильский — забавляли публику цирковым блеском работы с мячом, но победить лучше организованные, физически более мобильные,

играющие на высокой скорости отечественные клубы эти фокусники не могли. Поэтому опыт европейского футбола у нас котиrowался выше — и соперничества с бразильской сборной опасались, пожалуй, относительно. Но Бесков сразу понял суть перемен, произошедших с футболом, нами недооцененным. При том, что с англичанами бразильцы сыграли вничью 0:0.

Бесков обратил внимание Качалина на применяемую бразильцами тактику — с четырьмя защитниками (и четырьмя форвардами соответственно). Наш тренер решил применить вариант, ранее сборной СССР не практикуемый — и тоже сыграть с четырьмя защитниками. Когда-то — в сезоне сорок пятого — якушинское «Динамо» сдвигало центральных защитников Семичастного и Леонида Соловьева. Но делалось это обстоятельно, не в пожарном порядке.

Игорь Нетто получил травму в московском матче со сборной Англии — и первые две игры на чемпионате вместо него ставили динамовца Виктора Царева, футболиста оборонительного плана, в общем-то и воспринимаемого специалистами и публикой как защитника, хотя формально в обойму Кесарев — Крижевский — Борис Кузнецов, целиком привлекаемую из московского «Динамо» в сборную, он не входил.

Нетто рвался на поле, но Качалин, понимая, что спартаковец еще не в полном порядке, решил использовать его в матче с бразильцами как стоппера, соединив с Крижевским.

Ненаигранный вариант не дал никакого профита Качалину.

Обозреватели потом отмечали, что три минуты, за которые определилось безоговорочное преимущество сборной Бразилии, останутся в истории мирового футбола. Трем минутам, потрясшим сборную СССР, будущие чемпионы мира обязаны правому краю Гарринче.

Гарринча, как и восемнадцатилетний Пеле, дебютировал в чемпионате матчем против сборной СССР. Оба тяготились своей ролью резервистов. Но старший годами Гарринча выражал свой протест демонстративно — чуть ли не грозился отъездом на родину, раз он команде не нужен.

За первые три минуты игры Гарринча несколько раз вчистую — Кузнецов провожал бразильца глазами как промчавшийся мимо поезда, околпаченный непрочитаваемым финтом правого края, — проходил своего визави в обороне советской сборной. Пробил опасно по воротам Яшина — удар пришелся в штангу. Наконец его зрячий фланговый прострел довел до ума Вава.

Для такого подавляющего преимущества счет был не слишком-то и внушительным. Пеле потом говорил, что их пугала огромная фигура Яшина, закрывающая ворота. Но, может быть, и

кураж к бразильцам еще по-настоящему не пришел. В свою настоящую силу они выступили в полуфинале и финале — против французов и шведов — когда материализовались облетевшие футбольный мир слова Пеле: «Нам забьют, сколько смогут, а мы — сколько захотим».

Но наша команда пережила унижительные девяносто минут из-за своего бессилия переломить характер игры.

Тем большего уважения заслуживает сборная того созыва за дополнительный матч против команды Англии. Третий подряд матч с противником мало того, что сильным, но и знающим всесторонне команду, пришедшую в подавленное психологическое состояние. Англичане, напоминая, сумели бразильцам не проиграть.

От варианта с четырьмя защитниками отказались. Нетто снова отправили в запас, Сальникову дали отдохнуть, на левого инсайда поставили Фалина, играли по привычной схеме. Матч, как и ожидалось, дался тяжело — и англичанам тоже — гол победный забит был к середине второго тайма Ильиным.

С англичанами играли через день после поражения от бразильцев, а четвертьфинал со шведами в Стокгольме (добирались из Гетеборга с необъяснимыми, окончательно изнурившими футболистов трудностями, да и в гостинице поселили, где толком не заснешь из-за шума) назначили опять через день.

Шведы дошли до финала и стали серебряными призерами. Можно допустить, что наши специалисты недооценили хозяев чемпионата, которые проигрывали сборной СССР обычно с крупным счетом. Но неужели у шведов не было русского комплекса? Нет сомнений, что шанс пройти сборную Швеции оставался. Но Качалин не рискнул поставить на игру резервистов. Вернул в состав отдохнувшего, но тридцатидвухлетнего Сальникова. Во втором тайме наши перестали от переутомления двигаться — и пропустили два гола. Вряд ли Хамрину и Симонсону приходило в голову, что их удары по воротам Яшина в чем-то скажутся и на судьбе другого великого футболиста России, ожидающего в камере Бутырки суда, вместо того чтобы вырваться товарищей в Швеции.

8

Телеграмма: «Здравствуй, мама. Нахожусь в Вятлаге на повале, вышли пищевую посылку, здесь ничего нет. Адрес: Кировская обл. рн. Туркня. Эдик».

И сразу вслед за тем письмо:

«Привет из Вятлага.

Здравствуй, дорогая мамочка!!!

Мама, шлю тебе большой привет и желаю хорошего здоровья.

Мама, извини, что так долго не писал. Все это время находился в Кирове на пересылке и думал: куда меня везут. И вот я приехал в знаменитый Вятлаг. Здесь все связано с лесом, в общем, лесоповал. Сейчас, то есть, первое время трудно работать. Грузим и колем дрова. И вот за этим занятием целый день. Со школой я распрощался, здесь школа только начальная, до 4-х классов. Приходишь в барак и кроме как спать нечего делать. Да и за день так устаешь, что руки отваливаются. Но это, наверное, без привычки. А как привыкну, будет легче. Кино теперь, как в Кирово-Чепецке, не посмотришь. Здесь один раз в неделю. И то как следует не посмотришь, клуба нет и показывают в столовой.

Я тебе просто описал жизнь в этом лагере. И ты за меня не волнуйся, я уже ко всему привык...

«...с питанием здесь очень плохо и посылки пришли вовремя. Ты так много посылок не посылай. Сама не ешь, а мне шлешь, так делать не надо. Если сможешь, так присылай в месяц одну посылку. В посылку можешь из питания класть все, здесь нет ничего. Мама, тебе тяжело будет посылать посылки каждый месяц... ты продай машину и тебе будет легче. Доверенность я послал заказным письмом...»

«...Мама, как ты там одна живешь? Начинаю привыкать к лагерной жизни, правда, попал в лагерь поздновато, если бы летом, то было бы хорошо. Но ничего, привыкнем и к климату, и к лагерю. Лагерь хороший, ребята тоже хорошие, так что за меня не беспокойся... Мама, начинается зима, пришли мне, пожалуйста, шерстяную фуфайку от костюма тренировочного, футболочки шерстяные, безрукавки две штуки, если есть, варежки или перчатки. Если ты отослала мне 100 рублей и сахар, то больше ничего пока не надо».

«...Мама, ты хочешь ко мне приехать и привезти, что мне нужно. Возьми часы, а то без часов очень плохо, возьми пиджак, возьми бритвенный прибор, только не железный, а в сумочке с замком, который подарила команда ФРГ, и пушистый помазок. Из питания, что хочешь, если у тебя нет денег, то не нужно, правда, здесь ничего из питания нет, но ничего, обойдемся...»

«ЗА ЗОНОЙ ЕСТЬ ПОЛЕ»

9

Стрельцов сидел в пересыльной тюрьме в Кирове, а сезон катился дальше по календарю — и, казалось, на развитие внутритурнирных событий не повлияли ни отсутствие Эдика, ни осечка на чемпионате мира.

«Торпедо» не смогло во втором круге держаться дальше вровень со «Спартаком». Но и «Спартак», понесший человеческие потери, не был столь уж психологически устойчив в долгом лидерстве.

В августе, когда отрыв от остальных в набранных очках ни в кого из болельщиков не мог вселять тревоги за исход чемпионата, спартаковцы играли в Москве с киевскими динамовцами. Киевляне вели еще и во втором тайме со счетом 2:1. Но «Спартак» отыграл мяч и за сорок секунд до конца матча дождал противников — третий гол забил Симонян. Пока победители радовались и поздравляли друг друга, динамовцы не могли начать с центра, а не успели начать, как судья дал свисток. Воинов проявил похвальную бдительность — и потребовал, чтобы судья показал свой секундомер. Судью, получалось, поймали на том, что он дал сыграть лишние семь секунд. Вина судьи если в чем и заключалась, то в том только, что секундомер следовало остановить на то время, пока игроки «Спартака» обнимались. Но киевляне теперь настаивали на том, что и гол им забили не в основное время, а в те просроченные секунды. На протест украинских футболистов никто бы не обратил серьезного внимания. Но прошел слух, что земляков поддерживает Хрущев. Во всяком случае председатель Федерации футбола Гранаткин вдруг взял киевскую сторону. После того, что произошло со Стрельцовым, вмешательство сверху — очень может быть, что и мнимое — произвело на «Спартак», в свою очередь, пострадавший в истории с торпедовцем, самое гнетущее впечатление. Всё вдруг разладилось в игре лидеров — и последующие пять туров они провели из рук вон плохо. И ко дню переигровки с командой Киева они отставали от московских динамовцев на очко. На матч с киевлянами столичные одноклубники явились в Лужники всем составом во главе с тренером Якушиным. Моральное преимущество оказалось на стороне киевлян, потому что для них игра со «Спартаком» ничего не решала, они свое пятое место уже заняли. А «Спартак» предстоял заочный поединок с извечным противником, который в ожидании их провала удобно расселся на трибунах — при ничьей предстояла бы дополнительная

игра за первенство, в которой шанс деморализованного клуба Старостиных оказался бы, наверное, невелик.

Переигровка развивалась по сценарию августовского матча. За четырнадцать минут до конца «Спартак» уступал — 1:2.

И опять отыгрались. И мало того, постарались сделать всё, чтобы не встретиться в дополнительном поединке с московским «Динамо».

Симонян никогда угловых не подавал, но тут вдруг вызвался: что-то почувствовал в наэлектризованном воздухе истекающего времени возле киевских ворот. И Сальников угадал место, куда придет от центрфорварда мяч — и забил гол, похожий на тот, какой четыре года назад забил венграм...

И у «Торпедо» — у Валентина Иванова в первую очередь — появилась возможность доказать, что удар, нанесенный им наказанием Стрельцова, они способны перенести.

Конечно, жестокость судьбы, что свела в финале Кубка торпедовцев со «Спартаком» — товарищами по несчастью, по неснимаемой, как всем казалось, с этих клубов опале — в развитии сюжета представляется излишней.

Мотивации обреченных, обвиняемых негласно чуть ли не в заговоре против всего ведомственного и официального, были чрезвычайно высоки — устоять на краю пропасти, а уж устояв, начать со следующего сезона новую жизнь, зализав за зиму раны.

И «Торпедо» ближе было к успеху.

Валентин Иванов вышел к спартаковским воротам один на один — и уже обвел было почти тезку Валентина Ивакина, но тот, пропустив форварда с мячом мимо себя, сумел, выпрыгнув ногами вперед, вытолкнуть мяч с убойной позиции и тут же схватить его руками.

А в добавочное время Никита Симонян забил победный гол, поневоле сыграв главную роль в сезоне — роль, которая ему никак вроде бы не предназначалась. Поскольку написана была для Эдуарда Стрельцова.

10

Качалина не освободили после поражения на чемпионате мира — что-то менялось в советских порядках?

Воодушевленный доверием, он попробовал слегка сманеврировать с основным составом сборной. Она провела товарищеский матч в Праге и официальный (одну восьмую финала Кубка Европы) в Москве — и оба раза выиграла.

В Праге попробовали новых людей в атаке: Урина, Мамедова (он сменил Урина во втором тайме), киевлянина Каневского (он

сменил армейца Агапова уже в первом), Олега Морозова из Ленинграда, Ворошилова, перешедшего из куйбышевских «Крыльев» в московский «Локомотив».

В защиту вернули Маслénкина вместо Крижевского. Ворота оба раза вместо Яшина защищал его динамовский дублер, очень талантливый голкипер Владимир Беляев.

Мячи в Праге — победили со счетом 2:1 — забили Ворошилов и Воинов.

В московском матче с венграми экспериментировали меньше. Но на правом краю впервые появился выдающийся футболист — торпедовец Слава Метревели: «Торпедо» сохраняло позиции в сборной. И закрепился в передней линии Аликпер Мамедов, переведенный в московское «Динамо» из Баку, — привлечение такого типа форварда к партнерству с Ивановым и Симоняном показывало, что озабоченность ослаблением атаки без Стрельцова не покидает Качалина: Мамедов претендовал на роль чистого центра. Впрочем, после шведского чемпионата кто же теперь стал бы спорить, что в уважающей себя команде центров нападения должно быть двое.

Венгры проиграли московский матч уже в первом тайме — третий гол Кузьма забил на тридцать второй минуте. Кстати, и Метревели при дебюте на стотысячной аудитории отметился забитым мячом.

И все бы ничего — на восхождении к европейскому турниру, впервые организованному, могли и не настаивать на разбирательстве неудачи в Швеции — но в конце октября «продули» англичанам, как никогда (ни до, ни после) не проигрывала сборная Союза. Ноль — пять.

В оправдание конфуза по Москве рассказывали историю, что в день прилета в Лондон встретили на аэродроме кого-то, кто по дружбе сообщил, что каждому игроку за матч причитается, допустим, двадцать пять фунтов стерлингов (турист, для сравнения, имел право иметь на руках всего шесть). На такую сумму можно приобрести две или три меховые шубы, которые дома сбудешь за хорошие (в смысле количества) советские деньги. Поездки за рубеж только-только становились регулярными — и во вкус бизнеса, связанного с перепродажей вещей, спортсмены еще не вошли. Но, рассказывают, с делегацией футболистов выехал комсомольский деятель, желавший произвести наилучшее впечатление на своих начальников. И он по собственной инициативе выдал игрокам деньги как туристам, а остальное сдали в посольство. Убитые горем футболисты не то чтобы проиграли нарочно — о таком невозможно было и подумать — но некоторые плохо спали перед матчем — и вышли на поле в состоянии прострации.

Много позднее, когда уже почти все можно было рассказывать,

Валентин Иванов уточнил, как там получилось с деньгами и всем прочим. Денег выдали не по шесть, а по пять фунтов. И Симонян как капитан команды уговорил по просьбе товарищей руководство увеличить суточные до десяти. Конечно, после проигрыша Никите Павловичу припомнили его инициативу.

Виноватыми в поражениях посчитали Бориса Кузнецова — за то, что привез пенальти, и самого Иванова — за остроту, которая обошла все начальственные инстанции. Качалин его спросил: «Ты почему в одном эпизоде ногу из стыка убрал? — А в каком, извините, конкретно эпизоде? — Когда игра шла в центре поля. — А какой уже счет был? — 0:3. — Вот поэтому и убрал». Что тут началось! Выручил защитивший Иванова при встрече с членами редколлегии газеты «Правда» Андрей Старостин. Ограничились строгим выговором по партийной линии. Иванов потом спросил Старостина: «Как же вы не побоялись, Андрей Петрович?» — «А я тогда без работы был, чего терять-то?»

Но провал в игре против хорошо знакомой английской команды все же трудно объясним логически. Ни по составу и ни по возможностям той сборной поражение.

Качалина немедленно прогнали.

11

«...Мама, я нахожусь в хорошем лагере. Уже работаю. Сейчас, правда, выбираю специальность. Может быть, буду шофером или слесарем. Поступил в восьмой класс, надеюсь кончить десять классов. Здоровье хорошее. Работаю с 8 утра и до 5 вечера, а затем иду в школу. Так что хорошо. Мама, я тебя попрошу — пришли мне 100 рублей. Это мне на первый месяц, а затем я буду сам зарабатывать, и пришли сахару. Если у тебя тяжело с деньгами, то не нужно. Пока писать нечего больше. Времени стало в обрез, пишу тебе на работе. Но писать буду регулярно, как ознакомлюсь с обстановкой...

...Много писать не буду, да и нечего. Большое спасибо за папиросы, деньги я не просил и не надо их было высылать. Мы один раз договорились, что попрошу, то и вышлешь, если, конечно, сможешь. Мама, я чувствую, что ты больше меня переживаешь... Наберись еще немного терпения, возможно, скоро все будет хорошо. И не пиши мне, что я, мол, тебе не верю и ты меня обманываешь. Если я тебе не верю, то кому же должен верить и кого слушать? Один раз не послушал и очутился здесь».

«...посылку твою и от рабочих посылку получил, за все большое спасибо. Мама, я тебе послал доверенность на продажу машины... Сейчас устроился слесарем на электростанцию. Работа стала легче...

плохо нет школы. Ну что же поделаешь, мы находимся в заключении...»

«...Давай-ка быстрее продавай машину, расплатись с долгами и ставь себя на ноги. Хуже нам было в войну и после войны, и то пережили. А это как-нибудь переживем. Ведь я не один сижу, многие матери так же остались одни. И если все будут говорить: не хочется жить, то что нам останется делать? У нас же хуже положение, и то мы не унываем... Мама, когда продашь машину, я попрошу тебя, чтобы ты мне выслала сто рублей. Эти деньги будешь высылать вместе с посылкой. Запечатайте их или в сахар в коробке. Коробку откройте, выложите половину сахара, положите сто рублей, опять сложите сахар и заклейте коробку, чтобы не было заметно. Они мне нужны. Только вышлешь, когда продашь машину... Мама, у тебя очень плохое здоровье. Ты быстро продай машину и езжай на курорт. Может быть, здоровье у тебя и поправится. А я в мае уже буду знать точно: сколько мне сидеть... если сможешь сама купить мяч, то купи и пришли. Валенки были немного малы, но я их растянул и подшил, теперь они стали по ноге...»

«...мне Алексей Иванович написал, что машину продали. Давно надо было это сделать. Ты за машину не переживай. Машина — ерунда. Вот здоровье — это самое главное. Было бы здоровье и машина будет. Ты, самое главное, береги свое здоровье...»

«...Мама, ты пишешь, что отбирают комнату. Отдай им эту комнату и не расстраивайся. Буду жив и здоров, заработаем все потерянное, а если не заработаем, то проживем и на пятнадцати метрах. Самое главное для меня, это чтобы ты была жива и здорова... Приеду я только к тебе!»

«...Насчет квартиры, мама, не переживай, пускай отбирают. Но чтобы они тебе дали такую же, какую ты отдала в Перово. Они не имеют права меньше дать...»

«...Живу ничего, работаю слесарем. Учусь в 8-м классе „Б“. Продуктов никаких нету, если можешь, то пришли, а если нет, то за меня не беспокойся, ничего не случится...»

12

Исчезновение с футбольного горизонта Эдуарда Стрельцова для меня значило то же самое, что в детстве расформирование армейского клуба — я снова (и как мне казалось, окончательно) перестал быть болельщиком.

В сезоне пятьдесят девятого года я не то что не могу кого-нибудь или что-нибудь выделить, но и эпизоды сколько-нибудь примечательные затрудняюсь вспомнить.

Был момент сочувствия клубу, который после кубковой удачи в пятьдесят седьмом году до конца боролся за первенство с московским «Динамо». Я не жаждал сенсации — я понимал, что «Спартак» и «Торпедо» не могут не взять паузу после всего ими пережитого: в «Спартаке» тем более завершались карьеры Симоняна и Сальникова, о чем я с моим свойством привязываться к людям, играющим в футбол, разумеется, сожалел. О происходящем в «Торпедо» я, как и большинство рядовых любителей футбола, не догадывался — за неудачным выступлением команды не каждый может различить прорастание качественно новой игры. Кроме того, наверное, мне и претила жизнь по принципу: «отряд не заметил потери бойца». Мне почему-то очень важно было, чтобы незаменимость Стрельцова становилась все более очевидной. И ничего закономернее, чем никакая в сравнении с предыдущим сезоном игра «Торпедо», я в свои девятнадцать лет не мог себе в окружающей действительности представить.

Я не ждал сенсации, но сочувствовал «Локомотиву» — команде, с которой каждое лето бывал соседом. Железнодорожный клуб базировался в Баковке, в санатории Министерства путей сообщения. В Москве я тогда жил на Беговой — и с дачи ездил не от станции Переделкино, а от платформы Баковка. И по дороге на электричку часто встречал игроков «Локомотива» и стеснялся, что знаю об очередном их проигрыше.

В последнем матче чемпионата пятьдесят девятого «Локомотив» в случае победы догонял «Динамо» — и тогда бы за первое место между ними назначили переигровку.

Защитник сборной Борис Кузнецов срезал мяч в свои ворота — и дело шло к тому, что представители железной дороги добьются повторной встречи с настигнутым ими лидером. За «Локомотив», между прочим, выступали очень и очень неплохие игроки — Валентин Бубукин, Виктор Ворошилов, Юрий Ковалев, Виктор Соколов. И в голу стоял кандидат в сборную Владимир Маслаченко. Он-то и допустил просчет, после которого Генрих Федосов сквитал счет — и московские динамовцы наконец вернули себе первенство.

В «Торпедо» образца пятьдесят девятого уже играли за основной состав некоторые из тех, кто на будущий год станет и знаменит, и превзойдет классом большинство мастеров, чью продолжительную известность привыкли считать истиной в последней футбольной инстанции. Но врать не стану — никто из них до середины лучшего в биографии «Торпедо» сезона мыслей моих и эмоций, связанных с футболом, не занимал и не касался.

Небезразличной для меня оставалась лишь судьба Валентина Иванова.

В сборной-59, проведшей всего три матча за год в сентябре и

октябре — правда, при аншлаге, что в Лужниках, что на «Непштадионе», что на стадионе «Сяньнунтань», — он казался мне первым номером. Идея со сдвоенным центром после того, как сошел Симонян и лишь однажды тайм сыграл Мамедов, на мой взгляд, на практике главной команды никак не осуществлялась. Все партнеры Кузьмы — центрфорварда — были выраженными инсайдами: Федосов, Бубукин, Исаев и даже Численко (на правом краю в трех матчах сборной сыграли возвращенный на один матч Иванов из Ленинграда, Метревели и Урин из «Динамо»). А в клубе с ним играл Геннадий Гусаров, выполнявший функции Стрельцова.

Позднее я понял, что в Стрельцове его и моей молодости я любил нечто поверх — или сверхфутбольное — скорее всего, явление чуда, которого мне — и думаю, что многим — тогда в жизни не хватало. И жажда этого чуда, обязательного в годы любых начал, оставалась для большинства неутоленной.

А Валентина Иванова я любил больше всех внутри футбола, в организме игры — он, как никто другой на поле, импонировал мне эстетически. Спроси меня в те времена: чего бы я для себя желал? — и возможно, что я бы ответил: играть, как Иванов, но жить, как Стрельцов. Но меня никто не спрашивал. И теперь уже никогда не спросит.

13

«...Мама, не ты не доглядела, а я сам виноват. Ты мне тысячу раз говорила, что эти „друзья“, водка и эти „девушки“ до хорошего не доведут. Но я не слушал тебя и вот результат... Я думал, что приносил деньги домой и отдавал их тебе — и в этом заключался весь сыновий долг. А оказывается, это не так, маму нужно в полном смысле любить. И как только я освобожусь, у нас все будет по-новому...»

14

На непродолжительное время внутри тюремного срока для бывшего центра нападения почти в центре России — среди сплошных лесов, в тучах мошки, комаров, гнуса — продолжился футбол.

Начальник Вятлага любил футбол страстно — он не только заставил играть своих подчиненных, но и самолично разработал Положение о первенстве Управления по футболу среди исправительно-трудовых колоний. Учреждений такого типа хватало — в розыгрыше участвовало до двадцати команд.

Команды составлялись из штатных сотрудников лагерей. Но по

разработанному начальником Положению в команду могли включаться трое расконвоированных, именуемых «переменным составом».

Стрельцова расконвоировали на один день — день матча — и снова «закрывали». Нетрудно догадаться, что начальник Вятлага не пропускал матчей с участием «Стрельца» — приезжал на игры с женой, двумя дочерьми и с тремя заместителями.

«...Погода у нас стоит хорошая, очень жарко. С этого воскресенья у нас начинается розыгрыш первенства по лагпунктам. Время летит незаметно. Мама, я ведь сижу уже год, пошел второй. А кажется, что посадили недавно. Но ничего, может быть, кодекс что-нибудь даст. У вас о нем ничего не слышно? У нас идут разные разговоры, а толком ничего неизвестно. Освобождают, кто половину отсидел, и то очень мало. Я знаю только то, что у меня статья легкая и мне надо сидеть половину. Ну ладно, об этом хватит...»

«... За мячик большое спасибо... Он мне очень скоро пригодится. У меня будет два мяча. Правда, первый, старенький пооббился, но ничего...»

«...со школой сейчас очень трудно. Ведь я не учился целый год. А сейчас, чтобы перейти в 9-ый класс, мне нужно обязательно ответить каждый предмет за весь учебный год... Уже начали играть в футбол. Играли товарищескую игру с 7-м лагпунктом, выиграли со счетом 7:1. С 1-го июня начнется розыгрыш кубка по лагерям. Будем ездить на разные лагпункты. Время пойдет веселей... Я перешел на работу в зону. Стал работать на интендантской работе».

«...сейчас некогда писать. Почти каждую пятницу мы ездили в другие лагпункты, играли на кубок. Выиграли кубок Вятлага, а теперь субботу и воскресенье я нахожусь в своем лагпункте и время у меня будет свободнее».

«...играл на днях в футбол и немного ногу потянул, сейчас пришлось на время прекратить игру. Ну, это ерунда, немного дам ей отдохнуть, и все пройдет».

«...Мама, играя в футбол, я нечаянно упал на руку, и у меня врачи после снимка обнаружили трещину в кисти руки. И сейчас правая рука в гипсе, и поэтому писать мне нельзя, так что не волнуйся, что почерк не мой...»

«...Мое здоровье не вызывает сомнений, так как я занимаюсь спортом, а спорт слабых не любит...»

«...попроси Галю, пускай она купит календарь игр на первенство СССР по футболу. И если ребята приехали с юга, попроси от моего

имени мячик...»

«...мы с тобой договаривались ждать и не расстраиваться... Пока мы будем ждать ответ, сходи к Борису Павловичу Хренову, попроси у него мячик или в „Торпедо“. Если дадут, то пришли мне бандеролью и положи тапочки, трусы и рубашку, а то у этих рубашек воротнички чеканулись. Мама, мне уже стыдно просить, но здесь ни одного мяча нет, а иногда хочется постучать... Если мяч не достанешь, то и не надо...»

Мячи ему присылали, но после Вятлага, откуда его перевели в шестидесятом — самом торпедовском — году, сколько-нибудь регулярно в футбол, хоть отчасти напоминающий размерами поля настоящий, Эдик до освобождения не играл. Так только, иногда бил по мячу...

«Добрый вечер, дорогая мама!

Поздравляю тебя с пятидесятилетием, пожелаю хорошего здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Мама, извини, что не могу подарить подарок, но думаю, ты не обидишься, если подарок подарю позже, когда освобожусь».

16

Виктор Понедельник, во многом обязанный своей славой отличной игре за национальную команду в финале Кубка Европы, — знаменитый форвард, чей второй гол в югославские ворота по своей весомости в истории отечественного футбола едва ли сопоставим с каким-либо еще знаком общей удачи — говорил о той сборной, победившей в шестидесятом году в Париже, что на любую позицию в ней претендовали по два классных мастера. В сегодняшней запальчивости, вызванной бедностью великими талантами и ограниченностью выбора, Понедельник, возможно, и перебарщивает, объявляя два десятка своих тогдашних партнеров европейскими звездами. Но свое преимущество над сильнейшими игроками Европы они летом шестидесятого доказали.

И Виктор Владимирович совершенно справедливо выделил как главное отличие сборной Качалина — возможность тренера выбирать из двух равных по возможностям футболистов того, кто чуточку лучше в данную минуту.

Через сорок лет после победы в Кубке Европы я разговаривал на банкете по случаю годовщины этой победы с двумя олимпийскими чемпионами, спартаковцами Анатолием Исаевым и Анатолием Ильиным — и понял, что они и по сей день расстроены, что не сыграли в заключительной стадии розыгрыша впервые учрежденного европейского приза.

Оттолкнувшись от основы команды, получившей бесценный опыт первопроходческого участия в мировом чемпионате, тренер Качалин за два сезона очень по-умному распорядился великолепным человеческим материалом — и теми, кто узнал вкус олимпийской победы, и теми, кто понял разницу между турниром на Олимпиаде и первенством мира, и теми замечательными игроками, чей срок настал.

Конкуренция за место в составе была невидимой для широкой публики. Заслуги резервистов — в той высокой форме, какую к маю шестидесятого года обрели проводившие с ними спарринги игроки основного состава.

Льву Яшину еще предстоит через год конкуренция с Маслаченко, но на пути к решающим матчам Кубка Европы вратарь «Локомотива» сыграл лишь однажды, когда при счете 4:0 в пользу советской сборной, встречавшейся в Москве с командой Польши, он заменил на шестьдесят восьмой минуте динамовского голкипера. Партнеров Яшина по защите московского «Динамо» в сборной не осталось — у Владимира Кесарева, по-прежнему сильнейшего на своем правом фланге, в Марселе случился приступ аппендицита — и против чехословацкой сборной поставили Гиви Чохели. Потом на парадной фотографии победителей голова Гиви оказалась повернута в другую, чем у остальных, сторону, ее второпях приклеили на туловище Кесарева, и Чохели на общем снимке сборной появился в иностранной прессе раньше, чем в нашей. Вернулся на роль центрального защитника Анатолий Маслénкин, не игравший на мировом чемпионате, спартаковец Анатолий Крутиков заменил в основном составе динамовца Бориса Кузнецова, Воинов в связке с Нетто оставался вне конкуренции (тогда казалось, надолго), только в матче с поляками вместо Воинова вышел на поле Царев. Правый фланг оставался торпедовским — Метревели и Валентин Иванов. Виктор Понедельник стал, пожалуй, последним в советском и последующем футболе центром нападения староклассического варианта. В «Торпедо» Иванов уже играл с Гусаровым вариант сдвоенного центра. Но ростовчанин Понедельник, форвард скорее английского таранного типа, не проходил комбинационной школы, подобной торпедовской, — и Кузьме удобнее было играть классического инсайда, не требуя взамен слишком уж большого понимания и ответных ходов от центрфорварда, на чью высокую результативность в интересах сборной Иванов мог и поработать. Валентин Бубукин, давно уже замеченный тренерами сборной и привлекаемый в ее переменный состав, дождался момента, когда Сальников сойдет, и предстал к розыгрышу европейского Кубка в лучшем своем виде. Он стопроцентно попал в наиболее удачный для нашего футбола сезон. Впрочем, удача оттого и пришла, повторю, что выбор у тренеров был. Ильин на левом краю сколько мог, столько и

соперничал с Михаилом Месхи — поздней осенью пятьдесят девятого года тот сыграл еще товарищеский матч с китайцами в сборной, недолго руководимой Михаилом Иосифовичем Якушиным, и забил на второй минуте единственный гол. Но в шестидесятом Месхи заграничная печать уже прозвала «коммунистическим Гарринчей». И на левом фланге никого другого даже и самым заядлым спартаковцам было уже не вообразить...

Я, в общем-то, нарочно вставил шпильку хорошему центрфорварду Понедельнику, оговорившись, что в «Торпедо» Иванов с Гусаровым играли в более тонкий футбол, чем подшефные Качалина. Внезапно выяснилось, что игра сборной проигрывает в сравнении с тем, что делают московские торпедовцы во внутреннем календаре. Что двое торпедовцев из сборной — Иванов и Метревели — не перестают, может быть, оставаться в «Торпедо» лидерами, но команда с автозавода возглавляла турнирную таблицу и без них, что дублеры Иванова и Метревели не портили рисунок игры «Торпедо», как никогда близкий к откровению.

17

«...Верховный суд РСФСР оставил мне семь лет. Пять лет скинул. До половины мне осталось сидеть год и четыре месяца, это значит, что в 1961 году в ноябре я по суду могу освободиться».

18

В мемуарах Виктора Шустикова есть эпизод, когда после их третьей победы над московским «Динамо» в торпедовскую раздевалку зашел Якушин, тренировавший динамовцев, и поднял руку, призывая соперников-победителей ко вниманию. «„Торпедо“, — сказал Михай, — вы создали великолепную команду. Постарайтесь сохранить ее!»

Как человек искушенный в литзаписи, я решил перепроверить у Михаила Иосифовича: говорил ли он такие слова? Валерий Березовский, помогавший Шустикову, был грамотным и знающим футбол журналистом — мог и сам такое сочинить. Тем более что ко времени работы над мемуарами конец явления был известен.

Якушин, словно пропустив мимо ушей мой вопрос, сказал, что вообще-то «Торпедо» — команда пьянцовская. Но тогда зацепились за очечко-другое, почувствовали в себе силенки и решили до конца карабкаться. Но версия Березовского-Шустикова мне нравится больше. Я говорил, что Маслов с Якушиным ровесники, но «Дед»

входил в свое величие постепенно, в отличие от сразу же схватившего футбольного бога за бороду Михея. И «Торпедо»-60 не исчерпывался тренерский успех Виктора Александровича. Но раз уж злоупотребляю я в этой книге высказываниями от первого лица, не оставляю при себе и мнения, что торпедовская победа — событие пограндиознее, чем даже продолжительное чемпионство киевлян. «Торпедо», созданное Масловым, — творение на кончике иглы. И масса в нем прекрасно необъяснимого.

Команда эта рождена и отчаянием тренерским из-за исчезновения Стрельцова, и неожиданно сосредоточившей «Деда» свободой, вместо неизбежной от Эдика зависимости.

Очень многое здесь от пустоты, образованной отсутствием гиганта, — от пустоты, в которой различимее стали индивидуальности тех, кто не мог не быть подавлен близостью футбольного гения, сковывающей понятной робостью. Вместе с тем разве же все торпедовские новобранцы второй половины пятидесятых годов не вдохновлены были тем, что переступили порог команды, где властвует Эдик — Игрок, которого мечтали заполучить все именитые клубы? Герои шестидесятого года выкованы уроками совместных тренировок и двухсторонок. От Шустикова и других защитников я слышал, что после тренировочных противостояний Иванову со Стрельцовым ничего уже не страшно.

Мне приходилось говорить, обыгрывая прозвище Владимира Александровича, что у него в «Торпедо» «дедовщина» наоборот: молодые верховодят.

Но хорошо шутить со стороны. Новичков, не проявивших себя немедленно как лидеры, подобно Иванову и Стрельцову, ждала самая элементарная дедовщина, с которой никакой тренер не мог ничего поделать.

Старикам торпедовским деваться было некуда — никаких профессий, чтобы семью прокормить, у них не было, образования тоже никакого. И за свои места в команде они держались мертвой хваткой. Иванову со Стрельцовым им пришлось подчиниться безоговорочно. Без Вали и Эдуарда их команде мало что светило. Но дублерам — молодым парням ненамного моложе Эдика, а то и однокласскам — пощады ждать не приходилось.

Маношин вспоминает, что в Сухуми после пятнадцатикилометрового кросса они, молодые, на ногах не стояли от усталости. Одна мечта добраться до своей койки в гостиничном номере, а по лестнице никак не поднимаешься: старики стаскивают с них шапки и бросают вниз — из последних сил приходится вниз-вверх брести по ступенькам. И это еще самое безобидное. На зимней тренировке играли в хоккей — и приятель Стрельцова Лев Тарасов (по прозвищу «Ганс») так целенаправленно двинул клюшкой по коленке

Шурику Медакину, выходявшему из-под него, как говорится, на место правого защитника в основном составе, что Александра унесли на носилках и он несколько месяцев не мог тренироваться. На снимке, где команда «Торпедо» сфотографирована после победы в Кубке шестидесятого года, хрустальную вазу держит Медакин, выбранный в тот год капитаном вместо часто отлучавшегося в сборную Валентина Иванова. Но доставалось будущему капитану от «дедов» больше, чем всем остальным, — его даже спускали в канализационный люк для устрашения.

Вот из таких прозаических обид и невидимых миру страданий проросла на свет прожекторов к аплодисментам, сопровождавшим, наверное, каждую игру «Торпедо» в сезоне шестидесятого, команда до такой степени изысканная и стильная, что при воспоминании о ней сердце счастливо щемит — и оттого, что жил тогда и застал ее, и оттого, что не удалось сберечь этот быстротечный масловский шедевр. «Торпедо» шестидесятых, как никто более, выразило то время ожиданий, из которых футбольная команда едва ли не единственное, что сбылось, что стало реальностью (кто знает другие, пусть добавит) обманувшей всех, если по настоящему счету, оттепели.

Футболисты того «Торпедо» производили впечатление счастливых людей, у которых получается все из задуманного ими.

Буквально за сезон произошло превращение хорошей, известной, с традициями команды в суперклассную, очаровавшую болельщиков самых популярных клубов диктатурой стиля во всех подробностях игры.

И не в спортивной сенсации — впервые чемпионом стал не кто-то из трех московских суперклубов — был смысл той победы, а в непредсказуемой никем возможности эстетической переориентации. У «Торпедо» и электорат-то составлял автозавод с десятком-другим тысяч, если не преувеличиваю, чудаков-оригинов, почему-либо привязавшихся к Пономареву или к Иванову со Стрельцовым настолько, чтобы порвать с давними пристрастиями. Хотя обычно болельщики армейцев, «Динамо» и «Спартак» отделяли в своем восторге Эдика или Кузьму от остального «Торпедо». Теперь же «Торпедо» стучалось во все болельщицкие сердца всей командой — и стране грозила эпидемия болельщицких измен, чего, в общем-то, не бывает — суперклубам не изменяют, им остаются верны и в несчастливые для них времена.

Но «Торпедо» предлагало феномен превращения упертого болельщика в эстета и философа с критериями совершенно иными, чем те, к которым он привык.

В представлениях о футболе у нас в стране могла произойти революция. Но сезона для революции — тем более победы

революции — крайне мало. Сезону шестидесятого — в его торпедовском истолковании — судьба была превратиться в сон о футболе, чью плотность, непрерывность впечатления никакими словами позднее передать не удалось. Сами герои того сезона бывали и бывают в рассказах достаточно скучны и однообразны. Вкус первенства еще помнят, а вкус игры, обеспечившей первенство, или забыли, или, что вероятнее, не пробуют выразить. Но умрут с ним на зависть потомкам.

С тех пор прошло уже больше сорока лет. Масса последующих футбольных впечатлений, хлынувших на всех нас, к тому же растиражированных телеэкраном и закрепленных в перенасыщенной памяти повторами видеозаписей, должна бы, по безнадежной вероятности, размыть, размагнитить эстетический экстаз, вызванный торпедовской игрой, втянутой в плохо сейчас просматриваемую давность.

Но я и не надеюсь ощутить еще раз на своем веку энергию сна, облаченную в артистизм такой пробы на футболе. Я точно знаю, что больше не видел никогда такого раскрепощенного труда, такой веселой, самодостаточно пижонской, не знающей в себе сомнений спортивной молодости. «Торпедо» никого не громило, не подавляло, не терзало, а просто выглядело талантливее соперников во всем — от первой и до последней секунды игры, а не матча. После самых ответственных игр в шестидесятом году никто из торпедовцев не чувствовал себя измотанным: с удовольствием поиграли бы еще... И никакого страха перед любым противником — с нетерпением ждали начала матча, чтобы поскорее проявить себя. Это состояние в последующие годы никогда к ним всем сразу не возвращалось.

19

Со сборной Польши играли в Москве. Аншлага не было — польские футболисты не тронули воображения нашей аудитории, неизбалованной, но продвинутой в понимании футбола, как, может быть, никогда потом — но восемьдесят пять тысяч в Лужниках собралось. Из Испании на матч приехал тренер их сборной Эленио Эррера.

Валентин Бубукин говорил, что в основной состав тогдашней сборной СССР попасть было крайне трудно, зато тем, кто вошел в него прочно, игралось в команде легко: партнеры очень верили друг в друга.

С поляками разобрались на удивление просто.

Стефанишин — вратарь, очень понравившийся нам в приезд сборной Польши восьмилетней давности, когда сборная Москвы

проиграла гостям при своем дебюте в первый для нашего футбола олимпийский сезон, — пропустил от четырех советских форвардов семь мячей. Понедельник забил три гола, Иванов — два, Метревели с Бубукиным по одному. Маслаченко за пять минут до окончания матча пропустил единственный мяч от Поля с одиннадцатиметрового удара.

Самое, однако, сильное впечатление выигрыш у польских коллег произвел, как вскоре выяснилось, на тренера испанцев. Мы к тому времени, кажется, весь футбольный мир заразили политическим вирусом — и руководители футбола в Испании повели себя в стиле нашего начальства сталинской поры. Потребовали от тренера гарантий, что непременно выиграет. Но испанцы с поверженным нашей сборной в Москве противником сыграли менее впечатляюще — для того, чтобы забить семь голов, им потребовалось два матча. И Эррера воздержался от гарантий. Матч между сборными Испании и СССР не состоялся вовсе. И наша пропаганда раструбила, что режим Франко не захотел контактов с нашими футболистами. Игроки сборной СССР отчасти даже сожалели, что не померились силами с капиталистами. Кроме того, их забавляла знакомая ситуация, перевернувшаяся так, что осторожность оказалась вызвана страхом перед их силой.

20

В составе сборной — правда, среди дальних, как ему самому показалось, резервистов — был и еще один торпедовец — новобранец клуба Борис Батанов.

Когда по завершении сезона в зилловском Дворце культуры вручали золотые медали, приглашение принять награду Батанову вызвало в зале такой рев и овацию, что Иванов шепнул Борису: «Ну ты и даешь, Боб!»

В команде, всецело подчиненной в игровом поведении Иванову, Боб смело заявил о своей самостоятельности. «Дело не в лидерстве, — говорил мне Батанов спустя годы, вспоминая тот сезон, — а в уверенности, что поступаешь правильно. Иванов как привык играть? Он требует: дай ему мяч! И попробуй — не дай... А я возьми и развернись в другую сторону. Вижу: занял он позицию — я ему сразу же мячишко. И он вышел один на один. Забил таким образом десяточек голов — и больше никогда мне ни слова не говорил».

Аплодировали, я считаю, и тренерской проницательности Маслова. «Дед» не один, как уже заметили мы, сезон собирал свою коллекцию игроков. И вдруг накануне сезона шестидесятого в этот сбалансированный организм имплантировал — как же еще могло

показаться, когда компания сложилась целиком из своих? — двадцатилетнего (ровесник Иванова) Батанова.

Насчет «вдруг» я, конечно, обмолвился ради красного словца. Вдруг — в смысле энергии принятого решения, потаенного до поры.

Борис Батанов — москвич с Арбата. Истовый спартаковский болельщик — поклонник Николая Дементьева. Полгода занимался тринадцатилетним подростком у знаменитого детского тренера «Спартака» Александра Игумнова на Ширяевом поле. Но потом, по каким-то соображениям, решил тренироваться поближе к дому на стадионе «Метрострой». Вошел в юношескую сборную Москвы, но после медицинского освидетельствования у него обнаружили гипертонию — и запретили футбол. Но Батанов продолжал играть до службы на Черноморском флоте, где стал выступать за команду мастеров класса «Б», представляющую севастопольский Дом офицеров. Вот оттуда Николай Петрович Старостин пригласил Бориса в московский «Спартак». Но в составе сплошь из олимпийских чемпионов молодой человек не надеялся закрепиться, а сидеть в запасе ни за что не хотел. И уехал в Ленинград. В «Зените» Батанов играл настолько успешно, что Старостин повторил свое приглашение настоятельнее, но его опередил Маслов — выяснилось, что Борис уже дал «Деду» слово перейти в «Торпедо».

В сборную Батанова пригласили, возможно, не за торпедовские, а еще за ленинградские заслуги. Но повторялась история со звездным «Спартаком» — ничего, кроме запаса, не маячило. Борис самовольно уехал в Таллинн — играть за «Торпедо» календарный матч. И Качалин в наказание заменил его на Юрия Ковалева, который в основной состав так и не попал. А «Торпедо» явно не прогадало, что опытный новобранец весь свой игровой потенциал отдал клубу в самый ответственный момент его преобразования.

...Зимой чемпионам — студентам инфизкульты пришлось нажать на учебу: под марку лучших футболистов можно было все зачеты сдать. Но на зачете у одного уважаемого педагога произошла неувязка — он спросил Батанова: знает ли тот, за кого болеет преподаватель? И Борису пришлось узнать, что за «Динамо», которому забил не один мяч...

Анекдотический случай с педагогом Батанов по неосторожности рассказал на страницах журнала, который я тогда редактировал, — и когда Валентин Иванов встретил Бориса Алексеевича на презентации изваяния Яшину на стадионе «Динамо», то поинтересовался: «Ты один, что ли, Леве забивал?»

Но Боб никогда бы себе не позволил принизить значение Кузьмы — чему свидетельством рассказ, напечатанный в том же журнале:

«Я бы сказал, что повод вспомнить Кузьму нам дает едва ли не

каждая из нынешних игр. Когда, кстати, и хороших, что, согласен, сегодня — редкость, форвардов видишь. Им, может быть, и больше, чем бездарностям, не хватает такого партнера, как он. А совсем молодым — такого вот наставника, каким Иванов бывал для нас — и в клубе, и в сборной.

Мы с Кузьмой оба с тридцать четвертого года. Но я не стесняюсь сказать, что весь первый сезон в команде я у него учился, хотя своего лица и в таком партнерстве старался не терять... Вслух он мне, пожалуй, одну всего, но очень важную вещь сказал: «Боб, не разбрасывайся. Своего игрока бери — и из-под него играй. И всем нам будет легче...» И я всю суть торпедовской дисциплины из того замечания понял, когда мы ненужных, сбивающих с толку партнера ходов не делаем. Мыслим нам одним понятными категориями... Самое основное — игра без мяча. «Расставить» своими ходами противника на поле так, чтобы удобно было его обыгрывать. Каждый из нас занимает соответствующую позицию — и двигается. Когда это получается синхронно, играть становится намного интереснее. Вот сейчас смотришь на футболистов в игре — и не представляешь: а что они могут созидательного сделать? Игрок куда смотрит, туда и бежит.

Так вот, Кузьма всегда глазами показывает ход в одну сторону, а отдает мяч в противоположную. Причем решение (поворот ноги) происходит в последнее мгновение, когда противник запутан мельканием взгляда...

На тренировках я всегда работал вместе с ним: стреляли мячом друг в друга с небольшой дистанции, чтобы и отдавать точно, и принимать любой силы удар без отскока. Я не сразу это смог, но держался только Кузьмы, его уровня. Прибавлять в игре можно до конца футбольной жизни, пока тянет «мотор». Но главное — башка. Для того и техника, чтобы мысли осуществлять.

Когда я говорю про современность Кузьмы, про необходимость такого, как он, сегодняшнему футболу, я вовсе не чистые эмоции, эдакое неизгладимое впечатление, имею в виду. Я — про конкретные вещи. Я, конечно, сам не подсчитывал. Но специалисты подсчитали, что за тайм Иванов делал до тридцати острых предложений, причем на скорости. Позицию он чувствовал бесподобно (оттого-то и забил голов больше всех в «Торпедо» за всю историю клуба). Его ходы в редчайших случаях бывали холостыми.

От него зависело направление атаки. И он то направление умел варьировать. Сзади в подборе мяча он тоже участвовал. Оборона, правда, при нас была в ином, чем мы сейчас понимаем, плане — прыжков в ноги, подкатов не было. Иванов не вытаскивал мяч, не загребал под себя (при таком разе мяч, как правило, теряется). Он при отборе проткнет мяч назад своим — и отскочит сам на пару метров. И здесь же получает пас обратно, проскакивает мимо обезоруженных

противников — и сразу же начинается атака.

Кузьма отходил сколько нужно было для своевременного, обещавшего неожиданную атаку маневра. Основная же его направленность — на ворота — никогда не исчезала.

И не в том только дело, что он больше всех забивал. Он забивал — в чем и показатель уровня необходимости такого вот класса форварда — мячи в решающих матчах».

«Спартак» запоздал со сменой поколений — и временно не конкурировал в борьбе за первенство. Но ведь московское «Динамо» рассчитывало повторить прошлогодний успех под руководством самого титулованного в Союзе тренера Якушина. И каждый матч нового «Торпедо» с динамовцами превращался в игру на принцип.

Между ними шла теперь борьба на равных не только за первенство в чемпионате, но и в истории. Шла борьба за передел влияния на футбольное общество — ведущие игроки «Торпедо», болевшие с детства за «Спартак» и за «Динамо», отнимали теперь у этих клубов их аудиторию, перевербовывали тех мальчишек, что стремились в спартаковскую и динамовскую школы.

Они встречались между собой четырежды — и трижды игроки автозавода побеждали, и только первую игру в турнире они свели вничью. Якушин знал, что говорил, когда констатировал, что отечественный футбол можно поздравить с еще одной великой командой. И не по результату, надо было понимать, великой — «дубли» удавались и «Динамо», и «Спартак», и по количеству регалий чемпионы и обладатели Кубка шестидесятого года не смогли бы в скором времени стать с ними вровень, — а по игре, никого не копирующей, никому не наследующей.

Когда эталонная команда Маслова все-таки разрушилась и половина игроков разбрелась по другим клубам, бросилось в глаза, что выходцы из «Торпедо» в новых командах взяли на себя роль разыгрывающих, ведущих игру (теперь это называется по-иностранному «плеймейкер» — всё, по-моему, лучше, чем диспетчер) — даже самый ломовой торпедовец Олег Сергеев (по прозвищу «Мустафа»), когда перешел в луганскую «Зарю», смотрелся в ней на тамошнем фоне почти как Стрельцов позднейшего периода. Но в «Торпедо» шестидесятого ни Валентин Иванов, ни Гусаров, ни Метревели, ни другие не выделяли себя особо в организации розыгрыша мяча, не выпадали, иными словами, из комбинационной кантилены для выполнения отдельно озаглавленных действий; зритель безотрывно мог следить за линией действия всей команды, детективно развиваемой и восходящей к неожиданному завершению. Импульсивная логика торпедовцев-чемпионов исходила из глубинного понимания каждым не только достоинства каждого, но и недостатков, которые при их правильном использовании партнерами

оборачивались для соперников непредусмотренными достоинствами. Не было, например, в команде более отличающихся по игровым наклонностям футболистов, чем тот же Батанов и Олег Сергеев. Сергеев, наверное, мог и раздражать Батанова как эстета. Но на поле Борис проникался к Мустафе неизменной симпатией за те его качества, которые вносили резкую асимметрию в изящный командный рисунок. Батанов к Сергееву никогда близко не подходил — получив оперативный простор, Олег изматывал защитников рывками в разные стороны с безупречным, словно встал в газон, торможением. Защитник московского «Динамо» и сборной Кесарев кривился при виде Сергеева до слез, еще и на поле не выйдя, а только заметив крепыша-торпедовца в тоннеле, ведущем на арену...

21

Полуфинальный матч Кубка Европы в Марселе превратился в сольный концерт Валентина Иванова. Второй в этой игре мяч, забитый законодателем торпедовской моды на пятьдесят восьмой минуте, сломил противника прежде всего недостижимым уровнем исполнения остроатакующего замысла. Сам Кузьма считал этот гол лучшим в своей форвардской карьере. Начальник сборной Андрей Старостин схватился тогда за голову: «Фантастика». Иванов зацепил мяч в центре поля, прошел по месту левого инсайда до лобовой бровки — и по ходу возвращения назад, на идеальную для удара позицию, обвел (накрутил, как футболисты говорят) двух защитников и вратаря (в режиме атаки он фактически обыграл половину чехословацкой команды) и только тогда направил мяч в рамку ворот. А через шесть минут после ивановского гола Виктор Понедельник забил деморализованным соперникам третий.

Финал провели в Париже десятого июля. Телетрансляции опять не было. Но Николай Озеров провел свой лучший радиорепортаж. Ему в тот раз ничего не грозило — мы все жаждали той победы, как будто знали, что в двадцатом веке для нашего футбола она станет последней: первой в таком ранге и последней.

И Озеров — не стану настаивать, что в первый, но, по-моему, в последний раз — был прекрасен в неутраченной еще непосредственности, в умеренной, однако не отягощенной штампами красноречивости, в понимании игры, которое в дальнейшем предпочитал скрывать, настаивая на идеологической первооснове трансляций со спортивного зрелища. В дальнейшем наш главный комментатор лишь в хорошие минуты расчетливо использовал эмоциональные находки парижского репортажа, закрепил крик «Г-о-о-л», который воспроизводил регулярно. Тем не менее живые

нотки остались в памяти любителей футбола как реликт — отзвук узнавшего долгую славу матча...

Противник был равный по силам — сборная Югославии, победившая во Франции французов в полуфинале.

Югославы превратились для наших футболистов в исторического соперника. С матчами против них на протяжении десятилетия связан был и позор, и триумф. Югославы настаивали на реванше за Мельбурн на государственном уровне — Тито пообещал победителям не только приличные суммы премиальных, но и по земельному участку — социалистическая республика Югославия стояла ближе к буржуазному миру, чем могучий Советский Союз.

И, может быть, они были на поле поначалу чуточку раскованнее — на наших, как всегда, давила политизированная психология. Но скорее всё внутри команд происходило в Париже шестидесятого по схожему сценарию. Просто впереди у «югов» активнее действовали форварды-тяжеловесы — и защитников наших в первом тайме отчасти подмяли. Но гол залетел нашему Яшину почти случайный — мяч после прострела Галича попал Нетто в бедро — изменил направление, дезориентировав вратаря. И тут же закончился первый тайм.

К счастью, Качалин не силен бывал в разносах, скорее скучноват в резонных претензиях. Но тренер чутьем понял, что слово надо уступить Андрею Старостину, говорящему на понятном футболистам, но все же непривычном для них экспрессией отдельных выражений языке. Старостин сказал, во-первых, что «Карфаген должен быть разрушен». И дальше развил мысль в том направлении, что игрокам этого поколения дается последний шанс заявить о себе, как никогда, громко. Кроме того, спускаясь на футбольную землю, покрытую подстриженной травой, вечный спартаковец настоятельно посоветовал — не терпеть, когда соперники их бьют, дать им отпор в прямом смысле. И не успели игроки выйти на второй тайм, как после подката Бубукина один из югославов улетел с поля прямо в рекламные щиты.

Пошла, что называется, заруба.

Югославы в обороне не церемонились с противником, рвавшимся сквитать счет. Но все смело шли с ними встык, а центрфорварда нашего Понедельника выручало то, что щитки он надел на ноги и спереди, и сзади.

На мокром поле имело смысл чаще бить по воротам издали. И мастер таких ударов Бубукин, улучив момент, приложился метров с тридцати пяти — он вообще проводил наиболее удачный в своей жизни матч — пробил в левый от вратаря угол. Чутье не подвело Метревели — Слава загодя двинулся к воротам Виденича. И когда тот не удержал скользкий мяч, торпедовский грузин щелчком бутсы добил

его в сетку. Но при том, что у соперников не оставалось сил бежать и ноги сводило, для второго гола понадобилось добавочное время. И гол, забитый Виктором Понедельником (миллионы людей видели в кинохронике, как яростно и одновременно зряче набегают он на верховую передачу), пришелся аж на 112-ю минуту.

Руководитель нашей делегации на розыгрыше Кубка Европы Постников сказал, что не будет против, если победители позволят себе по бокалу шампанского. Он догадывался, что дозой этой вряд ли кто-нибудь ограничится, но вслух ничего больше сказать не смел.

Сначала собрались на официальный банкет для всех сборных, игравших в последней стадии Кубка, в ресторане на Эйфелевой башне. Иванов говорит, что наших футболистов чуть не разорвали на части владельцы самых великих европейских клубов, а президент «Реала» Сантьяго Бернабеу — призрак Испании не отпускал от себя наших игроков — именно тогда и предложил футболистам своей рукой вписать в готовый контракт любую сумму.

В гостинице, куда вернулись с банкета, продолжили тосты уже в узком командном кругу — в номере у Яшина собрались, кроме хозяина-постояльца, Иванов, Нетто, Воинов, Бубукин. Лев нажал на кнопку — и велел официанту принести фрукты и вино: фирменную двухлитровую плетеную бутылку. Затем заказ повторил Иванов, затем — все остальные. Сидели до утра...

В аэропорту «Шереметьево» каждого из игроков с женами и детьми посадили в отдельную машину (ЗИС или ЗИЛ, как у Нариньяни, не к месту он будет упомянут, в фельетоне) — и повезли в Лужники, где лучших футболистов Европы ждала стотысячная аудитория: ради такого случая аншлаг был на матче «Локомотив» — «Спартак».

Указ о награждении футболистов орденами и медалями был издан достаточно скоро. Но, очевидно, памятуя об упреках, высказанных разными лицами по случаю присвоения заслуженного мастера спорта Стрельцову, Татушину и Огонькову сразу после Олимпиады в Мельбурне, всем не имевшим этого звания победителям его присваивали в два приема. Сначала — Бубукину и Крутикову и только на следующий год — Метревели, Месхи, Понедельнику... Земельных участков никому не предоставили, но по нашим меркам советские власти не скупилась: отвалили по четыреста франков и выдали ордера, по которым можно было купить подержанные машины через комиссионный магазин.

ИВАНОВ В ОТСУТСТВИЕ СТРЕЛЬЦОВА

22

«Торпедо» долго не везло с вратарем.

В дублере Евгении Рудакове тренеры не распознали талант — и он уехал. Казалось, что Анатолий Глухотко в самое ближайшее время станет тем вратарем, какой необходим команде без слабых мест — в разгар сезона шестидесятого «Торпедо» всем уже виделось такой командой. Но в августе команда, без вызванных в сборную игроков, выступила в ФРГ. У «Шальке-04» выиграли 5:2, причем оба мяча с немецкой стороны забиты были в первые десять минут. Накануне следующей игры во Франкфурте игрокам сообщили, что местная публика выражает открытое, демонстративное даже неудовольствие тем, что отсутствуют знаменитости из сборной СССР. И поэтому во время матча возможны беспорядки. Лучшего раздражителя для москвичей нельзя было и придумать. Жестокость немцев в обороне не смущала — вели в счете 1:0, 2:1. Но в ответной атаке немецкий форвард бутсой выбивает ключицу вратарю Глухотко. Торпедовцы потом рассказывали, что завелись после этого хамства так, что ни одна команда в мире не смогла бы их в тот день остановить. На стадионе собралось немало наших соотечественников — русских, оставшихся после войны в Германии. Путь на родину был им заказан навсегда, но болели они за своих, как никаким фанатам не снилось. После трех подряд торпедовских мячей русская аудитория не унималась — и требовала новых взятий немецких ворот. И счет доведен был до унижительного для хозяев — 8:1. Полицейские оцепили нашу команду сразу после заключительного свистка рефери во избежание эксцессов. Но футболисты не замечали разъяренной толпы — видели только и навсегда запомнили слезы на лицах потерявших родину земляков.

Анатолию Глухотко сделали несколько операций, но ключица так и не срослась, на ее место поставили пластик.

Сменщик Глухотко — Поликанов — играл несравнимо слабее. И когда в финале Кубка он пропустил третий гол, Иванов сказал ему, что если они матч проиграют, то он его закопает прямо во вратарской площадке.

Но на всех остальных позициях торпедовцы выглядели, пожалуй, предпочтительнее тех, кто выступал на тех же ролях в сборной, привезшей из Парижа Кубок Европы.

Александр Медакин на правом краю защиты был моложе

Кесарева, подвижнее, читал игру гораздо лучше — и на следующий сезон Качалин взял его к себе. Виктор Шустиков попал в сборную уже при Бескове, но там ему пришлось играть не в центре, где он привык много плиссироваться, действовать позиционно, не отвечать ни за кого из вражеских форвардов персонально, — и в клубе он выглядел убедительнее. К тому же ему и Воронин помогал, как прирожденный стоппер, и Батанов назад регулярно возвращался — «Торпедо» в лучшем своем сезоне «дубль-вэ» уже никогда не играло, выбирало по обстоятельствам: или четыре — два — четыре, или три — три — четыре (в третьего полузащитника превращался все тот же Батанов). Физически сильный, злой в единоборствах Островский — Леха, как называли его в «Торпедо», — занял место левого защитника сборной только поздней осенью шестьдесят первого года, но задержался в ней дольше Медакина.

Журналисты ухватились за сочетание Воронин — Маношин. Торпедовских полузащитников непременно фотографировали вдвоем на обложках спортивных изданий, их пытались представить неразлучниками. И противоречие в этом игровом союзе замечалось лишь внутри команды. Вне «Торпедо» Николай Маношин оценивался в первый сезон игры за основной состав выше. Андрей Петрович Старостин говорил Иванову: «Есть у вас готовый игрок для сборной — Маношин». Но Кузьма возражал: «Не Маношин, а Воронин». На Маношине, кстати, пересеклись интересы «Спартака» и «Торпедо». Когда Николай учился в ФШМ, он входил в молодежную сборную, которая готовилась в Тарасовке, и его немедленно прозвали «Гусем-2». Он походил на Нетто — длинный, сухой. Играл, все считали, в той же манере. Но Бесков, принявший «Торпедо», отбил Колю у «Спартака». За место в сборной Маношин с Игорем Александровичем поборолся на волне всеобщего восхищения «Торпедо» начала шестидесятых. Но сыграл за сборную Союза всего восемь игр. В Чили ездил запасным — Качалин так и не решился выпустить его на поле, хотя перед матчем с чилийцами на утренней разминке, когда начальник команды Андрей Старостин спросил: готов ли он сыграть сегодня? — Маношин ответил, что разорвет любого, настолько чувствует себя готовым. Но в «Торпедо» больше верили в перспективность и данные Валерия Воронина. Понимали, что в физическом отношении Маношин ему уступает и нуждается в помощи — пахоте Бориса Батанова, способного выполнить больший объем работы (отсюда и вариант с тремя полузащитниками). Впрочем, были у Николая и горячие поклонники, продолжавшие ставить его выше, восхищаясь его технической оснащенностью: он мяч на голове, допустим, мог через все поле пронести. На мой взгляд, игра Маношина — эффектная рекламная пауза в насмешливой вязи комбинационной игры, присущей и футболистам торпедовской

обороны.

Валентин Иванов из-за занятости в сборной провел чуть больше половины игр — и Юрий Фалин, уступивший место левому инсайда Батанову, в самом знаменитом торпедовском сезоне тоже был на высоте, сыграв с девятью забитыми голами правым полусредним. Иванов забил восемь мячей. Кирилл Доронин провел двадцать один матч — больше, чем Сергеев, но тот запомнился лучше в силу своеобычия. Больше всех голов — двенадцать — забил Геннадий Гусаров, отлично справившийся с амплуа вперёдсмотрящего...

...Великолепная в зрелищном отношении игра в прозе турнирного продвижения может заземляться грубее, чем хотелось бы, размышляв об идеале, когда стиль во всех случаях бьет норовистую посредственность.

Чемпионат шестидесятого проводился в двух предварительных подгруппах — и в финале набранные ранее очки не учитывались. Но «Торпедо» и на финал хватило, в отличие от сезона следующего года.

«Торпедо» намного предпочтительнее представляло в матчах против сильных клубов. Никому из именитых команд они в шестидесятом году не проигрывали. Могли продуть обе игры — в предварительной подгруппе — рижской «Даугаве» — и в Москве, и в Риге. Проиграть оба раза «Локомотиву» — например, 1:3, когда уже после победы в Киеве стали чемпионами.

Но армейскую команду побеждали дважды, московское «Динамо» — дважды. К «Динамо», как я уже говорил, проявлялась принципиальная беспощадность. Как бы сказал Андрей Петрович, «Карфаген должен быть разрушен». В одной четвертой финала Кубка они опять играли с динамовцами. (Много лет спустя случайно встречу опустившегося Олега Сергеева, отбывшего срок в лечебно-трудовом профилактории для алкоголиков, — и встанет сразу перед глазами черно-белая телевизионная картинка, где он, открывшись прямо перед динамовскими воротами, бьет прицельно в нижний угол — и Яшин бессилён. А второй гол забил Батанов, победили 2:0.) Оба раза переигрывали киевлян, которые на следующий год станут чемпионами. Решающая игра происходила в Киеве, но для того «Торпедо» никакого значения не имело: свое ли поле, чужое!

Этот во всем удавшийся «Торпедо» сезон, позволивший каждому, кто входил постоянно в основной состав, выразить себя максимально и стать тем, кем только и мог мечтать стать, высветил неожиданно праздничным прожектором драму торпедовца номер один на все времена Валентина Козьмича Иванова.

Премьер «Торпедо» и при Стрельцове имел полное право чувствовать себя непререкаемым вожак — он знал, что Эдик примет от него жертву покровительства с пониманием необходимости в их производственном союзе выдвинуть руководителем не того, кто

гениальнее, а того, кто гениальность эту поддержит, не теряя своего достоинства перед остальными. Остальные — их окружение. Остальные — не в счет, когда речь идет о главенстве в команде. Даже Метревели — его место с краю: пусть дорастет до центра...

В сезоне шестидесятого Кузьма надолго отлучался в сборную, где оставался первым — пусть лучшая игра его в Кубке Европы пришлась на полуфинал, а в финале Бубукин, Метревели, Понедельник и Нетто как капитан, принявший Кубок, выдвинулись на передний план. Сомневаюсь, однако, чтобы Бубукин или Понедельник ставили себя выше правого инсайда из «Торпедо»... И вот он возвращается в родной клуб в разгар самого великого в торпедовской истории сезона — и самому великому игроку открывается, что молодые, каждого из которых он вчера еще мог послать принести ему холодной воды из-под крана, справляются с лидерством в чемпионате и без него. Что первый он в данный момент среди равных. Конечно, рано говорить, что молодые игроки подтянулись на его уровень окончательно, но у них впереди вся жизнь в футболе, а ему двадцать шесть: он может показаться им ветераном-стариком. У них впереди — жизнь. И прожить ее они хотят, пережив взлет лидерства, чтобы не было мучительно больно и так далее, не надо продолжать...

В двадцать шесть лет, сыграв на своем высочайшем уровне небывалый по значимости для отечественного футбола турнир, титулованнейший из современных игроков, он должен теперь не просто способствовать всеми силами выигрышу командой впервые первенства, но и доказывать поверившим в свое особое предназначение мальчишкам его собственное первенство среди них.

И в последнем матче необыкновенного сезона Валентин Иванов ставит всё и всех на место.

Великолепное новое «Торпедо» на схваченном октябрьским морозцем поле вряд ли одолело бы тбилисцев, для которых всегда оставалось неудобнейшим противником, не сыграв один из наиболее памятных своих матчей Кузьма.

Выпавший снег смели с поля, но сугробы белели в прожекторном свете — и должны были одним своим видом создавать для южан внутренний дискомфорт. Но ничего подобного — никогда прежде динамовцы из Тбилиси не показывали себя столь стойкими на чужом поле. Хочолава в прыжке отбил мяч рукой после удара с десяти метров правого края «Торпедо» Метревели — и Гусаров забил гол с пенальти. Это случилось на двадцать пятой минуте, а на двадцать шестой Барка уже сквитал счет.

Во втором тайме — на пятьдесят четвертой минуте — Гусаров снова забил после чисто торпедовской убийственной комбинации, разыгранной им с Ивановым и Батановым. Но всего четыре минуты понадобилось Калоеву, чтобы воспользоваться зевком Островского и

с излюбленной своей позиции перед воротами пробить головой...

Третий мяч тбилисцам — заслуга Иванова: замахиваться было некогда, он проткнул носком с места левого инсайда в дальний угол. И три бы минуты доиграть до победы, но оборонялись излишне суетливо, потеряв вблизи своих ворот Мелашвили.

За минуту до конца дополнительного времени Кузьма — теперь с правого инсайда в другой дальний угол — индивидуально организовал четвертый гол.

Тбилисцы в своем поражении обвиняли судью Цаповецкого. Не назначил пенальти «Торпедо». Гусаров, забивая второй гол, когда Иванов вывел его один на один с вратарем, находился в положении вне игры... Центральная «Правда» тоже поругала судью — видимо, и в Москве не всех радовало возвышение «Торпедо». Но обиженные тбилисцы все-таки понимали что к чему — и в поездку на Британские острова пригласили Валерия Воронина. А через продолжительное время на встрече с тбилисской публикой Валентин Иванов вызвал шквальную овацию грузин, когда великодушно согласился с тем, что рефери мог бы и назначить победителям одиннадцатиметровый...

23

Денежную реформу провели в шестьдесят первом году — и потом их было еще несколько. И сегодня совсем уж трудно изобразить величину вознаграждения торпедовцам за победу в чемпионате и Кубке. Пять дореформенных тысяч за первое место в чемпионате превращались в пятьсот рублей (с вычетом подоходного налога и за бездетность — 480), за победу в Кубке получалось чистыми деньгами сто восемьдесят (новыми, как тогда говорили).

Футбольная команда была не просто безубыточным предприятием, но и перевыполнявшим план на целую смету — команда стоила заводу 120 тысяч послереформенных денег — в эту сумму, в бюджет команды, входили и переезды, и питание, и премиальные. Пополнение клубной кассы происходило за счет сборов — переполненные стадионы команда собирала в каждом городе. В томской газете, когда «Торпедо» приехало на кубковый матч в их университетский город, напечатано было обращение к жителям окраин быть поосторожнее из-за систематических набегов медведей. Наверное, медведи, будь у них деньги на билеты, заявили бы и в центр — посмотреть на московских торпедовцев. Деньги, вырученные за билеты, распределялись тогда так: десять процентов забирало государство, пятьдесят пять процентов отдавалось победителям, тридцать пять — проигравшим. Но тратить заработанные на зрительском интересе деньги футбольный клуб мог только с

позволения ВЦСПС. Поэтому кое-какие денежки игрокам перепали — по окладу жалованья за первенство, по окладу как премия, еще за что-нибудь. И зимой не бедствовали — брали деньги в кассе взаимопомощи, чтобы летом отдать; после каждой тренировки, когда не было кормежки на сборах, полагалось по рублевому талону — так что и выпить, и закусить в межсезонье удавалось.

Насчет же машин, получаемых автозаводскими футболистами, — болтовня. В те знаменитые годы никакими машинами никого не баловали. Был автомобиль у Валентина Иванова после Мельбурна, ну и у Эдика Стрельцова, конечно, был бы, если бы его не посадили и матери не пришлось его «Победу» продать, чтобы с голоду не умереть и сыну передачу продуктовую собрать.

Перед финалом Кубка «Дед» и начальник команды Юрий Степаненко были в городском комитете партии — там волновались, как бы Кубок не уехал из Москвы, и выясняли: не нужно ли чего игрокам для поднятия духа? Я сразу вспомнил рассказы динамовцев, как их до войны перед матчем со «Спартаком» вызывали к Берии — и он тоже спрашивал про нужды и пожелания, приказывая полковнику-адъютанту все записать в блокнот, что футболисты скажут. Нарком удивлялся, что «Спартак» («пух-перо», как называл клуб Старостинных Лаврентий Павлович, намекая на промкооператорские корни команды с гордым именем) получает в день на питание больше, чем игроки, защищавшие чекистские знамена. Пообещав исполнить все желания динамовцев, Берия все-таки спросил: можно ли рассчитывать на победу в предстоящем дерби? И не услышав внятных гарантий, съязвил: «Может быть, вам за воротами роту автоматчиков поставить?»

Тренер и начальник «Торпедо» посетовали, что не могут женить двух молодых футболистов — Батанова и Медакина — нет у них квартир, живут в коммунальной. И под Новый год правому защитнику и левому инсайду предоставили однокомнатные квартиры возле автозаводского стадиона — они еще жребий бросили: кому на каком этаже жить? Медакин поселился на шестом этаже, а Батанов — на восьмом. А тем временем Софью Фроловну потеснили — смешно бы матери заключенного жить в отдельной квартире ведомственного дома. Оставили ей комнату в пятнадцать метров. О чем она и сообщила Эдику, а тот ее обнадежил, что все наладится, если будет он жив и здоров. Но это только маме в письме для утешения легко было сказать, что все будет...

До половины мне осталось сидеть год и четыре месяца, это значит в 1961 году в ноябре я по суду могу освободиться».

«...Курить я бросил с 30.1.60 года. Сегодня одиннадцать дней не курю. Возможно вообще брошу».

«...Одно только новое, это не курю двадцать дней...»

«...Здоровье мое хорошее и веду себя, как положено всем заключенным...»

«...Мама, давай с тобой договоримся — высылаешь то, что я попрошу. И не будем больше с тобой об том говорить. Я бы чувствовал себя хорошо, если бы знал, что ты здорова».

«...Работаю, остальное время (свободное) читаю книги... что принесет нам Новый 1961 год...»

25

Ни в лучшие, ни в худшие свои сезоны торпедовцы — по сложившейся в команде традиции — не были монахами и пуританами в быту. Но глупо говорить, что взлет их прервался из-за нарушения режима, хотя и не все пили по таланту, кто-то и по деньгам, которых чуточку стало больше у чемпионов и обладателей Кубка. И нельзя ни в коем случае считать провалом второе место в сезоне шестьдесят первого и глупый проигрыш донецкому «Шахтеру» в финале Кубка, что для заводского начальства стало достаточным основанием для отставки Маслова. Но Якушин знал, от чего предостерегает, когда в момент торжества произнес настораживающие слова... Выдающийся игрок выдающейся команды, ставший в ней же выдающимся тренером, лучше других представлял себе, сколько препятствий на пути становления суперклуба и суперигрока, в отношении к которым коварства никак не меньше, чем любви. Вокруг талантов и дел, в которые таланты вложены, всегда множество людей, готовых с огромной радостью разрушить созданный мир до основания...

Еще один суперклуб в Москве никому, кроме ЗИЛа, и не был нужен. А ЗИЛ, как вскоре выяснилось, не умел хранить, что имел. И в первую очередь Виктора Александровича...

«Дед» отличался от подавляющего большинства успешливых начальников тем, что поступал вопреки общепринятому. Схема самосуществования начальника проста и строится на контрасте: как можно меньше выражать самостоятельности и гонора в отношении вышестоящих — и максимум строгости в мелочах при обращении с подчиненными. Чем больше угодливости там — наверху, тем больше можно будет проявить диктаторского своеволия к тем, кто ниже.

А как поступал Маслов? Приезжает в Мячково перед ответственным матчем заводское начальство. Присутствует при

установке на игру. Маслов окидывает всех взглядом — и говорит игрокам: «Соперника вы знаете очень хорошо, как играть с ним, тоже знаете. Состав на игру прежний. У меня все». Поворачивается к начальству, у которого челюсти от подобной несолидности накачки отвисли, — интересуется: «А у вас есть вопросы?» — «Нет, — что им остается ответить? — мы только пожелать успеха хотели». — «Что же, желайте».

Профессионально? Профессионально. Только начальство никогда не забывает, когда из них клоунов делают. Пока выигрывал «Дед» все, что только можно, делали вид, что мирятся с его чудачествами. Но выступили чуть хуже — извини, Виктор Александрович, так командой не руководят.

Что считать ошибками Маслова? Мягкость, проявленную там, где за кнут было впору хвататься? Но «Дед» собрал команду из людей, которым бы еще играть и играть, — по их возможностям не один, не два сезона можно бы расти и прибавлять в классе. На тренировках он требовал от них максимальной работы — и они работали на совесть. А та известная раскрепощенность в быту, у нас никогда не поощряемая, помогала, по мнению тренера, накапливать в себе артистизм, необходимый для торпедовской игры.

Систему розыгрыша в сезоне шестьдесят первого усовершенствовали — очков, набранных в подгруппах, не отнимали. И в финальную часть «Торпедо» вышло с хорошим заделом: ближайшего конкурента опережали на шесть очков.

Правда, позднее вспоминали, что Валентин Иванов призывал молодых партнеров не зарываться, отнестись к черновой работе в обороне как к неизбежности, когда дело дойдет до игр с командами, не отказавшимися от претензий на первенство. Но молодые герои не видели себе равных по игровым возможностям — и предпочитали действовать на поле в свое удовольствие. Благо, что это радовало все увеличивающуюся торпедовскую аудиторию. Торпедовцы превращались в общих любимцев. И когда в трех турах потеряли пять очков, проиграв именитым командам, с которыми привыкли на поле действовать «от ножа», — московскому «Спартаку» и киевскому «Динамо» в Киеве, и сведя вничью в Москве матч с ереванцами, никто в «Торпедо» не разочаровывался. Стиль настолько завораживал, что — редкий случай — мы готовы были примириться с неудачами лидера.

Но самим бы торпедовцам спохватиться после финала Кубка. Создавалось впечатление, что команда перестает быть фартовой. Как бы ни велика была для донецкого «Шахтера» цена всесоюзного приза, «Торпедо» в том своем составе обязано было в игре, обещавшей клубу второй «дубль» подряд — что в истории нашего футбола прежде удавалось только «Спартаку», да и то в довоенных сезонах, —

умножить высокий класс на порядок действий, а не раскисать раздраженно из-за очевидного невезения: не шел мяч в донецкие ворота. Пропустив на первой же минуте «деревенский», как его трактовали в «Торпедо», гол, они и второй мяч в свои ворота посчитали глупым: он после удара Ананченко отскочил в ворота от бедра Шустикова. Но пропустили они еще и третий, а отквитал Метревели только один, хотя верняковых моментов Слава имел как минимум пять. А ведь, кроме Метревели, в финале за «Торпедо» и еще несколько мастеров играло, ставивших себя на голову выше, чем противников. И с ними недолго согласиться, но ведь и в чемпионате, легко одолев «Шахтер» на его поле со счетом 3:0, минимальную победу во втором круге в Москве вырвали тяжелейшим образом. Но все бы и простилось, и забылось, не удайся в московском матче с киевлянами удар через себя динамовцу Василию Турянчику, сделавшему счет ничейным, что и превратило впервые в чемпионов футболистов Украины, которых тренировал игрок послевоенного ЦДКА Вячеслав Соловьев, завершавший, между прочим, карьеру действующего футболиста в «Торпедо».

«Торпедо» дуриком, можно сказать, отдало первые призы, принадлежавшие бы им по праву, если позволено было бы разделять и оценивать по отдельности качество игры и результат. Неудача лишившихся по собственному недосмотру и первенства, и Кубка торпедовцев могла вызывать досаду. Но для знатока не было сомнений, что команда сохранила главное: игру. По игре они оставались сильнейшими. И неудача в соревнованиях наверняка оказалась бы полезной в педагогическом плане замастерившимся футболистам.

Но заводские начальники совершили одну из самых показательных глупостей в футбольной истории — хамски уволили великого тренера, только-только разменявшего шестой десяток прожитых лет. Причем в своем самодурстве не позаботились о мало-мальски сопоставимой по уровню с «Дедом» замене. Необъяснимо и равнодушие к произошедшей смене руководства командой знаменитых футболистов — и в первую очередь Иванова. Неужели нельзя было встать на защиту Маслова? Приходит мне в голову крамольная мысль: а не показалось ли кому-то из торпедовских фаворитов, что жизнь без «Деда» будет и повольтоннее? Чемпионский фундамент, при всей громкости одержанных побед, все же не был столь прочен, как в «Динамо» или «Спартаке». И постоянство чемпионской ноши не каждому из новых торпедовских талантов было по плечу. Валентин Козьмич, по своему обыкновению, скорее обидится, чем признается — тем более что теперь он всегда и всюду говорит, что лучше Маслова тренеров не бывает (и говорит это совершенно искренне, прожив завидную жизнь в футболе) — но мне

кажется, что он ревновал «Деда» к его новым увлечениям в молодой гвардии и причину неудачи, возможно, видел в преувеличении значения новой «волны».

Тренером вместо Маслова пригласили коренного торпедовца Георгия Жаркова. Жарков, как мы знаем, был хорошим поддужным при Александре Пономареве. Но в сезоне шестьдесят первого сам Пономарев заметно проявил себя на тренерской стезе — вывел харьковский «Авангард» на шестое место.

26

«...У меня к тебе просьба. Узнай у Алексей Ивановича Рогатина или у Иноземцева, могут ли они достать еще мяч (такой, какой прислали мне). Этот мяч хотят приобрести солдаты, которые нас охраняют. Если они смогут, то напиши, сколько он стоит. Солдаты вышлют свои деньги. Вы купите мяч и пришлите мне. Мама, если они купят мяч за свои деньги, то я его не приму. А эти ребята играют летом с нами в футбол. И они, увидев у меня мяч, очень просили, чтобы я узнал: можете ли вы достать такой же мяч им?

...Вот какие мои дела на сегодня, т. е. 4 марта 1962 года. Кругом тьма и не видно даже маленького просвета...»

«Здравствуй, мама!

Мама, у нас 11 марта 1962 года, т. е. в это воскресенье, будет происходить слет передовиков производства. Приглашаются и родители передовиков. Вот поэтому и пишу тебе. Ты сможешь приехать на этот слет. Родители будут в зоне находиться, и мы можем с тобой говорить хоть весь день. Ты посмотришь зону, как мы живем, посмотришь, где рабочее мое место. В общем, увидишь все. Слет открывается в 11 часов утра, и ты должна приехать к часам десяти утра в воскресенье 11 марта. На поезде, мама, едва ли успеешь. Сходи в «Торпедо» или к Алексею Георгиевичу, он, по-моему, не откажет. Это я тебя просто предупредил, если сможешь, а если нет, то, как ты просила, попробую на апрель взять суточное свидание...

Билет, по которому ты пройдешь в зону, если пройдешь, передадим здесь, на вахте...»

«...Сейчас работаю в конструкторском бюро копировщиком, работа чистая и хорошая... Я учусь в восьмом классе. Очень трудно, целый год не учился. Погода у нас плохая. Десять дней стояла хорошая, солнечная погода, а сейчас пошел снег, стало холодно, опять наступила зима. Но мы этому не удивляемся, ведь мы находимся на севере».

27

...Нельзя сказать, что в первом же послемасловском сезоне «Торпедо» рухнуло и развалилось. Но к середине сезона стало ясно, что оно перестало быть суперклубом, имея в составе тех же самых игроков — это все-таки был русский, по отношению к футбольному делу, конечно, любительский суперклуб. И никаким менеджерским методикам руководства не мог быть подчинен. Ему требовалась ненавязчивая каждодневность «дедовых» корректив — неформальность масловских отношений с каждым из игроков, когда к выполнению тренерского приказа футболист подготавливается всей жизнью в команде.

Заглядывая вперед, я бы сказал, что клуб, подобный «Торпедо» образца шестидесятого — шестьдесят первого, и не мог исчезнуть вовсе. Он влился в отечественный футбол, обогатив, облагородив его — и в общем сознании образ созданной Виктором Масловым команды долго не мог померкнуть...

В сезоне шестьдесят второго никто еще из основного состава «Торпедо», кроме Фалина, не ушел. И можно было ожидать, что Жарков — торпедовец же, повторяю, как-никак — не помешает показать футболистам, что уроки Маслова усвоены надолго...

Шестерых — Иванова, Метревели, Маношина, Воронина, Гусарова, Островского — пригласили в сборную, оспаривающую первенство мира.

Без них резервисты проявили себя с лучшей стороны — и в турнирной таблице стояли вполне достойно. Но настала пора вернуться на свои места игрокам сборной.

Через четыре года, после лондонского чемпионата мира, в киевском «Динамо» у Маслова сложилась точно такая же картина. Не ездившие на чемпионат Мунтян и Бышовец выдвинулись в основной состав — и «Дед» не подумал даже отправить их на скамейку запасных, механически возвратить премьеров на их привычные места. Киевляне стали в тот год чемпионами с полноправным участием Мунтяна и Бышовца. Жарков такого не смог себе позволить. Он к тому же не учел, что Маношин и Островский в Чили не выходили на поле, а те, кто выходил, утомлены и подавлены очередной неудачей. Резервистам, очень прилично заигравшим, подрезали крылья, а фавориты на положенную им высоту в том сезоне так и не взлетели. Заняли в итоге седьмое место. Жаркову в должности отказали.

28

Слух о торпедовских неудачах прошел по Руси — и Стрельцов о них узнал.

Он пишет Софье Фроловне: «Мама, что это „Торпедо“ в Шотландии проиграло 0:6, большой счет очень... Что такое случилось? Очень плохой результат, просто не верится. По-моему, еще ни разу наши футболисты не проигрывали за границей с таким крупным счетом, как проиграло „Торпедо“. Да, у них, видно, плохо обстоят дела. Я думаю, когда приедут, расскажут, что там такое происходит». (В декабре торпедовцы выступали в Шотландии — и были верны себе, нынешним. Самый сильный клуб — «Глазго Рейнджерс» — победили, а более слабым клубам проиграли. «Килмарнок» еще по-божески — 3:4, но «Хартсу» — 0:6...)

«...Получил от болельщиков письмо, вернее, открытку. Они пишут, что в команде разлад, Санек Медакин, Валерка Воронин и Генка Гусаров уходят. Они просят, чтобы я написал им, возможно, это их остановит. Но я не знаю, что писать, и вряд ли мое письмо поможет. Ведь они до этого не уходили, а сейчас, видно, есть на это причины. А раз есть причина, вряд ли их остановишь...»

«...Вчера расписался за отрицательный ответ. Вот тебе еще одно доказательство, что все эти ходатайства и просьбы остаются без внимания. Потому очень прошу, не ходи и не мучай себя... Я как-нибудь отсижу... январь шестьдесят третьего года не за горами... И прошу тебя, не пиши, пожалуйста, что кто-то, что-то обещал, мне уже все это надоело. И писать я больше никому не буду.

P.S. Мама, пойми правильно, я не буду писать больше никакую просьбу или что-то в том роде, а рабочим или совету пенсионеров я как отвечал, так и буду».

«В спецчасти сказали, что дело находится у т. Рубичева... Мама, ты меня только пойми правильно, если бы мне было 16 или 17 лет, тогда бы я написал т. Рубичеву письмо и, возможно, он обратил бы на все, что я пишу, внимание. А 25 возраст, когда человек самостоятельно отвечает за свои поступки. А это письмо только может вызвать у него улыбку, мол, нашел отца родного... я тебя очень прошу, не расстраивайся, если я не напишу это письмо. И потом есть в наше время очень хорошая поговорка „бумага все терпит“, и бумаги у нас достаточно, чтобы писать. Но ты знаешь, что писанину очень не уважаю, и это чувствуешь по письмам, они приходят к тебе нерегулярно, на что ты обижаешься».

(Да, «писанину» он не «уважал» — и уж действительно не узнали бы мы его пишущим, да несчастье помогло услышать одинокий

голос, который слышишь, перечитывая письма, когда человека с нами нет, да ведь и был бы, ни за что не повторил вслух сказанного в строчках, выведенных разборчивым детским почерком...)

Девушке Гале он тогда же писал: «Нового я ничего не пишу, только вот года незаметно уходят. О чувствах своих к тебе я тоже писать не буду, на бумаге мне они кажутся неестественными. Ведь на бумаге написать можно, что хочешь. А когда освобожусь, вот тогда и поговорим...»

«Галя, если можешь достать кепку, такую же, какую мне прислали, только размер 57 (другую цветом и не надо)... Деньги за кепку я передам с мамой... Только кепка чтобы была такая, какая у меня, и никаких отклонений...»

Девушка Галя (письма к ней он вкладывал в конверты, адресованные Софье Фроловне) его не дождалась. И в одном из писем маме сделана приписка: «Да, чуть не забыл, встретишь Галю, передай ей привет и пожелай ей счастья в семейной жизни. Правильно она сделала».

Но чуть раньше он писал — Софье Фроловне: «...некоторые пишут заочницам или своим девушкам коллективно. Затем получают от них письма и начинаются прения. Иногда смеются, возможно, над девушкой, возможно, над собой. Но это все нехорошо, потому я никому не даю читать свои письма и ни у кого не беру...»

«...Время летит быстро. Подъем у нас в шесть утра — по-московски: пять. Идем на работу. В пять — это по-московски: в шесть начинаются занятия и до половины одиннадцатого. Затем спать».

«...Еще я могу тебе посоветовать никуда не ходить. Это, по-моему, для тебя будет лучше. А ты со своим здоровьем доходишься, что ляжешь и не встанешь. А когда я освобожусь, то мне некуда будет ехать, никого у меня не будет... Ты же прекрасно поняла, что пять лет мне сбросила комиссия президиума Верховного Совета не по вашей просьбе, их заставил это сделать кодекс, но вид они сделали, как будто по вашей просьбе. Они знали, что мой указ будет по новому кодексу до 7 лет. А если оставить мои 12 лет, то им нужно было бы переквалифицировать статью с части 1 на часть 2. Ну ладно, то еще полбеды, пускай они думают, что сделали „благородное дело“. Ведь они и стоят на таких постах, чтобы делать „благородные дела“. Вот плохо, что приходится расстаться с „половинкой“. У меня была надежда на половину срока. А теперь все рухнуло. Не подходишь, говорят, у тебя 74 ст. А ведь 74 ст. я уже давно отсидел по ней. Мне дали 3 года, а я сижу уже четыре года. Уже просидел половину срока указа.

Но ты, мама, не расстраивайся, я ведь себя чувствую ничего, духом не падаю, и ты это видела на свидании. Теперь я буду

надеяться, что когда пойдет 26 мая 1965 года, меня отпустят. Ведь 26 мая 1965 года у меня исполняется 7 лет. Конец моего срока. И если посмотреть по годам, то осталось 1963 г., 1964 г., 1965 г., это, по-моему, не очень много... Вот, мама, наберись терпения и давай с тобой ждать этот год 1965...

Передай спасибо Алексею Георгиевичу Крылову (директор ЗИЛА. — А. Н.) за все хорошее, что он сделал, помогая освободить меня».

«...Здесь есть школа десятилетка. Разные подготовительные курсы: электриков, токарей и т. д. Но плохо, что нет футбольного поля. За зоной есть поле, но это надо ждать, пока станет сухо, только тогда нас будут выводить или нет, точно не знаю. Пройдет апрель, тогда будет видно... сейчас я работаю учеником токаря, учиться два-три месяца.

Мама, меня везде встречают ребята очень хорошие. Подыскивают такую работу, чтобы я меньше поднимал тяжестей, в общем стараются, чтобы я сохранил свое здоровье. И я тебя прошу: пришли мне денег, я им куплю что-нибудь. Да и мне на папиросы. Я ведь сейчас учеником работаю и денег мне не платят».

29

«...Вот я снова покидаю по счету уже четвертый лагерь... мне очень интересно, почему меня перегоняют с лагпункта на лагпункт, по какой причине. Вы там не писали никуда насчет моей учебы? Если это по причине учебы, то хорошо. А если по другой причине, то какую цель они преследуют, перегоняя меня из лагеря в лагерь? Ну, ладно, об этом хватит, поживем — увидим».

От того, что перевели Стрельцова ближе к Москве, лучше ему не стало. Начальник лагеря в Электростали сказал Эдику при начальнике его отряда: «Мне не футбол нужен, а план».

Он попал на так называемое вредное производство — работал на оборонном заводе, где для заключенных техники безопасности не существовало. Респираторов при лакокрасочных работах им не полагалось, как не полагалось для зеков и шумозащитных приспособлений в «громком» цехе.

Стрельцова послали на пескоструйное производство — шлифовать металлические поверхности с применением сжатого воздуха, использованием металлической стружки и кварцевого песка.

Через четыре месяца администрация нашла ему легкую работу — библиотекарем. Но как раз за то время, что провел он на шлифовке, и приобретаются такие болезни легких, как туберкулез и силикоз...

Не улучшила, разумеется, здоровья Эдуарда и работа на шахтах — самых страшных по условиям труда 41-й и 45-й шахтах рядом с Новомосковским комбинатом, где добывался кварц. Но на этой каторге в поселке Донское Тульской области встретился ему начальник местного управления МВД — энтузиаст футбола. И когда у Стрельцова оставались силы после изнурительного дня, он обязательно возился с мячом — мяч-то всегда и везде с ним был, но не всегда и не везде позволяли к нему прикоснуться — и даже совершал рывки на тридцать — сорок метров...

30

О матче в Тульской губернии сам Эдик почему-то не рассказывал, хотя нечто подобное тому, что там происходило, я от кого-то слышал. Но журналисты «Комсомольской правды» отыскивали бывшего зека Болохова, поведавшего корреспондентам о той проверке, какую устроила Стрельцову лагерная братва...

Зекам, с одной стороны, хотелось, конечно, посмотреть на самого знаменитого игрока в деле. Но с другой стороны, как же отказать себе в удовольствии поиздеваться над беззащитным талантом — в этом обычаи на воле и в тюрьме схожи.

«Стрельца» поставили в команду, где никто и по мячу ударить не умел, а в противоположную — тоже, разумеется, не профессионалов мяча, но персонажей, повидавших тюремно-лагерные виды.

Эдуард не первый год сидел — и догадывался, что его ждет. И некоторые меры предосторожности принял — к штрафной площадке близко не подходил, лишнего по шлаку не бегал, стоял себе, как в мирные времена. Но при каждом шаге Стрельцова охотившиеся за ним всей командой амбалы старались задеть его побольнее. Он, и бездействуя, был уже весь в синяках и кровоподтеках. А в ворота его команды влетело с десятков голов...

Стрельцов позорился под неумолчный свист. И он не выдержал — и «попер в дурь», говоря на языке его новоявленных коллег. И тут уж вся преступная орава оказалась перед ним бессильной. Шведское прозвище «танк» уместным здесь выглядело, как никогда. Он забивал гол за голом — зона редела, словно дело происходит на «Маракане». В поселке вольняшек случился переполох — подняли по тревоге отпускных вохровцев и пожарных. За зоной решили, что в лагере начался бунт. Тысячерукая толпа в бушлатах качала после матча Эдика.

31

«...Настроение хорошее, остается ровно четыре месяца до двух третей...»

«...Мама, у нас есть коньки „канады“. Мне, помнишь, давали играть в хоккей за „Торпедо“. Если они остались, то привези. Мы залили каток здесь и будем играть отряд на отряд».

«Попроси Бориса Павловича, если удобно, пускай возьмет в „Торпедо“ лыжный костюм и привезет мне в обмен, а то я этот весь в футбол потрепал. Но это, мама, при условии, если удобно, то спроси.

Мама, задержался с ответом в связи с переводом в новый лагерь. Теперь нахожусь на 45-ой, а не 41-ой шахте. В футбол мне запретили тренироваться, отобрали мяч. И, наверное, эти пять месяцев мне не придется до мяча дотронуться. Чувствую себя ничего, пока знакомлюсь в лагере. Мама, попроси Алексея Георгиевича (директора ЗИЛа Крылова, депутата Верховного Совета. — А. Н.), чтобы он переговорил с генерал-майором Хлопковым, возможно, разрешат мне тренироваться».

«Мама, к тебе приедет Гена Воронин, он тебе расскажет, как я живу и как себя чувствую.

Мама, я тебя очень прошу, Гена едет через Москву и несколько дней задержится в Москве. Я тебя как маму прошу: прими его хорошо. Прими так, как если бы я приехал. Гену ты знаешь. Саша тогда не мог выйти, вместо него вышел Гена. Пускай он живет у тебя, пока будет в Москве. Мама, я тебя прошу как сын, сделай это для меня. Прими его хорошо... Ты понимаешь, что такое для освободившегося человека Москва и, проезжая через нее, не увидеть все хорошее. Все, что на свете есть плохое, мы здесь видим. Так что не обижайся на меня, прими его хорошо.

Это мой друг. У меня по лагерю всего три друга. Витек — ты его знаешь, Гена и Санек. Когда Витек пришел следом за мной на 5-ый лагпункт, нас стало четверо. Мы вместе питались и делили все.

...Стал каждое утро делать зарядку, обливаться холодной водой, в общем, потихоньку начинаю готовиться к свободе. Правда, пока одни надежды, но через два с половиной месяца эти надежды могут и оправдаться к свободе. Так что, мама, наберемся терпения и эти два с половиной месяца подождем...»

«...С каждым днем все ближе и ближе возможность освобождения. Правда, дни вроде бы стали длиннее, но это закономерное явление, так как сейчас приходится считать месяца, а затем и дни придется считать. Но это видно будет только до школы.

С 1-го сентября пойду в 9-ый класс, время свободного будет

меньше. А все заключается в свободном времени. Чем его меньше, тем быстрее пролетает день. Мама, попрошу тебя, пришли мне, пожалуйста, авторучку и тетрадей, желательно, чтобы все были в клеточку...

Мама, ты эти месяцы лучше отдохни и никуда не ходи. Не расстраивай себя отказами, а я все сделаю, что от меня зависит».

«...Время идет, дни летят, правда, сейчас день тянется очень долго, но как бы ни тянулся, а две трети все ближе и ближе. Осталось сорок пять дней. В основном, скорей прошел бы декабрь. А там легче, пойдет январь — мой месяц. Правда, две трети в конце января, но, главное, месяц этот мой, поэтому легче...»

32

Письма Стрельцова надо бы не только читать, но и видеть. Особенно открытки, изготовленные по его просьбе самодеятельными лагерными художниками, — он шлет их Софье Фроловне ко всем праздникам: к Новому году, Первому мая, к Женскому дню, к «Октябрьским». («Я считаю октябрьские праздники, и так в этом благородном заведении я провел их пять, по-моему, достаточно. А ты как думаешь?»)

33

После неудачи — седьмое место для команды с без преувеличения сильнейшим составом чем же иным могло выглядеть, кроме провала: никому не было дела до того, что внутри компании начался разброд и компания перестала быть компанией — ждать в новом сезоне улучшения после понесенных «Торпедо» потерь вряд ли приходилось.

Во всех линиях команда потеряла едва ли быстро заменимых игроков.

Правда, при нынешней бедности тренеры бы засмеялись, скажи им про некомплект, когда во всех торпедовских линиях выступали живые классики: защиту возглавлял Шустиков, полузащиту — Воронин с Батановым, Кузьма с Мустафой определяли тонус игры впереди. Иванов с Ворониным оставались ведущими игроками сборной — их кураж передавался остальным. И наконец, появился настоящий вратарь — Анзор Кавазашвили.

Но, конечно, торпедовцы привыкли к гораздо большему выбору игроков — в недавнем прошлом все позиции оказывались ключевыми, поскольку каждую занимал высококлассный игрок, а теперь в атаке

чувствовалась явная необходимость в молодой энергии и силе. Сергееву было всего двадцать три года, но он мог действовать успешно только на краю, а в центр надо было кого-то спешно искать. Взяли из дубля ЦСКА юного Володю Щербакова — плечистого блондина, внешне чуточку напоминавшего Стрельцова, что для «Торпедо», на мой взгляд, не могло не быть важным или, по крайней мере, приятным...

Старшим тренером снова стал кадровый торпедовец, но более позднего, чем Жарков, призыва — Юрий Золотов. Своим помощником он сделал Бориса Хренова.

При знаменитых игроках в составе грешно бы говорить, что чемпионский аппетит был навсегда утрачен, но и сказать, что торпедовцев, разбазаривших такие многообещающие таланты, продолжали считать фаворитами, тоже оказалось бы преувеличением.

Вернувший Москве первенство «Спартак» с молодыми Логофетом и Севидовым, с перешедшим из «Локомотива» вратарем Маслаченко, с переехавшим в столицу Хусаиновым, с тренером Никитой Симоняном, рано узнавшим вкус наивысшего во внутреннем календаре успеха, не комплексовал больше перед «Торпедо», утратившим в изменившемся составе гипнотизирующую обольстительность своей игры.

В московском «Динамо» второй сезон работал тренер, обративший на себя внимание на периферии, — бывший торпедовец Александр Пономарев. Его динамовские руководители предпочли Всеволоду Блинкову, сменившему Михаила Якушина, чей провал в шестидесятом году подорвал кредит доверия к специалисту, с которым команда побеждала в шести чемпионатах. Премьера тренера Пономарева в столичном клубе прошла много успешнее, чем у Жаркова в «Торпедо», — бывший центрфорвард вывел динамовцев во вторые призы...

А военачальники, курировавшие армейский футбол, сделали точно такую же непоправимую ошибку, что дирекция ЗИЛа, отказавшаяся от Маслова, — уволили Константина Бескова, за два года сделавшего из никакого ЦСКА интересную команду.

Бесков пошел работать на Центральное телевидение — заведовать спортивной редакцией.

«...Как и ты, считать начал дни, раньше считал месяца, но теперь и время изменилось, и обстоятельства: подходят две трети». (Эдуард все время держит в уме срок отсидки, ему назначенный.)

«...Пишу письма, а на душе так приятно, пошел декабрь. Правда, время очень раннее — двадцать пять минут третьего, но очень важно, что ноябрь прошел, а день освобождения придвинулся.

А это самое главное. Пройдет двадцать пять дней декабря, и мне остается ровно месяц до двух третей...»

«...У меня все хорошо, здоровье, самочувствие, тем более, хорошее, так как до двух третей осталось пятнадцать дней...»

«...Духом не падаю. Но жду с нетерпением, какой дадут вам ответ.

Мама, если даже будет и отрицательный ответ, все равно мне сообщи».

«...Вышли, пожалуйста, какие-нибудь ботинки, рубашку и трусы. Ботинки с рубашкой я прошу для того, чтобы если придет положительный ответ, ехать домой мне будет не в чем, а мяч можно не высылать».

«...Самое главное, мама, что ты веришь мне, а я тебя больше не подведу. Не так уж много осталось ждать, чтобы они убедились в этом на деле, всего пять месяцев. Мама, ведь это не так долго. Правда?!

Крепко, крепко целую и много раз, твой сын Эдик».

«ВТУЗ БЫ Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКОНЧИЛ...»

34

4 февраля 1963 года в колонию приехал суд (судья, два народных заседателя и районный прокурор), чтобы огласить, говоря их языком, представление на условно-досрочное освобождение от дальнейшего наказания на Стрельцова Эдуарда Анатольевича.

Зачитали различные бумажки, характеризующие зека Стрельцова с хорошей стороны. Единственным случаем нарушения посчитали эпизод, когда его избили. Но наказанию за него он вроде бы уже не подлежал — все по справедливости... Для проформы судья спросил: осознает ли он свою вину? Ответил, что осознает.

Встречать его к воротам тюрьмы на черной «Волге» (машину дал парторг ЦК на ЗИЛе Аркадий Вольский, прежде руководивший литейным цехом) приехали Виктор Шустиков, администратор команды Георгий Каменский и, конечно, Софья Фроловна — у нее после всего пережитого и сил не оставалось выйти из машины...

Имя Каменского сейчас мало кому что скажет. Он, кстати, был по образованию архитектором — и в Мячкове, может быть, и осталась стела у ворот пионерлагеря (не знаю, что там теперь), изготовленная Жорой, когда он временно не работал с командой... Но в тот момент для Эдика появление у тюремных стен администратора команды мастеров наверняка многое значило. Казалось, что раз администратор здесь, то возвращение в «Торпедо» уже автоматически состоялось. За спиной Каменского виделись сборы, талоны на питание, билеты на транспорт — жизнь, словом, из которой его пять лет назад вырвали.

35

Когда же выяснилось — а выяснилось это, в общем-то, немедленно, как только впервые побывал он на заводе у начальства, — что освобождение совсем не означает возвращения в большой футбол, интерес к возникшему из небытия Стрельцову не то чтобы ослаб или снизился, но трансформировался в тот стойкий скепсис некоей страты неофициальной жизни, в которой мы жили, окончательно смирившись с безусловной условностью жизни официальной...

«Запрещенный» Эдуард Стрельцов мог вызывать — и вызывал — к себе величайшее уважение. Но приобретенный нами грустный

опыт подсказывал, что запрещение может быть и бесконечным. Что пока мы ждали его возвращения, будущее у Стрельцова, казалось нам, было. А сейчас, когда играть за мастеров ему не разрешают, никакого будущего нет — у заключения существовал срок, бюрократические же препоны срока не имеют. Ничего у нас в стране не бывает реальнее и продолжительнее, чем нелепости, освященные властью.

Он уходил в тюрьму молодым — и таким, каким нам тогда запомнился, казалось, останется до выхода на свободу. Но сейчас сообразили, что он стал на пять лет старше — и отведенное на футбольную карьеру время уже поджигает: играть ему осталось считанные сезоны. А ему пока выходить на большое поле и вовсе не разрешают... И разрешат ли?

Мыслящие и наблюдательные люди к моменту выхода Стрельцова из-за решетки ни в какие оттепели уже не верили.

Конечно, времена смягчились, если сопоставить со сталинскими, — не сажают, хотя в случае со Стрельцовым и это не подтверждалось.

Конечно, хрущевское «нельзя» столь категорично не воспринималось, как сталинское, но оно произносилось сверху по множеству поводов, оно сотнями видимых и невидимых шлагбаумов перегораживало ежедневное течение жизни, в шлагбаумы эти упирались судьба страны и судьбы всех ее отдельных граждан.

Тюремный срок кончился, а дисквалификация нет. Лишение профессии — и куска хлеба, который футболист ею зарабатывал, — вместо лишения свободы. Компромисс по-советски...

Брежнев потом остроумно скажет, что не лишают же работы слесаря, когда выходит он из заключения, так почему же футболиста надо лишать? Но для того, чтобы вслух произнести эту остроту, Леониду Ильичу потребовался дворцовый переворот, сделавший второе лицо в государстве первым.

Стрельцов стоически принял удар — запрещение продолжать футбольную деятельность — не запил (да и не на что было), не опустил, не замкнулся, стал обустраивать свой быт с непривычной для него активностью.

Я спросил совсем недавно сестру второй жены Эдуарда — Надежду, которая в шестьдесят третьем училась еще в школе, — как воспринимали тогда Эдика окружающие? Как знаменитость? Она сказала, что, разумеется, как знаменитость. Но — бывшую...

Уповали на чудо.

И чудо произошло — жизнь Стрельцова, жизнь игрока и человека без веры в чудеса и не вообразима.

Но произошло это чудо, когда очень многие (а может быть, и сам Стрельцов?) как раз и перестали в него верить.

36

К шестьдесят третьему году авторитет Хрущева был непререкаем, как некогда авторитет Сталина.

Кто бы из не посвященных в государственную жизнь предсказал тогда, что видимая непререкаемость Никиту Сергеевича и погубит.

Уничтоживший своих непосредственных соперников в борьбе за престол (Берию, Маленкова, Молотова и прочих), он к своим выдвиженцам на ключевые посты отнесся с презрением. Презрение такого рода он заимствовал из сталинской практики, но Сталин своих выдвиженцев периодически рокировал. Хрущева же, не расстрелявшего никого из подвергнутых опале, боялись меньше — и его-то кажушемуся всевластию сумели найти возражение.

В общем, только свержение Хрущева вернуло футболу Стрельцова. Второй раз за пятилетку судьба Эдуарда оказалась в прямой зависимости от бульдожьей свары под кремлевскими коврами.

37

Верил ли сам Эдик, что будет еще играть в футбол за мастеров? Или второй раз за двадцатисемилетнюю жизнь расстался мысленно и окончательно с футболом? В данном случае, примерив и рубище ветерана...

Когда я впервые пришел к нему домой, он рассказывал не без гордости, как он учился во ВТУЗе (десятый класс он, пока сидел, не успел закончить, доучивался в вечерней школе уже на свободе), как занимался математикой с Галиной — сестрой жены (Галина — сейчас, между прочим, кандидат физико-математических наук — находила у него способности к точным наукам...). «ВТУЗ бы я обязательно закончил, — уверял Эдик, — но тут меня взяли в команду мастеров и занятия пришлось бросить...»

«Ну и что я потерял, — неожиданно сказал, отвечая, видимо, каким-то своим мыслям, Стрельцов, только-только завершивший карьеру футболиста, — смотри: какая у меня квартира?»

Пройдет время, я лучше узнаю Эдуарда — и пойму, что в кажущихся нелогизмах, забавляющих тех, кто общался с ним и потом пересказывал их как анекдоты, его личная (с иной он, по-моему, редко оказывался в ладу) логика обязательно есть. Любым зацепкам за реальную, вне футбола вернее, жизнь он стал после тюрьмы придавать особое значение. В момент нашего разговора с неожиданно возникшим в нем ВТУЗом Стрельцов понимал, что ноги не смогут

дальше кормить его так, как кормили, — и поиск судьбы с другим поворотом неминуем. Воспоминание о том, как смог он — без поблажек, положенных действующему футболисту, — заниматься математикой, придавало ему уверенности. А трехкомнатная квартира в хорошем доме была прозаическим, но надежным итогом работы его в футболе. И он не про славу, которая — Стрельцов уже знал про это — может и забыться, говорил, расставшись с футболом, а про квартиру, про крышу над головой, про дом, где живет семья стрельцовская. Он и позднее с не вполне трезвой настойчивостью твердил: «У меня есть дом», добавляя любезно: «И я тебя рад в нем принять». Дом — это то, что он особенно полюбил в своей жизни после освобождения. Домоседом — в полном смысле слова — он так, наверное, и не стал. Но человеком в некотором смысле домашним он постепенно сделался — и думаю, что под влиянием второго брака...

38

Первая жена Алла вспоминает: «Милке было годика два (Людмила, дочь Эдуарда, напомним, пятьдесят восьмого года рождения. — А. Н.). Вдруг являются какие-то молодые люди (я их не знаю, так поняла, что какие-то перовские): «Мы вот сфотографируем вас, он просил снимки прислать». Как-то всегда неудобно людям отказать. Сделали они несколько снимков и мне потом передали и ему, видимо, отправили. И вот тут я уже как-то в мыслях возвращаюсь к нему и возвращаюсь. И начинаю думать, что, может быть, все-таки как жена я тоже не все предприняла, что надо. Я ему написала письмо. Ничего особенного там не написала, но задала ему в конце вопрос, что он будет делать, когда он появится. Он мне ответил очень быстро, но письмо такое пространное. Ничего особенного о себе и никаких вопросов обо мне, ну чтобы там была особенная ласка: «Прости, как там твой ребенок?» И самое главное — ответ на мой вопрос такой, что мы там еще посмотрим, что я буду делать и какая у меня будет жизнь. В общем, ничего не известно, и сейчас я ничего не знаю и ничего не могу предположить. Я вообще-то давно решила, что тут ничего быть не может, но как-то хотелось чего-то все-таки.

Никогда Софья Фроловна не появлялась посмотреть на свою внучку, никогда. Первый раз моя свекровь и мой муж бывший увидели Милу — ей было пять лет. Ой, ну сначала-то увидела его, бывшего мужа, я. Я собиралась на свидание и вдруг увидела в окне — пальто, кепка... все такое знакомое. Ходит с кем-то рядом. Боже мой, так это же он! Смотрю, даже узнаю, с кем он там был. Ходят вокруг моего дома кругами. Думаю, неужели опять не поднимется человек — и не бухнется, ну уж ладно там на колени, ну, хотя бы на одно колено? Нет.

Мама с Милкой гуляли в это время. Я, конечно, занервничала. Мне, честно говоря, чего-то и не очень хотелось той встречи. И вдруг приходит мама того парня Жени Лаврищева, что с ним ходил (бедная женщина поднялась с отдышкой на четвертый этаж). Вошла и как-то так: «Ой, а где же девочка твоя?» Я говорю: «А что такое (я уже понимаю, какой будет дальше разговор)? В чем дело?» — «Ой, девочку твою поглядеть бы, Софья Фроловна приехала, Эдик вот пришел...» Ну, во мне, знаете, бунт. Говорю: «Это же все-таки не кукла! Что значит — поглядеть? Живой человек, ребенок! Мама с ней гуляет». Что-то я ей такое поглубей сказала, теперь уже не помню, что. Она: «Ой, какая ты, оказывается, грубая, а я и не знала. Правильно про тебя говорят». Ну, думаю, это значит, про меня еще и говорят. Все, не нужны никакие встречи, я собралась и ушла из дома. Вернулась только поздно вечером...

Всю жизнь говорю, что я хожу под Богом, что он меня бережет. Я бы не смогла с Эдиком жить. Вот вы все его любите, но жене с ним жить — то очень тяжело. Когда я поздно вернулась домой, мама мне говорит: «Если бы ты знала, где мы были!» Оказывается, была такая трогательная встреча, мама моя сказала: «Милочка, ты посмотри, кто это к нам пришел?» (Она маленькая, бывало, на горшке сидит и треплет его фотографию: «Папа мой, папа мой...») Девочка в слезах бросилась к нему, и он, в общем, как-то очень, очень такотреагировал...

И что же дальше? А дальше все. Никакого примирения. Мы не примирились, больше он не приезжал, а Софья Фроловна приезжала один раз в детский садик на Милкин день рождения, 29 марта. Он — нет, он совершенно пропал и, видимо, решил, что его не очень-то хотели.

И дальше он женился, наверное, вскоре, я даже не знаю толком, когда».

Она еще вспомнила, как он прислал ей письмо из Кирово-Чепецка, где сидел: «Это было, наверное, за все время настоящее объяснение в любви на бумаге. Хорошее было письмо: „...если ты согласна, мы все равно поженимся...“»

39

Что мог сделать завод для дисквалифицированного футболиста Стрельцова? Принять на работу в инструментальный цех с крошечным жалованьем. Когда он в сентябре шестьдесят третьего года женился на Раисе, то, вспоминает ее сестра, жили в основном на зарплату жены, работавшей в ЦУМе.

На заводе он как-то и увидел Аллу. «Что? — спросила

любопытная Лиза (Зулейка), — сердце, небось, екнуло?» Он не стал отрицать, что екнуло. Но с непроходящей, когда говорил об Алле, ревностью тут же добавил: «У нее теперь умный еврей...»

Кого конкретно из «умных евреев» имел он в виду — не знаю. Но приведу Аллин рассказ: «Я перешла работать на ЗИЛ. Меня позвали с небольшим совсем перепадом в зарплате. Попала в замечательный коллектив. Какие меня окружали люди! Сначала отдел главного конструктора, потом управление, оно потом какими-то жуткими, корявыми буквами стало называться, но дело не в этом. У меня был начальник (меня, конечно, взяли в секретарши — кем же еще!) — главный конструктор ЗИЛа Кригер Анатолий Маврикиевич. Его знал весь западный автомобильный мир, его сто тридцатая прыгает до сих пор по нашим дорогам, и очень многие другие — сто тридцать первая военная модель, например, и всякие-всякие там еще. Он меня очень любил. И я его так уважала. Он был такой красивый, такой умница. Я вообще считаю, что он меня и говорить-то научил. Если я уж умею что-то, так всему меня научил он. Двадцать лет я с ним проработала. Он, бывало, со мной только так: „Ну что вы смотрите на меня своими прекрасными глазами? Записывайте“. — „Да зачем, я все помню“. — „Нет, вы записывайте, тренируйте свою память“. Тогда секретарь — никакого компьютера, а все — и почта входящая и исходящая, постепенно ее становилось все больше и больше. Короче говоря, я на работе была занята до зубов, хотя вроде тачки с кирпичами не таскала, ни минуты у меня свободной не было. Женщины, которые так, повольней — инженерши, все время говорили: „Уж ты и не остановишься, ну хоть бы поговорить...“

И начальники бюро у нас были чудо, но уже теперь многие умерли. У нас в отделе, я знаю точно, никогда не было никаких антисемитов. Начальники бюро (полно было евреев) очень многие пришли из сталинских лагерей. Гольдберг, Сонкин, Фитерман... Я Фитермана знала уже потом, когда он наезжал к нам из НАМИ, а все его друзья рассказывали про него всякие чудеса. Он однажды потерял фотографию с пропуска, а у него такой носик... Он вклеил картинку марабу и долго ходил с этим пропуском, пока кто-то из вахтеров все-таки не разглядел, что это там такое. Но что-то я отвлеклась...»

Эдик с его-то чуткостью, скрываемой обычно за чуть грубоватым безразличием или усмешкой с ворчанием-бурчанием, мгновенно понял, что отвлеклась она, бывшая жена, всегда им подозреваемая в излишней ветрености, в сторону ученых и высокооплачиваемых, уважаемых людей, в сравнении с которыми он сейчас, оторванный от футбола, проигрывает.

В приступе неуверенности в себе нынешнем ему, видимо, захотелось чего-нибудь попроще, по его сегодняшнему, рабочему плечу. И он ничего лучше не придумал, как обратиться к Зулейке с

просьбой — познакомить с девушкой. И Зулейка познакомила...

Потом, в сердитую минуту, Софья Фроловна Лизу иначе как свахой не звала. Софье Фроловне не угодишь — кто из женщин в мире достоин ее Эдика? Впрочем, в Раисе ей понравилась стать. Она — уже в хорошую минуту — заметила, что они — Раиса и Эдуард — пара. Кстати, и сыну нравились всегда крупные — в теле — женщины.

Вообще-то какое-то время Эдик скрывал Раису от мамы. Не хотел больше ее вмешательств. На шестом этаже дома на Автозаводской, где внизу рыбный магазин, Раиса появилась уже, когда Эдуард в ее семье был своим человеком. В семье Раисы Стрельцова приняли как родного — и мама (отец к тому времени умер), и обе сестры. «Он стал нам как брат», — говорит теперь Надежда. Но мне почему-то кажется, что и Галина (я с ней не знаком), и хорошенькая школьница Надя были к Эдику равнодушны. Надежда рассказывает, что ей Эдуард показался очень взрослым, очень надежным человеком, естественно занявшим место единственного мужчины в их семье. Девушки не увлекались футболом, но Надежда вдруг вспомнила, что сороковой день по их папе пришлось на суд над Стрельцовым — и собравшиеся у них в доме двоюродные братья и другие родственники обсуждали случившееся со знаменитым футболистом. Тещу и сестер жены Эдик поразил открытостью своей к новой родне — на первом же семейном торжестве, когда собрались в квартире на улице Сайкина (это в начале Автозаводского моста) всевозможные дяди и тети, Эдик при прощании с гостями стоял у притолоки и всех, как ставших близкими людьми, целовал, к чему в семействе Раисы привычки не было. Чувствовалось, что потянуло его в дом, в семью — словно вся бывшая его неприкаянность искупалась лаской большой Раисиной семьи, его принявшей. В непосредственности своего доверия к новой родне он бывал трогателен до комизма. Как-то — уже позднее, когда начался самый футбол, — он сел на горячую плиту в турецких банях и болезненно обжег задницу. Рассказывая о случившемся Надеждиной свекрови Александре Никаноровне, он в порыве откровенности спустил штаны, демонстрируя след от ожога. «Деточка моя», — запричитала Александра Никаноровна. Сестры вышли замуж позже, чем Раиса. И как старший теперь в семье мужчина Эдик наставлял молодых мужей, как им себя вести в новообразованных семьях — себя он к тому времени считал, вероятно, идеальным мужем. Он приходил в школу на выпускной вечер к Надежде. Он привозил девочкам-сестрам вещи из-за границы — у нас тогда чего же можно было купить? Однажды он привез Галине розовое ажурное платье для защиты диссертации — и ей пришлось обменять этот роскошный наряд у Раисы на что-то более скромное и строгое, приличествующее моменту. Но тогда Эдик презентовал ей туфли из Италии...

Я, кажется, слишком заторопился к диккенсовскому эпилогу, которого в стрельцовской жизни и не могло быть... А важнее для понимания ситуации, в которой очутился он в шестьдесят третьем году, задержаться на его заводских буднях.

Во ВТУЗе он учился на факультете двигателей — и его поставили на работу по специальности: в ОТК.

В ОТК он сначала тоже работал слесарем, делал то, чему его в позабытой жизни научили на «Фрезере». Профессиональные водительские права он получил позднее, а поначалу на испытаниях сидел рядом с водителем. Машины брали с конвейера — Эдик вспоминал, что они испытывали грузовые модели: 130-ю и 157-ю, — разбирали их, рассматривали обнаруженные дефекты. Полигона на ЗИЛе тогда не было. Обычно уезжали в командировки, где и проводили испытания: столько-то ездили по асфальту, столько-то по булыжнику, столько-то по бездорожью.

40

Сезон шестьдесят третьего года показался мне малопримечательным оттого, может быть, что стойких привязанностей почти не осталось у меня ни к одной из команд. Догадайся я, что откатившееся назад «Торпедо», переставшее соревноваться с вернувшим себе лидерство московским «Динамо» и «Спартак», — черновик той команды, какая сложится через год, присмотрелся бы к торпедовцам повнимательнее. А так запомнился мне количеством забитых им мячей Миша Посуэло — испанец, оцененный столичной богемой и органичный в интерьере ресторана Дома актера, куда приходил он с красавицей-кинозвездой Викой Федоровой.

Московское «Динамо» при Пономареве могло стать чемпионом еще в сезоне шестьдесят второго. Всё решалось в последнем туре, победы динамовцы в Ростове, а «Спартак» проиграл в Киеве их украинским одноклубникам. Но «Спартак» выиграл, их земляки сыграли вничью.

Через год «Спартак» провалил финиш — и команды поменялись местами. Никто и не думал, что в следующем сезоне Москва потеряет свое первенство.

В том же году — ближе к осени — новый тренер появится у сборной СССР. Точнее сказать, у сборной снова сменится тренер.

...Неудачу на чемпионате мира нельзя не признать неудачей Качалина. Его и сняли. Но в первую очередь в наказание за результат, не вникая в причины: почему опять сборная СССР не сыграла в свою силу?

Видный сталинский нарком, трагически закончивший свои дни,

говорил: «У каждой ошибки есть свое имя, отчество и фамилия». Эти его слова нравоучительно цитировал Никита Михалков в самом начале горбачевской перестройки. Но футбольному начальству мысль Орджоникидзе ведома была и в шестьдесят четвертом году. Винили Льва Яшина, винили Валентина Иванова. Яшин, и на самом деле, был в Чили не в лучшем своем состоянии. Но у него накануне чемпионата вырисовывался очень перспективный сменщик — Владимир Маслаченко, игравший, пожалуй, весь шестьдесят первый год лучше, чем Лев Иванович. Однако руководство сборной не хотело делать прогрессирующего Маслаченко первым вратарем, хоть он из кожи вон лез, чтобы доказать, что готов лучше Яшина. И в контрольном матче действовал слишком уж — не адекватно важности состязания — отважно и рискованно, получив тяжелейшую травму. Больше он за сборную и не выступал, хотя перешел из «Локомотива» в «Спартак», чего от него и требовали. А Кузьма был обвинен в том, что он, форвард, не стал перекрывать чилийца Рохаса, нанесшего удар по яшинским воротам...

Но сильные игроки, входившие в тогдашнюю сборную, могли бы сыграть и лучше — и дойти до полуфинала, при большем везении. И никто бы не обвинил Качалина, что его команда за четыре года не успела перейти на систему четыре — два — четыре. Играли опять с пятью — пусть и очень приличными — форвардами.

Качалина заменили Никитой Симоняном.

Под водительством Симоняна сыграли один матч — в Москве, в мае шестьдесят третьего. Проиграли шведам. Матч этот примечателен, на мой взгляд, тем, что тренер поставил на игру Яшина, который после пропущенных в Чили голов вызывал неудовольствие публики и всерьез одно время подумывал: не заканчивать ли с футболом? Пропущенный от шведов мяч не сделал неблагодарную аудиторию добрее к Льву Ивановичу.

Да и у Никиты Павловича сборную отобрали.

Когда-то в телевизионной игре-шоу, определявшей, кто более «матери»-истории — футбольной, конечно, — ценен, Симонян проиграл очко Бескову — и не пытался скрыть обиды. Обижены были и поклонники Никиты Павловича.

Василий Трофимов мало о ком из игроков говорил хорошо, не исключая и партнеров по классической линии динамовской атаки. Но своим динамовцам, даже невысоко им ценимым, он отдавал предпочтение перед спартаковцами и цедзковцами. Карцева безоговорочно ставил выше Николаева, а Бескова выше Симоняна, добавляя с неожиданным в нем вне поля темпераментом, что «Костя во всем превзошел Симоняна». Мне — по детским впечатлениям — тоже казалось, что Бесков — фигура в центре атаки покрупнее Симоняна. Но и футболисты, выступавшие в одно с Никитой

Павловичем время (например, Валентин Бубукин), и приверженцы «Спартак» со мной не согласны. Им Симонян представляется выше. Однако, оспаривая мнение телеэкспертов, давших центрфорварду Бескову на очко больше, чем центрфорварду Симоняну, обиженные их решением господа спешили счесть Никиту Павловича и тренером лучшим, чем Константин Иванович, ссылаясь на то, что бывший спартаковский игрок приводил к победам не только «Спартак», но и ереванский «Арагат», выигравший в одном сезоне и первенство, и Кубок.

Вот здесь раз в жизни позволю себе быть категоричным — и рискну остаться с убеждением, что приход Бескова в сборную вместо попробовавшего себя в работе с ней Симоняна стал поворотным моментом в жизни национальной команды.

Впервые в сборную СССР пришел тогда тренер, точно знающий, чего он хочет от команды, в которую он собрался привлечь не просто лучшие с общей точки зрения силы, а только тех, кто отвечает именно его представлениям о футболе.

Каждый из игроков той команды — Яшин (правда, на игру с итальянцами в Москве Константин Иванович поставил Урушадзе, не уверенный, что кризис Львом вполне преодолен, но вот при своем тренерском дебюте на матче с венграми он именно динамовцу доверил ворота), защитники Дубинский, Шустиков, Крутиков, Шестернев, полузащитники, любимцы Бескова Воронин и Короленков (от Игоря Нетто Бесков отказался сразу же — у Симоняна он сыграл последний раз двадцать второго мая против шведов, правда, в отсутствие Воронина, а ровно через четыре месяца капитаном реорганизованной новым тренером сборной стал Валентин Иванов) и линия атаки: Численко (заменивший Метревели), Иванов, Гусаров, Хусаинов (а не Месхи) — представлял собою как бы оптимальную материализацию тезисов Бескова о том или ином игровом амплуа, при разложенном к тому же (или все-таки, лучше сказать, сложенном?) тактическом пасьянсе.

С еще додинамовской тренерской поры Константина Ивановича — с очень резким в оценке этого человека единодушием — считали более всего преуспевшим в тактике. И недруги, и скептики отмечали безграничность бесковской изобретательности. Всех зарубежных знатоков он обезоружил загадкой построения игры сборной против Италии в матче на Кубок Европы в шестьдесят третьем году: чистый край Численко сыграл у него инсайда, когда все уже забыли про существование инсайдов. Причем действовал Игорь совершенно по-разному в первом и втором таймах. Весной же следующего года, когда играли со шведами в Стокгольме, Бесков неожиданно освободил левый фланг, куда должен был вырываться полузащитник Короленков...

Если я и перебарщиваю в похвалах тренеру и его сборной — то, несомненно, еще и потому, что испытал с молодости сильнейшее воздействие спонтанного комментария, произнесенного на одном дыхании Аркадием Галинским на четвертом этаже редакции «Советского спорта», в просторной комнате отдела массовых видов, где работали журналисты утраченной ныне квалификации: Немухин, Тиновицкий, Дмитрий Иванов, Толя Семичев и кто-то еще. Галинский ораторствовал около двух часов — и его никто ни разу не перебил, слушали, не скажу что все, разинув рты. Некоторые и пытались выдать ироническую улыбку. Но рассказ о матче, который все мы видели воочию, захватил любого из присутствовавших. Меня как практиканта, студента университета, возможно, что и больше остальных.

Я и не представлял, что о футболе можно говорить до такой степени многословно концептуально. Я еще не знал, что этим и замечателен Галинский.

Смысл пространнейшего сообщения Аркадия Романовича сводился к тому, что тренер-звезда Бесков призвал в состав, вернее, дал место в составе не столько игрокам-звездам, сколько тем дисциплинированным воинам, которые смогут выполнить его план без отклонений. Он отказался от Метревели и Месхи с их южными завихрениями и тягой к самолюбованию в импровизациях. В чем, пожалуй, можно было отчасти обвинить лишь Месхи, но не Метревели, прошедшего выучку у Маслова (к тому же Слава — открытие Бескова). Единственной полнозвучной звездой в сборной Галинский считал Валентина Иванова, но и назвал его и самой толерантной из звезд, достойных выбора Бескова.

Галинский был безудержен в своем восхищении Бесковым — и непросто было устоять перед энергетикой подобного панегирика.

Я почувствовал к Аркадию Романовичу большое доверие — и при следующей нашей встрече слушал с таким же вниманием другой его рассказ, хотя пел он на этот раз гимн футбольной одаренности, неуместимой в рамки никакого тренерского замысла.

Галинский рассказывал о матче в Одессе, где нелегально — матч, правда, был товарищеским — сыграл за «Торпедо» Стрельцов, возвращенный, но не допущенный в большой футбол.

Стрельцов говорил, что за годы, проведенные в заключении, он физически даже окреп — в плечах раздался, руки стали сильнее. Но сугубо футбольных нагрузок Эдуард слишком долго не испытывал — и в специальной подготовке отставал. Когда ему дали возможность

сыграть за дубль «Торпедо» против московского «Динамо», он гол забил, но чувствовал себя неважно: не хватало выносливости.

Он играл за цеховую команду, за первую мужскую в чемпионате Москвы среди клубов.

В те сезоны в московском турнире подбирались такие компании, что состязания между ними вызвали интерес едва ли не больший, чем тогдашние матчи мастеров на первенство Союза. За клубы выступали многие известные в прошлом футболисты. В одно со Стрельцовым время играли спартаковцы Симонян и Николай Дементьев, братья Майоровы и Старшинов — они и в футбол ничего играли.

На матчи со Стрельцовым народ, естественно, ломился, хотя слухи о том, что публика рушит ограды скромных московских стадиончиков, где проводились игры, может быть, слегка и преувеличены. Публика в те годы была все же дисциплинирована прежними временами.

Конечно, совсем уж без инцидентов, когда за первую мужскую команду «Торпедо» выступал Стрельцов, по которому публика так соскучилась, не обходилось. Но наиболее громкий из них не в столице произошел, а в Горьком.

Стрельцов приехал с командой мастеров на товарищеский матч. Перед самым началом игры сверху поступило указание, что играть ему все-таки нельзя. Нельзя так нельзя. Он на поле и не вышел. И вот тут началось! Горьковскому стадиону поистине грозило прекратить свое существование. Трибуны орали-скандировали: «Стрель-цо-ва! Стрель-цо-ва!» Зрители топали изо всех сил ногами по скамьям, а затем, разгневанные, решились и на более радикальные меры: подожгли свернутые газеты — поднялся лес факелов! Вот-вот, глядишь, займется пожар. Один из начальников с горьковского автозавода сказал Вольскому: «Если не выпустить „Стрельца“ на поле, они точно стадион подожгут». Аркадий Иванович велел тогда тренеру «выпустить» на второй тайм Эдика. Когда Стрельцов ступил на поле, весь стадион встал.

Настоящий скандал разразился по возвращении в Москву. Хрущев еще был у власти. И особо поощряемый им идеолог Ильичев набросился на Вольского: «Мы вас за это накажем». Аркадий Иванович говорит, что ответил секретарю ЦК: «Меня-то наказать легко. Вы завод накажете! Болельщиков Стрельцова...» Поступок парторга ЗИЛА разбирался на бюро горкома.

Ходили слухи, что в каждой игре теперь Стрельцов забивает по дюжине мячей, что было преувеличением. Например, команда ОТК со Стрельцовым выиграла заводской чемпионат — победила во всех одиннадцати играх турнира. Но соотношение забитых и пропущенных мячей — 34:5. Значит, если даже Эдуард один забил все мячи, все

равно по дюжине за раз никак не выходит.

Стрельцов на свободе не только играл за клуб и за цех. Он смотрел матчи чемпионата страны. Примерялся, как в перовском детстве к большой игре. Футбол современный его чаще всего разочаровывал. Только он сидел на трибуне не в качестве критика. Он прикидывал, как бы сам теперь — в своем нынешнем возрасте и физическом состоянии — стал бы действовать в той или иной игровой ситуации. И выходил потом на поле в составе команды цеха или первой мужской не подавлять никого своим классом и возможностями, а репетировать те игры, в которые его неизвестно еще: допустят ли?

42

В шестьдесят третьем году праздновали столетие футбола или, если быть точным, английской футбольной ассоциации. Осенью организовали матч между сборными ФИФА и родины захватившей весь мир игры.

Сборную ФИФА готовил к матчу столетия чилийский тренер Фернандо Риера. Он пригласил вратарем в свою команду Льва Яшина, заявив, возможно, наслышанный о том, как оскорблен и унижен дома голкипер сборной СССР, что считает его лучшим вратарем чемпионата. Конечно, настоящий тренер — всегда парадоксалист в своих оценках выдающихся игроков, но нам, с нашим неизлечимым неумением уважать своих лучших людей, снова дан был урок.

Матч транслировали по телевизору. Мы увидели нашего Льва в компании Альфредо де Стефано, Ференца Пушкаша, чью фамилию, как изменника родины, Озеров не произносил, и всех других футболистов с мировыми именами. В матчах такого представительского уровня есть некоторая, необходимая иногда ценителям истинного футбола, условность — великие мастера щадят друг друга, давая возможность показать себя публике в неразрушаемом рисунке игры. Можно сказать, что футбол в полной мере созидательным в таких только матчах и остается, хотя развращенная гладиаторством в течение всех девяноста минут игры широкая публика уже не зажигается, к сожалению, при выступлении классиков, абстрагированных от результата. Мясорубка ей дороже показательных — в лучшем смысле этого слова — выступлений. Но вратарь в таких играх исключается из списка щадимых — наоборот, вынужденно благородные защитники, не убивающие форвардов на подступах к воротам, голкиперскую жизнь усложняют предельно. В подобных играх у нападающих есть свобода для произведения ударов, способных любого вратаря представить не в лучшем свете.

Лев Яшин на глазах всего мира и неблагодарных

соотечественников отстоял порученный ему тайм на ноль.

Я помню восторги, вызванные его игрой, но что-то не помню ни в ком стыда за напраслину, возводимую на первого вратаря страны. Поэтому какой смысл клеймить безликих чиновников, когда в своих решениях и действиях они чаще всего бывают созвучными толпе, вечно жаждущей крови и позора недостижимых для нее людей? Как поверишь после того, как топтали Яшина, что эта же публика ждала с нетерпением возвращения Стрельцова — жаждала справедливости?

Но напрасный труд осуждать толпу — она останется неизменной. И характер большого человека закаляет свою самостоятельность в неизбежном с ней противоборстве.

К тому же у толпы всегда есть своя протестная логика. И нет полутонов, рождаемых размышлением и вкусом в отношении к кому-либо.

Яшин представлялся неврастеничной массе слишком обласканным властями, виделся в партийно-хрестоматийном глянце. Его неудача в Чили — промах разрекламированного официальной пропагандой спортсмена — в горячечном подсознании толпы, вроде бы и болеющей за сборную своей страны, преобразовывался в долгожданный позор представителя власти, всегда чего-то нам недодающей.

Стрельцов же — осужденный и запрещенный теми же властями, что политизировали Яшина, — виделся массам синонимом собственных и сверх меры накопившихся обид.

Но переубедивший толпу осенью шестьдесят третьего года Яшин снова сплотил восторг масс с официозным признанием — народ и партия снова предстали едиными перед лицом большого футбола. И в очередной раз покоровший мир Яшин снова отвлек внимание от слесаря ОТК, великого форварда первой мужской команды «Торпедо» Эдуарда Стрельцова.

Десятого ноября играли в Риме второй матч с итальянцами. То ли план Бескова на игру не осуществился с той же точностью, что в Москве, то ли я не слышал комментария к нему Галинского, но в повторной игре все складывалось в пользу итальянцев. Валентин Иванов говорил потом, что «мы не знали, куда бежать, и если бы не Лева...». Лева взял пенальти, пробитый Маццолой на пятьдесят седьмой минуте. К тому времени сборная СССР вела в счете — 1:0. Гол в первом тайме забил экс-торпедовец Геннадий Гусаров (в римском матче он заменил Понедельника, которого мучила астма). Но забей Маццоло — и вряд ли бы удержали ничью. Ривера сквитал счет, когда играть оставалось минуту. (На следующий день вышли газеты со снимком, где нашей сборной забивают гол. «Вот смотрите, мудаки, — сказал без дипломатии Бесков, — их двое, а вас шестеро, а не уследили». Андрей Петрович Старостин, чтобы разрядить

обстановку, пошутил: одним ударом вынул Ривера у меня из кармана сто рублей — за победу всем полагалось по двести рублей премиальных, а за ничью только сто.) Конечно, итальянцам потребовалось время, чтобы прийти в себя после неудачи с пенальти. Репортеры после матча допытывались с обычной своей бестактностью у Маццолы: в чем причина неубедительного удара? «В том, наверное, — не полез за словом в несуществующий карман трусов форвард, — что Яшин лучше меня играет в футбол».

Сезон, начавшийся с недоверия к Яшину, закончился присуждением ему «Золотого мяча» как лучшему футболисту Европы.

43

Позднее мне много приходилось слышать о непрерывно продолжавшихся хлопотах за Стрельцова и о тщете этих хлопот, упиравшихся в стену. Я, разумеется, не знаю многих подробностей — никакого отношения к футболу в те годы я не имел. Но я проходил университетскую практику в «Советском спорте», внимательно прислушивался к разговорам о футболе, которые велись на каждом этаже в здании редакции на улице Архипова, дружил в преддверии поступления туда на службу с журналистами АПН, неплохо информированными. И кое-какое представление о происходящем у меня постепенно складывалось.

В Агентстве печати Новости работала дочь Брежнева — Галина. Вероятно, в предшествующей жизни ей никак не приходилось сталкиваться с молодыми людьми такой бойкости и склонности к интеллектуальному отдыху, такого умения превратить и выпивку в осмысленное веселье. И дочь президента (Леонид Ильич, кроме того, что входил в Политбюро, занимал и пост председателя президиума Верховного Совета) избрала для себя окружение не из людей, причастных к партийной элите (если, конечно, определение «элита» к этим, ведущим родословную от черни советским господам хоть сколько-нибудь относимо), а замечательно веселую, находчивую и храбрую в отношениях с дамой из другого круга молодежь. Сослуживцев Галины стали приглашать на различные семейные праздники в дом на Кутузовском проспекте, а то и на дачу. Правда, на первых порах не обошлось без недоразумений. Был в АПН — в одном отделе с Галей Брежневой — такой Миша Владимиров, наш соученик по факультету журналистики МГУ. Он отбил у известного карикатуриста, друга поэта Михаила Светлова Иосифа Игина, возлюбленную — полную, высокую блондинку с формами на любителя. Владимиров очень гордился своей дамой, особенно ее прошлым. И вот на каком-то торжестве в доме Брежневых Галин папа

— будущий государь, вероятно, как и Стрельцов, предпочитал крупных женщин — танцевал медленный танец с Мишиной подругой Лидой и был настолько преувеличенно с ней любезен, что захмелевший сотрудник АПН (организации, призванной создать дополнительную легальную крышу для советских разведчиков) Владимиров тронул члена Политбюро за плечо и предупредил: «Я бью только один раз». Боюсь, что мое воспоминание не способствует укреплению мифа о строгости советских времен, которые и вправду не были либеральными, — и я рад за своих молодых читателей, что им не дано проверить это утверждение. Но Мишу Владимирову не расстреляли. Папа его сослуживицы на выходку гостя отреагировал с добродушным юмором. Тем не менее посоветовал дочери приглашать в дом не всех сослуживцев подряд, а все-таки ребят, у которых голова работает получше, чем у Михаила. И выбор сделан был в пользу молодых людей, ставших моими ближайшими приятелями, когда и я поступил в АПН, — Александра Авдеенко, Бориса Королева, Анисима Полонского, Александра Марьямова... Позднее и я, благодаря им, попал в гости на дачу Брежнева. Но к тому времени Леонид Ильич стал первым лицом в государстве — и разговоров с ним о футболе не велось. Но в прежние времена, рассказывали мне приятели, они заводили речь о том, что надо бы поскорее разрешить играть Стрельцову. И Брежнев с ними соглашался, признаваясь с польстившей друзьям дочери скромностью, что это «не его вопрос».

Как и положено начальнику, Леонид Ильич не был откровенен. Вопрос о запрете или разрешении играть Эдуарду на уровне мастеров имел прямое отношение к секретарю ЦК и «президенту». После волнений, связанных с выступлением Стрельцова в Горьком, на имя Брежнева пришло письмо, подписанное десятками тысяч рабочих — почти страницу занимали только подписи героев Соцтруда, депутатов Верховного Совета СССР и РСФСР — с просьбой разрешить Эдуарду снова играть на высшем уровне.

Рабочие спрашивали: «Кто заинтересован в том, чтобы Стрельцов не играл в футбол, а любители этого вида спорта не получали эстетического удовлетворения? Провинился человек, он понес наказание. Неужели за совершенную ошибку человек должен расплачиваться всю жизнь? Почему надо лишать человека любимого дела?.. Он должен иметь право играть в футбол в рамках своих способностей. Если с этим не согласны некоторые люди, от которых зависит решение данного вопроса, то мы просим Вас дать им, а вместе с ними председателю высшего Совета физической культуры и спорта тов. Машину, указание прибыть к нам, работникам автозавода им. И. А. Лихачева, побеседовать с нашим, кстати, многотысячным коллективом и послушать наше мнение».

В конце июля шестьдесят третьего года высокому начальству

представили записку, сочиненную работниками идеологического отдела ЦК КПСС Снастиным и Удальцовым. «...В настоящее время, — сообщалось в ней, — некоторые руководители общественных и спортивных организаций завода имени Лихачева стараются... приуменьшить его вину, представляя тяжкое уголовное преступление, совершенное им, как „ошибку“. Несмотря на то, что с момента досрочного освобождения Стрельцова из тюремного заключения прошло всего пять месяцев, он рекламируется как хороший и дисциплинированный рабочий, а также квалифицированный футболист, игра которого доставляет эстетическое удовлетворение.

Вопреки ранее принятому решению о дисквалификации Стрельцова, руководители спортивных организаций завода в мае-июне 1963 года дважды допускали Стрельцова к играм дублирующего состава команды мастеров класса «А» и один раз к товарищеской игре основного состава команды «Торпедо». Участие Стрельцова в этих играх используется огромной частью болельщиков для прославления Стрельцова. Многие зрители, присутствующие на стадионах, встречают выход Стрельцова на футбольное поле аплодисментами и одобрительными выкриками. В городе Горьком накануне товарищеской игры по футболу на центральном стадионе было объявлено, что в составе московской команды выступит Стрельцов. Когда по настоянию руководителей центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР Стрельцов не был допущен к той игре, большая часть зрителей скандировала «Стрельцова на поле» до тех пор, пока во избежание беспорядков на стадионе не было принято решение допустить Стрельцова к игре.

Все организуется для того, чтобы разрекламировать Стрельцова и добиться его включения в команду мастеров класса «А».

Считаем, что включение Стрельцова в состав футбольной команды «Торпедо» сделает необходимым его выезды за границу, что создало бы за рубежом нездоровую сенсацию вокруг Стрельцова, поскольку его история в свое время нашла широкое освещение в зарубежной прессе. Вместе с тем включение в состав сильнейших команд морально нечистоплотных людей нанесло бы серьезный ущерб работе по воспитанию молодежи и спортсменов, авторитету советского спорта как в нашей стране, так и за рубежом.

В связи с изложенным вносим предложения:

— просьбу о включении Стрельцова Э. А. в состав футбольной команды мастеров класса «А» считать неправильной;

— поручить Московскому горкому КПСС дать соответствующие разъяснения по данному вопросу партийному комитету и руководству Автомобильного завода им. Лихачева, обязав дирекцию и партком завода обеспечить правильное отношение коллектива завода к вопросам воспитания спортсменов и развития физической культуры и

спорта на заводе.

Просим согласия».

Резолюция «Согласиться» скреплена подписями Брежнева и другого высокопоставленного Леонида — Ильичева.

В отличие от моих друзей Брежнев знал, что дни Хрущева сочтены. Но заговор мог и раскрыться — и тогда бы, наоборот, сочтены оказались дни заговорщиков. Никиту Сергеевича обкладывали, как медведя, но дразнить раньше времени никто не решался. Можно допустить, что занятый государственными заботами Хрущев и забыл о существовании некогда рассердившего его футболиста. Но мог ведь и вспомнить — и тогда бы ходатаи показали ему людьми, оспаривающими правоту государственного решения. И был прямой смысл подождать с футбольными просьбами...

Конферансье Кравинский таких тонкостей политической жизни не понимал, а ради Стрельцова был готов на все — и сочинил письмо на высочайшее имя. И не сомневался, что все его знаменитые знакомые согласятся поставить свои подписи на бумаге, от которой, как считал пылкий Евгений Анатольевич, зависит скорейшее разрешение Эдику играть за мастеров. Недоумению Кравинского не было предела, когда послание не подписали ни Бесков, ни Яшин, ни Озеров...

Но не мог понять наш несравненный болельщик, что еще не наступило время подписей под коллективными письмами начальству. Существовала практика обязательных подписей под письмами, инициированными сверху, однако ни в коем случае не снизу... Кравинский удивлялся перед телекамерой черствости уважаемых им людей футбола — но удивлялся, замечу, в другие времена. А в годы, когда мучился Стрельцов, гражданское сознание выражалось с осторожностью. Ни Бесков, которому в сборной Стрельцов пригодился бы побольше, чем Понедельник с Гусаровым, ни Яшин, может быть, испытывавший в душе неловкость, что он опять на коне, а Эдик играет в футбол за жалованье слесаря, ни Озеров, продавший душу политике, вовсе не хотели, чтобы Эдуард оставался под запретом. Но условием тогдашнего успеха было смирение без трепыханий с нашей советской действительностью. И у каждого из тех, кому Кравинский предлагал подписаться, слишком много поставлено было на кон, чтобы осложнять отношения с начальством...

Чувствовал ли Эдик, что его «устали ждать»?

Насколько понимаю я его характер, думаю, что да, чувствовал

— и не сердился, скорее всего, ни на кого. Да и кто ему сейчас мог помочь, кроме тех (точнее, того), кто обошелся с ним столь — необратимо, как все яснее становилось, — жестоко?

Стрельцов сам устал от того, что за него все время — и, в общем, без толку — хлопочут. Он должен бы многим быть благодарен (и на самом деле был благодарен), а жизнь никак не менялась.

Как уходило время в лагерях, так и дальше оно уходит в никуда для футболиста, вступившего в опасный возраст.

Теперь-то, когда он перестал зарабатывать себе на жизнь своими бесценными ногами, он лучше, чем прежде, понимал, что рожден только для футбола. И никакая слава — отделившаяся теперь от Эдика-работяги — в безнадеге повседневной жизни Стрельцова не могла скрасить мрачной пустоты осознания, что поиграл он по-настоящему в футбол меньше, чем отсидел из-за него: кто бы сверху заметил Эдуарда, не играй он в футбол так, как только он один и может, хотя вот обходятся же без него?..

В феврале шестьдесят четвертого у Стрельцовых родился сын Игорь. И с пеленок оказывался зависимым от начальственного произвола: не сын звезды, как вполне могло бы быть, а ребенок бывшего футболиста, другой профессией овладевшего пока очень относительно, если судить по зарплате.

Стрельцов не только нуждался в деньгах, но и принадлежал теперь к другому социальному кругу. У других бывших игроков хотя бы квартиры отдельные оставались (к Софье Фроловне подселили алкаша из рабочих автозавода, который, возможно, в районе был единственным человеком, не знавшим, кто такой Стрельцов, и футболом напрочь не интересовавшимся), кто-то и на машину заработал, а знаменитый Стрельцов в двадцать шесть лет начал жизнь сначала...

Раиса рассказывала, что семейных дружб с футболистами у них с Эдиком в его рабочую пору не завязывалось. Она себя чувствовала золушкой, когда встречалась с наряженными женами действующих игроков. Сходили однажды в гости к Ивановым — и она поняла (Эдик, конечно, сделал вид, что ничего не произошло), что, когда муж не играет вместе с Валентином, никаких отношений между ними нет, а Раю Лида в упор не видит с ее местом за прилавком ЦУМа.

Летом шестьдесят третьего — между тринадцатым июля и девятым августа — у торпедовцев образовался перерыв в календарных играх. Они поехали в Одессу на халтуру — сыграть с «Черноморцем» коммерческий матч — и пригласили Эдика, чтобы и он заработал.

Галинский уверял, что видел одесский матч. Он и написал о нем, но слышанный мною в редакции рассказ ближе к шедеврам устного народного творчества. Думаю, что в живописании матча с

итальянцами наш коллега был несколько скован известными всем реалиями. Между прочим, комментатор зря погиб в Аркадии Романовиче — он очень занятно вел репортажи с нескольких игр, но с телевизионным начальством быстро поссорился (никто так не умел ссориться с нужными для карьеры людьми, как покойный Адик, иначе, при своей-то коммуникабельности и оригинальности речи в жанре Синявского, достиг бы успеха надолго), и его перестали звать на передачи. Замечаю закономерность: в футбол тогда хорошо играют, когда о нем умеют интересно рассказывать. Сегодня искусство разговора о футболе утрачено — и на впечатлениях от выступлений самых именитых клубов это сильно сказывается...

У одесситов выиграли 2:0 — и оба гола забил Стрельцов. Про первый — ударом в стрельцовском стиле: с лета — Галинский долго не распространялся. Но задержался на эпизоде со штрафным. Корреспондент побеседовал с Эдуардом и записал с его слов, что стенку защитники выстроили неверно, дальний угол не был прикрыт. И форвард решил поскорее пробить с подъема. Но пока разбежался, вратарь Борис Разинский, игравший со Стрельцовым в сборной пятидесятых годов, успел подсказать своим защитникам, чтобы они сдвинулись. На ходу Эдик принял решение резать по самому краю, поплотнее навалив сбоку, отчего мяч поднимется покруче. Так и получилось. «А может быть, и подфартило», — предположил Стрельцов...

Галинский рассказывал, что после этого феерического гола совершенно восхищенный «Борька Батанов» прыгнул на Эдика, как обезьяна, обхватив руками и ногами. А тот, по мнению Адика, отвыкший в тюрьме от излишней чувствительности, стряхнул растроганного партнера — и будничным шагом двинулся к центру поля. Я знаю Батанова как очень сдержанного господина — и засомневался, чтобы он повис на ком-нибудь, даже на Стрельцове. И при случае спросил Бориса: как оно было в Одессе. Своего прыжка на Эдуарда он что-то не помнит. Вместе с тем Боря не отрицает, что в их составе Эдик вовсе не казался человеком что-либо пропустившим в футбольной жизни. У Батанова не было иного мнения, что играть за мастеров «Торпедо» Стрельцов мог и в шестьдесят третьем...

В кажущихся преувеличениях Галинский вполне логичен. И в экспрессивном рассказе все равно выступает как последовательный аналитик. Безошибочно попадает в болевую точку позднейших времен.

Футболу, вошедшему в строгое тренерское русло, требовалось чудо — и ничего, кроме возвращения в игру на высшем уровне Эдуарда Стрельцова, такого чуда не обещало.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МЯЧКОВО

45

В те как раз сезоны, когда Эдуард вкалывал на заводе, у меня неожиданно определилась возможность — сделаться спортивным журналистом.

Говорю: неожиданно, поскольку в начале шестидесятых я ни малейшего желания не испытывал быть не только что спортивным, но и журналистом вообще. Я учился на соответствующем факультете МГУ по необходимости — чему-то учиться официально следовало, а способности к наукам были весьма относительные. И если бы не добрый человек — Вениамин Захарович Радомысленский, известный всему театральному миру ректор Школы-студии при МХАТ («папа Веня», как называют его и народные, и просто артисты), сопроводивший меня, когда расставался я с управляемым им вузом, штатной единицей, — мне бы ни под каким видом не получить высшего образования. А факультет журналистики оказался мне почти по силам — и я надеялся получить университетский диплом. Про то же, что будет дальше со мной, старался не думать. Работа в редакции никак не прельщала, и до первой практики в газете я вообще ничего не писал. Хотя нет, писал — был у меня один опыт. И, кстати, как раз в области спортивной журналистики. В Школе-студии МХАТ играли мы по ночам в неразрешенную — ради сохранности паркета в актовом зале — игру: «чикерома». Что-то вроде мини-футбола по хоккейным правилам: разрешались силовая борьба и постоянная смена состава, размеры зала позволяли присутствие на поле не больше четырех человек. Играли теннисным мячиком, который забивали в коробки из-под посылок. Чтобы наши ночные турниры все-таки легализовать, будущий народный артист СССР Слава Невинный предложил выпустить иллюстрированную газету, посвященную соревнованиям по «чикерома». Его однокурсник — и тоже будущий народный артист и профессор ВГИКа — Толя Ромашин, увлекавшийся фотографией, сделал за ночь несколько снимков, изображающих разные моменты игры. А я написал комментарий, стилизованный под отчеты в «Советском спорте».

Когда в шестьдесят третьем году я приехал на практику в молодежную газету города Волгограда, то ни о каких спортивных поворотах в своей начинавшейся, вопреки желанию, карьере журналиста и не думал. Но предстоящий мне четвертый курс в университете предполагал какое-то решение — не думать дальше о

куске хлеба было бы противоестественно. И когда мне поручили освещать Всесоюзную спартакиаду школьников, я — как-никак с детства читатель «Советского спорта» — почувствовал многие преимущества этой тематики перед всей остальной, культивируемой в партийно-комсомольской прессе. Она меня в общем развлекала. Мне понравилось вращение в среде тех, кто приехал соревноваться в бывший Сталинград.

Через своего местного приятеля я познакомился с одним из московских функционеров, отвечавших за школьный спорт, — Львом Ильиным. До получения должности в Спорткомитете тот Лева — гимнаст первого разряда и выпускник Инфизкульта — занимался гимнастикой с футболистами московского «Торпедо». Стрельцова он не застал, но очень интересовался жизнью Эдуарда — и тех, кто хорошо знал его, дотошно о нем расспрашивал. Кроме того, через Ильина я ближе познакомился с выездной редакцией «Советского спорта», возглавляемой Станиславом Токаревым, считавшимся первым пером газеты. Среди приехавших в бывший Сталинград журналистов оказался и выпускник нашего факультета — только-только начинавший работу в «Спорте» мастер-легкоатлет Толя Семичев, сын заместителя министра внешней торговли.

И по возвращении в Москву Семичев позвал меня продолжить студенческую практику у них в газете. Я пришел на улицу Архипова — и мне показалось, что этот спортивно-редакционный мир может стать и моим.

Теперь незачем скрывать, что мои знания о спорте из самой же газеты и были почерпнуты. И я их поспешил газете же и вернуть — я уловил интонацию, в которой писал редакционный первач Токарев, и следовал за ним. В футбольный раздел ходу не давали и самому Токареву — разделом заправляли Филатов с Мержановым и те, кто к ним примыкал. Но я на корреспонденции с футбола и не претендовал. Я чувствовал, что здесь бы потребовалось пристраиваться в затылок к вперед идущим, долго ходить в подмастерьях, чему я, начавший образовываться в театре, конечно, противился. И я без душевных мук занял вакансию обозревателя бокса — в качестве практиканта, разумеется. И вдруг мне предложили войти в штат редакции — перейти в университет на вечернее отделение, а работать в газете. Теперь я понимаю, что в кратчайшем перечне моих жизненных везений приглашение на работу в «Советский спорт» — всесоюзную газету — должно стоять на самом первом месте. И не за тот ли необдуманый отказ всю мою долгую дальнейшую жизнь меня обносили сколько-нибудь соблазнительными приглашениями? Причина для отказа в шестьдесят третьем году казалась мне тогда сама собой разумеющейся — в последний момент место в статусном отделе отдали другому, приезжему из Горького человеку,

впоследствии заметному журналисту, а мне предложили послужить в каком-то полунаучном, полуметодическом... И я почувствовал обиду. Знай я тогда, сколько же обид и унижений предстоит мне из-за того, что не воспользовался я шансом попасть в заповедный штат в свои двадцать три года, не ударив для того палец о палец, — неужели бы стал фордыбачить?

Цех спортивных журналистов, как всякий профессиональный цех, не назовешь дружным, но посторонних (по собственному опыту знаю) он безжалостно отторгает — и всегда самого захудалого из своих предпочтет любому таланту, но со стороны... Начав регулярную работу в спортивной журналистике тридцать семь лет назад, я бы к сегодняшнему дню, возможно, занимал в ней прочное положение, был бы признан и наверняка считался бы сейчас уважаемым ветераном и без узанных мною в старости проблем публиковался во множестве журнальчиков и газеток, намазывая хлеб маслом (пусть и вредным в моем возрасте), а на шестидесятилетие получил бы, может быть, в подарок футбольный мяч с автографами известных игроков...

Но не вполне уверен, что при таком жизненном раскладе я близко бы сошелся со Стрельцовым, в чью жизнь вошел, не предъявляя редакционного удостоверения.

Вообще-то, если совсем строго придерживаться фактов, то в минуту знакомства со Стрельцовым удостоверение журналистское у меня имелось. Но оно не требовалось, когда Валентин Иванов представил меня ему, хотя Кузьма и назвал контору, где я числился. По-моему, Эдуарду модная в тогдашней Москве аббревиатура АПН ничего не говорила.

Я бы стыдился тогдашнего стремления своего в АПН, не доставь мне пребывание в Агентстве печати Новости столько веселых минут, искренних привязанностей, радости от выпивок, от общения, от иллюзий дружбы и моряцкой спайки с теми, с кем бил баклуши. Кроме понятной суетности (центр города, широта знакомств, легкий журналистский хлеб и прочее), припоминая в точности мотив, звавший меня в четырехэтажный особняк на Пушкинской, и обнаруживаю в нем и футбольную ноту.

В Коктебеле летом шестьдесят третьего — уже после практики на берегу Волги — я за новосветским вином разговорился о киевском «Динамо» с двумя корреспондентами АПН, совершавшими длительную командировку, показавшуюся мне крайне интересной. Они обехали чуть ли не всю Украину — и фотограф Валерий Шустов сделал огромное количество снимков, опубликованных во всех апэновских журналах, а пишущий журналист Алик Марьямов написал всего один очерк, который не только обошел эти же журналы, но был перепечатан и в областных изданиях. Он назывался «Внимание, Лобановский». На что футбольный обозреватель «Советского спорта»

Георгий Радчук откликнулся газетной репликой «Внимание, пустословие». Радчук разбирался в футболе глубже, чем я и Марьямов вместе взятые. Но мне больше понравилось то, что написал Алик, — мы вскоре стали приятелями и оставались ими лет десять. Меня привлек бойкий слог, а не трезвомыслие специалиста. И я захотел в контору, где сотрудникам разрешают писать в таком стиле.

Сотрудник, покровительствовавший мне в «Советском спорте», отговаривал меня от АПН — пугая (и правильно пугая) безымянностью, ожидавшей тех, кто не печатается в газете, выходящей тиражом в несколько миллионов.

Но мне-то — не по летам легковерному и глупому — казалось, что слава ждет меня не иначе как в центре Москвы. И сама ко мне придет, неважно, где застав, — в ресторане ли ВТО или на скамейке бульвара.

На радостях, что стараниями новых приятелей, заручившихся, как мне кажется, и поддержкой Гали Брежневой, попал в АПН, я не торопился приступить к работе — подолгу простаивал на крыльце, наслаждаясь престижностью своей службы, брел от метро «Охотный ряд», опаздывая систематически к началу занятий. И в один из таких разов осознанного разгильдяйства я был защищен, спасен от нападок руководства редакцией своим начальником Авдеенко, которого знал с детства и которым потому был недоволен за придирки, выражаемые, правда, в исключительно деликатной форме не ущемляющих самолюбия намеков. Авдеенко отправил меня вместе с общественниками-комсомольцами в неведомое мне Мячково на торпедовскую дачу — выступить перед футболистами. В дальнейшем и сам Авдеенко стал обязательным участником тех поездок. Но тогда, когда мы ехали впервые, никто из нас понятия не имел: на каком сейчас свете эта команда?

46

Я бы сказал, что в начале лета шестьдесят четвертого года снова переживал некоторое охлаждение к футболу, следил за ним вполглаза. Но точнее бы выразил то свое состояние, отметив в себе скорее перемену отношений к самому зрелищу игры — перемену, по-моему, не в сторону уводящую от футбола, а напротив, к нему приближающую. Пусть и с менее популярной стороны...

Вскоре после матча команды Бескова с итальянцами в Лужниках я по заданию редакции «Советского спорта» пришел вечером на стадион «Динамо», где до того несколько лет не был. Ожидалось, что в перерыве футбольного матча состоится примечательный забег — уж не помню, кто и на какую дистанцию намеревался установить рекорд.

Дождь прошел днем, но день уже стал по позднеосеннему короче, темнота плотнее прилипла к мокрым скамьям, а лужи обертонально отражали грозди прожекторов с высоких конструкций. Команды — московское «Динамо» и харьковский клуб — выбежали перед игрой размяться на рыжеющий газон. Я стоял в проходе над первым ярусом — и Яшин с Численко, которых видел совсем недавно в матче против итальянцев, проследовали совсем близко от меня. Они показались мне другими, чем неделю назад, людьми. Я понял, как близость к игрокам ослабляет излучаемую ими магию, — и не смог вызвать в себе того к ним отношения, какое электризовало меня, когда выступали они в составе сборной на аншлаговом стотысячнике. И мне расхотелось видеть их в будничном матче, где им вряд ли удастся выразить себя перед промозглым малолюдством на трибунах.

И так уж получилось, что тех же Игоря Численко и Льва Яшина встретил следующим летом в Ленинграде, в гостинице «Октябрьская», когда жил там в качестве аккредитованного на Всесоюзном кинофестивале корреспондента АПН, а они приехали на матч с местным «Зенитом». С еще более сократившегося расстояния я не сразу и поверил, что они — это они. Скорее можно было бы подумать: до какой же степени обыкновенные командированные похожи внешне на знаменитых футболистов, которых в таком контексте ни за что не ожидаешь встретить, если не знаешь, что «Динамо» здесь остановится...

Настраиваясь на выступление перед футболистами в Мячково (к чему себя не чувствовал готовым: что я могу им рассказать интересного?), я думал о многомерности футбольного зрелища. Думал, что вот в отведенное на матч время оно не укладывается. Что зрелище это складывается не только из всепоглощающей сиюминутности, но из обязательности присоединения к азартному слиянию с происходящим и того, что накоплено памятью из увиденного прежде, испытано, превращено в бесконечное и наркотическое послевкусие, поствпечатление от футболистов, зачем-то навсегда взятых в собственную биографию. Как все тот же Стрельцов.

Вот такими, на расхожий взгляд, отвлеченными мыслями я попытался поделиться с торпедовцами в Мячково, заговорив для проформы о кинофестивале.

Я и до сих пор надеюсь и жду, что футболисты, о которых я в своей продолжительной жизни думал, поймут меня. Хотя надежда все слабее.

47

В Мячково нас везли с Пушкинской площади на фирменном торпедовском, то есть зиповском автобусе, в каком ездили футболисты команды мастеров. И вспомнив о том автобусе, отвлекусь на воспоминание, относящееся к чуть более поздним временам. Мы едем на такси с Ворониным — узнавший знаменитого игрока шофер такси, желая польстить ему и как гипотетическому автомобилестроителю, с похвалой говорит об удачности модели какой-то из проносящихся мимо машин, возможно, просто хочет завязать разговор со знатным пассажиром. И Валерий охотно подхватывает тему — протягивает к водителю обе свои руки, растопыривает пальцы: «А все вот этими руками!» Мне Воронин подмигивает — сказанное им сейчас звучит как продолжение его всеми оцененного тоста на банкете в Мячково в честь выигрыша чемпионата, когда предложил он выпить за рабочие руки, которые футболисты «Торпедо» рекламируют своими ногами. Я многократно пересказывал этот эпизод в такси разным людям, акцентируя анекдотическую сторону воронинского высказывания. А сейчас спокойно думаю: не было ли «Торпедо»-60 наивысшим достижением завода Лихачева? Ведь машин, отвечающих мировым образцам, сделать так никогда и не удалось, а команда международного уровня была да сплыла по вине администрации, подошедшей к футболу с казенной меркой...

Пока ехали в автобусе — дорога от Москвы до торпедовской базы неблизкая — я вспомнил и про то, что «Торпедо» сейчас в лидерах. Но никто большого значения этому лидерству в середине лета не придавал. Разочарование той командой, в какую превратился автозаводский клуб образца прошлого сезона, мешало до конца поверить в преображение. Тем более никто из гурманов от футбола ничего не говорил про игру торпедовцев, а набранные ими очки не убеждали, что «Динамо» и «Спартак» надолго отпустят их вперед.

Конечно, в футбольной реальности влияние гурманов никак не ощутимо. И к середине шестидесятых начинали уже смиряться с тем, что чемпионом может стать и команда, чья игра не впечатляет, однако позволяет обыгрывать соперников. И вообще разговоры об уровне, который снижен или недостижим нынче, превращались в праздные. К эстетам доверие потеряно. Представлял ли кто-нибудь тогда, что о бедности футбола шестидесятых старожилы будут вспоминать в двухтысячном году как о несметном богатстве талантами?

Два игрока из того «Торпедо», в чье долгое лидерство не верилось, — Иванов и Воронин — были на главных ролях и в сборной.

К ним Бесков присоединил и своего фэшаэмовского выкорыша Шустикова.

Валентин Иванов вряд ли мог в свои тридцать лет сильно прибавить, но кто в обозримом пространстве и времени способен был до него дотянуться в классе игры? А Валерий Воронин проводил первый из двух своих лучших сезонов — и перспектива дальнейшего восхождения этого полузащитника с широчайшим диапазоном всем нам казалась захватывающей. Стрельцов, наблюдавший Воронина в тот год со стороны, считал, что «он уже был по-своему даже выше Кузьмы... Я бы, правда, не сказал, что Иванов стал играть с годами хуже, он и закончил выступать, на мой взгляд, преждевременно, — и стартовая взрывная скорость, и хитрость игровая оставалась при нем. С Кузьмой по-прежнему трудно было кого-то сравнивать и в тонкости понимания, и в тонкости исполнения в решающий момент. Он всегда точно знал, отдашь ты ему мяч или нет.

Но Воронин играл, как бы это сказать, объемистее, пожалуй. Объем высококлассной работы, им производимой, просто удивлял. Диапазон действий был громадный. А головой он играл так, как ни мне, ни Кузьме не сыграть было...».

Вместе с тем Стрельцов считал Воронина тем игроком, что сделал себя сам за счет огромного трудолюбия, подразумевая себя и Кузьму игроками от Бога. Когда он впервые после освобождения пришел на футбол и увидел, во что превратилось «Торпедо», то сказал соседу по трибуне Кравинскому: «Кузьма — великий... А играть не с кем...»

Элемент несправедливости в словах Эдика был.

Само собой, никто не мог заменить Иванову — Стрельцову. Но люди, собравшиеся в «Торпедо» в сезоне шестьдесят четвертого, воспитаны были на хорошем футболе — и по мере способностей старались играть в него. Понятно, что того равенства партнерского, какое отличало торпедовцев чемпионского созыва, сейчас не было — иерархия в каждой линии соблюдалась четко. Но три игрока основного состава сборной — я бы даже сказал, что самой сильной по организации и постановке игры сборной всех наших футбольных времен, — не могут же не задавать тон в клубе, за который выступают? И в удачных матчах остальные к ним подтягивались. К игрокам сборной я бы и Батанова приравнивал — он не интересовал Бескова, наверное, не только из-за возраста: независимый человек в команде всегда лишний, если нет в нем необходимости до зарезу. Необходимость в Борисе Алексеевиче после начала шестидесятых, когда он к тому же дебютировал в сборной невнятно, пропала. Но для «Торпедо» он оставался бесценным игроком.

В «Торпедо» наконец-то появился замечательный вратарь, какого и в лучшие годы не было, — Анзор Кавазашвили. И защита

вокруг Шустикова подобралась приличная — Мещеряков из «Зенита», Андреюк, Сараев... Я невольно сбиваюсь на перечисление имен, которые не будут принадлежать истории, а будут, наоборот, раздражать в книге о Стрельцове, где читателю всего интереснее всякая черточка, любая деталь, с ним связанная. Но если предлагать нетерпеливому читателю не голый панегирик, а сюжет жизни, то никак вниманием к одному лишь Стрельцову не передашь обстановку, в какой он жил.

Ничего не говорят потомкам имена тех, кто сотрудничал с Валентином Ивановым в атаке. Забыт сегодня даже Олег Сергеев — из золотой обоймы шестидесятого. Он и в шестьдесят четвертом вызывал уже нарекания за снижение формы — не в ладах был этот эмоциональный господин со спортивным режимом. Но помню я, как в редакции «Известий» журналист Борис Федосов, одно время возглавлявший Федерацию советского футбола в ранге ее президента, скептически отзываясь о только-только входившем в славу Олеге Блохине, говорил: «Да тот же Олег Сергеев...» Забыт Володя Щербаков, но в шестьдесят четвертом сильнейшие защитники страны весьма относительно справлялись с ним, плечистым и наглым в атаке... Вячеслава Соловьева вспоминают как титулованного мастера хоккея с мячом, не всем в память врезалась его футбольная деятельность в «Торпедо». Но выдающийся спортсмен, чемпион мира — пусть и в другом, зимнем жанре — в составе команды, претендующей на высокое место в турнире, очень бывает полезен.

Стрельцов смотрел с трибуны на перечисленных мною лиц торпедовской национальности — и входил в общую футбольную ситуацию, не ограничиваясь впечатлениями, приобретенными в играх за цех или даже за первую мужскую команду.

От удач и неудач игроков в форме мастеров «Торпедо» зависело и его будущее...

...Сезон шестьдесят четвертого начался для торпедовцев — неудачников, напоминая, шестьдесят третьего года — очень хорошо. Сезон начинался для них в Ташкенте — кто бы предположил, что в Ташкенте поздней осенью для них будет решаться исход борьбы за первый приз, которого никто даже из доброжелателей им не пророчил?

В весеннем Ташкенте они сгоняли нулевую ничейку с «Шахтером». Но дальше в четырех серьезных городах — Ростове, Кишиневе, Киеве и Алма-Ате — набрали восемь очков из восьми. Лучше них стартовали только тбилисские динамовцы, чьи очки, правда, считать по весне находили плохим футбольным тоном.

Тбилисским «Динамо» руководил Михаил Якушин, потерявший, однако, должность после столь удачного начала. «Михей» из-за чего-то поссорился с грузинским начальством — вероятно, задел их

самолюбие своей непререкаемостью. Но заменили великого тренера — с изуверской логикой — тоже на русского специалиста из Москвы, на человека, который накопленного Якушиным не растранижил бы. На Гавриила Качалина. Но Качалин на первых порах не оправдал ожиданий. Там же в столице, где распростились с Михаилом Иосифовичем, московские динамовцы наказали одноклубников за отставку своего бывшего вождя. Новоиспеченные лидеры проиграли 1:3. И дальше посыпались. «Молдове» проиграли. Дома едва-едва не потерпели поражение от «Кайрата» — Месхи сквитал счет на последней минуте. Перед матчем с московским «Торпедо» продули «Шахтеру».

А «Торпедо» после небольшой заминки: проигрыша в Баку, поражения в Москве от ЦСКА и ничьей в Горьком — двенадцать матчей провело, не теряя больше, чем очко.

48

Мы приехали в Мячково накануне игры с тбилисским «Динамо».

Я впервые попал на базу футбольной команды — и не предполагал, что обстановка сосредоточенной умиротворенности, спокойной доброжелательности по отношению друг к другу, дружелюбие внутри тренерского штаба складываются далеко не во всяком сезоне.

Что команда — в порядке. Но поддержание такого порядка и в дальнейшем — вопрос вопросов.

В автобусе нас сопровождал представитель комсомола завода по имени Пармен — я потом много лет его не встречал, а позже увидел по телевизору: что-то он делал в Центризбиркоме. Пармен и был инициатором нашего приглашения в Мячково. Позвали не артистов, а тех, кто, может быть, сумеет развлечь интеллектуально, не слишком задевая психику. Такая вот развлекательная, хотя и в меру, терапия.

Футболисты сели перед нами на расставленные в два, а может быть, в три, учитывая узость помещения, ряда венские стулья. Теперь я понимаю, что расселись они согласно тому положению, какое занимали в команде. В первый бы ряд игрок не из самых ведущих не полез. Помню, что Щербаков — изображающий некоторую пресыщенность жизнью блондин — и сидел в центре первого, конечно, ряда. Но Иванов и Воронин были как бы над иерархией. Воронин в тот наш первый приезд вообще держался отчужденно — и в своей плакатной положительности, несколько иностранного, что тогда казалось неожиданностью, толка, мне и понравился меньше других, выражавших некоторую заинтересованность тем, что мы им излагали.

Больше всех меня интересовал — и больше всех мне понравился — Валентин Иванов. Он держался всех свободнее, с веселой простотой, хотя мне показалось, что сувенирность такого рода простоты им осознается, он ею одаривает людей, достойных в данный момент приятного к себе отношения. Задачи АПН ему вряд ли были доподлинно известны (как, впрочем, и мне, новичку, преувеличивающему безобидность нашего заведения). Но он понимал, что представляем мы прессу, не ведомственно-физкультурную, типа «Советского спорта», а иного порядка, приближенного к несуществующей в Советском Союзе, но всем известным людям немного недостающей светской жизни. Иванов непринужденно предъявлял нам свой образ великого и одновременно простого, простецкого даже человека спорта. Валентин Козьмич очаровал нас и тем, что делал вид, будто он, как человек тоже наделенный информацией, недоступной его коллегам, на этой встрече скорее с нами, чем с ними. Он очень помог нам. Некоторые из футболистов попытались поначалу изобразить пренебрежение все повидавших людей к неопределенной теме нашего разговора. Но заметив, что капитан команды изображает, наоборот, благодарного слушателя, немедленно подладились под его манеру вести себя с нами. В закатанных по колено тренировочных штанах первая фигура отечественного футбола выглядела ладно, по-спортивно элегантно. Он произвел на меня впечатление бесспорно самого главного человека в «Торпедо». Тренеры в тот визит мне даже не запомнились.

Иванову еще не исполнилось тридцати. Он был лучшим в стране футболистом. Осенью по итогам сезона газетчики большинством голосов предпочтут ему двадцатипятилетнего Воронина. Но пока влияние Кузьмы на команду ощущалось сильнее. Опытom великого игрока он уже почувствовал, что команда зацепилась за обещающую игру — и сейчас важнее всего не спугнуть необходимое настроение. И своим утрированным демократизмом он работал на атмосферу, представляясь человеком с легким характером, вверившим себя общественному руслу. В семье Ивановых ждали прибавления. Лида готовилась стать матерью второго ребенка — Ольги, впоследствии ставшей балериной Большого театра. И мне запомнился встревоженный муж (Лидии Гавриловне чего-то нездоровилось), говоривший с ней по единственному на базе телефону, сидя на скамейке в трусах и майке — предстояла тренировка на поле, расположенном неподалеку от дачи, в лесу... А про нас, отговоривших, уже забыли — мы ждали возле крыльца автобус, который должен был отвезти нас из кажущейся футбольной идиллии в служебную, шумную, конфликтную Москву.

На матче между «Торпедо» и тбилисским «Динамо» я испытал

совсем новые для себя чувства, связанные с новыми знакомыми, вышедшими на поле. Это и сравнимо с обычными болельщическими эмоциями, и не сравнимо. Мне показалось, что в переживаниях за тех, с кем знаком, больше тревоги за благополучный исход состязания. Люди, которых теперь знаешь, представляются более уязвимыми — словно ты сам со своим футбольным умением выходишь перед публикой — и боишься оскандалиться. Словом, никогда я так не нервничал, как на календарном матче между московскими торпедовцами и тбилисскими динамовцами. Грузинам я симпатизировал — и не очень расстроился, что сыграли вничью. Благодарен был Борису Батанову, что он забил-таки гол. Конечно, знать бы, что потерянного очка как раз и не хватит в борьбе с «Динамо» за первенство, ничья бы на своем поле огорчила сильнее.

Вечером в ресторане ВТО я увидел через столик от нашего двух торпедовских игроков — Мещерякова и Соловьева. До этого вечера в богемном застолье я, зачистивший в ресторан после поступления на службу в АПН — поскольку ресторан после пожара не стали восстанавливать, сделав на его месте бутик, или, как там это теперь называется, напому, что находился он на Пушкинской наискосок от здания Агентства, — замечал обычно только одного футболиста: Мишу Посуэло, перешедшего из «Торпедо» в «Спартак». В неблагоприятном для торпедовцев сезоне шестьдесят третьего испанец Миша (Немесио) играл успешнее, чем когда-либо, и забил тринадцать голов. Но чем-то он не устраивал Иванова — и в шестьдесят четвертом, сыграв за «Торпедо» лишь дважды, перешел в «Спартак», что в начале сезона могло выглядеть и «повышением». Во всяком случае, спартаковец Посуэло принимался в ресторане со всем почтением. Но и наши Мещеряков и Соловьев не выглядели здесь случайными людьми. Я еще подумал тогда, что в амплу светских торпедовских людей они вдвоем вполне заменили Мишу. Вообще, как ни критикуй футболистов за тягу к публичным выпивкам, они известную пользу приносят. Футболисты, умеющие вести себя на публике, состоящей из людей искусства, освежают имидж команды. «Торпедо» не имело и в самые знаменитые свои сезоны такой аудитории, как у «Спартака» и «Динамо», и всегда нуждалось в ее расширении. Но истинная болельщическая аудитория не столько количество, сколько качество — пусть и покажется такое утверждение парадоксом. Клуб должен привлекать на свою сторону влиятельных во всех отношениях людей — людей, за которыми радостно пойдет толпа. Жаль, что люди такие крайне редки — и чем дальше, тем реже они встречаются. Хотя, кажется, что богатых и знаменитых становится все больше.

Москвич Мещеряков как футболист стал известен в Ленинграде, где свел дружбу с известными людьми, увлекавшимися футболом, с

артистом Кириллом Лавровым, в частности. Соловьев был сам по себе очень артистичен и с подвешенным языком. Судьбы их сложились до контраста по-разному: Мещеряков очень скоро после завершения футбольной карьеры горько спился, рано умер, а Соловьев стал и заслуженным тренером по хоккею, и видным деятелем в руководстве «Динамо», и дослужился до полковника. Когда в семидесятые уже годы Володя Мещеряков очутился в ЛТП, он в отчаянии, что забыт всеми и брошен, позвонил оттуда Славе Соловьеву. И тот немедленно откликнулся — и, мало того, привез в профилакторий Эдика Стрельцова, что стало незабываемым событием в жизни исправляемых трудом алкоголиков.

СТРЕЛЬЦОВ И ГЕНСЕКИ

49

Хрущевское десятилетие ознаменовано было еще одной футбольной казнью. Я, конечно, не сравниваю тюрьму с тренерской отставкой. Но всякое уворованное у спортсмена время — если учесть, как мало отпущено этого времени на активную деятельность, — преступление со стороны тех, кому судьбы талантов отданы в подчинение. Как-то в Кисловодске Бесков вспомнил при мне про то свое отлучение от сборной — и я поразился: как же глубоко и неизлечимо болит в нем нанесенная ему тогда рана. Мы разговаривали зимой восемьдесят седьмого года — Константин Иванович все уже всем доказал, никто не ставил под сомнение тренерское его величие. Но ему по-прежнему было жаль тех невоплощенных возможностей, какими располагал он в свои цветущие сорок четыре...

Бесков взялся в шестьдесят третьем году готовить команду к чемпионату мира шестьдесят шестого. Кубок Европы он, не сомневаюсь, надеялся выиграть. Но выиграть как промежуточный финиш. Он предполагал и всем давал понять, что блеск и триумф главного усилия впереди. Есть еще время помедлить — так и эдак разложить пасьянс.

Летом шестьдесят четвертого года у него уже сложилась команда без видимых уязвимых мест в составе... Если кого и не хватало, то разве что Стрельцова. И не только потому, что Эдуард гениальный и лучший. Но и потому, что в концептуальность мечты Константина Ивановича о центре подобной мощи в атаке никто выразительнее Стрельцова не вписался бы. Правда, когда Эдик вышел в шестьдесят пятом году на поле, мы увидели другого Стрельцова. Стрельцова, круче повернутого к футболу высшей математики — способности комбинировать, выстраивая перспективу из множества ходов, совершаемых в зависимости от его пасов разными по игровому складу людьми. Но в шестьдесят третьем Эдуарду было все же двадцать пять, а не двадцать семь — и про мощь в прошедшем времени никто бы и не заикнулся. А кроме того, и преображенный временем Стрельцов никак не мог быть лишним для Бескова. И по тому, как складывалась игра в Мадриде, когда мяч впереди следовало бы поддержать подольше, конечно, необходим был только Эдик.

На новоотстроенном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Испании

— в присутствии Франко — советская сборная не могла быть фаворитом. Тем более у рефери, которому сулили золотые горы за потворство хозяевам.

К тому же сказался и недостаток Константина Ивановича — нерешительность в определении состава именно на решающие игры (он и через восемь лет в Глазго на том же погорел, хотя, будем откровенны: ему прежде всего не повезло — и в том, и в другом случае).

Бесков решил играть с пятью защитниками. А проиграли за шесть минут до конца, когда Шустиков ошибся — и не мог, наверное, не ошибиться, играя на позиции правого защитника, которая никак не с ноги ему была. Мяч попал торпедовцу в бок на такой высоте, что ни принять его Виктору не удалось, ни обработать, ни подальше отбить. Мяч срикошетил — и лег точно на ногу Лапетре, а тот немедленно отпасовал Марселино под удар в прыжке головой...

Но игра в финале складывалась все равно на равных — и быть вторыми в Европе нам до конца века удалось всего один раз еще. И при всей досаде стыдиться за такой финал не приходится. И кто же из нас, увлекавшихся в те времена футболом, сможет забыть, как играла сборная два лета подряд, собирая в Лужниках по сто с лишним тысяч зрителей? Какую уверенность в своих футболистах тогда мы испытывали... Времена тупо суровели — от иллюзий якобы оттепели ничего не оставалось. Мы опять мрачно отодвигались назад. И футбол на международном уровне, доступный нашим соотечественникам, разрешал и нам, не футболистам, надеяться, что не все потеряно — и не только на одно творчество крепостных мы обречены.

И опять кто-то — называли Аджубея, не знаю уж, так оно было или не так, но Ильичев, не сомневаюсь, и тут подсуропил — настучал Никите Сергеевичу, что проигрыш на глазах у Франко имеет конкретного виновника. И, как всегда, полетела самая талантливая голова. Снова отставание на порядок обеспечили нам умники со Старой площади (адрес ЦК). Снова футбол подставили под гнев ничего в нем не смыслившего Хрущева.

...В следующий приезд наш в Мячково я смотрел на игроков сборной, в том числе и на виновника поражения — Шустикова, как смотрели тогда на спустившихся с небес космонавтов. Из виртуального пекла (игру со стадиона «Сантьяго Бернабеу» транслировали, не произнося имени Франко, если даже и попадал он в кадр) они ступили на дачную землю торпедовской базы — и доступны были общению с простыми смертными.

50

Первый круг закончили, победив «Спартак» со счетом, который входит в историю взаимоотношений клубов, — 5:0. Становилось понятным, что ни «Спартак», ни «Динамо» — динамовцев даже чемпионство не примирило с чужаком Пономаревым, и в третьем сезоне игроки пришли в противоречие с «Ушерой», как они неблагодарно и непочтительно прозвали великого бомбардира «Торпедо», — вряд ли в нынешнем сезоне претенденты на что-либо стоящее. Армейцы играли ровнее, чем они. И за честь Москвы предстояло постоять в первую очередь торпедовцам. Замечу, что столичные клубы чужды землячества. Когда во втором круге торпедовцы с колоссальным трудом и уже с минимальным счетом сумели снова выиграть у «Спартак», спартаковский тренер Никита Симонян кричал в судейской, что ради непременной победы московской команды засуживают их клуб — клубный престиж он готов был отделить от московского.

Возможность вернуть себе чемпионское звание заметно сковывала наших друзей-торпедовцев. Состав, казавшийся оптимальным для ненамного лидерства, ближе к финишу обнаруживал несовершенства, ставившие под сомнение вероятность окончательной победы. Тренер Марьенко дал Иванову неделю отдыха. Но без Кузьмы «Торпедо» и в играх с заведомыми середняками побеждало на пределе усилий. Марьенко стыдил своих футболистов в раздевалке: «Что же мы без Иванова вообще ничего не значим?»

В общем-то, без Иванова дотянуться до первенства представлялось маловероятным.

Вдруг не заладилась игра против горьковской «Волги» — терять в такой игре очко означало терять важный темп в лидерстве. Но мяч нижегородцам никак не удавалось забить. И уже ясным становилось, что матч в Москве закончится по нулям. Гости тянули время — вратарь затеял перепасовку с одним из защитников. Иванов всем видом своим выразил презрение к неспортивно ведущим себя соперникам — и повернулся к ним спиной, уходя из штрафной площадки «Волги». Но Кузьма же из породы игроков, которые и спиной видят... Ну спиной — не спиной, а периферическим зрением он отметил, как волокитчики на мгновение утратили контроль за мячом. И выскочил на бесхозный мяч с ястребиной нацеленностью... Потом он говорил, что едва не расхохотался — за четырнадцать лет в футболе не видел он таких лопухов, как эти двое из Горького. В газетах потом писали, что Иванов выкрал мяч у вратаря с защитником. Тем не менее

комический гол укрепил «Торпедо» в дальнейших притязаниях...

Многое должен был решить матч в Тбилиси. В Тбилиси торпедовцев — особенно Иванова — любили. И в том случае чужое поле пугало гораздо меньше, чем во всех других.

Мой начальник Авдеенко, купив билет на предъявленное студенческое удостоверение младшего брата Сергея, полетел в Тбилиси. Я, втянувшийся худо-бедно в апээновскую дисциплину, не мог себе этого позволить.

«Торпедо» проиграло 1:3. Иванов винил в проигрыше Кавазашвили. Но думаю, что несправедливо — во-первых, нет никаких доказательств, а кивать на фамилию не аргумент; во-вторых, Анзору для репутации важнее была торпедовская победа — как вратарь чемпионов он мог рассчитывать на сборную, пока на место яшинского дублера. Я не собираюсь делать из Кавазашвили бессребреника, но спортивные амбиции были в нем сильнее всего прочего. Но и подозрения Кузмы не беспочвенны. В конце сезона перед тбилисскими посулами не все устояли...

Наш товарищ Авдеенко, вернувшись из Тбилиси, рассказывал, что, в утешение проигравшим, ведущих торпедовских игроков ждало кавказское угощение в домах Месхи и Метревели. Наш товарищ вернулся еще большим торпедовцем, чем уезжал. Я к тому это говорю, что мы уже научились стойко принимать неудачи «Торпедо». А еще помню, как после проигрыша кому-то не из самых именитых Владимир Познер — он на встречах с футболистами пользовался наибольшим успехом как знаток Америки — возмущался, что наши проигрывают командам, где никто понятия не имеет о «голубой ноте» (он перед тем читал в Мячково лекцию о джазе).

51

В шестьдесят четвертом году Виктор Александрович Маслов пришел старшим тренером в киевское «Динамо» — и в первый же сезон «Деда» динамовцы выиграли Кубок. Но никто еще не предвидел, что наступает их время.

Поэтому в московском матче торпедовцев с киевлянами мы очень надеялись на победу наших знакомых — и когда Валентин Иванов пошел бить пенальти, ни у кого не оставалось сомнений, что два необходимых для выигрыша чемпионских титулов очка будут сегодня набраны.

Как внимательно ни смотри с трибун на поле, всех нюансов во взаимоотношениях игроков рассмотреть не удастся. В отличие от Эдуарда Валентин Иванов был безошибочным исполнителем одиннадцатиметровых штрафных ударов. Но сам он потом говорил,

что прежде, чем идти с мячом к меловой отметке, осмотрелся: не хочет ли кто-нибудь еще пробить пенальти? — и все отводили глаза в сторону. Правда, Воронину помнилось, что он-то заметил тень неуверенности на лице Кузьмы — и спросил его что-то вроде: как ты? А тот кивнул или даже сказал, что все нормально. В общем, киевский вратарь Виктор Банников сумел отразить ивановский удар...

Я не хочу описывать ни своего тогдашнего огорчения, ни сочувствия любимому игроку. Про такие вещи принято сразу постараться забыть — иначе играть дальше нельзя и энергетический контакт с игроком теряется, если не простишь ему промаха. Но я сейчас вот о чем думаю: а не помог ли невольно Валентин отстраненному от футбола партнеру? Ну вот забей он пенальти, стань «Торпедо» в шестьдесят четвертом чемпионом — и не уперлись ли в стену хлопоты за Стрельцова, если команда и без него выигрывает чемпионаты?

Банников, лишивший «Торпедо» первенства, должен был укрепиться в должности основного вратаря киевского «Динамо», где главным конкурентом у него стал Евгений Рудаков, не оцененный в свое время бедным (до прихода Кавказашвили) на хороших голкиперов «Торпедо». Но когда в сезоне шестьдесят шестого — и тоже в Москве — Эдуард Стрельцов забил ему гол, признанный редакцией «МК» самым красивым голом сезона, окончательно рассерженный на Банникова Маслов стал держать Виктора вообще в глубоком запасе. На какое-то время потерявший тренерское доверие вратарь остался все же в Киеве. Но повторный взлет карьеры ждал его в Москве, когда перешел он в «Торпедо», куда вскоре снова пришел старшим тренером Маслов.

52

Дополнительный матч — «Торпедо» и тбилисское «Динамо» набрали равное количество очков — игрался в Ташкенте. И можно было вполне ожидать реванш за неудачу в столице Грузии. Два раза подряд проигрывать равному по силам противнику было не в традициях «Торпедо» начала шестидесятых. К тому же в шестьдесят четвертом году автозаводский клуб вообще не выигрывал у тбилисцев. И когда Владимир Щербаков очень лихо забил первый гол, показалось, что Ташкент станет для москвичей чемпионским городом.

Но во втором тайме — на девятнадцатой, кажется, минуте — Марьенко заменил Иванова. Позже Иванов недоумевал: зачем тренер это сделал? Да, Кузьма играл с травмой. Но опыт показывал, что соперники, а уж тбилисцы, которые выше всех ставили Иванова, опасаются его в любом состоянии. И не успел он, уходящий с поля,

переступить на гаревую дорожку, как у тбилисцев все стало получаться.

Трижды у торпедовских ворот подавался угловой — все разы подавал Датунашвили. Безобразно игравший вратарь Шаповаленко (Кавазашвили по вышеупомянутым причинам не доверили играть в столь ответственном матче) дважды до мяча не дотягивался (и не было Иванова, чтобы пообещать закопать его во вратарской площадке, как пообещал когда-то капитан «Торпедо» Поликанову), но мячи, летящие в створ, выбивали защитники. Третья оплошность Шаповаленко оказалась роковой. Счет стал ничейным — и в добавочное время игра пошла, как говорят футболисты, в одну (торпедовскую) калитку: пропустили еще три мяча.

53

Отгоревали торпедовцы, очевидно, на пути из Ташкента в Москву — утешили себя, не сомневаюсь, традиционным образом. Но в Москве уже побитыми не выглядели — да и смешно бы им, сильнейшей из столичных команд, драматизировать ситуацию. Профессиональная гордость не позволяла им жаловаться на то, что ташкентский матч не удался — могло быть иначе. Они понимали, что в тот год не разобрались, как играть с Тбилиси. Или, может быть, знали, как, но нечем было у грузин выигрывать. Концовка турнира плохо им удавалась — игры вытягивали на классе Иванова с Ворониным. Остальные — старались, но выше головы никто не прыгнул. И второе место было очень неплохой наградой за благие намерения — восстановить в команде атмосферу начала шестидесятых.

Поздней осенью много банкетировали, много сидели в ресторанах, но это уж можно считать заслуженным весельем, расслаблением. Собирались своими, торпедовскими компаниями, что тоже — хороший признак.

Мы уже притерлись несколько к специфической футбольной среде — и присматривались к отношениям в команде с большим пониманием. И мне казалось, что внутри команды достигнуто равновесие, на группировки она не распадается, и тренер Марьенко ни с кем из ведущих игроков не конфликтует.

Субординация в команде напоминала, на мой взгляд, патриархальную семью. Как-то засиделись большой футбольно-околофутбольной компанией в Доме журналистов — и вдруг последовало приглашение от Иванова поехать дальше гулять к нему домой. И к моему удивлению, Щербаков, пришедший в ресторан со своей девушкой, никуда не поехал. К нему приглашение, оказывается, не относилось — и, по-моему, причиной была не

молодость ведущего форварда, а то, что девушка его не могла понравиться жене хозяина дома. И я не заметил, чтобы Володя Щербakov комплексовал, не поехав в гости.

Через несколько дней в том же ресторане неожиданно заговорили о Стрельцове — едва ли не в первый раз за то время, что познакомился я с футболистами.

«Щербак» сказал: «Я знаю, что Эдик на сто голов (голов, разумеется, а не забытых мячей) выше меня. Но сегодня он, как я, не сыграет. При нынешней плотной игре защиты он в штрафной площадке не развернется, не успеет никого из защитников пройти...»

Володя, пожалуй, первый, кто отнесся к возвращению Стрельцова как к реальности, по-деловому, конкретно, — и он попробовал представить его в новых обстоятельствах, перестал воспринимать его внутри сложенного мифа.

В ту осень, часто встречаясь с отдыхавшими торпедовцами, я увлекся не столько футболом, сколько футболистами. И сам себе в той системе отношений я нравлюсь мало. Превращение в околوفутбольного человека — дело малопочетное, о чем я и тогда догадывался. Могу извинить себя профессиональным любопытством, но ведь я ничего, кроме заметок в АПН, тогда не писал. Бескорыстие в моем интересе, при желании, обнаружить можно — я же в футбольной прессе не сотрудничал и не собирался. Информация, поступавшая ко мне, могла быть использована в сугубо личных размышлениях — мало для кого тогда интересных. Да я ими и не очень делился — я оставался в своей компании, почти каждый в которой был знаком с футболистами в такой же степени, а то и большей. Я только начинал работать журналистом — и торпедовцы не могли не брать этого во внимание, относясь с большим интересом к моим более опытным и старшим приятелям. И все-таки не только, наверное, суетное и мелкое было в тогдашнем моем интересе к людям футбола. Что-то я находил для себя в том общении. Из какой-то осознанной неудовлетворенности тянулся к ним. И вряд ли случайно, что через столько лет именно я пишу именно об этом.

Я и сейчас немного жалею, что вел себя в давние годы как человек несерьезный и незатейливо праздный — занятые важным делом люди столько времени в компаниях футболистов не проводят. Но и с такой же точно огорчающей жесткостью понимаю, что во вполне респектабельном качестве я бы многого и не рассмотрел из того, что помогает мне сейчас восстанавливать картину исчезнувшей жизни вместе с населявшими ее людьми...

...Поздней осенью все того же казавшегося мне, двадцатичетырехлетнему, бесконечным года мы с Борисом Палычем Хреновым шли пешком в центр от Суворовского бульвара, точнее, из Дома журналистов, и решили (я, конечно, предложил) заглянуть еще и

в ресторан ВТО.

В шуме, тесноте и, как мне видится из сегодняшней дали, тумане от сгустившихся винных паров Хренов — тот самый Хренов, который наглухо закрыл Симоняна в матче, где не справился со Стрельцовым Маслénкин, — предложил выпить за скорейшее возвращение в строй Эдика. А может быть, мы и зашли только для того, чтобы выпить за его возвращение?

Хренов работал в «Торпедо» третьим тренером — занимался с дублем — и не наверняка, но мог и знать, что старший тренер обратился к начальству с просьбой разрешить играть Эдуарду, пообещав в случае благожелательного отношения к его просьбе в наступающем году выиграть первенство.

В одном из посланий «оттуда» Стрельцов сообщает Софье Фроловне: «Получил письмо от Витьки Марьенко...» Думаю, что Эдик был тронут — к самым близким друзьям он «Витьку» вряд ли мог относить. Да и занимали они в команде очень разное положение — и Марьенко вполне мог оказаться в стане завистников. Не оказался, что приятно... Какую, однако, карьеру сделал Виктор за время отсутствия Стрельцова! И поиграл еще: и за «Торпедо», и за — уж не помню точно — то ли «Шахтер», то ли Харьков, у Пономарева. И успел превратиться в тренера — стать Виктором Семеновичем. Привел за год работы в «Торпедо» команду к серебряным медалям. И вот с убедительными для начальства аргументами хлопочет за возвращение в команду Стрельцова.

...Точно помню, что нас, стоявших, как нам казалось, очень близко к «Торпедо», ни в какие хлопоты не посвящали — либо не хотели сглазить, либо боялись, что мы, какие-никакие, а представители прессы, где-нибудь преждевременно разболтаем о том, как и с кем ведутся переговоры. Насколько я понимаю, сразу после свержения Хрущева они возобновились с гораздо большей, чем раньше, активностью.

В качестве развлекательных, как бы теперь сказали, спонсоров всю нашу группу массовиков-затейников из АПН пригласили и на банкет в зиловском Дворце культуры, и на ужин в Мячково.

За Стрельцова хлопотали, но никто и не подумал пригласить его на застолье, посвященное награждению серебряными медалями. Правда, допускаю, что Аркадий Вольский — в свои тридцать два года он уже очень был искушен во власти, в политике и в поведении своем ничем не напоминал при голливудской внешности кондовых партаргов из фильмов на производственную тему, вполне европеизированный господин — сознательно не хотел вытаскивать раньше времени Эдика на люди, тем более на банкет, где выпивка могла спутать все карты тем, кто за Стрельцова ходатайствовал.

На торпедовском банкете я впервые близко увидел Льва Яшина

— и он произвел на меня самое отрадное впечатление, подтвердив мою давнишнюю мысль, что оговорка в интервью (про омара под майонезом) совсем не случайна для него. И в образ партийного буки, навязываемый любителям футбола центральной печатью, Яшин не собирается вмещаться. Поднявшись с бокалом для тоста, он сразу же пошутил, что слово ему предоставили, когда уже трудно и на ногах стоять, и тем более говорить. Но держался он на ногах прямо и говорил очень естественно, не прибегая к принятым в таких случаях клише. И сил на продолжение выпивки у Льва Ивановича еще оставалось с избытком — после банкета он поехал на новоселье к Борису Батанову, который за четыре года дослужился до двухкомнатной квартиры.

Был на банкете и Анатолий Башашкин — игрок того ЦДКА, за который я болел в детстве. Он и против Стрельцова успел сыграть. В каком-то из матчей армейского клуба с «Торпедо» он не участвовал — смотрел с трибуны, — и кто-то из соседей по служебной ложе, желая сделать ему приятное, предположил, что будь Башашкин на поле, Стрельцу бы не поздоровилось. На что армейский стоппер сказал: «На Эдика таких, как я, и шестерых мало...» При том, что, напомним, Башашкин — олимпийский чемпион, играл в мельбурнском финале.

Представляя заслуженного армейского футболиста, Вольский сказал, что у них на автозаводе Башашкин — самая популярная фамилия. У любого магазина на прилежащих к ЗИЛу улицах только и слышишь вопрос: «Башашкиным будешь?» Центральный защитник выступал под третьим номером, а среднестатистический советский человек иначе как на троих не мог приобрести бутылку водки — больше, чем рублем, на выпивку мало кто в те давние времена располагал.

54

Наконец Аркадий Иванович Вольский осуществил тонко задуманную операцию.

Пробившись на прием к только что избранному Октябрьским пленумом ЦК генеральному секретарю, он, почувствовав, что настала подходящая минута, в разговоре о положении дел на ЗИЛе ввернул как бы между прочим фразу про опального футболиста...

Хрущева не было. Новый государь мог позволить себе популистский жест — причем чистосердечный: Стрельцова он любил, а что совсем недавно подписывал бумажку, говорящую о нежелательности Эдика, так кто же вспоминает такое человеку, пришедшему к власти? — И Брежнев увековечил себя в истории фразой, произнесенной с деланным недоумением: «А если слесарь

отбыл срок, то ему, что же, нельзя работать слесарем?» Вольский понимал, что момент государевой милости и государева остроумия надо использовать для пресечения попыток затормозить решение о стрельцовском возвращении. И напомнил, что Ильичев категорически против возвращения футболу Стрельцова. Брежнев воспользовался случаем, чтобы декларировать и ближайшие кадровые изменения — и снова сострил: «Ну, на Ильичева мы управу найдем».

Начало выступлений Эдуарда за мастеров весной шестьдесят пятого совпало с переводом Леонида Федоровича Ильичева на другую должность. Заметно пониже — он на долгие годы превратился в заместителя министра иностранных дел. В одного из многочисленных заместителей министра... И дожил благополучно до глубокой старости — уже в горбачевские времена отмечался на телеэкране какой-то внушительный юбилей академика Ильичева (он, ко всему, оказался и большим ученым). По-моему, Эдика он пережил...

Я рос в литературной семье и об Ильичеве слышал с детства: он ненавидел за что-то моего отца и всячески вредил ему с тех времен, когда был главным редактором «Известий». Я, возможно, отношусь к Леониду Федоровичу излишне пристрастно, придираюсь. Но он занимал должность, на которой не мог не творить зла регулярно. В шестьдесят четвертом году его ведомство настаивало на суде над Бродским как над тунеядцем. С участием Ильичева в Ленинском комитете блокировалось присуждение премии Солженицыну. И еще оставалось время, чтобы окончательно лишить футбол Эдуарда, а Эдуарда — футбола. О Леониде Федоровиче и стишок сложили: «Над нами гнет идей неновых, нас та же лапа бьет сплеча. Вокруг так много Ильичевых и слишком мало Ильича». Под «Ильичом» не Брежнева подразумевали, а бессмертного товарища из Мавзолея. Ленина еще считали адептом справедливости.

Вряд ли его отставка означала перемену идеологического курса. Наверное, Ильичев просто недостаточно быстро сориентировался и с опозданием примкнул к участникам заговора против Хрущева...

В пору хрущевского правления двенадцатилетний мальчик убил утюгом своих отца и мать, не отпустивших сына на школьную экскурсию. Об этом доложили Хрущеву — и он приказал ребенка расстрелять. Всем здравомыслящим людям ясно было, что мальчик болен психически, — и председатель Верховного суда Горкин попросил Брежнева обратиться в хорошую минуту к Никите Сергеевичу и отговорить его от жестокого опрометчивого решения. Леонид Ильич вышел от Хрущева свекольно-багровым от унижения — и гневно потребовал от просителя никогда не обращаться к нему больше как к посреднику между наследником Сталина и остальными. Мальчика, убившего родителей, расстреляли...

Другой мальчик — из Перова — мог бы гордиться такими

могущественными — и общими с лучшими людьми своего отечества — врагами, которым не удалось его добить. Но лучше бы для всех нас, если бы он гордился лишь успехами своими в футболе. А их вполне могло и не быть после пятьдесят восьмого года. Все шло к тому, чтобы их никогда больше не было.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОСТАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВПЕРЕД

1

В первый же сезон без Стрельцова — в пятьдесят девятом году — со стороны властей было сделано, казалось бы, всё, чтобы поскорее стереть его имя из общей памяти.

Обычно такие вот меры, когда делается «всё», и дают обратный эффект.

В замысле своего драматургического воздействия советская идеология злодейски талантлива, но исполнителей для своих задач она выбирала чем дальше, тем ординарнее. Или, может быть, когда исполнители перестали жить под страхом, что их тоже непременно постигнет кара, они стали действовать тупо-формально?

Моему поколению было не привыкать к замалчиванию и вычеркиванию. Мы наследовали людям, зачастую смертельно испуганным, но еще заставшим в почете и славе тех, кого репрессировали как врагов народа. В нас же имена, старательно замазанные чернилами (я же говорил, что впервые фамилии братьев Старостиных прочел сквозь засохшую школьно-фиолетовую мазню), обязательно вызывали тайный интерес. Власть, получалось, побаивалась тех, кого объявила врагами. При том, что враги, ходившие в героях гражданской войны или мирного строительства, защитить себя, занимая должности и посты, не сумели. Поэтому у нас в охранительном страхе всегда было больше мистики, чем логики.

Суд над Стрельцовым проходил при закрытых дверях. Но приговор-то мы узнали из газет, выходивших миллионными тиражами. Так зачем же издеваться над любителями футбольной статистики — и называя в справочнике, выпущенном к началу сезона пятьдесят девятого, игроков «Торпедо», забивавших голы, пропускать фамилию Эдуарда? Или справочник выпускался в расчете на потомков, которым и знать не следовало о существовании Стрельцова? А современники Эдика вряд ли могли за год позабыть, как лихо начинал он предыдущий сезон...

Но забвение — горькая особенность большого спорта, тем более футбола, где человек, сыгравший два серьезных матча за именитую команду, может стать известен всей стране, но точно так

же, не поучаствовав в громком состязании, вдруг и никогда никому больше не вспомнится, если на оставленном им месте отличится дублер или новобранец.

Исчезнувшего Эдуарда не очень часто вспоминали, например, в начале шестидесятых годов. Но поскольку равных ему не появлялось и не предвиделось, воспоминание о нем возникало тем чаще, чем менее вероятным становилось возвращение Стрельцова в футбол.

Однако напрасный труд искать в прессе, предшествующей сезону шестьдесят пятого года, хоть какое-нибудь упоминание о том, что Стрельцову разрешено играть в футбол. Даже в автозаводской многотиражке — ни слова о, скажу без преувеличения, центральном событии в жизни команды «Торпедо». В информационной заметке о встрече команды мастеров с коллективом рабочих сообщается только о представлении болельщикам двух новичков — Владимира Бреднева и Александра Ленёва. Еженедельник «Футбол», видимо, прошупывая почву, поместил письмо читателя, поинтересовавшегося, как сложилась судьба когда-то репрессированного известного футболиста Стрельцова. Читателю отвечают, что бывший футболист прилежно трудится на ЗИЛе, замечаний по работе к нему нет... Как будто кого-нибудь интересовал Стрельцов-производственник...

У нас в АПН служила весьма привлекательная брюнетка Нелли, заинтриговавшая меня своей фамилией: Стрельцова. Я, конечно, не удержался — спросил ее о возможном родстве с Эдуардом. Она от родства вроде бы и не отрекалась, но по неуверенности кокетливого тона я догадался, что оно в лучшем случае преувеличено. Вместе с тем Нелли с уверенностью сказала, что играть он больше не собирается, собирается учиться. Я к тому, что при полном отсутствии какой бы то ни было толковой информации, кое-какие слухи о всем известном футболисте просачивались, открывая полную свободу предположений о его дальнейшей судьбе.

Но когда разрешение Стрельцову играть за мастеров, казалось бы, должно было снять запрет на информацию о нем, спортивным газетчикам вместо возможности поразмышлять о шансах столь долго не имевшего практики форварда рекомендовалось помолчать.

Искушенный в политике Аркадий Иванович Вольский привел нам окрылившие тогда приверженцев Эдика слова генсека Брежнева, но не скрыл дальнейших трудностей с полным — вплоть до выездов за рубеж, без чего футболист не футболист — восстановлением Стрельцова в спортивных правах.

Откуда же трудности с легализацией первого футболиста, если первое лицо в стране на его стороне?

По-моему, подтверждается мое же предположение о неизбежных сложностях жизни Эдуарда Стрельцова под любой властью, при любом социальном строе, а уж при советском —

безусловно.

Хрущев разозлил и напугал товарищей по партии и коллег по руководству открытым ниспровержением культа личности — говоря по-домашнему, отрицанием (не таким уж и категорическим, если вдуматься) роли и заслуг товарища Сталина. Но причиной смещения самого Никиты официально называли волюнтаризм. То есть — опять же переводя на понятный всем язык — сняли начальственные штаны за то же самое, за что попытался он принародно стащить брюки с лампасами генералиссимуса с мертвого Сталина.

Искренне ненавидевший Сталина — подчеркнул бы, лично Сталина — Хрущев вел себя зачастую точно так же, как и генералиссимус, ни с кем не считаясь, но гораздо хуже заботясь о своей безопасности. Он громогласно ругал Сталина, но во многом не смог не подражать ему. А вот сместившие Никиту Сергеевича товарищи-соратники любили Сталина и восхищались им, но копировать его каждый в отдельности остерегались — из большего, чем у погоревшего Хрущева, чувства самосохранения.

Конечно, то, что называется «политической волей», у Хрущева было посильнее, чем у Брежнева. Но Брежнев был поискуснее как командный игрок. И с большим умением организовав Никите Сергеевичу искусственное положение «вне игры», он и дальше удачно делал вид, что всегда играет в пас с партнерами, взяв на себя преимущественно выполнение стандартных положений — типа штрафных ударов или подачи угловых. А когда потерял физическую форму — и на самом деле стал играть в пас... Ему же в благодарность за это приписывали все забитые голы.

Вождь (или скажем так: начальник, чиновник на самом высшем уровне) ограничивается собственным имиджем далеко не всегда. Нередко он видит, а скорее чувствует подсознательно, резон — ассоциироваться с выдающимися достоинствами кого-либо из подданных. И самый яркий здесь пример — опять же Сталин. Недовольный, вероятно, тембром своего голоса и, как я слышал, грузинским акцентом — не самым уместным у российского императора, он не остановился перед тем, чтобы дар природы диктора-еврея (а известно, что евреев Иосиф Виссарионович жаловал крайне редко и без всякого удовольствия) сделать государственным достоянием. Диктор Юрий Левитан озвучивал очевидное всем сталинское авторство в управлении всем и каждым через издаваемые властью указы.

Однако как бы ни увлекался футболом Брежнев, ассоциировать себя со Стрельцовым — что могло бы кому-нибудь показаться, прояви генсек официальную заинтересованность в разрешении Эдику продолжить творить легенду в народной игре — Леонид Ильич не мог и не хотел. Тем более что откуда ему было знать, что Стрелец теперь

играет по-другому и всей игры на себя не берет.

Брежнев предпочел перепоручить заботу о судьбе Эдуарда аппарату, намекнув, что ничего против Стрельцова не имеет, но и не видит оснований для возвеличивания его по полной программе, раз место «номенклатурного» футболиста занято Львом Яшиным.

Продолжая вольную тему ассоциаций, предположу, что по отношению к Яшину Стрельцов был примерно, как «Литературная газета» по отношению к центральной «Правде». Предписывая Константину Симонову в пятидесятом году стать главным редактором «Литературки», Сталин прямо ему сказал, что обновленная газета призвана изображать орган оппозиции, назначенной сверху.

Но в отличие от «Литгазеты» времен даже не Симонова, а Чаковского, Эдуард ни в коем случае не мог быть сколько-нибудь организованной оппозицией. При всей покладистости, о которой я не раз упоминал в повествовании и которая доставила ему множество неприятностей, Стрельцов не поддавался никакому назначению.

И еще был один аспект, ощутимый звериным инстинктом партийно-чиновничьего аппарата.

...В районе кооперативных домов возле метро «Аэропорт», где жили писатели и работники искусств, был один-единственный продовольственный магазин «Комсомолец» с не ахти каким ассортиментом товаров. Но небогатый ассортимент не мешал директору магазина Михал Михалычу вызывать своими возможностями глубочайшее уважение специфической публики, населявшей близлежащие к продмагу здания. Кто жил в те сравнительно недавние, но уже странные, на нынешний рыночный взгляд, времена, легко сообразит, что к директору «Комсомольца» писатели, актеры, музыканты и киношники обращались с деликатной просьбой — помочь им приобрести дефицитные продукты (а к дефициту относилось процентов восемьдесят пять всей товарной номенклатуры) — и он постоянно шел им навстречу, польщенный популярностью в почитаемой им среде. Михал Михалыча, как всякого торгового работника, приглашали на премьеры в театры и Дом кино, ему дарили свои книжки и вообще старались его всячески задобрить. А я был одним из весьма немногих неделовых знакомых директора — брал у него только водку, и ту преимущественно в долг, а пригласить мне Михал Михалыча в те годы было некуда. Но свои блатные несовершенства возмещал продолжительными — мне обычно некуда оказывалось торопиться — беседами развлекательно-просветительского характера и в меру компетенции отвечал на всевозможные директорские вопросы. Чаще всего мы с ним беседовали о разных знаменитых людях — нас обоих занимала механика успеха и восхождения наверх. Как правило, выслушав мой рассказ о чьей-либо удачливой современной карьере, Михал Михалыч

уточнял: «Но то наш пролетарский полководец (писатель, актер, общественный деятель и так далее)?» Я подозреваю, что и сам директор происходил не из аристократов. Но в истинную значительность выходцев из низов наш директор верил средне, отлично, впрочем, понимая, что при анкетной природе советской государственности пролетарским, как он выражался, талантам живется у нас лучше и легче, чем подлинным талантам, у которых происхождение подгуляло. Предпочтение ненастоящему, видимо, душевно угнетало директора, вряд ли бедствовавшего материально.

Стрельцов всей своей натурой, нравом, статью, внешностью наверняка располагал к себе и чиновников, чьей религией стал казенный взгляд на положение вещей. Но в Эдуарде их настораживало всякое отсутствие того, что Михал Михалыч квалифицировал как пролетарскость — пугающее причем отсутствие, несмотря на рабочее его происхождение. Смотрелся он во всякой среде аристократом, если, конечно, смотреть внимательно. И был слишком уж настоящим в тех декорациях, которые у нас привыкли выстраивать для признанных фигур, чтобы обуздать свободу их пластики. Проступки, совершаемые Стрельцовым, — особенно в молодости — мало отличались, если вообще отличались, от тех, за которые других обычно прощали. Но другие провинившиеся, видимо, выглядели социально ближе в глазах тех, кто всем у нас заправлял, а Эдик, при вроде бы всеми в нем ценимой и обязательно отмечаемой простоте, отпугивал даже покровителей своей безотчетной породистостью. Да и футбол по Стрельцову был футболом аристократическим — теперь и нет ничего похожего на такой футбол...

2

Зимой мы с Ворониным ездили в Ленинград. Как, однако, заманчиво-саморекламно это звучит: мы с Ворониным... Полгода назад вообще ни с одним футболистом знаком не был, а вот туда же: мы с ним, мы то, мы се... Любопытны, конечно, подтекст и подробности той поездки. Но я сейчас не буду на них отвлекаться, повторяя уже опубликованное. На одном только эпизоде чуть задержусь...

По дороге в Ленинград мы полночи проговорили с начальником «Стрелы» в его служебном купе. И вот не могу вспомнить, чтобы в ночном разговоре как-то возник Стрельцов. Событием наступающего сезона тогда казалось прибытие в Москву бразильской сборной во главе с Пеле — и Валерий заверял начальника, что они с Пеле друга друга «разменяют» — то есть, на языке футболистов, не дадут один другому показать себя — отчего ожидаемый с пятьдесят восьмого

года матч может потерять в зрелищности. И наш лучший — по тому времени — футболист жил предстоящей дуэлью с лучшим футболистом мира. И воображал себя Дантесом. Это, конечно, удел защитников, но Воронин справедливо полагал, что тренеры захотят усилить им оборону — заставят преимущественно играть сзади.

С помощью командира-железнодорожника, поверившего в слишком — чего тогда нам не казалось — много обещающего футболиста, мы через день, не сделав в Ленинграде излишних глупостей, вернулись благополучно в столицу — и успели в Лужники на экспериментальную — без фиксации офсайдов — игру между «Торпедо» и «Локомотивом». Воронина, нарушившего в Питере режим, а также Иванова (второго по итогам сезона футболиста Советского Союза) от игры освободили. Но и Стрельцова в эксперименте на снегу не заняли, хотя новобранцев-резервистов привлекли.

На исходе зимы «Торпедо» отбыло на матчи в Австралию. Соблазн путешествия на таинственно зеленый континент был велик и для самых выездных спортсменов — Слава Соловьев ради Австралии пожертвовал очередным титулом чемпиона мира по хоккею с мячом: чемпионат в том году проводился в Москве. А я сейчас в связи с Австралией вспомнил случай, никакого отношения к «Торпедо» не имевший.

В январе восемьдесят седьмого года Бесков отдыхал в Кисловодске, а я туда к нему прилетел по делу (вернее, прилетел в Минеральные Воды, в Кисловодске нет аэропорта, а из Минвод добирался электричкой). Перед самым отъездом с курорта — уезжали вместе на поезде — Константин Иванович позвонил в Москву второму тренеру Федору Новикову (или Новиков ему позвонил, не помню) и узнал, что у Николая Петровича Старостина инсульт. Но когда наш поезд пришел в Москву — ехали около полутора суток — на перроне встречавший Бескова зять Володя Федотов сразу же сообщил, что, узнав о предстоящем турне в Австралию, старик уже оклемался. И совершил потом с командой перелет в свои восемьдесят пять по паспорту (на самом-то деле Николаю Петровичу было года на четыре больше).

Стрельцова же могло утешить только то, что и Воронин с Ивановым в Австралию не поехали.

У сборной СССР предсезонные маршруты были не менее заманчивыми, чем Австралия. Впрочем, редко встречал я людей до такой степени равнодушных — и в этом я его, кстати, хорошо понимаю — к поездкам за границу, как Стрельцов. Единственную похвалу зарубежной стране от него слышал, когда вспомнил он газоны на футбольных полях Финляндии, где побывал в ранней молодости: «Я ложился на траву — и лежал, не мог себя заставить встать...» Нет,

вру — не единственный раз хвалил он иностранную жизнь... Был и еще случай. Мы пришли после панихиды по Харламову в зимнем дворце ЦСКА на аэровокзал, что рядом, где был стол-экспресс, — помянуть Валеру. Но выпивку за стол-экспресс очень долго не приносили — и Эдуард заворчал: «За границей и не успеешь подумать, что бы выпить, а в тебя уже влили...» Но Австралия его не волновала.

Эдик поехал в Хосту — после годов, проведенных на лесоповале и в шахтах, тоже, прямо скажем, заметное изменение к лучшему — с юношеской командой, тренируемой Лехой, как бы сказал Стрельцов, Анисимовым, игроком «Торпедо» тех времен, когда впервые пришел парень из Перова в автозаводский клуб. Все сначала — словно на пороге двадцатилетия. Но когда мастера, возвратившиеся из Австралии, приехали в Хосту и поселились в «Спутнике», чтобы провести десятидневный сбор, он сразу присоединился к ним.

«У него было сумасшедшее желание играть», — вспоминает Батанов. Борис пропустил зимний сбор из-за учебы в институте — и в Австралии «дернул мышцу», получил травму передней поверхности бедра. В Хосте он всерьез за себя взялся — и бегал индивидуальные кроссы вдоль железной дороги в сторону Кудепсты, добегал до моста через реку и обратно. Эдик подошел к нему: «Боб, я тоже с тобой буду бегать». Боб знал, что Стрельцов кроссов из-за своего плоскостопия в прежние времена избегал, а тут бежать надо по жестко выбитой тропинке. Но на юге весной шестьдесят пятого Эдуард бегал с Батановым всякий день минут по тридцать — сорок...

...По радио огорошили, что в первой, бакинской игре «Торпедо» мало что проиграло «Нефтянику» 0:3, но еще и молодой Брухтий не дал Стрельцову шагу ступить без его, центрального защитника, присмотра. Я своими ушами спортивного сообщения не слышал — мне позвонил приятель из АПН, с которым мы обычно навещали «Торпедо» в Мячкове. Он был откровенно раздосадован — и мне передалась его досада. Казалось бы, чего уж такого страшного? Будто в самые знаменитые годы Стрельцова защитникам не случалось с ним совладать, когда Эдик не в ударе... Но сейчас, когда он только вернулся, что само по себе, согласитесь, чудо, от него мы не могли не ждать ничего иного, кроме немедленного сотворения чуда и на поле. А Стрельцов чуда в первом по возвращении в футбол матче не сотворил. Но как считать тогда его вернувшимся?

Мы в своем нетерпении судили так, а через много лет я увидел в семейном альбоме Стрельцовых фотографию: в распахнутом пальто, светлое кашне, какие носили в середине пятидесятых модники, залихватски повисло на шее, улыбка человека, про все плохое позабывшего, — идет, размахивая спортивной сумкой... Снимок

сделан на стадионе в Баку, Стрельцов соскочил со ступеньки привезшего «Торпедо» автобуса — и шагает к раздевалке.

3

Мы приехали в Мячково накануне первой игры «Торпедо» в Москве против куйбышевских «Крыльев Советов».

Ведущие торпедовские игроки охотно и весело болтали с нами в холле. Я не заметил ни в ком из них какой-либо растерянности после неудачного начала сезона. Мы оглядывались по сторонам — Стрельцова в пространстве первого этажа дачи не было. И вдруг показалось мне, что сообщение об участии Эдуарда в бакинском матче только пригрезилось. И никуда он не возвращался...

Иванов быстро догадался, что господам журналистам не терпится увидеть именно Стрельцова — и позвал подняться к нему на второй этаж. Эдик приболел, простудился и оставался у себя в комнате.

Редактор из апээновской редакции фотоинформации отпечатал несколько увеличенных снимков — портретов Стрельцова, сделанных в молодости, с коком взбитых легких и светлых волос над безмятежным лбом, с улыбкой во весь рот, нездешне простодушной.

Портрет, принесенный из безвозвратности лет, показался мне сделанным с другого человека, когда увидел я Стрельцова в непосредственной близости — он не стал подниматься с койки, мы все сели подле него: в комнату вместе с Щербаковым, Мещеряковым и Кузьмой ввалилось человек восемь.

Он изменился разительно. Я готов был к тому, что он полысел, но никто не предупреждал, как поглубели черты лица: округлость щек сменилась твердой складкой; правда, некоторую угрюмость выражения легко меняла улыбка. Позже, когда обратно втянулся он в футбольную жизнь, выражение суровости из его черт постепенно исчезло, вновь обозначившись жестче в самые последние годы жизни — и фотографии, сделанные в разгар сезона, уже не передавали того, что более всего бросилось мне в глаза при знакомстве.

Но удивила меня и домашность в облике Стрельцова — он выглядел старожилом Мячкова, словно никуда отсюда не отбывал, а так и живет с пятьдесят четвертого года. Во всяком случае, он определенно казался вернувшимся к себе домой — и среди не очень близко знакомых людей ни на мгновение не ощущал себя гостем.

Позднее я понял, что не в Мячкове ощущал он себя, как дома, а в футболе. В истории, может быть, а не в давным-давно знакомом ему дачном пейзаже. Он уходил отсюда, когда те, кто занимал сейчас какое-то положение, были в сущности никем. Но что значила их

нынешняя популярность в сравнении с его величием (даже если оно вновь не подтвердится)? — и они, по-моему, это понимали, а он не собирался дать им право усомниться в своем старшинстве — не годами (разница в годах была незначительной), а опять же положением. А молодым, вероятно, хотелось поскорее прикоснуться к легенде Стрельцова.

«Воротничок у рубашки не модный», — заметил, глядя на фотографию, Иванов, сам наверняка носивший в ту пору точно такую же рубашку, но имевший возможность следовать моде и в последующие годы.

Стрельцов никак на слова старого товарища не отозвался. На портрет свой давний взглянул спокойно, без видимой горечи (портрет того же периода, только в профиль, я увидел много лет спустя у него дома, единственное изображение Стрельцова на стенах квартиры, где он жил). И с привычным росчерком (с четко различимыми лишь «Э» и «С») оставил на каждой из фотографий автограф — как будто ничего ни в стрельцовой, ни в нашей жизни не менялось.

Володя Щербаков, переведенный с приходом прежнего центрфорварда «Торпедо» на правый край, тоже взял на память одну из фотографий. Мы все сидели на стульях, а он — на кровати Эдика, вертел в руках стрельцовскую бутсу, приложил ее зачем-то к своей ноге, словом, держался младшим братом, гордым от того, что причастен теперь к делам старшего...

На следующий день мы смотрели на Эдика с трибуны Лужников. Он казался окрепшим. Вальжность исчезла напрочь, сменилась некоторой тяжеловесностью. Новой пластики стрельцовского движения на поле я то ли еще не различал, то ли не умел оценить. Продолжительная активность никогда не была ему свойственна. Но все-таки при этом невероятном дебюте мог бы он и намекнуть на видимое рвение — дать понять партнерам, что готов к совместным с ними усилиям. Нет, никакого уважения или хоть интереса к современному рисунку торпедовской игры он не проявлял, казался ушедшим в себя, не торопящимся вовлечься в совокупные с остальными игроками атаки действия. Он вроде бы и на Иванова, раскручивающего спиннинговую леску атаки, особого внимания не обращал. Производил впечатление человека, которому посторонние шумы слегка мешают расслышать то, о чем он, похоже, давно догадывался. Стадион следил за ним одним, удерживаясь от скепсиса, гася нетерпеливость. Но каждый на трибунах надеялся увидеть шаг Стрельцова навстречу нашим ожиданиям от него, хотя бы намека на чудо.

И до намека он снизошел... Приворожив мяч ласкающим касанием, он двинулся с ним прямо, взглянул на защитников, как бы пересчитывая их, поставил вдруг между ожидаемой в короткой фразе

точки запятую, сочинив на ходу остроумный зигзаг... Он остановился, как загнулся, словно что-то очень важное для себя вспомнив, — и мяч, прокинутый пяткой, мелькнул влево под удар Иванову. И через мгновение, не взглянув даже вслед мячу, с билиардной виртуозностью вонзенному в угол ворот, Кузьма бросился к Эдику и ладонями сжал его раздвинутые улыбкой щеки.

На этом же поле они последний раз сыграли вместе — и тоже в начале сезона — восемь лет назад против сборной Англии...

В обыденной жизни они уже никогда не будут друг для друга тем, кем были в пятидесятые годы. Хотя, может быть, и при вынужденном расставании они не являли того единства, в каком привыкли воспринимать Стрельцова с Ивановым окружающие.

Но в футболе никакая сила не могла сделать их чужими — они родились, чтобы сыграть вместе в футбол.

И когда я по сей день слышу об их разнородности, слышу от людей, не способных (что никому со стороны и не дано) проникнуть в тайну взаимоотношений великих людей футбола, — я все равно вижу эту сцену и ладони Кузьмы на щеках Эдика...

А той весной всех болельщиков Стрельцова больше устроило бы, чтобы он сам забил гол. И как всегда, в забитом голе — жизнь есть жизнь — увидели бы символику. И скорее бы поверили, что чудо возвращения полностью состоялось.

Но забитого Эдиком гола ждать пришлось крайне долго, если оперировать беспощадным футбольным временем, — целый круг чемпионата. Абстрагируясь от календаря розыгрыша, по которому только и живет футболист, можно заметить с недоумением: что значат каких-то четыре месяца — продолжительность первой половины чемпионата — в сопоставлении со временем отсутствия Стрельцова? Но, пожалуй, нетерпеливым любителям футбола легче было бы ждать еще год, чем видеть на поле Эдика, не способного поразить ворота.

Обращаясь к этому тревожному времени в своих мемуарах, Стрельцов не захотел рассказывать о сомнениях либо неуверенности (хотя сам же говорил мне, правда, в года уже послефутбольные, что пока в очередном сезоне не забьет гол, нужной уверенности в себе не чувствует). Эдик уверял, что стоило ему увидеть поле — увидеть в его понимании — как он сразу понял, что все будет хорошо, пусть не сию минуту, но будет обязательно. Раз он видит поле. Я записал его слова: «На футбольном поле я себя ощущал как дома. Запиши — не бойся, что скажут: Стрельцов хвастается. Я в своей жизни очень многого (и очень, наверное, важного) не замечал, мимо проходил, не понимал или усваивал с опозданием (чаще всего непоправимым) то, что все остальные знали с самого начала.

Но в футболе у меня будто глаза на затылке прорезывались. На поляне я всегда все видел: кто где находится, о чем сейчас

задумался. Мне пас дают, а я уже успел посмотреть — и решить даже, кому сейчас сам отдам мяч...»

Он говорил, что к своим партнерам по «Торпедо» в первом круге шестьдесят пятого года по существу только присматривался. Но во второй половине сезона уже точно знал, от кого чего можно ожидать... И нападение торпедовское при нем стало другим — молодые форварды играли под ним с охотой и доверием.

...Я старался не слышать того скептически-критического, что иногда говорилось о нем в ту весну на трибунах, в кулуарах футбольных, просто на улицах. Что-то в новых действиях его вызывало досаду и у людей очень к нему расположенных. Он, если придирается, проигрывал и во внутрикомандном сравнении — замечательно играл Воронин, забивал важные голы молодой Щербаков, как всегда, вне подозрений о возможном закате был Валентин Иванов. Вместе с тем даже незабывающий Стрельцов для торпедовского куража значил многое...

Стрельцов говорил потом, что в том составе «Торпедо», когда только вошел, стал играть иначе, чем прежде. Хуже, лучше — он еще не понимал. Но и перестраиваться ему не пришлось. Все необходимые футболу изменения середины шестидесятых произошли внутри Эдуарда сами собой.

Казалось, что он слишком много играет в пас — в этой излишней доброжелательности к партнерам некоторые склонны были видеть неуверенность, нежелание взять игру на себя, чем славен был Стрельцов в молодости. Кому-то он казался нерешительным, но меня, например, удивляло его спокойствие. Я видел в нем взрослого, несколько стесняющегося перед детьми своей жажды футбола, вынужденности отодвинуть этих детей с их игрушками в сторону.

Наверное, все объяснялось прозаичнее и проще. Он не мог еще похвастаться настоящей выносливостью — к нужным физическим кондициям он в течение всего первого круга только подходил.

Но я говорю о впечатлении, которое он производил...

4

То, что оба главных приза советского футбола уехали из столицы СССР, позволяло в следующем сезоне ожидать от задетого самолюбия ведущих московских команд решительных контрдействий.

На повторение успеха тбилисцев никто, конечно, не рассчитывал. Как все и предполагали, Грузия праздновала ожидаемую почти тридцать лет победу в футболе со всей положенной широтой. И сами футболисты-чемпионы готовились к новому турниру с известной обреченностью. Испытав неиспытанное, они теперь никаким призовым

местам в турнире не могли бы радоваться, как в момент торжества. А на работу, обязательную для борьбы за сохранение высшего титула, в связи с праздниками времени не оставалось. И оскорбленный в лучших чувствах Качалин подал в отставку.

Кубок, отнятый Масловым у москвичей в первый же год его тренерства в Киеве, должен был бы напугать столичный футбол грядущим наступлением с Украины. Но Кубок — не первенство. И неизвестно еще было, насколько приживется «Дед» в республике, где начальство мнит себя величайшими футбольными знатоками. Мало кто верил, что Виктор Александрович незамедлительно решится на реорганизацию, затрагивающую игроков-любимцев публики и командиров.

Вид у футбольной Москвы в канун сезона шестьдесят пятого был весьма внушительен.

Трудно было предположить, что «Динамо» и «Спартак» переживут еще год без призового места. При таких-то игроках — у «Динамо»: Яшин, Численко, Мудрик, Аничкин, Маслов, Гусаров, Авруцкий, Вшивцев, Парёв, а у «Спартака»: Маслаченко, Логофет, Корнеев, Крутиков, Севидов, Хусаинов, Фалин, Амбарцумян...

Пономарев все-таки ушел в мае из «Динамо». Но туда перебрался поработавший и в Киеве, и в Москве с ЦСКА Вячеслав Соловьев.

Валентин Николаев поступил на службу старшим тренером ЦСКА в середине сезона. В армейском клубе продолжали верить, что вернуть послевоенные позиции они смогут только с тем тренером, кто прошел школу аркадьевской (Борис Андреевич теперь тренировал «Локомотив») «команды лейтенантов». Соловьева сменил партнер Боброва и Федотова, правый в прошлом инсайд Николаев. И стали при Валентине Александровиче третьими. И сохранили состав во главе с Федотовым, Шестернёвым, Борисом Казаковым.

И все же «Торпедо», вернувшему себе Стрельцова, можно было отдать предпочтение перед остальной Москвой в первом круге, пусть и не на все сто процентов оправдывал пока надежды Эдик...

После нулевой ничьей с ЦСКА — Стрельцов не играл в этом матче — удалась серия из шести побед. Начиналась она с победы над одноклубниками из Кутаиси, тоже одержанной без Эдуарда, — два мяча забил Иванов, два — Щербаков и пятый Соловьев. И дальше — в Одессе у СКА, в Донецке у «Шахтера». И очень важную игру у киевлян вырвали — единственный гол забил Владимир Щербаков.

Без Стрельцова сумели выиграть у «Спартака» и со Стрельцовым у московского «Динамо».

Чуть, однако, не подпортили радужную картину тбилисцы, вдруг в Москве вспомнившие про победный характер, — спас Валерий Воронин, забивший со штрафного в обвод стенки за шесть минут до

конца игры.

5

...Четвертого июля 1965 года произошло событие, которого в Москве как раз столько и ждали, сколько отсутствовал в футболе Эдуард. Ждали, как только услышали про Пеле. И с той поры мечтали о возможности увидеть бразильца своими глазами — мечта, прямо скажем, для большинства советских людей несбыточная.

И вдруг летом шестьдесят пятого она сбылась — сто с лишним тысяч пробились на лужниковский стадион; всем прочим матч с участием Пеле показали по телевидению под комментарий Озерова.

К чести знаменитого форварда скажем, что он все эти годы только подогревал интерес к себе — играл Пеле все лучше и лучше, документируя международный миф. И одновременно рождая в нашей стране миф встречный и патриотический — чем дольше не было в отечественном футболе Эдуарда Стрельцова, тем больше крепла уверенность, что попади он тогда на чемпионат в Швецию, еще неизвестно, кем бы кто стал в дальнейшем.

Чтобы понять нашу страну — хотя бы отчасти, надо прожить в ней целую жизнь, по возможности непрерывно размышляя о чертах, присущих только ей одной. Но если прожить в ней целую жизнь, никуда за пределы страны не выезжая (что отнюдь не фокус), то сделать второе маловероятно. И охоту к неуютным размышлениям я встречал у немногих, а миллионы, мне кажется, живут по Брежневу: логики не ищут. И взамен находят некоторые удобства, а то и душевное равновесие.

Начнем с того, что матч был товарищеский — и ничего в политическом имидже не решал. Тем более что все равно мы проиграли — точнее, футболисты проиграли, а зрители выиграли. Матч, как я уже докладывал, проводился в Москве — и то, что штрафнику Стрельцову выезды за рубеж были заказаны, никак не влияло на ситуацию. Тем более что через год с небольшим ему и выезд разрешили. Допустим, он еще не доказал всем, что пришел в лучшую форму. Но бразильцы привезли совершенно растренированного Гарринчу, и за пятнадцать минут до конца игры он на поле вышел. Гости не хотели лишать хозяев возможности лицезреть правого края, некогда доставившего сборной СССР множество неприятностей.

Конечно, у нас руководствовались педагогическими соображениями. Как это вчерашний заключенный выйдет в майке с государственным гербом? Что же касается спортивной стороны, то неужели бы рядом с Ивановым он сыграл хуже, чем Баркая или Биба?

Банишевский был на девять лет моложе Эдика, но когда Стрельцов заиграл в свою силу, — часто ли восхищались бакинским вундеркиндом?

Ну хорошо: прохлопали из-за собственного идиотизма и ханжества исторический шанс свести на московском поле Пеле со Стрельцовым... А кто мешал вспомнить про Стрельцова-зрителя, сидевшего на трибуне? Понимаю: киноплёнки жалко, операторы телевидения чересчур заняты, но хотя бы любительский снимок можно было сделать: Эдуард Стрельцов смотрит из лужниковского яруса на Пеле...

До сих пор жалею, что не был с ним в июле достаточно знаком, чтобы по телефону созвониться вечером.

И все же отчего-то я уверен, что горькие мысли не слишком мучили Эдика в тот день.

Через четверть века мы заговорили с ним о Пеле — точнее, я у него, уже смертельно больного, что-то спросил, явно рассчитывая на ответ, который останется в футбольной истории: пусть хоть репликой, пусть и не вполне афористично сформулированной фразой.

Он вдруг отвердел лицом и сказал с непривычной для него отчужденностью к собеседнику: «Совершенно разные игроки». Мне показалось, что увидел он тогда себя и Пеле из некой, может быть, нездешней дали. Но разговор-то между нами про Пеле и зашел, наверное, из-за того, как я сейчас догадываюсь, что перед тем он сказал совершенно спокойно: «В мире меня не знают».

В девяностом году — из-за того, что на него обрушилось, — он, возможно, и подводил итог, огорченно, допуская, задумываясь о случившемся или не случившемся с ним.

Но тогда, летом шестьдесят пятого, мне кажется, он был переполнен своим возвращением в футбол — и мир своего футбола снова виделся ему бескрайним, как в середине пятидесятых. Он вообще, по-моему, не любил брать в голову неприятное. В том, разумеется, случае, когда неприятности не ставили всё в его жизни с ног на голову.

Так получилось, что некоторые итоги пришлось подвести тем из его великих коллег, кто вышел против бразильцев на поле, выясняя тем самым свои отношения с мировой славой.

Воронин не только не справился, но и сильно проиграл в сравнении с Пеле, а Валентин Иванов ни на какое сравнение в тот раз и не вышел. Правда, он был и старше Пеле на пять лет. Но сыграй Кузьма и в Швеции, и в Чили вместе со Стрельцовым, не сомневаюсь, что громкое международное имя и он бы обрел. Имя приносят матчи поближе к финалу чемпионатов мира.

Тренер Морозов заменил Иванова Банишевским во втором тайме матча — и больше ни в одном из официальных матчей сборной

в основной состав его не ставил. Возможно, что кто-то из футбольных начальников в разговоре с тренером сборной слишком уж многозначительно намекал на возраст Валентина Козьмича.

Валерий Воронин, который тоже был, между прочим, старше Пеле, но всего на год, и который не сомневался, что будет играть на лондонском чемпионате, пережил, однако, неудачу в противоборстве с бразильцем крайне тяжело. Как выдающийся спортсмен, он заставлял себя забыть ощущения того дня. Но, мне кажется, эта его психологическая травма оказалась неизлечимой — и во всем, что происходило с ним дальше, он внутренне отталкивался от неудачи, датированной четвертым июля.

А Стрельцов — хорошо представляю себе его, поднявшегося после финального свистка шведского рефери с лужниковской скамьи, где сидел он в жаркой тесноте, — шел с довольной улыбкой, слушая ото всех вокруг восторги, расточаемые Пеле, не возражая и не соглашаясь, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но вовсе не чувствуя себя чужим на этом празднике футбольной жизни. У него были свои соображения, свои несомненные согласия и несогласия. Только никакой черты под размышлениями о сейчас увиденном (и услышанном) он-то подводить не собирался.

Как писал наш пролетарский классик Фадеев: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности».

6

Через шесть дней после матча с участием Пеле, в котором Пеле оправдал самые высокие аттестации, не обманув ожиданий, проведя в Москве один из лучших за карьеру матчей и забив два из трех (они выиграли 3:0) мячей обоим вратарям нашей сборной (и Банникову, и Кавазашвили), — 10 июля — Эдик наконец забил гол, продолжив свой счет в действующем футболе. Он, как и Пеле, забил два мяча, чтобы не мелочиться при возвращении в бомбардиры.

Торпедовцы играли с «Динамо» из Минска. Проигрывали 0:1, когда Эдуард, получив пас от Воронина, с лёта, без обработки пробил в нижний угол. А за две минуты до конца успел к мячу, который минский вратарь выронил.

И через игру он забил своим традиционным клиентам из «Локомотива» первый из трех в том матче торпедовских мячей. Похоже, что предсезонные обещания Марьенко стали сбываться. Стрельцов в строю — и «Торпедо» выигрывает.

Матч против «Черноморца» мне еще и потому запомнился, что за Одессу играл переехавший туда после разрыва с Масловым Лобановский.

В «Торпедо» к «Лобану» относились критически, целиком солидаризируясь со своим бывшим тренером, отказавшимся не только от левого края, но и от правого — Олега Базилевича. Иванов Лобановского в грош не ставил как игрока и смеялся надо мной и Аликом Марьямовым (автором нашумевшей статьи о киевлянине), говоря, что если такой игрок нам нравится, то мы вообще ничего не сможем в футболе. Сдержанный Боря Батанов тихим голосом возмущался, когда мы пытались привести хоть какие-то доводы в защиту Лобановского: «Ну играют же не один на один». Воронин, смеясь, вспоминал, что когда-то в сборной, когда Лобановский туда еще ненадолго входил, Шурик Медакин прозвал его «Фрицем». К тому времени, замечу, Валерий Васильевич сам уже тренировал сборную СССР, а Шурика никто и не вспоминал. И все же Лобановский представлялся мне своеобразным футболистом, ни на кого не похожим, и я и сегодня не забыл его закрученные угловые, когда мяч от флажка летел всегда прямо в ворота — и весь стадион гудел, когда худой и длинный Лобан долговым шагом направлялся к сектору, откуда подают корнер. Но и этот аргумент на корпоративных торпедовцев не действовал. Кузьма рассказывал, что Эдик, услышав от кого-то про угловые Лобановского, немедленно взял мяч, дошел с ним до флажка — и подал прямо в ворота. И потом — по заказу — закручивал и в ближний угол, и в дальний. И Стрельцов, подчеркивал его партнер, не тренировал такой удар, Лобан же на овладение им затратил массу времени.

Но мне жаль было Лобановского, когда я увидел его в составе «Черноморца», а не киевского «Динамо», претендующего на первенство.

Стрельцов начинался заново, а известный мастер, двумя годами его моложе, заканчивал свою карьеру.

Стрельцов взялся пробить пенальти, но пробил слишком общо — и вратарь отразил мяч, сообразив, куда он будет направлен. Эдик спокойно дождался, когда мяч прикатится к нему обратно, — и вколотил его под перекладину.

Команде, видимо, хотелось, чтобы забивал он постоянно. И в следующем московском матче с армейским клубом из Ростова он опять бил — и неудачно. Мы уже были, я считал, знакомы настолько, что в раздевалке я счел своим долгом его утешить. Он сделал вид, что удивился: «Ты, что ли, про одиннадцатиметровый?» Торпедовцы и с не забитым пенальти победили. Отличился перешедший из горьковской команды Владимир Бреднев — Марьенко метил Бреднева на место Батанова. Но Борис держался молодцом — поселил конкурента в своей комнате на даче в Мячкове. Говорил, что вот если бы Валя Денисов вернулся из ЦСКА, то он сам бы ему уступил место. Но Денисов пока не собирался возвращаться, хотя в составе

армейском появлялся реже, чем можно было ожидать. Маношин выступал немного чаще, но после шестьдесят четвертого года в списке 33 лучших не фигурировал, а Кирилл Доронин провел в ЦСКА и вовсе считанные матчи, играл в Ростове, когда там работал старшим тренером Маслов.

7

Ему снова надо было привыкать к славе действующего игрока, к узнаванию в своем повзрослевшем облике.

Иногда он приходил к завершению рабочего дня за Раисой в ЦУМ и смущался из-за всеобщего внимания, стеснялся лысины. К тому времени жена обрезала косу — и он бурчал, что хорошо бы ему из той косы сделать парик.

8

Конечно, всеми и повсеместно обсуждалось: изменилась ли — и в лучшую ли сторону — игра возвращенного Стрельцова? Что все-таки в лучшую — поняли далеко не сразу. И все ли? Для понимания новой его игры требовался развитый вкус, способность проникать в тонкости футбола, едва ли многим доступные...

Несколько снижало впечатление, что никто из партнеров, кроме Валентина Иванова, не понимает его вполне. И потом — в памяти возвышался прежний Стрельцов, досочиненный в тоске по нему зрительским воображением, в новом Эдуарде искали черты бывшего Эдика, огорчались переменам вместо того, чтобы восхищаться ими.

Язык паса, на котором заговорил он не только с партнерами, но и с публикой, предлагая ей другой взгляд на футбол, казался поначалу, да и потом конечно тоже (не буду утверждать, что в футболисте Стрельцове разобрались по-настоящему квалифицированно), языком даже не иностранца, а скорее инопланетянина.

Я заметил, что на метафоры в разговоре об Эдике разворачивает и людей, в своей деятельности к ним совсем или почти не тяготеющих. Вот и Аксель Вартанян — строгий, в лучшем смысле, автор, но и он... Кстати, об Акселе — он все органичнее входит в повествование. Начиная книгу про Стрельцова, я знал, что на странице с титрами, предваряющими собственно текст, обязательно выражу статистику слова благодарности за помощь, которую не побоюсь назвать дружеской за ее неоценимое бескорыстие. Но удаляясь в повествование, понял, что Аксель — и персонаж.

Действующее лицо. Он не был лично знаком с Эдуардом, но думал о нем, знает о нем, любит его, как, может быть, никто другой. И состав тех, кто движет связанный с Эдиком сюжет, был бы неполным, отсутствуя в нем наш друг Вартанян.

Аксель сравнил возвращенного Стрельцова с охотником на мамонтов, оказавшимся в развитом капитализме, минувшая общественно-экономические формации. В незнакомой языковой среде — тянет свою метафорическую нить статистик — Эдуард обнаруживает настолько выдающиеся лингвистические способности, что до аборигенов редко доходит изыск его речи на том языке, от которого их-то никто на целую вечность не отрывал. Приговаривая к немоте и глухоте...

В декабре шестьдесят седьмого года играли с англичанами на стадионе «Уэмбли» — и общепризнанным героем стал Игорь Численко, забивший за две минуты два гола. Но сам «Число» признавался нам в бане, что на несколько великолепных пасов Эдика он не успел — не понял такой тонкости футбольной мысли. (Ответив одному из журналистов, что в игре он более всего ценит мысль, Эдуард пояснил предметно: «Пока у меня мяч, я должен заметить множество деталей — откуда собирается двинуться защитник, под какую ногу партнеру лучше послать мяч, как расположились мои партнеры относительно ворот противника — смогут ли они продолжить комбинацию? Например, партнер слева готов открыться — и справа готов... Все ждут, что я отдам пас вправо. И соперник этого ждет. И вроде бы правильнее всего отдать сейчас вправо. И я делаю вид, что так и поступлю, а сам отдаю влево».) Восторгаясь Стрельцовым, Игорь сожалел, что не способен к такому образу мышления на поле. А ведь к шестьдесят седьмому году наиболее думающие игроки сборной не прочь были приспособиться к изменившемуся Стрельцову, прекрасно уже понимая, с какой величиной сотрудничают. В шестьдесят же пятом легче было выдать непонимание — неспособность быть на высоте его игры — за недоумение. Ворчать, что Стрельцов теперь не тот, что был когда-то.

Вместе с тем, когда знакомишься с изысканиями Акселя Вартаняна, убеждаешься в силе воздействия на футбольную аудиторию не только «нового» Стрельцова, но и Стрельцова, щедро и эффективно цитирующего себя — когдатошнего.

При своей магической способности завораживать, он вынуждал нас теперь видеть в своей игре новое, а старого почти не замечать. Видели в основном его доброжелательность к партнерам при розыгрыше.

Но при знакомстве со статистикой — развернутой и снабженной комментарием — узнаешь, что «цитаты» занимают значительную площадь в самостоятельном «тексте» теперешней игры Эдика.

В пятидесятые годы он больше мячей забивал с прорыва, обходя по ходу стремительного движения к воротам нескольких оборонцев. Но и во второй своей жизни в футболе голов в прежнем стиле совсем немало — Вартанян насчитал двенадцать таких завершаемых голом прорывов, ставших редкостью при лучшей организованной обороне, причем в девяти случаях Стрельцов обыгрывал защитников на скорости. Зрелый Стрельцов очень много играл на опережение, стартовый рывок по-прежнему бывал губителен для опекавших его игроков...

Но, повторяю, прежние эффекты в нынешней игре меньше запомнились оттого, что публика чувствовала: суть теперь в ином. Он не только отдавал партнерам великолепные пасы, но и научился заряжать их своей энергетикой, тонизировал током непрерывной мысли на поле. Стрельцов-мыслитель постепенно заслонял Стрельцова-бомбардира. Но все, что положено бомбардиру, он совершил и в шестидесятые годы.

И, конечно, стоял он на поле не меньше, чем раньше. Но теперь он и из статичного положения вселял в защитников столько же тревоги, сколько и в движении. Обострить игру пасом он мог теперь с любой позиции, не двигаясь с места; защитникам легче было вести с ним силовую борьбу, чем угадывать — нередко тщетно — задуманный им ход.

Эдик говорил потом, что в шестьдесят пятом до конца первого круга он досконально разобрался в особенностях и возможностях своих новых партнеров. Говорил, что ему, например, совершенно неважно, на какой позиции фактически играет, например, Володя Щербаков. Когда тот перемещался в центр, Стрельцов уходил на левый фланг. Ему казалось, что Щербаков успел почувствовать общую с ним игру. И знает, что если откроется, то обязательно получит от Эдуарда мяч.

Он говорил: «Я наизусть всех знал, кто сколько ходов сделает в комбинации, кто мяч начнет водить возле углового флага, и я к его передаче успею пешком дойти, а кто и меня заставит поторопиться. Олег, допустим, Сергеев по центру никогда не пойдет, он убежденный крайний нападающий — сыграет по краю прямолинейно и прострелит мяч обязательно с угла. При его напористости такая прямолинейность часто оправдывалась. И к моменту его прострела я обязанностью считал осложнить жизнь защитникам своим маневром без мяча в штрафной площадке.

В первом круге мне важно было показать партнерам по атаке свою полезность. Нужно было полное их доверие ко мне как к игроку, который может возглавить атаку.

В молодости я обижался, когда мне вовремя не отдавали мяч, — я же был готов, заряжен, я знал, как и когда открыться, и верил

в себя в единоборстве с любым защитником. Конечно, не все выгодные ситуации я использовал, но промахов не страшился, не сомневался, что все поправимо, пока игра не закончилась.

А теперь я хотел быть больше полезен другим. Теперь все ходы, которые мне приходили в голову мгновенно, я обязательно представлял и с участием того, чей шанс точно пробить по воротам лучше моего. В прежние времена у меня был идеальный партнер — Кузьма. Он, когда я вернулся, оставался вне сравнений. Но мне нравилась теперь возможность сыграть острее и с тем, кто пока еще не привык играть в тот футбол, который так любили мы с Вале́й.

Вообще игра в пас мне и в молодости была очень интересна. Конечно, Кузьма для меня делал очень много. Но ведь и я всегда старался ответить ему тем же. Просто у меня, может быть, в большей, чем у него, степени сложилась репутация забивалы, хотя, по-моему, забивал Иванов никак не реже...

Другое дело, что ни в клубе, ни в сборной я не имел права ни на кого перекладывать ответственность при завершении атаки. Форвард должен прежде всего забивать — и я забивал. И в молодости, и потом».

9

Когда в первом круге победили киевлян, перехватив у них лидерство, — единственный гол забил Щербаков, обыграв финтами трех защитников, — почти все торпедовцы с женами собрались дома у Стрельцова (с отдельной, двухкомнатной квартирой на улице Машиностроительной завод тянуть не стал, а Софью Фроловну оставили на прежней жилплощади).

Собрались не просто отметить победу, а для откровенного и делового разговора.

«Момент для разговора, — вспоминал Эдуард, — был самый удачный. После выигрыша можно без обид послушать и критические замечания. Мы знали „Деда“ — и понимали, что Киев еще прибавит. Но и то понимали, что если приналяжем, то можем им лидерства не уступить... Так вот после победы, когда никому не надо оправдываться, разговор, мне кажется, получился спокойный.

Мы, нападающие, сказали защитникам и Воронину с Бредневым, которые умели помочь обороне очень существенно: «Если вы сможете сзади сыграть по-настоящему строго, мы вам обещаем, слово даем забивать в каждой игре...» И защита наша во втором круге играла ничего, если не считать проходной двор сзади в первом тайме с «Киевом» в Киеве...»

10

Совсем уж усерезнить портрет Эдуарда Стрельцова, который начинает складываться по впечатлениям от первого по возвращении в спорт сезона, несколько мешают воспоминания о том же времени Аллы. Семь лет отсутствия Эдика в футболе — это, между прочим, и возраст его дочери Людмилы.

«В шестьдесят пятом году мой ребенок поступил в первый класс, мы с ней идем покупать школьную форму в „Машеньку“ на Смоленской. Выходим — стоит наш красавец, качается. И, конечно, сразу к нам — увидел, узнал. С нами идет, а Милка меня дергает — пусть он с нами не идет, он пьяный, он качается, пусть он с нами не идет! В „Машеньке“, когда мы пришли, он не очень красиво, немножко шумно себя вел: „Вы не можете что-нибудь получше подобрать?“ В общем, пока он там своим карманом шелестел, мы уже все оплатили, конечно. И он нас довел до дома (мы тогда переехали в Кузьминки в шестьдесят третьем году), узнал, где мы живем, стал приходить и меня стал с завода встречать...»

11

Обещание, данное торпедовскими форвардами своим товарищам, отвечающим за оборону, ими, в общем, выполнялось. Не удалось забить гол во втором круге только ЦСКА. Но и забивать помногу тоже не получалось. Московскому «Динамо» так и вообще проиграли, правда, Стрельцов пропустил матчи и с «Динамо», и с ЦСКА.

Первенство второй год подряд могло достаться не москвичам. Но столичные клубы по-прежнему были выше поддержки и помощи землякам.

Со «Спартак» играли тяжело. Отчасти выручил Юрий Севидов, попавший с одиннадцатиметрового в штангу. Батанов продолжительное время не выступал за основной состав, но тренеры, работавшие с дублем, уверяли Марьенко, утратившего расположение к Борису, что тот вошел в лучшую форму. Боб вышел на замену со «Спартак» — и забил единственный гол. Спартаковцам показало, что из положения вне игры. Вечером Воронин спросил Севидова в ресторане ВТО: «Юра, я не расслышал, что ты там кричал». — «Я сказал, что за уши судьи тащат „Торпедо“», — не стал отпираться центрфорвард.

Теперь Вартанян уверяет меня, что гол забил вовсе не Батанов,

а Иванов. Я не могу ему не верить, но вижу отчетливо, как Батанов высказывает на незамеченный защитниками пас... Я к тому об этом заговорил, подставляя себя критике, что забей гол Стрельцов, я бы его ни с чьим другим не перепутал, как не путаешь ход ферзем с ходами слона или коня...

Психологический подтекст соперничества киевлян с торпедовцами и создавал ту многомерность зрелища, о которой я уже говорил.

Тренерское превосходство Маслова над Марьенко упиралось, однако, в то, что «Дед» вынужден был искать контригру против двух самых любимых своих футболистов — Иванова и Стрельцова. А они, в свою очередь, могли представить, что Виктор Александрович готовит им в ближайшем будущем. И даже трудно выразить, что значило для Виктора Семеновича Марьенко победить в ранге тренера московского «Торпедо» самого Маслова в борьбе за первенство.

Футбольный потенциал у динамовцев ко второй половине сезона явно был выше. И когда в Киеве они после первого тайма выигрывали 3:0, мы огорчились, но не слишком удивились.

Потом рассказывали — если Стрельцов, то как же без легенд и мифов? — что в перерыве «Дед» сказал своим защитникам: «Не сердите Эдика!» А они его не послушались — и Стрельцов им в отместку заиграл так, что справиться с ним теперь уже никто не мог. Действительно, во втором тайме Эдуард забил два гола. Причем оба мяча головой, после подачи корнеров, что для него вообще редкость (он, по-моему, во внутреннем календаре, кроме этих двух, больше и не забивал головой).

Сам же Эдик считал, что не он сердился на киевлян, а Маслов на них с Кузьмой. А они, мол, обижались из-за того, что на них сердится такой любимый ими человек. И ему-то и захотели они кое-что показать из своего умения...

Этот проигранный «Торпедо» матч Стрельцов вспоминал, однако, с удовольствием. Говорил, что их команду никакой счет в пользу соперника сломить не мог — и на второй тайм они вышли, чтобы повести игру заново, позабыв все огорчения прошедшего тайма.

«Третий гол, — вспоминал Эдуард, — забитый Валеркой Ворониным, судья не засчитал. Но мы продолжали наступать и, продлись игра немножечко, счет мы обязательно сравняли бы. Чувствовалось: еще минута — и динамовцы закричат „караул“!..»

Стрельцов считал, что, когда он вернулся в футбол, играть стало трудно буквально против всех защитников. И главная сложность заключалась в том, что очень сильно возросла общая грамотность обороняющихся. Почти все из них научились читать ситуацию.

«Миша Огоньков, — вспоминал прошлые времена Эдик, — мне

потом рассказывал, что они в „Спартаке“ в сезонах пятьдесят шестого — пятьдесят восьмого часами думали, как сыграть против нас с Кузьмой, чтобы не возникало таких положений, что мы вдвоем выходим на одного защитника — тогда еще играли по системе с тремя.

А вот теперь, когда все команды играли с двумя стопперами (их тогда еще так у нас не называли), ломать голову больше приходилось нам, нападающим. Ломать причем в ходе игры — всего заранее было не рассчитать. Тактическую хитрость теперь надо было проявлять все девятьсот минут игры — конечно, полностью усыпить бдительность защитников не удавалось, но утомить (их же собственным беспокойством) из-за наших ходов у нас, пожалуй, в хороших играх получалось. Утомить то есть не физически, а морально, что ли, заставив поверить в неистощимость наших вариантов и перемещения без мяча.

Я чаще старался не обыгрывать плотно опекавших меня защитников (особенно здоровых парней, вроде Соснихина или Хурцелавы, сидящих у меня на спине), не убегать от них, а уводить их за собой, освободив пространство для прорыва других наших нападающих. А когда удавалось сковать своим маневром (иной раз — да — и на месте стоя, но не просто так — абы постоять, а по делу и с особым замыслом, моим партнерам только и понятным), связать сразу двух обороняющихся, то мы тут и разыгрывали свободно свою комбинацию за счет соперника, оказавшегося лишним...»

На мой непросвещенный взгляд, особенно трудно пришлось торпедовским форвардам, когда однажды во вражеском стане оказался игрок, начинавший сезон в их составе.

12

Владимир Мещеряков был прирожденным капитаном команды. В «Торпедо» — по своим возможностям игрока — он не мог им стать ни под каким видом. В сезоне шестьдесят четвертого года он, очень надежно играл рядом с Виктором Шустиковым. Помню, как в завершающей стадии сезона шестьдесят пятого у торпедовцев совершенно не клеилась игра против кого-то из аутсайдеров, упершихся и поведших в счете, а Мещеряк выручил «коллектив» внезапным, метров с тридцати пяти, ударом по диагонали от бровки вдоль Южной трибуны (матч проходил на стадионе «Динамо»). И дальше торпедовцы перехватили инициативу.

Мещеряк и в быту старался не только быть в компании лидеров, но и самому держаться лидером среди тех, кто в заводилы не вышел. Он мог в ресторане удержать товарища по команде от лишней рюмки

накануне серьезной игры. И, как я уже говорил, Володя бывал незаменим в налаживании и поддержании связей команды с творческой общественностью, к чему приобрел навыки, когда еще жил в Ленинграде и ездил на «Красной стреле» вместе с известными артистами.

Но в следующем сезоне Мещеряков почувствовал некоторую шаткость в своем положении. Марьенко часто видел теперь вторым стоппером Витю Марушко, прежде игравшего в «Локомотиве» полузащитника. Не по натуре Володи было оставаться в запасе, тем более в сезоне, обещавшем стать для «Торпедо» чемпионским. Конечно, вне столицы он себя не мыслил, но в двадцать семь лет (они были со Стрельцовым ровесники) и о тылах следовало подумать — и рациональный Мещеряк рассчитывал, что с золотой медалью он на неплохих условиях поиграет впоследствии и в командах рангом ниже. И он затеял интригу с целью перераспределения властных полномочий, чтобы закрепиться в составе, несмотря на козни Марьенко. Опереться в своей борьбе за выживание Владимир решил на бесхитростного Эдика, которому он откроет глаза, что денег тот получает меньше, чем завод доплачивает негласно Иванову и Воронину, что несправедливо, учитывая сегодняшний вклад Стрельцова в торпедовский успех, не говоря уж о его громком имени... Я, наверное, слишком примитивно излагаю общий замысел Мещеряка. Он, конечно же, не собирался портить отношения с Ивановым и Ворониным, находившимися в тот момент в Вишняхках, где готовилась сборная СССР. Я думаю, Мещеряк надеялся иметь некоторые дивиденды за покровительство или, как сказали бы сейчас, информационное спонсорство Стрельцову. Но Марьенко оказался не глупее Володи — и моментально сообразил, как некстати может оказаться сейчас даже намек на свару между ведущими игроками. Он съездил к сборникам в их Вишняки, заручился их согласием — и отчислил Мещерякова. А Стрельцов так и не понял, что произошло и каким образом интрига могла его касаться...

С уходом Владимира связи «Торпедо» с художественной общественностью не прервались, хотя вскоре Вячеслав Соловьев и в футбол стал играть за московское «Динамо». Но в шестьдесят пятом году Марьенко пригласил, кроме Бреднева, и другого ведущего футболиста «Волги» и тоже Владимира — Михайлова. Симпатичный молодой человек Михайлов женился на знаменитой актрисе Татьяне Лавровой... Мишу Посуэло в том же году дисквалифицируют по «делу Севидова», нашумевшему поменьше, чем стрельцовское, но все-таки... Но традиция связей с актрисами в «Торпедо» сохранится.

Ресторан ВТО останется прибежищем футболистов двух московских команд — «Торпедо» и «Спартак».

А «Шахтер» немедленно уцепился за Мещерякова — защитник

подобной квалификации в разгар сезона был для донецкой команды более чем кстати (Марьенко это учтет и когда через год расстанется с Батановым, сделает с помощью начальства все, чтобы Боб за «Шахтер» не играл).

И вот незадолго до игры в Киеве «Торпедо» встречается в Москве с «шахтерами».

«Торпедо» — команда капризная в том смысле, что всегда хочет сыграть с настроением; вкус к хорошему футболу привит в ней и у средних игроков: тренируются-то они рядом с выдающимися мастерами. И если сами не все могут, то умом и нутром понимают, что хорошо, что плохо. С бойцовыми командами торпедовцы, как и полагается классному клубу, в большинстве случаев справляются. Но удовольствия от таких игр получают мало. С донецким «Шахтером» у «Торпедо» счеты с финала шестьдесят первого года, когда проиграли по-глупому и выводов своевременных из бездарного поражения сделать не смогли. Тем не менее игры с «шахтарями», как говорят на Украине, шли у зиловских футболистов туго.

Сейчас, когда от каждого очка зависела судьба чемпионства, выигрыш на московском поле у донецких гостей входил в обязательную программу. И когда в атаке не очень вдруг заладилось, претенденты на первое место невольно занервничали.

И особенно форвардов раздражало, что Валентин Иванов завяз в единоборствах с Мещеряковым.

Ну и что из того, что Мещеряк знал Кузьму досконально? Можно подумать, что в двусторонках в Мячкове он с ним справлялся. Я, правда, на двусторонках этих не был — знаю о них по рассказам, но на тренировках «Торпедо» видел, что, когда упражнялись, в квадрате, Иванов буквально издевался над Мещеряковым, а тот сердился и обижался.

Но, похоже, что против «Торпедо», и Кузьмы в частности, Володя провел свой лучший в жизни матч. И костыми ложился, чтобы не дать вчерашним одноклубникам возможности получить награду, которой Мещеряк навсегда теперь лишился. Впрочем, и проблемы чистого искусства занимали, скорее всего, нового стоппера «Шахтера». Такие противостояния специалистам надолго запоминаются. Владимир, задержавшийся после матча еще на день в столице, с гордостью передавал в ресторане ВТО слова какого-то из футбольных начальников, сказавшего не без доли злорадства, что вот мол Иванов — «лучший техник советского футбола, а схватил его Мещеряк...». В следующий сезон Володю позвали в московский «Спартак», вероятнее всего, под впечатлением игры бывшего торпедовца с «Торпедо»...

Однако «Шахтер» все равно проиграл тогда «Торпедо».

Галинский не поскупился посвятить половину отчета тому, как

Стрельцов осадил, по выражению Аркадия Романовича, в центре поля верхний мяч. Прокинул мяч себе на выход, раскидал защитников обманными движениями тела (Мещеряк замешкался возле Иванова) — и вышел один на один с вратарем. Но всего выразительнее мне представился рассказ донецкого футболиста Владимира Салькова, сменившего в семидесятые годы на краткий срок Валентина Иванова на посту старшего тренера «Торпедо»:

«Мне всегда давали задание персонально опекать Стрельцова. В тот раз Эдика поставили в центр атаки слева — и я тоже переместился в эту зону.

У нас был надежный вратарь Коротких — с прекрасной реакцией, хорошим пониманием.

Эдик приблизился к центральной площадке — и замахнулся бить по воротам, я на этот замах среагировал. Он сразу поменял решение, так как я закрывал дорогу мячу. Сделал второе обманное движение, я опять перекрыл зону удара. Но и этот замах оказался ложным. Стрельцов успел принять третье решение, после которого я потерял координацию и упал. Увидев это, он замахнулся для удара. Но я подполз, чтобы закрыть амбразуру, так сказать, телом. Он, чтобы не попасть мячом мне в спину, забирает его назад и мимо меня, лежащего, катит на легком замахе мяч в дальний угол ворот, а вратарь готовился к сильному удару — и такого хода вовсе не ожидал...»

Я подумал тогда же, что забей гол Кузьма, мне, может быть, и стало бы чуточку жаль Володю Мещерякова в крушении всех его надежд. Но в том, что продолжение пути к чемпионству для «Торпедо» решил гол, забитый Стрельцовым, была та справедливость, какую в жизни и встречаешь-то считанные разы.

Но потом не выиграли в Москве у «Нефтчи» — не удержали минимального в свою пользу счета. Правда, одержали важную победу в Ленинграде — Батанов забил-таки «Зениту». А после ничьей в Тбилиси — при том, что Эдик свой обязательный грузинский гол забил (чаще всего он забивал тбилисцам — четырнадцать голов: девять в первенствах и пять в играх на Кубок; в Тбилиси он забил первый в своей карьере мяч и в Тбилиси же забил последний...) — киевляне вышли в турнирной таблице вперед.

Однако не тут-то было: после солидного выигрыша у минских динамовцев — великолепная победа над «Пахтакором» в Москве, 4:0. Стрельцов и сам забил, и выдал пас Иванову, вызвавший восторги большие, чем гол. Я близко сидел от поля — играли опять на «Динамо» — и слышал, как Эдик крикнул: «Валя, вперед!» И пустил белый шар вдоль белой линии поля... Мяч катился по траве, колюче зеленеющей в прожекторном свете, казалось бы, вечность, но Иванов стартовал к нему по ему одному видимому коридору — и легкой

поступью бутс догнал превращенный в послушный клубок-колобок дружеский привет от маэстро маэстро — и с фамильным изяществом превратил этот привет Эдуарда в следующий гол... С чьей уж помощью — запечатывал: в памяти остался лишь «разговор звезды со звездой»...

Три завершающих сезон матча пришлось на состязания с командами несильными, но на финише призванными по закону зловерности мешать лидерам. «Торпедо» противостояли одноклубники из Кутаиси и два одесских клуба: военный и гражданский.

Счастливым обладателем примы «Современника» забил единственный гол воякам-маргиналам. Кутаисцы посопротивлялись до счета 1:1, но затем Эдик забил им за девять минут два мяча.

Последнюю игру проводили в Одессе с «Черноморцем». А Киев параллельно играл против кутаисцев.

Лучшим из того, на что могли рассчитывать московские футболисты, был бы дополнительный — на нейтральном поле — матч опять с динамовцами, но уже из другой союзной республики. Хотя маловероятным казалось, что команда Маслова ограничится в Кутаиси ничьей, даже если обреченный на вылет из высшей лиги клуб попытается — из спортивного интереса — оказать соискателю первого приза сопротивление.

Торпедовцам из Москвы решающая игра должна была бы даваться труднее. Одесситы у себя в городе способны показать норы. При том, что желание поддержать Киев представлялось сомнительным — в тогдашней Одессе прорусские настроения чувствовались...

Первый гол Стрельцов забил, но увеличить счет никак не удавалось. У того же Эдика было и еще несколько хороших моментов, но он спешил с ударом. На банкете в Мячкове Эдуард потом рассказывал: «Валя меня после игры ругал, что же не отдал ему мяч, когда он в шести метрах сзади был — и совсем свободный. Я ему: „Кузьма! Ну неужели я тебя не вижу? Просто понадеялся, что сам забью“. Вот это «неужели я тебя не вижу» в рассказе, где партнер был за спиной, объяснило мне про Стрельцова больше самых специальных комментариев и разборов...

Ближе к финальному свистку, когда впору было занервничать, Эдик, наоборот, собрался — и больше играл в пас. А решающий гол забил торпедовский новобранец Александр Ленёв — за восемь минут до конца дальним ударом в верхний угол. Борис Батанов, сразу по возвращении из Одессы в Москву посетивший ресторан ВТО, очень хвалил Ленёва, предрекал, что из него выйдет хороший игрок...

Я выдержал характер — не сообщил результат кутаисского матча. Но не знаю: от кого следовало принимать чемпионам

шестьдесят пятого года подарок — от проигравших динамовцев или от победивших одноклубников?

Кого, кроме Стрельцова, должен был благодарить тренер Марьенко за то, что оказался человеком слова?

Из дальнейшего мы увидим, что чемпионом страны, поступившей с ним так, как она поступила, Эдик мог стать только в сезоне шестьдесят пятого — в последующие годы претензии торпедовцев настолько высоко не заходили. И всем бы радоваться за Стрельцова, но спорт есть спорт, а политика есть политика — и нет у меня полной уверенности, что елей похвал Эдуарду был пролит и на все «командирские» сердца.

Представлял ли футбольный интерес дополнительный матч, где Маслов встал бы на пути Эдика? При всей приверженности к «Торпедо» мне казалось, что энергозапас у киевлян был к тому моменту выше. Но вдруг бы и совершил именно Стрельцов чудо — ведь через год с ярмарки поехали все торпедовские звезды, кроме него?

13

Дядя Саша Вит, как друг Маслова, был в сложном положении, но вышел из него с профессиональной честью, озаглавив статью про торпедовцев «Красивый чемпион». Вит из понятных тогда — и невообразимых или абсурдных сегодня — соображений уделил большую часть газетной («Советского спорта») площади великолепной — кто бы стал с тем спорить? — игре Валентина Иванова. Эдика он преподнес как опять же великолепного партнера Кузьмы, напомнив общее суждение середины пятидесятых годов о том, что «не назвать вторую такую пару центральных нападающих, словно созданных друг для друга». Внимательный читатель или специалист должен был догадаться, что фразой про идеальную пару Александр Яковлевич извиняется перед ним за передержку или передергивание.

Это напомнило мне криминально-анекдотическую историю с эстрадниками-халтурщиками, которые в каком-то представлении шестидесятых годов процитированную в обзоре строчку «Тамбов на карте генеральной кружкой означен не всегда» приписали Пушкину. А когда их прижучили, то вместо того, чтобы сознаться в ошибке, приплели ни к селу ни к городу высказывание Ираклия Андроникова о том, что в некоторых юношеских стихах Лермонтов подражает Пушкину. На что им резонно заметили: Лермонтов — Пушкину, а не Пушкин Лермонтову!

Всегда прежде Валентин Иванов проходил как идеальный

партнер для Эдуарда Стрельцова, а не наоборот.

Но дядя Саша, как человек старого закала, был все же совестливее, чем юный тогда Серега Кружков, который в автозаводской многотиражке, выделив особо в составе чемпиона двоих — Валерия Воронина и Валентина Иванова, роль Эдика вообще уместил в две информационные строчки: «В нападении „Торпедо“ в нынешнем сезоне рядом с Ивановым вновь играет Стрельцов. Сегодня на его боевом счету двенадцать мячей». Но, конечно, разбиравшийся в футболе Сергей не по доброй воле оказался до такой степени краток и сух.

...Когда же торпедовцы разместились на огромной эстраде Дворца спорта в Лужниках, где им вручали золотые медали перед пятнадцатитысячной аудиторией, и поздравлявшие со сцены, и публика безоговорочно выделили Эдика — и все товарищи по команде не казались обиженными: они понимали, что присутствуют при акте своего рода неповиновения глупому официозу.

При упоминании — в любом контексте — стрельцовского имени зал одобрительно взрывался демонстративно продолжительными аплодисментам. Заводской самодеятельный секстет затянул тонкими голосами а капелла: «Поздравляем молодцов» — и все присутствующие зашлись от восторга, угадав рифму. На сцену вышел еле дождавшийся своего часа Кравинский с чтением бездарного фельетона на футбольную тему. Но бог с ним с фельетоном. Надо было видеть, каким счастьем светился пятидесятидвухлетний Женя. ЦСКА в тот год занял третье место, но сомневаюсь, чтобы на вручении бронзовых медалей армейским футболистам, за которых Кравинский всю жизнь болел, он торжествовал больше, чем на празднике Стрельцова.

Но больше всего мне понравилось выступление моих сослуживцев по АПН. Мы вышли на сцену группой человек в семь — к нам присоединились наши товарищи, игравшие на гитарах и певшие. После исполненной ими песни, превозносящей «Торпедо» и цеплявшей зачем-то «Спартак», Борис Королев продекламировал эпиграммы, сочиненные им вместе с коллегами на каждого автозаводского игрока. В сборной, где Бескова сменил Николай Морозов, центра нападения играл бывший спартаковский дублер, переехавший в Минск и там обративший на себя внимание стрельцовский тезка Малофеев. И в апээновской эпиграмме Малофеев рифмовался к «корифеев», как называли мы многие команды, которым минский форвард забивал голы. А в рифме, подобранной под фамилией Стрельцов, мы совпали с зиловским секстетом... Но слово «молодцы» относилось к непобедимым, как все убедились летом шестьдесят пятого года, бразильцам, победить которых, мы утверждали, способен сегодня один-единственный

футболист. Королев назвал имя Стрельцова, можно смело сказать, на всю страну — вручение медалей транслировалось в прямом эфире.

Я был рядовым беспартийным сотрудником, а Борис — загранкадром и ответственным секретарем журнала, выходившего на Америку. И я через много лет узнал от него, что начальство нашей идеологической конторы (Евтушенко спросил меня однажды при встрече году, кажется, в шестьдесят четвертом: «Ты все еще в этом разведывательном учреждении?») недовольно выступлением по телевидению и несанкционированными намеками — не наше дело решать: кому выезжать за рубеж, а кому и дома есть смысл посидеть. Смягчило начальство благодарственное письмо от парткома ЗИЛа, устроенное нам по дружбе комсоргом «Торпедо» Парменом. В ответ и его премировали эпиграммой: «Увы, в „Торпедо“ перемена, в команде больше нет Пармена. Теперь работает Пармен комсоргом в опере „Кармен“». Пармен, как я говорил, и вправду пошел на повышение...

В праздничной суматохе никто не заметил тени расстроенности на батановском лице — Борису, как двукратному чемпиону и вообще по впечатлению от сезона, совсем уже решили присвоить заслуженного мастера (год назад заслуженным в «Торпедо» стал Воронин), Морозов советовал даже дырку в пиджаке вертеть для значка. Но вот вновь пересеклись спартаковские и торпедовские судьбы: из-за неприятности с Юрием Севидовым решили в тот год повременить со званиями футболистам. Юрий сбил на своем «Таунисе» пешехода возле высотки на Котельнической набережной. А пешеход оказался академиком Рябчиковым — главным докой по твердому топливу для ракет. Все бы игроку «Спартака» — да еще такому, как Севидов, — простили, но только не космос. И «дело Севидова» не по одному Юре ударило — опять заговорили о необходимости закручивать воспитательные гайки в футбольной среде. Но брежневские времена — не хрущевские: самое высшее начальство не стало особо свирепствовать. Юра Севидов через несколько лет заиграл в алма-атинском «Кайрате», но время его, как у Золушки на балу, истекло...

Как и год назад, мержановская газета признала футболистом номер один в СССР Валерия Воронина. Год назад Мартын Иванович даже не захотел публиковать в «Футболе» оценки тех журналистов, которые не поставили Воронина в тройку лучших. Не хочу зря придираяться к Мержанову — возможно, память меня и подводит, а беспокоить Акселя лишний раз неудобно — но, по-моему, мнение тех господ, что лоббировали в лучшие игроки Эдика (а были, надеюсь, и

такие), тоже не учитывалось. Редактор «Футбола» так и не признал Стрельцова.

Лучшего футболиста в нашей стране выбирали во второй раз — и во второй раз выбрали Воронина.

И то обстоятельство, что первый футболист оказался заслоненным Стрельцовым, могло бы показаться случайностью — некой эмоциональной, душевной конъюнктурой. Не талант, казалось, был заслонен, а судьба, которая складывалась без стрельцовских драматических, трагических перепадов. И сам Воронин корректно присоединялся вежливым поклоном к овациям, обращенным к Эдику всеми жаждущими, чтобы его перестали замалчивать...

Однако зная, что было дальше с Валерием, можно и предположить, что интуиция большого игрока подсказывала ему тревожные, непрошенные в момент торжества мысли.

Несчастный Мещеряк, беспокоившийся за свое место в «Торпедо», почувствовал возможность трещины в отношениях между лидерами с горько-житейской опытностью.

Я не собираюсь здесь осовременивать репинскую картину, заменяя лица ее персонажей на воображаемые фотографии торпедовских лидеров. Тем более что как же это «не ждали», когда ждали, ждали и надеялись, что вот-вот Эдик вернется. Но добрые чувства в отношениях великих игроков между собой — область, плохо поддающаяся изучению. Тем, кому просторно и комфортно вместе на поле, тесно становится за околлицей арены.

Своим возвращением Стрельцов застал заинтересованных лиц врасплох. И я не совсем уверен, что каждый из тех, о ком говорю сейчас, смог бы тогда (а уж потом-то тем более) отдать себе вполне строгий отчет в том, как на самом деле восприняли они конкретное появление Эдика на сцене, где они привычно — за семь лет привыкнешь — премьерствовали. Привычно и властно, как и положено премьерам.

Корреспонденты, замолчавшие Стрельцова из осторожности, кое в чем, может быть, и были отчасти правы в своих статьях, когда выдвигали на первый план Воронина с Ивановым. Я готов с ними согласиться: Воронин в сезоне шестьдесят пятого сыграл полезнее для команды, чем Стрельцов, а Иванов выглядел увереннее, чем не сразу обретший себя Эдик. Но в большом спорте, если что-то и завершается — пусть и самой большой победой, — оно должно одновременно свидетельствовать и о возможности продолжения, готовности начать сначала.

Самый близкий — по теме — пример с незабываемым сезоном шестидесятого. Когда лучшие в Европе футболисты — не все из них, конечно, но некоторые, причем великие и знаменитые, — вернувшись из Парижа, должны были очень скоро смириться с тем, что им, героям

сегодняшнего дня, завтрашний день не принадлежит.

В своем тосте на банкете в Мячкове Эдуард рассмешил всех началом фразы: «Когда со мною случился этот случай...» Всем нам делалось легче от того, что не хочет он бередить своих ран, и от того, что вот такой он человек, Стрельцов, способный не копить обид, зла не держать и так далее... Теперь же, оглядываясь на опустевший праздничный стол (нет ведь уже в живых ни Воронина, ни Эдика...), я вижу все несколько по-иному. Мы в детстве, когда играли во дворе в футбол, кричали: «заиграно», если не хотели останавливать игру после нарушения кем-нибудь правил, поскольку гораздо больше хотели игру продолжить. Чемпион СССР шестьдесят пятого года Эдуард Стрельцов тоже захотел считать, что нарушение прав и правил по отношению к нему в данную минуту заиграно — ему хотелось продолжения футбола, он только во вкус вошел возвращенной ему радости игры. И в этом было главное преимущество его перед Ивановым и Ворониным — преимущество даже при условии, что не в тот же миг достиг он былых кондиций, — преимущество перспективы. Кстати, первым про это сказал умный Батанов, сразу заметивший, как же много в Эдике сохранилось из в чем-то утраченного теми, кто непрерывно играл все годы его отсутствия.

Новый сезон со всеми будничными заботами начинается для футболистов в ту же секунду, когда ставится точка в только что прошедшем сезоне.

Стрельцов входил в новый сезон прежде всего для утоления жажды игры в футбол.

Задачи Иванова и Воронина в предстоящем году выглядели конкретнее, но сделали их заложниками престижа.

Принявший от Игоря Нетто капитанскую повязку в начале мая шестьдесят пятого года Валентин Иванов с начала июля больше не выходил на поле в составе национальной команды. Он не смог скрыть от близких знакомых, что был задет тем, что на игру с Югославией четвертого сентября вместо него Морозов поставил на место второго центра нападения Володю Щербакова. Тренер сборной не захотел принимать во внимание, что Валентин великолепно играет за клуб. Щербакова в первую сборную он больше не приглашал, но не вернул в нее и Кузьму. Отданное Ивановым на финише сезона ради торпедовского чемпионства ни в чем не убедило Николая Петровича, а скорее и навело на мысли, что возрастного игрока на дальнейшее может и не хватить. И мог ли гарантировать ему Кузьма, что в тридцать один год он сможет на им же предложенном уровне провести два сезона подряд? Иванова сейчас со Стрельцовым разделяло два долгих срока, в которых один без усталости играл, а другой вовсе отсутствовал. Их возобновленное сотрудничество оборачивалось

неравным союзом.

Воронин необычайно изменился с тех времен, когда начесывал он себе кок под Стрельцова. Тот футбол, в котором велик был Эдик, Валерий, бывший всего на два года моложе, готов был считать теперь не архаикой, конечно, но историей. Он соглашался видеть эталон в действующем Пеле, но никак не в чудом сохранившемся Стрельцове.

Пеле, доставивший ему летом шестьдесят пятого года такие душевные страдания; играл в наиболее правильный футбол. И правильность футбола Пеле, где техническое исполнение приемов доводилось до совершенства, позволяла игроку на поле быть тем воином, чье значение в том и заключается, что он один такой, а всем остальным ничего не остается, как только быть на него похожими, тянуться за ним и до него тщетно. Правильность Пеле оказывалась недостижимой для девяноста девяти процентов игроков. Но в эти девяносто девять процентов Валерий Воронин, даже засомневавшийся было в себе после московского фиаско в матче с бразильцами, не спешил себя включать. Матч на «Маракане» в конце ноября, на который Валерий вывел команду в качестве сменившего Иванова капитана, закончился вничью, бразильцы даже отыгрывались. И Воронин понял, что должен накапливать силы к чемпионату мира в Лондоне, чтобы испытать себя еще раз на том уровне, на каком себя мысленно видел...

А Стрельцова — не по его, конечно, вине — ждала, как вероятно считал Воронин, судьба динозавра. В общем, он не сильно расхотелся во мнениях с Щербаковым, не желая согласиться с тем чудом, какое явил в реальности начавший сызнова Эдик в первом же своем сезоне.

И как не посочувствовать первому ныне футболисту? Тем более игроку «Торпедо» — команды, в которой со времен дебюта Валентина Иванова молодые заявляли о себе бесповоротно, поднимая клуб на новую качественную ступень. И вот вдруг Эдик, когда-то поломавший представление о возможностях игрока при его начале, посягнул на традицию: он — и без правильности и мировой славы Пеле — был и в двадцать восемь лет недостижим ни для старших, ни для младших.

15

А в полуночном Мячкове среди декабрьских снегов хозяева и гости веселились по-торпедовски.

Запасы выпивки к полуночи ничуть не истощились — утром к завтраку накрыли точно такой же банкетный стол (большинство из гостей не разъезжались, остались ждать утреннего транспорта — но проветриться уже не мешало). Эдик предложил вдруг пойти и поставить елку — приближался Новый год — в центр тренировочного

поля, «которому мы всем обязаны»: выпивка и футболистов делает излишне склонными к патетике.

Вспоминаю, что пошли с елкой в сторону поля в лесу не все — семьи Ивановых и Ворониных остались на даче. Говорю: семьи — поскольку дамы тоже увязались за мужьями-чемпионами. И когда обнаружилось, что железные ворота в ограде вокруг поля закрыты на замок, а ключа, естественно (любимое слово Вольского), нет, возникла трудность с переправлением женского состава через забор. Решение было принято — по настроянию — молодецкое. Жен через ограду перебрасывать, а те мужчины, что уже перелезли, будут их с той стороны ловить. Когда очередная дама в стиле Брумеля взлетела к темному небу, Эдик вдруг сказал: «Эту не лови!» — «Почему?» — «Это моя жена!» Я еще не был женат — и не смог в полной мере оценить остроумие центрфорварда. Разумеется, поймали и Раису. Но дальше штрафной площадки мы по пояс в снегу не добрались — и от затеи поставить елку в самом центре пришлось отказаться. Я, наверное, испортил бы рассказ, если бы забыл отметить, что водка в путешествие была взята. И мы выпили, ритуально окружив торчащее из снега деревце. А потом вернулись в тепло. Правда, какое-то время еще искали золотую медаль, оброненную Анзором Кавазашвили, когда он поскользнулся на крыльце.

...В торжествах всегда таится какая-то логически необъяснимая нервозность. Вот в деревнях, а иногда и в городе, свадьбы редко обходятся без драки. Может быть, в нас под влиянием выпивки просыпается ревность или зависть к основным виновникам торжества — и делается себя жалко? А от жалости к себе обязательно просыпается агрессия — я это по себе знаю. Я, кстати, в начале вечера в Мячкове возмущался фотографом, сделавшим снимок «Торпедо» для мержановского еженедельника и привезшего на банкет толстую пачку «Футболов» (всем сколько-нибудь примечательным людям раздали по экземпляру). Почему-то приезжий фотограф, обидевшись на администратора Каменского, стал ему хамить, крича, что Каменский — маленький здесь человек, ничего не решающий. Трезвый еще Жора с достоинством и резонно заметил, что решать, он, может, и не решает, но за порядок отвечает — и нечего портить людям праздник. Мне стало неприятно, что так себя ведет наш коллега — я вызывающе похвалил Каменского за воспитанность и такт. Но по возвращении из лесу сам себя повел не лучшим образом, схлестнувшись с Аликом Марьямовым. Нас разнимали — и Витя Шустиков все твердил: «Ребяточки, ребяточки, у нас же коллектив...»

Щербakov отвел нам для отдыха свою комнату, заверив, что они с Майей найдут, где им лечь спать. Но, по-видимому, отыскав место для ночлега, он потерял саму Майю. И забыв сгоряча, что вместо Майи в комнате — мы, сморенные выпивкой, потыркался в запертую

дверь, а затем разбежался в узком коридоре — и поставленным ударом выбил замок. Я проснулся оттого, что мимо меня в темноте пролетел неопознанный снаряд и чуть не выбил стекло, врезавшись в подоконник. Зажгли свет, недоразумение выяснилось. Володя протрезвел после полета — и пошел искать Майю в других помещениях.

Мне после ухода Щербака уже не спалось, но протрезвел я, судя по моим дальнейшим действиям, не вполне. Тоска буквально душила меня. И я подумал вдруг, что смогу от нее излечиться, лишь немедленно встретившись со Стрельцовым. Удивляюсь, что запомнил, в какой он комнате. То, что там сегодня и Раиса, я как-то не учел. Но это — ладно... Читателя наверняка заинтересует: а настолько ли близко знаком был я со Стрельцовым, чтобы вламываться к нему ночью? В ту секунду — в ту, а не в эту, когда пишу о случившемся ночью в Мячкове, — мне казалось, что, конечно, мы очень хорошо знакомы. Я помнил, что, когда мы выходили первый раз из-за банкетного стола для легкого променада и братания, Эдик сказал мне какую-то любезность — вроде, что обратил на меня внимание еще при самой давней нашей встрече ранней весной. Но он всем, кто подходил к нему в тот тесный общением вечер, говорил что-либо одобряющее-ободряющее, как человек, находившийся в наилучшем настроении...

В общем, я постучал в дверь — и Эдик сразу мне открыл, не слишком, точно это помню, удивившись. Теперь думаю, что, может быть, ему тоже не спалось после всего пережитого им сегодня. Он был не из тех людей, что упиваются оказанными почестями, — и не думаю, что грех тщеславия, по выражению Льва Толстого, мучил его до бессонницы. Но отчего-то же он не спал? И не пил, между прочим... Водку он достал, когда я с порога спросил: нет ли у него чего-нибудь выпить? Впрочем, вытащил он ее чуть ли не из кармана дубленки и поставил передо мной с большой охотой. Не буду преувеличивать, утверждая, что был Стрельцов абсолютно трезв... Оторвавшись от действительности, как я понял, он сказал в глубину комнаты: «Раечка, приготовь нам чего-нибудь покушать!» И только энергичное напоминание Раечки, что дело происходит не в их московской квартире, чуть умерило его гостеприимство. Ничего, однако, не могу — ни в общих чертах, ни, тем более, подробно — привести из того разговора: ни слов, ни мыслей. Соглашусь, что добавлять среди ночи нам, может быть, и не было смысла. Но некий звук, некий тон того горячего постскриптума декабрьских посиделок в Мячкове — с эксцентрическими отступлениями — несомненно, относится к избранным воспоминаниям моей жизни...

16

В интересах сборной ее игроков на все время подготовки к чемпионату мира забрали из клубов. Но говорить, что это очень уж сильно сказалось на внутреннем первенстве и этим объяснять неудачу московских клубов, пустивших в тройку призеров и ростовчан, и бакинцев, — смешно. Чемпион страны — киевское «Динамо» — провел свой лучший при Маслове сезон, одержав наиболее громкие победы силами тех, кого считали бы резервистами, если бы не забрали в сборную признаваемых до лета шестьдесят шестого года лучшими — Хмельницкого, Серебрянникова. Сабо... И били соперников молодые киевляне, применяя систему четыре — четыре — два, вошедшую во всем мире в моду только после лондонского чемпионата: так играли чемпионы-англичане. «Дед» опять вставил «фитиль» тренерам сборной как стратег, тактик, селекционер...

Я не стану придираюсь к Морозову, настаивая на том, что он разрушил счастливо создаваемое Бесковым за два года или даже за один, если считать месяцы работы, сезон. Нельзя винить Николая Петровича за то, что одарен от Бога был он намного меньше, чем Константин Иванович. Винить можно только футбольное и прочее начальство, не понимающее закона: команда, переставшая прибавлять в игре, не сохранит игры и на достигнутом уровне. Отступление неизбежно. А под завоеванным Морозовым высоким — для нас — местом в турнире можно без зазрения совести поставить и авторскую подпись Бескова. Всем хорошим та сборная обязана ему. При том я вовсе не хочу сказать, что влияние Морозова сказалось отрицательно. Он работал добросовестно, грамотно. Но, наверное, тренер с опытом участия в больших турнирах распорядился бы наследием Бескова поудачнее. Если в семидесятом году все равно вернули Качалина, то почему было, раз уж из-за политики расстались с Константином Ивановичем, не вернуть Гавриила Дмитриевича обратно, пока держал он в уме уроки чилийского чемпионата? У Качалина не отнимешь приверженности к атаке, что у нас — при трагическом восприятии поражений в самых малозначащих играх — все-таки очень большое достоинство...

Морозов ввел в состав сборной Сабо и ленинградца Данилова, отказавшись от Шустикова, не приглашал больше Мудрика, учел болезнь Понедельника.

«Торпедо» в сборной представляли Воронин и Кавазашвили, стоявший в ее воротах до начала чемпионата чаще, чем Яшин, не говоря уж о Банникове.

Обычно ведущий игрок национальной сборной, потеряв в ней

свое постоянное место, играет на порядок ниже. Не видит больше в своей спортивной жизни мотиваций, которые бы снова вынудили переносить колоссальные нагрузки на физику и психику. Игра вчерашнего фаворита сразу же приобретает излишне академический характер. Правда, не каждый выглядит женихом, которому отказано. Но отсутствие аппетита к игре передается партнерам... Я подчеркиваю, что на мастеров, привлекавшихся в сборную эпизодически, такой закон не распространялся — под ним ходят только те, кто в ней годами премьерствовал.

И можно было засомневаться: а к лучшему ли для «Торпедо», что ненужный Морозову Валентин Иванов сосредоточен теперь будет на играх за свою команду в том настроении, в каком он находился, не получая больше вызова в сборную?

Но я, кажется, говорил уже, что Кузьма очень любил игру в стиле, который исповедовал его клуб, но который для сборной был либо ненужным, либо недоступным. Несмотря на внутреннюю уязвленность, он начал сезон, как бы отсекая возможные разговоры о том, что Иванов, дескать, теперь доигрывает.

О рядовом в общем матче в Куйбышеве писали в «Правде», отмечая Валентина Иванова особо. Он забил два гола — и оба с подачи Стрельцова. Марьенко говорил потом в Мячкове, что Валя с Эдиком «вспомнили молодость». Я слегка был шокирован тогда словами тренера. Мне казалось, что для соединившихся Иванова со Стрельцовым ничего не позади. Тренер, однако, имел иную точку зрения. Во всяком случае, на Иванова...

Следующая игра после куйбышевской была в Москве против донецкого «Шахтера». Посмотреть матч на стадион «Динамо» приехали и футболисты сборной СССР. Они держались вместе — гордой, но демократически улыбающейся знакомой группой. Нарядный, коричнево-замшевый Валерий Воронин сел, однако, поближе к запасным игрокам и тренерам своей команды, над тоннелем, откуда выходят на поле футболисты.

Торпедовцы возвращались после разминки, впереди шел задумчивый Иванов. «Кузьма!», — окликнул его Воронин. Тот весело вскинулся, запрокидывая голову.

Воронин привстал и условным, видимо, жестом — приподнятым на уровень плеча кулаком — поприветствовал капитана, желая победы. Иванов подмигнул ему, будто находились они не на стадионе, а в комнате, и озорно, вспомнив, наверное, досуги в Мячкове, изобразил бильярдиста, загоняющего шар точно в лузу.

Но «Торпедо» проиграло «Шахтеру». Валя на последних минутах попытался обвести уже лежащего вратаря и упустил момент, когда счет можно было сравнять.

В этом сезоне Валентин Иванов мячей больше не забивал. С

теми двумя голами из Куйбышева так и остался. Через несколько дней после матча на «Динамо» мы приехали в Мячково — и Кузьма самым беспечным тоном с обманчивым для мало знающих его людей простодушием спросил вдруг, выслушав разные столичные новости: «А в футболе что происходит?» Мы стали пересказывать слухи, действительно ходившие по Москве, о возможном просмотре в каком-то из матчей Иванова со Стрельцовым с намерением привлечь их вместе в сборную. Иванов отмахнулся: «Нет, с этим я завязал...» Скорее всего, он и на самом деле не верил в свой возврат в сборную. Но в то, что за клуб сыграет на первенство страны не одиннадцать матчей, как он сыграл, а побольше, сомневался вряд ли.

Конечно, отсутствие Иванова в торпедовском составе можно было бы объяснить продолжительностью залечивания старых травм. Но, на мой взгляд, Марьенко и не особенно хотел, чтобы Кузьма играл чаще.

Виктор Семенович Марьенко понимал, что лучше, чем в прошлом году, команде теперь долго не выступить. И самый сейчас ему момент не быть в вынужденной зависимости от знаменитых игроков, а побыть напоследок командиром. А может быть, и не напоследок... Вдруг соберется всецело подчиненный ему народ помоложе и со способностями — и он их снова поведет за собой к высокому месту. Три же лидера-знаменитости, когда шансов удержаться наверху таблицы нет, — непозволительная роскошь для тренера-чемпиона, но без громкого имени. С независимостью Валерия Воронина не грех и примириться — сейчас он уезжает в Лондон, потом все равно будет отходить от чемпионата, а до будущего года надо еще дожить. Стрельцов — человек простой, как считал тренер. Никогда ни во что вмешиваться не станет. С Ворониным они сейчас разные, как Запад и Восток, — интересы их внефутбольные вряд ли пересекутся. Со Стрельцовым Марьенко никаких осложнений не предвидел (в чем ошибался: после завершения сезона они законфликтовали, и Эдик даже считал, что надо от Марьенко уходить в другую команду, а то жизни ему не будет, но тут Марьенко и заменили на Морозова). А с Батановым, которого не считал незаменимым, решил расстаться. Вполне без него Марьенко обходился, раз есть Бреднев, есть Михайлов, идут переговоры с неаттестованным в ЦСКА офицером Валея Денисовым...

У Иванова, конечно, нашлись бы заступники среди заводского начальства. Но никто не гнал Валентина — ему Марьенко намекал на штатную тренерскую ставку, готовил к такой мысли: разумеется, лучше было бы, если великий Кузьма принял бы решение войти в тренерский штаб добровольно.

...Накануне матча основных составов московского «Динамо» и «Торпедо» за второй круг (в первом круге торпедовцы победили 4:0,

Владимир Михайлов забил два мяча, выложенных ему прямо на ногу Стрельцовым) Валентин Иванов играл на Малой арене динамовского стадиона в составе дубля. Он с обычным изяществом и остроумием, оживившим матч резервистов, сам провел два гола, а мяч для третьего выкатил Геннадия Шалимову, иногда уже подпускаемому в основной состав к Стрельцову. Сидящий на трибуне Воронин уже после второго ивановского гола рассмеялся: «Кузьма один все „Динамо“ обыграл». За динамовский дубль выступало больше известных игроков, чем за торпедовский. Например, Георгий Рябов — в защите. «Динамо» и выигрывало поначалу 2:0. Вот тут-то Иванов и дал мастер-класс. Ходы, им совершаемые, выглядели элегантно-безошибочными. Он втягивал в умную игру всех партнеров, был по отношению к ним отцом родным, но вместе с тем баловал немногочисленную, однако весьма искушенную публику личным примером.

На игру дублеров с нами увязался знакомый всей театральной Москве завсегдатай ресторана ВТО мулат-мим и страшный озорник Геля Коновалов. Почувствовав настроение присутствующих, Геля прикинулся дурачком, громко спросив: «А этот Кузьма, наверное, и за основной состав смог бы сыграть?» И шутка распортившегося эстрадника оценена была и Ворониным из «Торпедо», и Аничкиным из «Динамо». В перерыве между таймами, когда Иванову массировали травмированную ногу, в раздевалку заглянул Борис Батанов. «Бобуля, — воскликнул распростертый на кушетке Иванов, — а я думал, мы с тобой опять вместе за дубль сыграем против „Динамо“».

На следующий день поднимавшегося на трибуну матча основных составов Батанова кто-то из болельщиков спросил: «Боря! Ты с „Ланеросси“ будешь играть?» Боря мотнул отрицательно головой.

Иванов, очевидно, сожалел, что старый партнер уходит, но он уже сам был не в том положении, когда можно кого-то отстаивать перед тренером, не сомневаясь в своем на тренера влиянии...

Переполнившая на следующий день Большую динамовскую арену публика так и не увидела блиставшего в игре дублей Кузьму на поле.

Иронизируя над тем, что зря надевал форму, в незашнурованных бутсах, в плаще-болонье поверх тренировочного костюма он изображал в раздевалке комическую беспомощность перед судьбой. Стрельцов вышел ему навстречу из душа, они о чем-то заговорили. Голый Эдик насуплено отвернулся от меня, непонятно зачем очутившегося за кулисами. Иванов, улыбнувшись краешками губ, усугубил мое замешательство, но всем своим видом выразил согласие с историческим партнером в том неудобстве, которое причиняло им присутствие посторонних...

В публике никто не предполагал, что Валентин Иванов уходит из футбола. Я встретил его у служебного входа в Лужниках, когда он уже довольно долго не играл в сезоне шестьдесят пятого — Кузьма шел легкой, как в танце, походкой, стройно прямой в летнем костюме из тонкой серебристой ткани, улыбнулся насмешливо-недоуменно, когда я выразил сожаление, что «Торпедо» играет без него хуже, чем при нем, сказал: «Ничего, вернусь — и все наладим». Он двинулся дальше, а меня обступило множество людей: «Что он сказал? Когда будет играть?»

17

Стрельцов считал, что с Щербаковым он играет, стараясь не менять рисунок, бывший у них с Кузьмой: «Я не люблю выдвигаться вперед, когда оказываешься перед двумя защитниками. Я лучше отойду, чтобы, получив мяч, развернуться с ним и рассмотреть всю ситуацию: кто открывается, кто кого страхует. Когда ты лицом к противнику — все видишь, а когда повернут к защитникам спиной и ждешь передачи — обзор сужается».

Насчет «спиной к защитникам»... Я вспомнил эпизод из чуть более поздних времен, когда с ним уже чаще играл Шалимов, чем Щербаков. Шалимов двигался к воротам с мячом, а повернутый к защитникам именно спиной Стрельцов, прислоняясь к ним все теснее, давал концентрированными телодвижениями понять Геннадию, чтобы тот дал ему мяч в ноги, а не навешивал. Но Шалимова учили, что в таких случаях правильнее сделать передачу верхом, чтобы Эдик выпрыгнул выше защитников. И вполне грамотно накинул ему на голову, а Стрельцов неожиданно для всех прервал игру, поймав мяч рукой, и кинул его, рассерженный, за ворота. Никто и не понял, что же произошло. Но это, пожалуй, единственный пример, когда Эдик вышел из себя от бестолковости молодых партнеров. Он приучал их — Гершкович не даст соврать — к своему образу мыслей с неослабевающим терпением, не сердился ни на кого за непонятливость.

Стрельцову казалось, что Щербак в конце шестьдесят шестого засбоил: «...футболисту такого склада нужен режим; когда у Володьки стал расти вес, он сразу потерял свою скорость. Но силенок у него еще было достаточно. И когда он предельно выкладывался, игра у него шла...»

18

С весны шестьдесят шестого Валерий Воронин перестал быть капитаном сборной страны. Им сделался очень известный игрок из ЦСКА, центральный защитник Альберт Шестернев. Происшествие вроде не из чрезвычайных. Перефразируя Брехта, не тот капитан, так этот. Воронин играл от звонка до звонка каждую игру, забил австрийцам единственный гол у них дома. Но венский гол ни в чем не убедил Морозова. Поползли слухи о его недовольстве игроком номер один.

Морозов не стал скрывать своего недовольства и от наседавших на него журналистов: «Плох сейчас ваш Воронин!»

Валерий, однако, привык к тому, что тренеры доверяют ему как профессионалу. Марьенко после игр обычно так и говорил ему: «Спасибо, профессионал!» Да что там Марьенко, Воронин был любимцем Бескова. И вдруг Петрович (Морозов) не хочет понять нежелание опытного игрока форсировать форму. И очень решительно — вплоть до оскорбительных для знаменитого мастера выводов — противится стремлению Валерия готовиться по собственной программе.

В Лондон Воронин уезжал без всяких гарантий на место в основном составе — впервые за шесть лет его пребывания в сборной. И против Кореи он не играл. А победили 3:0. Состав победителей, как правило, не меняют. И стало ясно, что Валерия и с Италией на поле не выпустят. Тем более что накануне игры он ходил на какой-то прием, куда посылают только тех, кто в предстоящем футболе не занят и может слегка расслабиться — сигарету, допустим, выкурить, выпить легкого вина. И вдруг уже вечером, перед отбоем, Морозов говорит ему: «Готовься!» Тренер, вероятно, сообразил, что Воронин при Бескове оба раза здорово сыграл с итальянцами — и глупо будет не бросить его опыт в топку.

Воронин никогда не рассказывал про ночь перед матчем — может быть, и заставил себя заснуть (к таблеткам от бессонницы он уже тогда начинал привыкать), а может быть, мучился бессонницей. Но на игру с итальянцами он вышел в лучшем своем виде — и доказал бессмысленность морозовских придирок и беспочвенность сомнений в себе.

А удачные действия в обороне — его опеке были поручены претенденты, в отсутствие искалеченного Пеле, на главные отличия в Лондонском турнире: венгр Альберт и португалец Эйсебио — выдвигали самого Валерия Воронина в герои. И журналисты включили его в символическую сборную мира.

В СБОРНОЙ У ЯКУШИНА

19

В книге про Стрельцова поговорим прежде всего про атаку. В нападении сборной Морозова лучшим стал динамовец Игорь Численко.

Малофеев и Банишевский пристойно выступили только в игре с корейцами. В других матчах прямолинейность этих форвардов ожидаемого эффекта не дала. У Банишевского были свои достоинства, но на чемпионате мира он предстал «всадником без головы». Венгры в защите предлагали искусственные положения вне игры. И Банишевский — с его-то стартовой скоростью — пятнадцать раз оказывался в офсайде. Везучим вблизи ворот проявил себя дебютант из Киева Поркуян, забивший два мяча чилийцам и один венграм. Но Численко забил голы повесомее: первый венграм и единственный итальянцем.

Казалось, что нападающих, способных к тонкому розыгрышу, тренер сборной не видел в упор. Зачем же тогда возил он в Лондон Маркарова, если не дал ему сыграть с другим бакинцем — Банишевским? При подыгрыше Маркарова и у Банишевского могло что-нибудь получиться. Не удали судьи в полуфинале Численко, вряд ли бы Морозов выпустил второй раз Славу Метревели, который в Тбилиси играл с Баркая сдвоенного центра.

Все равно же Петрович играл с четырьмя нападающими... Так неужели не имело смысла попробовать впереди одновременно Метревели, Иванова и Стрельцова? А слева бы сыграл Хусаинов — он тяготел уже к полузащите, вот бы и сыграл левого полузащитника сегодняшнего толка...

И, главное, мир опять не увидел Стрельцова. Мог увидеть: Эдик был на свободе, играл в футбол на должном уровне, снова был признан лучшим в своем амплуа, то есть достоин сборной, — но страна по-прежнему недостойно вела себя по отношению к нему. Теперь уже Пеле, варварски травмированный мозамбикским негром из португальской команды, давал Эдуарду Стрельцову фору. Но тому не судьба была показать себя миру — точнее, Эдику и в последнем шансе международного признания советской властью было отказано.

Мне говорили, что Морозов был бы не против включения в сборную Эдика. Но нет никаких следов тренерских ходатайств за Стрельцова. Я понимаю, что ответственно тащить в сборную невыездного футболиста, а потом с ним проиграть — не оберешься

упреков. Но когда проиграли в Лондоне без Стрельцова, совершенно спокойно заговорили о том, что пора бы и сделать его выездным. «Торпедо» — впервые в истории отечественного футбола — предстояло играть на Кубок чемпионов (предшественник нынешней Лиги чемпионов). Как раз после той игры против московского «Динамо», когда Валентин Иванов оказался в запасе, за кулисами стадиона появился господин с несколько смещенным по-боксерски носом — Эленио Эррера, творец системы эшелонированной обороны «каттеначчио», тренер «Интера», приехавший взглянуть на будущего противника. Эррера, если помните, тренировал команду Испании, когда испанцы отказались в шестидесятом году играть со сборной СССР.

Стрельцов говорил, что в зрелые годы стал больше радоваться, если при их победе с крупным счетом отличался каждый из форвардов, — тогда Эдик точно знал, что какую-то хорошую мысль в атаке он сумел им предложить и развить, подведя партнеров к исполнению желаний. Правда, он признавался, что с возрастом перестал любить победы с крупным счетом — неловко чувствовал себя перед соперниками. Перестал любить голы, забитые «со звоном», слишком уж эффектно, но без затей. Ему больше нравилось, когда мяч еле-еле переползает линию ворот, но голкипер все равно ничего с ним не может сделать — не угадал, куда клонит форвард. Он потому и выделял игру с чемпионами-киевлянами в Москве, когда уложил Банникова в один угол, а мяч легонечко кинул в другой...

Он не переживал, что забивать стал пореже, чем в молодости, когда форвард играл практически один в один с защитником и ему никакого труда не составляло оказаться свободным от самой плотной персональной опеки, когда стоппер оставался в зоне и никуда за ним не шел. Он знал, что сила его теперь в другом, и этой силой своего игрового интеллекта Стрельцов связывал между собой партнеров, закладывал всю программу атаки.

Забивал пореже, но свои двенадцать мячей опять забил. И впервые сделал хет-трик в чемпионате страны, а то получалось, что по три гола за матч он больше всех забил в сборной, а у себя в клубе ни разу. Он огорчался теперь не столько личным промахам, когда непосредственно атаковал ворота, а тем обрывам нитей комбинаций, которые иногда происходили из-за повышенного внимания к нему защитников. Он ночь не спал после проигранного финала Кубка под гуляевскую «Черемшину» и вино, переживая не проигрыш вообще, а конкретную ситуацию. Киевляне объективно были сильнее. Но Стрельцов терзался, вспоминая момент, как вышли они вдвоем с Щербаковым на центрального защитника Соснихина: «Я показал Соснихину, что отдам Щербакову, а Соснихин угадал, что я мяч не отдам. И выбил у меня из-под ноги мяч на угловой. А отдай я

действительно Щербаку — Володька бы вышел один на один».

Из московских команд удачнее всех выступил «Спартак», ставший четвертым. В пятерку лучших вошли и армейцы. Но на своем шестом месте «Торпедо» все же обгоняло динамовцев. Провалился, судя по занятому месту, «Локомотив».

Не тренер тому виною, а нетерпение железнодорожного начальства. Константин Бесков, принявший команду от своего учителя в футболе Бориса Андреевича Аркадьева, начинал как когда-то в «Торпедо». Призвал талантливых молодых — и намеревался сделать из них команду за два-три сезона, быстрее не обещал. Команда проигрывала игру за игрой, но публике, обычно равнодушной к железнодорожному клубу, команда все больше нравилась. Двое самых талантливых новобранцев — Владимир Козлов и Михаил Гершкович — обещали в центре атаки очень скоро стать в ряд лучших форвардов страны.

Как и тогда в «Торпедо», старики-посредственности подняли бунт — и уже в июле добились смещения тренера. Старшим тренером «Локомотива» стал Валентин Бубукин — и с ним команда закончила турнир на семнадцатом месте.

Почему задерживаюсь я на грустной истории с «Локомотивом»? Ну а как было мимо нее пройти, когда к «Торпедо» Стрельцова с Ивановым случившееся с Бесковым имело самое непосредственное отношение?

Молодые форварды не захотели оставаться в клубе, отказавшемся от Бескова. Им чинили всяческие препятствия, пугали дисквалификацией, но они не остались в «Локомотиве». Козлов стал игроком «Динамо», когда тренером туда позвали Константина Ивановича. А Гершкович ждал перехода только в «Торпедо» — его мечтой с детства было играть с Эдуардом Анатольевичем.

...Если перевести смысл сезона шестьдесят шестого года для Эдика на театральный язык, то можно посчитать этот сезон вторым спектаклем. Артисты подтвердят, что второй спектакль всегда похуже премьерного, сыгранного целиком на нервном подъеме. Второй спектакль дается труднее — наката еще нет, а того мобилизующего страха провала, как перед премьерой, и не должно быть. Должно быть совсем другое, всей предварительной работой вроде бы набранное, но из-за неизученных особенностей организма пока не проявленное. Однако, говоря уже спортивным языком, результат в тебе сидит...

Стрельцов из вынужденного небытия шагнул на большое поле — нырнул на глубины необходимой ему среды обитания. Но теперь предстояло обвыкнуться в разительно изменившемся быту — в быту действующей знаменитости. Освоиться в этом внешне праздничном существовании, избежав кессонной болезни, было так же трудно, как в том таежном мире, куда он был сброшен некогда со столичного

поднебесья. Естественному, как мы успели здесь заметить, человеку — Эдику Стрельцову — оставаться естественным везде оказывалось много труднее, чем тем, кто может приспособливаться, мимикрировать — а таких, как нам ни грустно, большинство: иначе же не спастись, не выжить.

Эдуард из-за футбола — точнее, из-за своего природного дара к игре — оказался во взрослой компании почти с подростковых лет. С детским — опять же естественным — самолюбием он не мог показать старшим всей своей ранимости. Слава Богу, что вид здорового малого позволял ему казаться толстокожим. И повадки флегматика с толстой кожей, счастливо обретенные им в юности среди грубых футболистов, остались у него навсегда, не избавив, впрочем, до конца дней от ранимости, очень мало кем замеченной.

Судя по рассказу Аллы о встрече с Эдиком по дороге в детский магазин, он не менял былых привычек, не стал ни осторожнее, ни хоть чуть-чуть осмотрительнее. Волна нового внимания подняла Стрельцова над толпой. Повсеместная узнаваемость в изменившемся облике его смущала — он стеснялся того, что полысел.

Солидности в нем не прибавилось — и те, кто играл с ним теперь в «Торпедо», быстро привыкли к нему, забывая иногда в общезитии, кто перед ними, а ему так было даже проще. Молитвенное отношение, немедленно возникавшее, когда с обитателями Мячкова выходил он на игру или на тренировку, он воспринимал как должное в экстремальной ситуации, но потребности в круглосуточном пиетете Стрельцов никогда не чувствовал. Его ощущение собственной значимости было слишком сокровенным, суверенным, я бы сказал. Оно, вероятно, не только утверждало Эдика в нашем мире, но и мучило — в том его потаенном, заповеднострельцовском. Он, наверное, знал, что дар его футбольный обречен не вписаться в то время, что отведено ему быть действующим футболистом. И наступит день, когда он, наоборот, не будет знать, что со своим даром делать. И спрятаться от таких мыслей только и можно было в сиюминутность острейшего ощущения всей прочей, во плоти и мирских соблазнах, а не только необратимо состязательной футбольной жизни — в сиюминутность, пусть и сокращающую продолжительность пребывания в игре у всех на виду. И в состоянии ли был он — особенно после всего им перенесенного — ограничивать себя, подчинять режиму, жертвовать радостями той жизни, которая неизменно противоречила главному его желанию быть только таким, какой он есть, не меняясь ни в ту, ни в другую сторону. Он уже заглянул в пропасть. Но жил так, как будто о существовании пропасти и не подозревает.

...В шестьдесят шестом году в списке «33-х лучших» его номинировали как правого центрального нападающего — и поставили

вторым, вслед за сенсацией сезона, двадцатилетним киевлянином Анатолием Бышовцем.

Не выглядело ли такое решение намеком? В прошлом сезоне при всеобщем волнении — заиграет или не заиграет возвращенный Стрельцов? — ему отдали предпочтение на месте левого центрфорварда перед девятнадцатилетним Анатолием Банишевским, игроком сборной, включение в которую Эдуарда представлялось невозможным... А теперь, выходит, посчитали, что молодой фаворит лучшей команды страны перспективнее, чем Стрельцов в застойном «Торпедо».

И все же противопоставление кого-либо — даже восхитившего всех в шестьдесят шестом году Бышовца — действующему Эдуарду Стрельцову кажется мне не только сегодня, но и тогда казалось (тогда даже острее, поскольку касалось текущего футбольного Дня) весьма настораживающим.

Мне кажется, что спор — даже не между Стрельцовым и Бышовцем (Стрельцов ни с кем не спорил), а между знатоками и почитателями того и другого — затянулся не только на сезоны шестьдесят шестого — семидесятого, но тянется и по сей день. Аналога Стрельцову, правда, нет. И даже Бышовец представляется чем-то малодостижимым. Но потому, наверное, и нет, что тогда не смогли (или, как всегда у нас бывает, не захотели) разобраться: кто из них архаист, а кто новатор...

Поздней осенью того — продлившегося для сборной до глубокой осени — сезона к услугам и Бышовца, и Стрельцова (что и не вполне стало сенсацией, настолько логичным выглядело) прибегнул тренер сборной Николай Морозов.

20

Ехать «Торпедо» в Милан играть с «Интером» без Стрельцова представлялось абсурдным даже тем, кто не слишком понимал в футболе.

Тем не менее смешно было бы вообразить, что те, кто решал: лететь ему в Италию или оставаться дома, не встали бы для порядка на дыбы. Аркадий Вольский рассказывает, что на закрытом заседании горкома партии второй секретарь МК Раиса Дементьева кричала: «Разве может уголовник ехать за границу?!» Кто-то из партийных болельщиков с ироническим складом ума даже спросил ее: «А что ты так кричишь? Тебя он, что ли, насиловал?» Посмеялись. Но бюро не шутить собиралось — и резюмировали просто: возглавляет торпедовскую делегацию Вольский Аркадий Иванович. Стрельцов поступает под его личную ответственность. Значит, если Стрельцов

сбежит, Вольский положит на этот стол свой партбилет. Вольский вспоминает: «Естественно, я отказался». Но поговорив с директором завода Бородиным, очень к тому времени увлекшимся футболом, подумал: а что же тут естественного, если я, человек, имеющий репутацию решительного, вдруг сдрейфил (директор ЗИЛа так ему и сказал: «ты сдрейфил»)? И задетый за живое директорскими словами Вольский рискнул партийным билетом — и всей, «естественно», дальнейшей своей карьерой.

Через два дня торпедовцы улетели. В самолете комментатор Николай Озеров, взглянув в иллюминатор, сказал: «Все, Эдик, теперь ты — выездной». Границу перелетели.

...Вместо Валентина Иванова в Риме на поле вышел Валентин Денисов. В середине сезона он вернулся в «Торпедо» — и в первом же матче забил гол. Денисов не был вполне хорош физически, играл с заметным даже с трибун лишним весом, но его умение комбинировать, оказавшееся ненужным в ЦСКА, здесь проявилось, как будто «Денис» никуда и не уходил из «Торпедо».

Засчитай рефери Ченчер из ФРГ гол Бреднева — а мы по телевизору ясно видели, что мяч от перекладины опустился за линией ворот, — автозаводская команда прошла бы в следующий тур Кубка чемпионов: «Интер» славился не атакой, а защитой.

Подводя итоги матча с «Торпедо», тренер «Интера» осторожно заметил, что Эдуарда Стрельцова не вполне понимают партнеры по атаке, не приученные к столь интеллектуальному футболу, который предлагает им торпедовский лидер... Но и от комплимента не удержался: «Само присутствие Стрельцова на поле и стиль игры обеспечивают команде численное превосходство на любом участке...»

Эдик в своих мемуарах эмоционально задержался на этом матче:

«Мы вышли играть с „Интером“, договорившись между собой, что будем биться до конца. И бились. К несчастью, удачи нам в Милане не хватило.

Один итальянский журналист написал, что «такого международного опыта, каким обладают игроки „Интера“, нет ни у одного другого клуба в мире».

Конечно, когда в составе у противника такие именитые игроки, как Факетти, Бургнич, Жаир, Суарес, Корсо, всегда немного не по себе — и тем особенно, кто в такого уровня соревнованиях еще не играл. Тут уж чистая психология. И вопрос: как это напряжение снять? Я знал по своему опыту, что уж паниковать точно не стоит. И не надо слушать тех, кто все эти громкие имена на разные лады произносит... Перед игрой с ФРГ в пятьдесят пятом году нам тоже твердили: Фриц Вальтер, Фриц Вальтер. Он тогда и действительно красавцем был. И

сыграл лучше еще, чем ожидали, — мяч у него не могли отобрать, приставленный к нему полузащитник только бегал за ним по пятам. Но в итоге-то не проиграли, победили, переломили в середине ход игры — и никакой Фриц Вальтер немцев не спас. Так что какой же резон самих себя пугать чужой славой?

Перед игрой, конечно, понервничали. И от страха перед именами не все, на мой взгляд, избавились. Главное, переживали, что с нашей стороны никаких современных знаменитостей нет, кроме Валерки Воронина. Он, кстати, на чемпионате в Лондоне с итальянцами-то здорово и сыграл. И мы на него надеялись. Он, по-моему, не подвел. Жаль только, что единственный мяч в наши ворота, все решивший, влетел от Маццолы, задев Воронина.

А наш гол — Володька Бреднев отлично под перекладину пробил, мяч от нее рикошетом за линию ворот отскочил — судья не захотел увидеть. Очень, конечно, обидно. Володька на четырнадцатой минуте гол сделал, когда мы уже успокоились, в свою заиграли игру. Первый тайм прошел с нашим преимуществом. Потом тот журналист, который про опыт игроков «Интера» писал, отметил, что мы заставили «Интер» играть по нашим нотам...

А вот в ответной игре в Москве у нас, как ни странно, шансов было меньше. Команды уже хорошо узнали друг друга. Но итальянцы, действительно, поопытнее. И вообще «Интер» в целом потехничнее, чем «Торпедо». Кроме нас двоих с Ворониным, все наши уступали итальянцам, прежде всего в технике.

И очень грамотно сыграла защита «Интера». У нас же без Дениса — его Щербаком заменили — сильной атаки не получилось (Эррера говорил, что когда увидел в московском матче Щербакова вместо Денисова, сразу успокоился. — А. Н.). Защитников «Интера» без выдумки не проведешь. До сих пор думаю, что сыграй мы в Москве вместе с другим Валея — Ивановым, — разобрались бы в ситуации и обязательно забили бы...

Мне передавали, что Эррера сказал про меня: «Стрельцова трудно разгадать нашим защитникам, но и для партнеров он не меньшая загадка».

Да нет, к тому времени, мне кажется, понимание у меня с партнерами уже установилось более или менее. Может быть, просто не всем удавалось исполнить задуманное нами технически? Случалось: я иду назад и готов пяткой отдать мяч вперед, если партнер открылся, а он не открывается, упрощает итальянским защитникам их задачу.

В общем, в Москве — 0:0. Из Кубка выбыли. Но особенно ругать нас не за что. Мы выглядели пристойно. Не забывайте, что сезон шестьдесят шестого для «Торпедо» оказался не из лучших. Правда, на будущий год дела наши не только не улучшились, а, напротив,

стали еще хуже. Мы на двенадцатое место скатились, как в самые несчастливые времена».

21

Но главным, как у нас любили и до сих пор, по-моему, любят говорить, итогом проигранного состязания с итальянцами стало разрешение Стрельцову играть теперь за сборную СССР.

Правда, нервы поручителям он потрепал. В ночь после матча с «Интером» сопровождающий команду чекист, полковник — ни больше, ни меньше! — Борис Орлов заглянул в номер к Вольскому, огорошив парторга ЦК на ЗИЛе сообщением, что Стрельцова в гостинице нет. Искали — и не нашли. А утром — в аэропорт. Позднее в предисловии к одной из книг о Стрельцове Аркадий Иванович комментировал случившееся не без сохраненного в передрыгах начальственной жизни юмора: «Жаль, подумал, партийного билета, но ничего не поделаешь — сам виноват: надо возвращаться в Москву без Стрельцова». Но Эдик появился в аэропорту как ни в чем не бывало. Спокойно объяснил, что его пригласили игроки «Интера» — вместе погуляли. Итальянские журналисты застали отдохавших футболистов в каком-то развлекательном заведении — и не преминули задать вопрос Стрельцову: «Не хотел бы он остаться за рубежом?» Эдик ответил: «А что мне тут делать? У вас президентов убивают». (Пока Эдик находился в заключении, в США застрелили президента Кеннеди.) В данном случае ругаемые у нас тогда за «продажность» иностранные писатели очень выручили Эдика. Про ночную гулянку забыли, а ответ патриота-футболиста, уевшего буржуев, те, кому это полагалось по службе, прочли, получив большое политическое удовольствие.

...«Советский спорт» с отчетом о матче нашей сборной с турками я развернул возле газетного киоска в центре Новосибирска — был там в командировке — и на душе стало легче, когда увидел фамилию Стрельцова в составе команды Морозова. Хоть что-то, может быть, в нашей жизни наладится, раз футбол поумнел, восстановив Эдуарда почти во всех правах (звания заслуженного мастера ему в шестьдесят шестом не вернули).

Немножечко встревожило, что при Стрельцове проиграли в Москве туркам — они тогда не котировались. Но надеялся, что у футбольных начальников хватит ума не обвинять в поражении Эдика. Хотя, судя по отчету, он никак себя не проявил. Однако как раз в том, что не проявил — не лез из кожи вон, оправдывая высокое доверие, — и был Стрельцов.

Он привыкал к партнерам по сборной — и в следующей игре (играли снова в Москве, против сборной ГДР) забил первый гол. Матч

23 октября памятен тем, что провожали любимого футболиста Майи Плисецкой — Виктора Понедельника. Ровесник Эдуарда заканчивал путь свой в большом футболе, пройденный им не бесславно. А Стрельцову еще многое предстояло...

Понедельника, ритуально вышедшего на поле, заменил Анатолий Бышовец — дебютант сборной. Но пять минут Понедельник поиграл в атаке со Стрельцовым — один сюжет, не состоявшийся, заканчивался, зато завязывался новый...

Бышовец со Стрельцовым до конца года побывали еще в Италии (Эдик вторично — ездить так уж ездить). Итальянцы на «Сан-Сиро» взяли у нас реванш за поражение на чемпионате мира. Единственный в матче гол Гуарнери забил Яшину в середине первого тайма.

Воронин после чемпионата мира не очень стремился играть — чувствовал себя эмоционально и всячески переутомленным — и в трех из четырех осенних матчей сборной Морозов его не занимал. Но в сборной появился другой торпедовец — хорошо себя в том сезоне проявивший Андреюк. Слава Андреюк следовал автозаводским традициям в соблюдении режима — и не очень долго удержался в основном составе «Торпедо» (возможно, что и с Ивановым, когда стал тот тренером, не пришел к согласию, не помню уже). Но заговорили о нем журналисты в конце шестидесятых в связи со Стрельцовым — Слава играл за свердловский «Уралмаш» и, когда в кубковой встрече пришлось ему противостоять Эдику, вцепился в него мертвой хваткой...

22

Советская власть, как никакая другая, умела сделать заложниками времени тех, кому положено быть заложниками вечности. С футбольными тренерами — чья профессия и не предполагает постоянного работодателя — такое удавалось легче легкого.

В спорте гениальность чаще, чем где-либо измеряют результатом — чем же еще? Но гений футбольного тренера — в невидимом слепому миру зодчестве. Так уж устроена эта, не поддающаяся последовательной аналитике игра, при том, что на самую аналитику футбольную претендуют все кому не лень языком ворочать. Но примиримся с парадоксом: наиболее широко и смело тренер мыслит, когда остается без работы. Правда, в качестве выведенного за штат мудреца он мало кого интересуется. И все же счастлив тренер, который, становясь во главе многосложного, многослойного процесса руководства командой, не забывает о тех завиральных идеях, что

посещали и волновали его в дни бездействия. Кстати, на такое бездействие великие тренеры советской поры были обрекаемы чаще, чем их зарубежные коллеги. Конечно, во времена Якушина сильных клубов в нашем отечестве было побольше, чем сейчас. Но ведь и работающих одновременно великих тренеров было не один и не два, а... нет, некорректно прибегать к перечню или перечислению: обязательно кого-нибудь запамятуешь. Кроме того, в те времена к поименованию великих относились осторожно. Это потом, когда поздно было, спохватывались, что некоторые из по-настоящему больших специалистов так и остались недооцененными. А новым работникам захотелось считать и чувствовать себя наследниками не иначе, как великих — теперь ушедшие из жизни великие им не мешали.

Но при жизни великие живут не в истории футбола, а в его противоречивой практике — и тренер обязан заботиться о своей физической, рабочей форме ничуть не меньше, чем игрок.

К моменту назначения старшим тренером сборной Михаилу Иосифовичу Якушину шел пятьдесят седьмой год. Внимательный читатель, возможно, заметил, что с пятьдесят второго года «Хитрый Михай» так или иначе причастен к делам сборной. Не на первых ролях, но ведь и не скажешь, что на вторых: первые по складу своему люди не бывают вторыми. И от их исполнения вторых ролей толку меньше, чем было бы, властвуя они над обстоятельствами безраздельно.

Кратковременное пребывание Якушина старшим тренером — не в счет. Не он собирал ту сборную, которой считанные дни руководил, а кто же не знает, что тренерская концепция прежде всего в собственном выборе игроков и дальнейшей их расстановке.

Якушин принял сборную у Морозова позднее, чем следовало бы. Осенними играми в шестьдесят шестом году Николай Петрович ничего никому доказать уже не мог. А у Михаила Иосифовича отнималось время для подготовки к европейскому чемпионату шестьдесят восьмого года.

Качалин и Морозов, не работавшие подолгу или вообще не работавшие с ведущими клубами, привыкли приходить в сборную специалистами со стороны, которым в плюс хотелось кому-то поставить ведомственную беспристрастность. Якушин, несмотря на небезуспешные сезоны в Тбилиси, был в первую очередь тренером классического московского «Динамо».

Причем в классики отечественного футбола Михай самолично выводил команду и как игрок, и как тренер. В динамовской истории не было человека крупнее Якушина, как в позднейшей торпедовской истории никто по совокупности заслуг и вложений не превосходит Валентина Козьмича Иванова.

И все же назначение Михаила Иосифовича, на мой взгляд, было насилием над исторической логикой. Пиршество тренерской мысли и острейшее противостояние тренерских интеллектов происходили в сезоне шестьдесят седьмого года в соперничестве двух динамовских клубов — московского и киевского.

После триумфа шестьдесят шестого года все ожидали диктата футбольной моды от киевского «Динамо» и пророчили Виктору Маслову повторение успеха.

Но тренером московского «Динамо» стал Константин Бесков, столь успешно проводивший предсезонные сборы, что уже после весеннего приза «Подснежник», тогда регулярно проводившегося (где москвичи победили дублем, пока основной состав совершал зарубежную поездку), заговорили о том, что столица Советского Союза своими футбольными принципами больше не поступится...

23

Я бы никогда не стал выражать сомнений в перспективе ведомой Якушиным сборной, если бы не волнение за Стрельцова — обозначится ли Эдуард в представлениях зарубежной публики о футбольном величии? Строго говоря, единственным популярным за рубежом игроком из СССР оставался Лев Яшин — о футболистах поколения, предшествующего яшинскому, почти не слышали, а если видели, то, как мы знаем, крайне редко. В середине шестидесятых стал приглашаться в символические сборные ФИФА Валерий Воронин. На лондонском чемпионате заметили бы Игоря Численко, но команда боролась за медали в его отсутствие.

В пятьдесят седьмом году, когда к товарищеским международным встречам относились внимательнее, «Франс-Футбол» выдвигал двадцатилетнего Стрельцова на «Золотой мяч» лучшего европейского футболиста среди таких кандидатур, как ди Стефано, Копа... Эдик шел седьмым в списке кандидатов. Но европейские обозреватели были под впечатлением всего лишь нескольких матчей во Франции, о которых на родине Стрельцова никто ничего не говорил, не представляя себе силы побитых «Торпедо» клубов. И вот десять лет спустя тридцатилетний Эдуард Стрельцов по существу дебютировал на мировой арене — того потрясшего многих специалистов здоровья-юнца, конечно же, давно успели забыть.

Дело прошлое, но Якушин не слишком высоко ставил Стрельцова. Не спорил с теми, кто Эдика превозносил, однако со своими восторгами не торопился. Пожалуй, что на тот момент, когда он работал со сборной, Михей-тренер выше всех ставил Игоря Численко. Численко действительно очень талантливый форвард, что

совсем немаловажно, очень понятный массовому зрителю игрок — и у нас, и за рубежом («Франс-Футбол» по результатам сезона шестьдесят седьмого именно «Число» поставил в десятку сильнейших европейских футболистов). Игорь провел в национальной команде столько же матчей, сколько и Стрельцов, но забил на четыре гола больше, чем он, — десять.

Собственно, очень уж принципиальных изменений в составе Якушин не произвел. В атаке, например, оставались те, кто так или иначе котиrowался и ранее: и Малофеев, и Банишевский, и Еврюжихин в шестьдесят седьмом году не раз выходили на весь матч в составе сборной. Михаил Иосифович не очень бывал доволен неприкрытым индивидуализмом Бышовца, но и не пытался заставить его играть контактнее с партнерами. По-моему, Якушин в работе со сборной сильной тренерской воли не проявил. Дал дважды почувствовать — правда, уже в шестьдесят восьмом году — свою твердую руку, но лучше было бы, наверное, для футбола, если бы он этого не делал.

Якушин любил повторять, что относится к игрокам как к своим коллегам. Он знаменит был своим умением руководить выдающимися мастерами. Но сборная СССР образца шестьдесят седьмого года по качеству футбола уступала, на мой взгляд, и московскому «Динамо» послевоенных лет, и тбилисскому «Динамо» в пятидесятом году, когда Якушина сослали в Грузию.

Разумеется, глубина понимания футбола и вообще весь его гений оставались при нем — и ругать его сборную, особенно сегодня, как-то не пристало. «Франс-Футбол» поставил ее по итогам года первой в Европе. Были у сборной СССР выразительные победы — и в Глазго над шотландцами в мае, и в Париже в начале лета, когда победили на «Парк-де-Пренс» 4:2. Численко по голу забил в каждом тайме, и Бышовец со Стрельцовым довершили дело во второй половине игры...

И Москву через неделю побаловали выразительным — и не без драматизма — зрелищем. Тогда Лев Иванович сплеховал, и при 3:1 в нашу пользу «глотнули», что называется, два мяча. Яшин тогда и вышел из доверия Якушина — круг их отношений замкнулся. Михаил Иосифович дал Льву сыграть еще тайм в конце месяца в Хельсинки, но гол от Линдхольма на сороковой минуте стал для Яшина последним в сборной. Однако тридцативосьмилетний вратарь за клуб еще поиграет — и так поиграет, что перед чемпионатом семидесятого года в Мексике его заявят резервным вратарем опять же в сборную...

Но тогда с австрийцами от конфуза — ничьей на глазах лужниковских ста тысяч — спас Эдуард Стрельцов: вбежал в штрафную площадку, напугав и одновременно запутав защитников изгибами корпуса, и головой забил четвертый мяч, заставив себя для

такого чрезвычайного случая сыграть головой, чего делать не любил, однако умел, как выясняется...

С поляками играли во Вроцлаве и в Москве отборочные матчи XIX Олимпиады — у Эдика оставался призрачный шанс поехать в Мексику. Я про игру с поляками вспомнил из-за того, что польскую звезду Любаньского считали похожим на Стрельцова в молодости, но для нас уже привычнее был новый Эдуард — кто понимал в футболе, не мог не видеть, как он продвинулся в своем искусстве.

И все бы хорошо, но мы помнили, как четыре года назад ваял сборную команду Бесков, и видели, отрываясь на события чемпионата страны, как работают со своими командами Бесков и Маслов.

Нет, как театрал в юности я не упускал из виду приверженности Михея к Малому театру — театру Актера. Я понимал и его полемику с тренерами, настаивающими на режиссерском примате профессии. Но и Малый театр не бывал по-настоящему велик во времена, когда в труппе невелик был выбор «первачей». И у Якушина выдающихся игроков было разве что треть команды, а лепить вдохновенно из того, что есть, как Бесков, он считал ниже своего тренерского достоинства. А может быть, и не очень умел: в его «Динамо» совсем уж посредственностей брать стали попозднее; он как тренер такого почти не застал. Правда, после сборной он кое-чего добился в непредставительном «Пахтакоре». Однако заметьте, после сборной... Но, повторяю, я чересчур придираюсь к великому тренеру, удрученный несостоявшимся признанием Стрельцова за границей.

Как-то — уже в конце восьмидесятых — я беседовал с Бесковым, и он к чему-то сказал, что Пеле, Марадона, Стрельцов стоят в одном ряду, а игроки они по всему складу своему разные, что никак не противоречит мнению Стрельцова о себе и Пеле. Я, каюсь, провокационно, чтобы вовлечь в интересующий меня разговор Константина Ивановича, ввернул реплику, что Эдуард, мол, никогда на таком престижном уровне, как Пеле, не выступал — не участвовал, например, в первенствах мира. Я ожидал в оценке Эдика Бесковым того непременно «но», какое обычно возникает в разговорах о нем — о судьбе его, не сложившейся так, как могла и должна бы. Тем более что максимализм требований Константина Ивановича всем известен (и к тому же в момент беседы он был действующим тренером и от состязательных мотивов в мыслях о футболе не мог, казалось мне, отрешиться). Но Бесков спокойно сказал, что для любителя (в смысле болельщика) нужен какой-то обязательно общеизвестный, общепринятый престижный уровень, а для специалиста совершенно достаточно оценить, что в игроке есть, а где он себя проявил — во внутреннем чемпионате или на чемпионате мира — не столь важно.

Но много ли в мире специалистов, много ли людей,

разбирающихся в футболе с той тонкостью, какой он заслуживает? Все равно бесконечно жаль отнятых у Стрельцова лет для сборной — вернись он в нее пусть не в шестьдесят пятом, но хоть с начала шестьдесят шестого, успело бы возникнуть вокруг него партнерство совсем иного уровня эрудированности. А в якушинской сборной Эдуард оставался в значительной степени непонятым — и команда с ее тренером не взяли от него очень многого из того, что для успеха всего дела должны были взять...

24

Состав у «Деда» в киевском «Динамо» был посильнее московского во всех смыслах — и выбор обширнее, и уверенность чемпионская. Однако не настолько же, чтобы забыть, что значит в футболе Москва, что значит столичное «Динамо». А тем, кто видел сборную шестьдесят третьего — шестьдесят четвертого годов, не надо было объяснять, на что способен Бесков.

Бесков выступил, с одной стороны, как суперреалист. Не декларировал на этот раз, что без двух-трех лет работы новую команду не представит. Он выразил готовность дать киевлянам бой сегодня же — и силой тех, кто есть в его распоряжении сейчас.

Замысел Константина Ивановича был для него совсем необычен. Он соглашался поставить игру на нынешних звездах и лидеров. Но с оговоркой, выдающей тренера с головой.

Он предложил Валерию Маслову, Виктору Аничкину и — куда денешься — Численко, отлично поработавшему у него в сборной, пожертвовать ради большой цели тремя годами частной жизни. Иначе говоря, отдать три года футболу безраздельно — от всего, что может стать помехой спортивному совершенству, от всех житейских удовольствий отказаться, поселиться на базе в Новогорске безвыездно — и в результате превратить себя в игроков мирового класса, а команду возвести в ранг суперклуба, какого, вполне возможно, еще не бывало в футболе...

Не скажешь даже сразу: чего в тренерском предложении динамовским лидерам было больше — максимализма или наивности? Но возможность такого сочетания в характере Бескова совсем не кажется мне противоестественной. Добавлю, что сам сорокасемилетний тогда Константин Иванович — человек, приучивший себя к режиму, но ни в коей мере по душевному складу не аскет (Стрельцов мне рассказывал, что однажды, году, кажется, в шестьдесят шестом так наугощался в гостях у Бескова, что заснул в прихожей, а потом кто-то из заводских начальников, чуть ли не Вольский, звонил Константину Ивановичу с претензиями: почему не

окоротил Эдика с выпивкой?) — готов был к такому подвижничеству.

Однако у динамовских лидеров предложение тренера ни малейшего сочувствия не вызвало. И не думаю, что болельщиков и вообще близких к футболу людей, знающих жизнелюбие этой троицы талантливых игроков и замечательно компанейских парней, удивила бы, знай и они про инициативу Бескова, реакция на нее Численко и Маслова с Аничкиным.

Маслову и Аничкину минуло двадцать семь лет, Численко приближался к тридцати — зачем им было превращать для себя футбол в «шагреневую кожу»?

Я думаю, что и Константин Иванович — в чем-то же и скептик (иначе был бы он тренером?) при всех тогдашних динамовских своих мечтаниях — всерьез не рассчитывал на немедленное и безоговорочное согласие жизнелюбов-звезд. Но тренерское самолюбие было ранено не столько ожидаемым сопротивлением, сколько той иронией, с какой игроки отнеслись к его предложению.

Бесков провел один из принципиально лучших своих сезонов и потому еще, что сумел переступить через раздражение теми, кто не захотел пойти за ним в новое для них и неизвестное. Он распорядился талантами непослушных игроков все равно наилучшим образом — и все равно увлек их своими футбольными идеями.

Ни одна из команд в сезонах конца шестидесятых годов не имела столько разнообразных вариантов и систем ведения игры. За эти годы зритель увидел и динамовских полузащитников, играющих в защите, и крайних нападающих, превратившихся в связующих и маневрирующих в центре поля игроков, увидел игру с двумя и четырьмя форвардами, с пятью и тремя защитниками, «взрывы» на флангах и мощные атаки по центру...

Того, кто хоть чуточку разбирается в футболе, не надо убеждать в значимости Бескова-тактика. Но стоит, наверное, сказать, что в сезоне шестьдесят седьмого он преуспел — что не всегда с ним и в успешных сезонах бывало — и в тактике взаимоотношений с командой.

Может быть, только в самом конце — если верить герою того сезона Валерию Маслову, удивившему всех нас и в роли «либеро», и в неумоимости подключений в атаку — он поспешил с тем, чтобы поставить Владимира Козлова на место Юрия Вшивцева, а команда уже привыкла к Вшивцеву и не воспринимала Козлова: партнерам казалось, что он замедляет атаку. Константину Ивановичу немалых трудов стоило пробить разрешение Козлову выступать за «Динамо» — параллельно за такое же разрешение партнеру Владимира по «Локомотиву» Гершковичу бились торпедовские руководители. И ему не терпелось, чтобы его воспитанник вошел в состав. Он уже смотрел вперед — в будущее, где видел двадцатилетнего талантливого

Козлова, а не двадцатисемилетнего и, на его взгляд, ординарного Вшивцева. Собственно, и Вшивцев никуда не делся, просто чаще выходил во втором круге на замену, а в победном финале Кубка Юрий вообще провел весь матч, при том, что Козлова тренер выпустил за пять минут до конца — правда, вместо игрока сборной Геннадия Еврюжихина. Константину Ивановичу, видимо, хотелось, чтобы на историческом снимке с выигранным Кубком запечатлен был и его любимец. Но, может быть, нападающим, отлично начавшим и второй круг, виделось недоверие к себе Бескова в его желании уточнить атаку лихим штрихом? Они, кстати, могли и ревновать Константина Ивановича к юному Володе...

Я все-таки считаю, что причина совсем неудачного финиша шестьдесят седьмого года в самих игроках — ведущих, разумеется, игроках. Не случайно тренера беспокоили их возраст и отношение к режиму. На них ведь и в сборной ложилась львиная нагрузка. Как ни странно, киевский клуб не имел в сборной Якушина большего представительства, чем московское «Динамо». Другое дело, что у Бескова не было столько классных резервистов, сколько у «Деда», — и он сердился на Якушина, когда тот вызывал на свои сборы его игроков накануне важных и решающих календарных матчей.

Бесков выиграл у Виктора Маслова в Киеве, но игра в Москве за девять туров до завершения турнира значила для чемпионства намного больше. И была на своем поле команда Константина Ивановича ближе к победе, а пришлось довольствоваться нулевой ничьей. До игры с киевлянами москвичи победили в семи матчах из одиннадцати. И выиграй они еще и у фаворитов — прошлогодних чемпионов, — им хватило бы куража на финиш. А без куража игровой дисциплины хватило на два матча — и потом уж никакой воли в погоне за лидерами воины Бескова не проявили: из семи матчей проиграли четыре. И все равно для тех, кто помнил послевоенные сезоны, «Динамо» предстало как никогда динамовским. Давно объявивший себя профессиональным тренером, которому клубные пристрастия, в общем, чужды, Бесков в работе с командой шестьдесят седьмого года невольно, может быть, вдохновлялся очень личными тренерскими мотивами. Поэтому и нужен был ему в центре атаки такой форвард с аристократической футбольной кровью, как Владимир Козлов. Впечатление от московско-динамовского сезона довершилось в день сорокалетия советской власти победой в финале Кубка над ЦСКА со старшим тренером Всеволодом Бобровым. Бобров как футбольный тренер вряд ли мог конкурировать с Бесковым. Но Константину Ивановичу любой выигрыш у «Бобра» грел душу — и, по-моему, 3:0 он воспринял триумфом логики своей жизненной линии. Следующего успеха, равного по масштабу, ему предстояло ждать больше десяти лет...

25

А что тем временем творилось в «Торпедо»?

Стыдно произнести, какое место они в итоге заняли.

Но, может быть, сочтем все-таки, что, по крайней мере, в неудачах первого круга было нечто полезное и даже судьбоносное?

Потеряв должность в сборной, Николай Петрович пожелал, надо понимать, залечить раны в том клубе, где играл когда-то, — в московском «Торпедо». Некоторая пикантность ситуации заключалась в том, что Марьенко считали морозовским протеже — до работы в сборной Петрович руководил профсоюзным футболом. И теперь получалось, что это он себе тылы на черный день готовил — так поговаривали: возглавляя сборную, врагов в профессиональной среде приобретаешь никак не меньше, чем друзей.

Но главного себе оппонента Николай Петрович встретил внутри «Торпедо». Валерий Воронин мог проявить по отношению к Морозову и великодушие победителя. Все равно с воронинским влиянием в «Торпедо» новому тренеру пришлось бы считаться так же, как считался Марьенко. Однако Воронин не скрывал, что недоволен решением руководства, сосватавшего им экс-тренера сборной страны.

Валерий Иванович находился не в самом оптимальном состоянии. Правда, после чемпионата в Лондоне кто бы решился засомневаться, что Воронин остается Ворониным. Из восьми матчей, сыгранных сборной до конца августа, он пропустил лишь один. Но потом, без видимых посторонним оснований, не привлекался Якушиным в основной состав до конца октября.

Через годы, когда наши отношения с ним позволяли о многом говорить вполне откровенно, я как-то пошутил, что смещение Морозова отняло у него столько энергии и сил души, что на футбол, на игру, точнее, в футбол на обычном воронинском уровне Валерия уже не хватило. Он в общем, не спорил со сказанным. Но никогда и не рассказывал в подробностях о приведенном им в действие механизме интриги. Я так понял, что Стрельцов поддержал его в борьбе за смену власти, но, как всегда, никакой активности не проявлял и вряд ли даже понимал, в чем суть интриги. Или, вернее, не хотел понимать, поверил Валерке на слово.

Воронин тем более — и тем более мне — не собирался (да и вряд ли смог бы) объяснять: почему же он с таким странным для добровольного реформатора равнодушием стал относиться к своему личному участию в игре команды, где столько от него зависело? Неужели устранение Морозова оказывалось важнее результата? Вообще-то так тоже бывает, а иногда — и даже часто — только так.

Может быть, и не стоило сосредоточиваться на конфликте Воронина с тренером, но нам для сюжета книги о Стрельцове совсем небезразлично, кого же намечал Валерий Иванович на место Морозова. По-моему, смелость его затеи извиняет некоторую инертность знаменитого футболиста в играх первого круга. Сложность взятой им на себя задачи отвлекала Воронина от непосредственных обязанностей игрока...

...Валентину Иванову устроили торжественные проводы. Газеты и журналы обошел снимок: Валерий Воронин с киношной улыбкой посадил себе на плечи провожаемого с почестями капитана, а рядом шагает с широкой улыбкой Стрельцов, поддерживая Кузьму двумя руками за ногу, чтобы он не потерял равновесия. Позднее Эдуард острил: «Вот, Валера, посадил на шею...»

Но после всех торжеств великому форварду, кроме роли четвертого тренера на ставке не самого высокооплачиваемого игрока, ничего и не придумали. Он, как я понял, и дублем не вполне руководил, не единолично. И кое-кто поторопился стать с недостижимым вчера Ивановым на равную ногу, держаться чуть ли не запанибрата — у игроков в тренерском штабе величиной принято считать лишь старшего тренера. «А старшим, — брякнул как-то тактичный Щербак, — еще очень нескоро будет». Володю, как все еще молодого по разуму человека, Воронин, очевидно, не посвящал в свои планы.

Сам Иванов говорил — и я ему абсолютно верю, — что и не помышлял в тридцать три года возглавить команду мастеров, тем более свое «Торпедо» — команду с высокими целями. Не знаю, искренне и сильно ли сопротивлялся он предложению сменить Николая Петровича Морозова, но не сомневаюсь, что для него в тот момент главным доводом были заверения Воронина и Стрельцова, что их всегдашняя поддержка ему обеспечена — и он за ними, как за каменной стеной.

Вспоминаю, что в радостном для «Торпедо» чемпионском году на банкетах и в домашних застольях, достигнув определенного состояния, начинали говорить о будущем команды, которое в дни большой победы виделось пусть и не до конца безоблачным, но все равно весьма обнадеживающим для тех, кто играет сегодня и не мыслит себя в дальнейшем без «Торпедо». И торпедовская идиллия в грядущем непременно связывалась с фамилиями Иванова, Стрельцова, Воронина, образующими руководящий союз. Тренерская роль отводилась Кузьме. Воронина видели начальником команды, перед которым все двери везде распахнутся. А Эдик... Эдик будет формально, наверное, вторым все-таки тренером. Но таким вторым, перед которым старший никогда носа не задерет, а к которому будет, наоборот, за советами обращаться и к этим советам прислушиваться,

понимая, что такому человеку, как Стрельцов, и должности не надо. Все Стрельцова с удовольствием послушаются только за то, что он — Стрельцов...

Но ведь жили всю весну и почти два летних месяца в ситуации, когда Стрельцов, Воронин и с ними Кавазашвили уезжали в сборную, возвращались, а Кузьма, конечно, не сетку с мячами носил, не выглядел бедным родственником, но неприкаянность и некоторую небрежность по отношению к себе в команде успел почувствовать.

И вдруг все меняется — с первого августа Валентин Козьмич вновь самый главный человек в «Торпедо». Формально даже главнее, чем был когда-либо. Причем назначен не сверху, что иногда обрекает на противостояние с группой ведущих игроков, а поднят самой этой группой на тренерский мостик. Не та ли это идиллия, что возникала в банкетных мечтах? Только произошло все гораздо быстрее... И быстрота произошедшего не могла не вызвать непредвиденных сложностей.

...31 июля — за день до подписания приказа о назначении Валентина Козьмича Иванова старшим тренером команды мастеров «Торпедо» — ко мне на день рождения пришел Володя Щербаков. И сразу — с порога — предупредил, что пить много не будет. Не та ситуация — их, первых игроков «Торпедо», святой долг сейчас поддержать Кузьму. И хотя свое благое намерение Щербаку удалось осуществить не вполне, мне показалось, что сам он себе очень нравится в той ответственности, какую взял на себя вместе с Ворониным и Стрельцовым.

По всем законам советской драматургии, с таким бы воодушевлением «Торпедо» должно было уже назавтра проявить себя во всей своей красе. И если не выиграть первенство, то хотя бы дать лидерам понять, что есть им конкурент в лице команды, возглавляемой тренером Валентином Ивановым.

Но закончилось «Торпедо» сезон на двенадцатом месте.

В «Торпедо» считали, что Морозов мало того что пришел к ним без четкой программы, но и требует от игроков на тренировках недостаточно. Стрельцов говорил, что ему о том трудно судить: «Меня Петрович хорошо знал, доверял, наверное, моей самостоятельности, щадил, может быть, за возраст, как некогда за молодость. Однако торпедовцам нового набора (в тот год в команду пришло довольно много игроков) нагрузок тренировочных явно не хватало. Я когда пришел после перерыва из-за травмы, говорю Бредневу: „Не знаю, хватит ли меня на трехразовые тренировки?“ А он: „Не бойся. Так и шесть раз в день можно тренироваться“. Правда, Володька был работягой. Денисов, например, назад после атаки вернуться не спешил, а Бреднев и после рывка идет назад и честно отрабатывает в защите. Без таких, как он, команда не может существовать».

Казалось бы, чего проще. Исправить огрехи отставленного тренера, увеличить нагрузки, договориться со старыми товарищами, чтобы отдали игре побольше, чем отдавали при Морозове... Но, как говорил мой знакомый тренер по боксу, распустить себя легче всего, проблема, как собрать обратно. В подсознание торпедовцев запала мысль, что сезон провален. И новую жизнь правильнее будет начать со следующего сезона. И в общем не склонный никого осуждать Эдуард, вспоминая провальный (не для него) сезон, и тот не удержался от критических замечаний. Конечно, сказанное им в адрес тех, кого сегодня мало кто сможет, если и захочет, вспомнить, актуальным уже не покажется. Но Эдик так редко выступал как педагог и критик, что не удержусь и приведу некоторые из его суждений о партнерах — в них же и сам Стрельцов очевиднее для тех, кто не застал его. Ну, например: «Этот сезон для Щербака оказался последним, а я успел к нему привязаться, привыкнуть. Он провел тридцать игр, а нужной физической кондиции так, по-моему, и не достиг. Гершкович и Шалимов выходили на поле пореже, но вписывались в игру удачнее. Я Володю пойму, если ревновал он нашу команду к ним. Мыслил-то Щербаков по-торпедовски — приобрел понимание нашей игры. А вот силы, которой вчера еще было в избытке, стало недоставать — и не вдруг такое с ним произошло, вот что самое-то за него обидное.

Володя Михайлов играл в «Торпедо» третий сезон — и по своему опыту должен был бы уже ходить в тех, кто организует игру. Он многое умел — и техника была, и накрутить, убежать мог — не поймает его, когда он в порядке, и удар у него правой отменный. Но все по настроению. Вдруг встанет — и отстоит всю игру (это, обратите внимание, подлинные слова Стрельцова. — А. Н.). В таком настроении и незачем заявлять его в составе...

Мы все радовались, что наши поредевшие ряды пополнил такой способный мальчишка, как Миша Гершкович. Ему сначала по каким-то соображениям не разрешили перейти в «Торпедо». Но он вместе с нами тренировался, выступал в товарищеских матчах — и многие из нас к нему стали относиться как к своему человеку и до официальных игр. Я же видел, что пришел он к нам не случайно. И слышал, что выбор у парня, уже зарекомендовавшего себя в «Локомотиве», был большой. Но считаю, что Миша не прогадал. Известность молодого игрока иногда идет ему во вред. В том смысле, что ведущим он считался в команде, занимавшей пятнадцатое — семнадцатое место и ни о каких призовых местах не помышлявшей. Не скажу ничего плохого про «Локомотив» — там известные тренеры работали, — но если сравнивать бывшую команду Гершковича с нашей, то у них, на мой взгляд, не было ни лица, ни почерка, ни стиля. Конечно, про парня, который тренировался у Бескова, играл у него за основной

состав, не скажешь, что он игрок без школы. И, конечно, техника Мишина, особенно отличный дриблинг, удовольствие от работы с мячом выделяли Гершковича из всех молодых талантов. И своим отношением к тренировкам Михаил обещал вырасти в хорошего мастера. Но мы — чего уж скрывать — побаивались, что раннее лидерство в посредственной команде, на фоне неизобретательных игроков, игроков без настоящего самолюбия, могло и не пройти для него даром. И меня еще настораживала поначалу в игре Гершковича безоглядность в индивидуальных действиях. Я заметил, как только начал играть с ним, что Миша, при всей своей толковости и способности обвести разом нескольких защитников (а может быть, из-за нее как раз), с мячом расстаться не торопится. Все вроде бы знают, что мяч при своевременном паса пересечет середину поля гораздо скорее, чем при самом стремительном дриблинге... Но когда человек таким дриблингом владеет, он себе в нем, как в наркотике, отказать не может...»

Но в самое неловкое положение нового тренера ставил Воронин. Иванов не делал ему внушений, и не только потому, что считал себя ему обязанным, — он чувствовал, что происходит с Валерой что-то и тренеру, и ему самому не до конца понятное. Он видел, что Воронин не хочет играть — не за сборную или за «Торпедо», — вообще не хочет, но себе в том не сознается. Сознаться в таком страшно — самому себе особенно. Кузьма постарался отнестись к происходящему с товарищеской иронией. Воронин — как смеялся Иванов — горстями принимал таблетки — потерял сон. Он уехал в разгар сезона в Сочи с подругой-балериной. Его щипали газетчики, отчитывал Вольский. И только Валентин Козьмич тактично воздерживался от необходимых, наверное, но неэтичных по отношению к такому игроку, как Воронин, замечаний. Тренер, вероятно, рассчитывал, что Валерий оценит его деликатность. И вспомнит, может быть, что обещал всяческую поддержку Иванову. А какая уж тут поддержка, когда на четвертьфинальный матч Кубка против «Динамо» Бескова ведущий игрок не приехал — не только на сбор в Мячково, но и на стадион? В состав, между прочим, одиннадцать полноценных игроков еле-еле набиралось. Стрельцов согласился играть с новокаиновой блокадой. Сознавал, что само его присутствие на поле многое решит.

В автобусе, выехавшем из Мячкова в Москву, Эдик сразу сел на табурет рядом с водителем и до самых Северных ворот динамовского стадиона настраивал транзистор на музыку, соответствующую тому, что им предстоит...

Проиграли 0:1. Неразлучные друзья Аничкин с Масловым справились с торпедовским нападением, а Валера Маслов еще и гол забил.

ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ СССР

26

В шестьдесят седьмом году лучшим футболистом страны избран был Эдуард Стрельцов.

Редактор «Футбола» Мартын Мержанов ушел на пенсию, а еженедельник, популярность которого сегодня не вообразить — очередь за ним по воскресеньям занимали с ночи, при том, что тираж рос, опять же до невообразимых нынче шестизначных цифр, — возглавил Лев Филатов. Между прочим, назначение Филатова имело отношение и к моей карьере. У нас в АПН командиром среднего звена служил поэт Николай Тарасов (о нем как о своем учителе немало написал в «Автобиографии» и книге мемуаров Евгений Евтушенко), всю почти жизнь вынужденный для заработка заниматься спортивной журналистикой, никаких чувств к спорту, в общем, не испытывая. Когда после перехода Филатова в еженедельник освободилась должность главного редактора газеты «Советский спорт», шеф Новоскольцев предложил вакансию нашему Тарасову. В этом был футбольный, точнее антифутбольный, подтекст — главный редактор «Спорта» футболом не интересовался. Запретить партийно-правительственный жанр он (зять, кстати, секретаря ЦК КПСС Поспелова) не мог, но засилью футбола в газете сопротивлялся. Отделение «главного футболтуса» (так называл Филатова его однокашник по ИФЛИ Тарасов) в подведомственный «центральной усадьбе» еженедельник Новоскольцева устраивало, а в далеком от футбола Николае Александровиче он надеялся найти союзника. Хотя более разных, чем он и Тарасов, людей я редко в своей жизни встречал.

Переходя из АПН в «Спорт», Тарасов пригласил меня и моего тогдашнего приятеля Марьямова последовать за ним. Мы к тому времени чуточку повзрослели — и начали догадываться, что в своей веселой разведывательной организации скоро и буквы забудем.

Но мы не учли парадоксальность ситуации, в какой неминуемо окажемся. Нам — как мы считали, ближайшим друзьям Иванова, Воронина и Стрельцова — никто в редакции спортивной газеты не позволил бы и на пушечный выстрел подойти к футболу, видя в нас людей Тарасова, в «Спорте» немало в пятидесятые годы прослужившего и известного своим отношением к народной игре. В футбольном отделе «Советского спорта» собрались журналисты разных возрастов, в том числе и молодые люди, которых сегодня

относят уже к цеховым достопримечательностям. А тогда руководитель отдела дядя Саша Вит сетовал на их круглосуточную погруженность в футбол — и говорил, что мечтал бы о дне, когда Валерка Винокуров прибежал бы в редакцию со свежим номером «Нового мира», а не сразу бы стал рассказывать о вчерашнем матче дублей. С дядей Сашей, как видно из приведенного высказывания, у нас сложились товарищеские отношения, но и за бутылкой коньяку, распиваемой в служебное время, он деликатно и в мягкой форме намекал, что мне не только о футболе, а и вообще о спорте писать не следует, у меня, он считал, другое предназначение, в чем я с ним, прожив жизнь, наконец согласен...

Я ни разу не ходил на футбол с журналистами из «Советского спорта», а по-прежнему в апээновской компании. Мы сидели в одном и том же загончике для прессы на верхотуре Лужников, но сослуживцы по «Спорту» держались здесь со мной как незнакомые — газетчики, вероятно, презирали меня как блатаря, сюда случайно просочившегося, — и были по-своему правы: я в Лужниках аккредитован не был, пришел по чужому пропуску, но у нас, в АПН, так и было принято по двум ксивам ходить чуть ли не вдесятером.

Но летом проходило обязательное помпезное мероприятие, которого в повествовании я уже касался, вспоминая об участии в нем двадцатилетнего Эдика Стрельцова, — Спартакиада народов СССР. Меня как сотрудника газеты привлекли к репортажам с этих соревнований, но официально я почему-то аккредитован не был. Для свободы передвижения в Лужниках мне дали пригласительный билет. И я со своим билетом, когда начался матч между сборными нашей страны и Польши, пришедшийся на день торжественного закрытия домашнего аналога Олимпийских игр, очутился в проходе, отделяющем самые нижние ряды и расположенном примерно на уровне футбольного поля. По кодексу неменных советских запретов даже с пригласительным билетом, написанным золотыми буквами на мелованной бумаге, стоять в проходе категорически запрещалось. И на меня уже стали покрикивать контролеры. Но как раз начался матч — и я увидел начало атаки: мяч, обретший от стрельцовского прикосновения бутсой осмысленное направление, стремительным вращением по интенсивной зелени газона достиг ноги сгруппировавшегося в спринтерском беге Численко... Я смотрел на футбол под неожиданным углом, поле расширялось под вобравшим его в себя взглядом, растягивалось до моих подошв и вот-вот унесло бы всего меня, смыв с трибуны. Меня, однако, уже чувствительно подталкивали, а я тяжелел, упираясь под воздействием той энергии, что излучала укрупнившаяся фигура Стрельцова — торс, растянувший красную майку, ноги в гетрах, как в облегающих коротких пальто. Сестра стрельцовской жены Надя рассказывала, что, увидев впервые

нового родственника на футбольном поле — Стрельцов играл за первую мужскую ЗИЛа, — она поразила абсолютностью отличия этой фигуры с аурой неизбывной мощи от уже привычного домашнего Эдика. И я сразу ее понял, вспомнив ощущение, когда оказался как бы на одной с ним плоскости в момент игры, мизансценированной пластикой их совместного с Численко движения...

Для большей выразительности я хотел написать, что меня вытолкнули со стадиона вшаей. Но на самом деле было чуть иначе — просто мне пригрозили отобрать билет, которым я в оправдание своей позиции размахивал, точнее, отмахивался от вламывающихся в мою завороченность рьяных сторожей. И я отдал им свой билет — почти без сожаления: измененный ракурс наблюдения все равно смазал бы первоначальное ощущение, оно бы все равно не повторилось...

Эдуард Стрельцов был избран лучшим футболистом страны. Не в том даже амплуа, где год назад его не признали первым.

«Футбол» Филатова опубликовал длинный перечень тех представителей прессы, кто отдал за него свои голоса. Среди поставивших Стрельцова в своих анкетах первым были и знатоки, и профаны, и конъюнктурщики. Одни выражали сугубо свое мнение — мнение, выношенное в годы отсутствия Эдуарда и подтвержденное прежде всего его сегодняшней игрой. Другие, может быть, уловили, как антенны, волны тех настроений, что бытовали в советском обществе конца шестидесятых годов.

В обожании Эдика сходились люди, во всех своих прочих взглядах не пришедшие бы и к тени согласия — ни при каких обстоятельствах.

Стадион сороковых годов, куда Эдик попал по самым дешевым билетам, был некой заповедной зоной на оккупированной советской властью жизненной территории, где самого разного статуса люди полтора часа отчего-то чувствовали себя в забытой ими давно безопасности, становились на два футбольных тайма похожими на самих себя в невозвратном генетическом прошлом, проникались на краткий срок чувством взаимного добра, без агрессивных поправок на болельщицкие пристрастия (помню единственного на Южной трибуне пьяного, который всех забавлял, будто дело происходило на вечеринке или чьем-нибудь дне рождения).

Трибуны конца шестидесятых годов были иными — территория быта и всего прочего за оградой стадиона неслась в себе меньше, чем в сталинские времена, боязливого ожесточения, но и ничего заповедного в ярусах, окружающих гладиаторскую арену, не осталось.

И лишь Стрельцов на поле становился частью того утраченного заповедного, перенесенного им из детских впечатлений на отвоеванное суверенностью своего таланта зеленое пространство.

Лучше ли, хуже ли играл он тот или иной матч, но жгучий интерес неизменно вызвала каждая из минут проживаемых этим парнем на поле. Внешне он отчасти погрубел, заматерел в превращенных жизнью (жизнью, а не игрой) в гладиаторские черты лица. Правда, в самой игре его ничего гладиаторского не было, напротив, Игрок вытеснял в стрельцовском толковании футбола Бойца, но я бы не назвал Стрельцова артистом в расхожем понимании понятия. Он был не исполнителем, а жителем футбола, хотя его футбол чаще всего выглядел островом, где Эдик оказывался единственным обитателем. Впрочем, тем лучше удавалось нам рассмотреть Эдуарда.

Лучшим футболистом признали игрока команды, занявшей в чемпионате Советского Союза двенадцатое место.

Центрфорвард забил, выступая за эту команду, шесть мячей. Мало. Как ни превозноси некоторые из них за произведенное впечатление, эстетическую вескость и важность для исхода матчей. Стрельцов забивал и «Спартаку», и московским армейцам — даже два мяча. Мяч, забитый им «Мотору» из Цвикау, продлил участие «Торпедо» в международном Кубке. Но арифметика, хотя по заверениям статистиков у него и с нею все более чем в порядке, к измерению значения футболиста Эдуарда Стрельцова приложима с ненужной относительностью.

Упомянешь, спустя десятилетия, в разговоре с кем-нибудь, кто любит футбол, забитый Стрельцовым мяч — и почти в каждом, то есть в каждом (какое тут: почти?) случае не можешь отказать себе в удовольствии подробного рассказа. Пусть не всегда играл он на поле, как сказали бы теперь, истории, но всегда на поле эстетики.

Его голы — структурны, скажу я, несомненно увлекаясь. Для гола Стрельцову обычно требовалось пространство всего поля. Зрителям после забитого им мяча вдруг — пусть и ненадолго (озарения не затягиваются, миг истинного потрясения краток) — становились яснее занимательные сложности организации действий игроков на поле, горизонты их взаимозависимости и возможность самостоятельности.

Начинал ли он атаку, как любил в молодости, из глубины, застревал ли надолго в ожидании подходящего момента впереди, доводя защитников до гипертонического криза статикой, пугающей неизвестностью хода, который сможет он предпринять, в большинстве случаев побольше, чем сам ход. Потому что когда он делал свой ход, защитникам уже не оставалось ни времени, ни пространства на кошмар фантазий.

В поздние времена своей карьеры он полюбил сочинение голов с привлечением как можно большего числа партнеров. И в такой своей ипостаси напоминал архитектора — и никто долго не решался ему сказать (а в глаза ему так и не решился), что практическому футболу

чаще требуется прораб: для многоходовок не находилось исполнителей. Но это уж был удел Стрельцова — напоминать гимназиста из чеховского рассказа, которого детвора, играющая в лото по копейке, не принимает с его неизменным рублем. Но Эдик отличался от того гимназиста тем, что разрешения ни у кого не спрашивал, бросал свой рубль в копеечную игру, не требуя сдачи.

Забив за сезон мало, он, конечно, не оправдывал себя качеством тех редких (в обоих смыслах) голов. Но кто вспоминает те времена, обязательно расскажет, как, оказавшись спиной к воротам ЦСКА, принял он мяч на грудь и, развернувшись, пробил под перекладину. А уж гол «Мотору»...

Он подрезал мяч тогда таким образом, что поднысывая вверх, тот облетел защитников и вернулся форварду на ногу. Сам Эдик несколько детализировал удавшийся ему эпизод: «Щербак низом сделал мне передачу из глубины поля, я привел мяч в штрафную, подрезал его через двух защитников, они проскочили мимо, а я тогда развернулся и пробил по неприземленному мячу — приятно вспомнить. Эффектно, но все по делу...»

В Кубке обладателей кубков («Торпедо» туда включили за участие в финале отечественного приза в шестьдесят шестом году) команда очень старалась показать новому тренеру свое искреннее и обоснованное несогласие с местом, занятым ими в турнире.

Противник в одной восьмой финала — «Спартак» из Трнавы — был посильнее немцев. Шесть спартаковцев входили в сборную Чехословакии.

Играли в Ташкенте — на дворе стоял конец ноября. Почему-то об этом матче Стрельцов, вспоминая, говорил в нравоучительном, не своем тоне: «В таких играх самое основное — снять психологический груз. Чтобы на поле выйти — и сразу включиться. Попасть в такое состояние, когда знаешь, что сегодня у тебя все получится. Мы догадывались, что „Спартак“ в Ташкенте рассчитывает на ничью. Но мы играли без оглядки на свои неприятности в прошедшем первенстве — и, по-моему, ошеломили их».

Гол забили быстро — на семнадцатой минуте. Щербаков совершенно правильно понял, что от него хочет Эдуард, — и получил мяч в позиции, где становился королем, если, конечно, хорошо был готов физически. С помощью Стрельцова забили и третий мяч на шестьдесят восьмой минуте — Воронин откликнулся на пас своего центрального нападающего. Эдик сам голов в Ташкенте не забил, но приз лучшему нападающему — бубен — вручили ему. Щербаков выхватил у него бубен и побежал с ним вокруг поля.

В Трнаву летели из Ташкента в одном самолете с чехословацкой командой. Игроки «Спартак» напрямую говорили, что дома выиграют. В тоне их слышалась и угроза. И свои обещания

спартаковцы выполнили — играли зло, грубо провоцируя москвичей на драку. Стычки на поле завязывались беспрерывно. Ну и трибуны — отношение в Чехословакии к русским, зная последующие события, угадать не трудно — отнеслись к торпедовцам как к посланцам из стана врага.

Неприятная обстановка тем не менее облегчала игру «Торпедо» в тактическом плане. Если в Ташкенте «Спартак» оборонялся — и Стрельцов мучился с толпой обступивших его защитников, — то в Трнаве хозяева мчались под крик трибун вперед и только вперед. И как тут их было не поймать на контратаках? Форварды «Торпедо» иногда выходили вдвоем на одного защитника.

Эдуард потом очень хвалил Давида Паиса, постоянно критикуемого тренером Ивановым за нелюбовь к жесткой игре.

Паис, вовлеченный Эдуардом в комбинационную игру, в Трнаве не робел. И забив первый гол, ассистировал Стрельцову в двух остальных.

Стрельцов, когда мы работали над мемуарами, слегка морщился, если заводил я разговор о несовершенстве его партнеров по сборной Якушина. Не хотел, по-моему, выглядеть ворчуном, не способным стереть в памяти обиду, что менее великие игроки оставались в сборной, а ему пришлось из нее уйти. Ему приятнее было говорить о том, что кого-то дальнейшая футбольная реальность изменила к лучшему. Он замечал, что вот Геннадия Еврюжихина многие хвалили за неустойчивую настырность, за прямолинейность. А сам Гена запомнил случай в Италии, когда отдал мяч прямо в ноги чужому игроку, а Якушин вскочил со своей скамеечки и закричал: «Товарищ судья, у них двенадцатый игрок!..» И постепенно игра Еврюжихина изменилась. «С возрастом, — хвалил динамовца Стрельцов, — обзор у него появился, стал на поле смотреть, чувствовать партнеров. Промчаться и прострелить неизвестно кому и зачем — с этим он покончил. Играл в пас, навешивал очень аккуратно. В последние сезоны он мне нравился. И Миша Гершкович (ему в „Динамо“ нелегко приходилось, найденное им в „Торпедо“ новым партнерам не по душе было) рассказывал: „Генка сейчас совсем по-другому играет, мне с ним бы только и поиграть...“»

Про Бышовца Стрельцов сначала вообще избегал говорить, не желая, видимо, быть заподозренным в предвзятости к игроку противоположного — даже не Эдику, а всему «Торпедо» — направления. К тому же в отношении к масловскому выдвиженцу торпедовцам негоже было быть излишне критичными...

Когда перед матчем второго круга в сезоне шестьдесят седьмого «Торпедо» предстояло встречаться с киевлянами, не могло быть двух мнений, кто в состязании фаворит. Но не показавшее большого игрового сердца в ряде досадно смазанных выступлений

«Торпедо» традиционно по-боевому боролось с лидерами. Главную для себя опасность у киевлян они видели в Бышовце — и сыграть против него персонально поручили Валерию Воронину. Бышовец — не Пеле, Воронин разменял его элементарно. Тем не менее если про Еврюжихина как про конкурента Эдуарду никто никогда не говорил, хотя Еврюжихину и отдал Якушин в мае шестьдесят восьмого стрельцовское место, то Бышовца с торпедовским форвардом уже начинали сравнивать и даже противопоставлять ему. Индивидуальные действия киевской звезды кому-то казались поэффективнее игровой мудрости Стрельцова.

И вряд ли этих кого-то можно было убедить тогда, что, существуя и в футболе деление на архаистов и новаторов, молодой Бышовец по настоящему счету предстал бы архаичнее тридцатилетнего Эдуарда, для которого и определение «новатор» скучно и пошловато, поскольку самой сути его не отвечает.

Стрельцов имел право сказать про Бышовца: «Мне не нравилось, что он прямо-таки больным себя чувствовал, если двух-трех защитников не обведет. Нужно не нужно, а обведет. В пас сыграть ему не по нутру. Упирался он в мяч — без мяча ему не по себе делалось. Молодец он, что с мячом мог сделать многое. Но большим игроком он бы стал, если бы смог пошире мыслить и без мяча в ногах».

Стрельцов не счел нужным добавить, что сыграть за всех проще, чем за всех думать.

Признанный первым игроком Эдуард Стрельцов — и вряд ли с его ведома — превращался в фигуру символическую. Определенная — и отнюдь не худшая — часть публики приветствовала в нем пострадавшего от властей человека, возвратившегося к славе вопреки властям. Он стал лучшим футболистом в те времена, когда ссылали Синявского и Даниэля, душили «Новый мир» Твардовского, вводили (уже летом шестьдесят восьмого) танки в Прагу; он интерпретировал футбольную классику, когда на Таганке и на Бронной Любимов и Эфрос, каждый по-своему, обнадеживали публику смелостью аллюзий, — и понятно желание самой прогрессивной общественности присоединить к приметным достижениям вольнодумства и стрельцовский дар.

И все же к вечным темам он был ближе, чем к современным, — и притягивать его за уши к злобе дня (и вообще всякой злобе), наверное, — перебор, хотя есть и в притягивании некоторый резон (пусть и плоско публицистического свойства).

На мой взгляд, важнее сказать не столько о гражданском признании Стрельцова, сколько о противостоянии Эдуарда — как идеи — футбольной индустрии.

Индустрия эта — в персоналиях своих идеологов, инициаторов и

заправил — вовсе не тупа, не ограничена. Коммерция нередко спасает мир футбола, компенсируя утраченную красоту зрелища, объявленную старомодной, нагнетанием всевозможных информационных страстей, аккумулирующих спортивный рынок, все более отождествляя большой спорт с шоу-бизнесом, современным ему.

Индустрия приемлет классных, выдающихся и великих игроков. В ней нашлось бы место и Бышовцу, и уж без всяких сомнений Воронину.

Однако и само существование Стрельцова, и память о нем, передаваемые по наследству детям болельщиков футбола гены впечатления, мешают нам, землякам Эдика, видеть индустрию игры истиной в последней инстанции. Даже коммерческой...

Появись бы снова Эдуард — со всей своей нестабильностью как главным признаком неполноценности профессионала — и законы футбольного рынка могли бы оказаться опровергнутыми. За Эдиком публика могла бы пойти в неизвестное, позабыв про сиюминутность результата. Правда, как проверишь? — Стрельцовы чаще, чем раз в столетие, не рождаются. И за рыночную экономику футбола можно быть спокойным.

27

Скажу и так: десять лет, включая годы заключения и запрета играть в футбол, ушли у Стрельцова на то, чтобы стать официально признанным первым игроком. Де-факто он им был и десять лет назад, но де-юре стал в конце шестидесятых.

У власти хватало теперь ума, чтобы не мешать жить тридцатилетнему великому футболисту, как мешала она ему в его двадцать.

Но своими действиями по отношению к Эдуарду Стрельцову власти в чем-то и загнали себя в тупик — в то, что можно загнать себя в тупик непрерывностью осознанного и неосознанного (инстинктивного) преследования и затирания, замалчивания талантов, власть, распоряжавшаяся огромной страной, не верила, а когда очутилась в тупике и вынуждена была в этом признаться, расписавшись в собственном бессилии, — оказалось, что спохватились поздно, и сама власть сменилась, то есть видеоизменилась, что нас тоже поначалу радовало.

В шестьдесят седьмом году начальство, возможно, и не возражало бы против зачисления Стрельцова в ряд почитаемых фигур большого спорта. Ему присвоили заново — не вдаваясь в комизм ситуации — звание заслуженного мастера спорта. В том возрасте,

которого достиг Эдуард, подобное могло выглядеть и наградой за выслугу лет.

Но в анкетной стране человека, побывавшего в заключении, никак нельзя было ставить вровень с теми, кто не сидел... И непереносимое «но» прилипало к Эдуарду в любом заходившем о нем разговоре, допустим, в печати. Тем не менее формальное признание заслуг и, конечно, разрешение выступать за сборную и ездить за рубеж многое меняло в отношении к нему — и жизнь Стрельцова несколько облегчалась.

В шестьдесят шестом, когда он оставался невыездным и в сборную не привлекался, придирки, вдохновляемые его репутацией штрафника, напоминали иногда прошлое. Некоторые люди бессовестно пользовались уязвимостью Эдика.

Команде и тренеру Марьенко хотелось поскорее легализовать Стрельцова; его сделали капитаном команды — правда, с повязкой на рукаве он вышел на поле раз-другой. В матче с «Локомотивом» Эдика удалили с поля. Как и в прежние времена, виноват он был относительно — отмахнулся или с арбитром заговорил на повышенных тонах из-за того, что защитники соперников совсем с ним не церемонились. А ему, оказывается, показывать свой гонор не дозволялось.

Сам-то он спокойно реагировал на удаление — сказал, посмеиваясь: «Вот ведь судья... сказал, что удалит, — и удалил...» Но тренер побледнел, увидев, как уходит с поля Эдик. На спортивно-технической комиссии, где разбирался стрельцовский проступок, Виктор Семенович проявил чудеса красноречия. Коснулся совсем уж интимных подробностей. «Вы его не видели, когда он в душе моется, — сказал Марьенко критикам Стрельцова, — а у него все яйца синие, так быют...»

Теперь о нем и в газете или журнале разрешалось написать чуточку подробнее. О чем бы написали сегодняшние журналисты на месте тогдашних, легко догадаться. Но в ту пору легче было быть деликатным — тюрьма ни под каким видом возникнуть в статье про футболиста (и вообще ни про кого) не могла.

Пока отечественные журналисты дожидались разрешения, о Стрельцове написали в Чехословакии — после второго матча со «Спартаком» из Трнавы. При всех антирусских настроениях в Чехословакии Эдик у тамошних журналистов как пострадавший от советской власти с советской властью никак не ассоциировался. Оценивался прежде всего стрельцовский футбольный гений. И кем-то из иностранцев и была брошена фраза о том, что посланный Эдуардом мяч имеет глаза. Фраза немедленно подхвачена была и у нас. И даже вынесена в заголовок самой, по-моему, первой обстоятельной статьи про Стрельцова, появившейся не в спортивной,

между прочим, прессе, а в газете московских коммунистов. И написал ее не футбольный обозреватель, а театральный критик Виктор Каллиш. Я все годы, кстати, и думал, что Виктор Яковлевич сам и сочинил метафору про мяч, оприходованный Эдуардом, — и относился к нему с подчеркнутым почтением. Впрочем, почтение мое к нему и сегодня ничуть не уменьшилось — Каллиш сделал удачную мысль достоянием широкой столичной публики...

Впечатление от футбола, исполненного Стрельцовым, не только объединяло, но и расслаивало советское общество. Утонченным людям — мне кажется, что тогда их вокруг футбола было больше, чем сегодня, — хотелось говорить об Эдике, упиваясь искусствоведческой эрудицией, изъясняясь словами, непонятными широким массам трудящихся.

Другой критик — Александр Демидов — написал эссе про Эдуарда у себя в журнале «Театр».

Само собой, в «Футболе» опубликовали интервью с Эдуардом Стрельцовым как лучшим футболистом года. Брал у него интервью, если ничего не путаю, Валерий Винокуров. Но мне больше запомнился другой винокуровский текст. Пусть не в «Новый мир», как хотелось размечтавшемуся дяде Саше, но в «Юность» Валерий был вхож. И после сезона шестьдесят седьмого года в журнале с двух с половиной миллионным тиражом напечатали его беседу с Эдиком. Рядом в номере стояли два интервью: спортивного редактора «Юности» Юрия Зерчанинова — с Бесковым, и подшефного Вита — со Стрельцовым. Замысел соседства этих бесед надо признать великолепным. Он выражает и сезон-67, и положение дел в отечественном футболе. Сезон замечателен и тренерским успехом, и наивысшим признанием игрока, менее всего зависимого от тренерских предписаний.

Насколько помню, никаких оригинальных мыслей интервьюируемые в тот раз (как и в большинстве других) не высказали. Острые формулировки — не по их части. И натиск интервьюеров скорее возбуждал воображение и любопытство читателя, захотевшего, возможно, за суховатыми ответами представить себе, как невыразимо сложен внутренний мир столь немногословных людей футбола. Но Винокуров вытащил из Стрельцова и литературно обработал формулировку главной особенности его нынешней игры — умения говорить с партнерами на языке паса.

Как десять лет назад, он полон был благих намерений — в каком бы направлении, упрощающем или еще более осложняющем

его жизнь, эти намерения ни простирались. «Мои ноги тебя еще покормят», — обнадеживал он бывшую жену Аллу, не вполне, наверное, представляя, как в послепохмельном состоянии справится с обязательствами, взятыми на себя со щедрой опрометчивостью.

Алла вспоминает: «Были у нас с ним иногда даже такие личные свидания, но я даже не могу вам объяснить, почему я шла на эти свидания. Нужен мне был какой-то реванш, увидеть, что я все равно ему нравлюсь. Не знаю, может, это было легкомыслие. Я совершенно не верила, что мы сможем с ним объединиться, но нравиться мне хотелось. Мне он все равно очень нравился. Стали мы с ним ходить, на Таганке был ресторанчик „Поплавок“, и разговаривать. Конечно, у меня было такое немножко ложное к нему чувство, мне все равно не хотелось находиться с ним на улице, его узнавали, а я при нем. А вот прильнуть к человеку хотелось. А тому, что он сидит-бормочет про то, как он ногами нам поможет, я серьезного значения и не придавала.

Мама моя стала меня поругивать, говорит: «Ну уж всё, так всё. Какая разница, чей ребенок без отца? Ты зачем это затеяла?» Я ничего не затеяла, я еще и Софью Фроловну хотела попить. Позвонила и говорю: «Софья Фроловна, может, вам это не очень нравится, а вот Эдик-то мне делает предложение». Наверное, ей что-то было не очень хорошо, потому что она так мне грустно сказала: «Теперь уж все равно». В общем, было у нас несколько встреч, буквально с шестьдесят пятого года по семидесятый. А в семидесятом мы уехали с дочкой в Чертаново. Купили мои родные нам кооперативную квартиру, стали мы за нее выплачивать из нищенской зарплаты. Жизнь, конечно, была очень тяжелая, но, с другой стороны, многие так жили. В моем отделе, господи, образованные люди, все жили тяжело, все. Как только мы уехали в эту тьму тараканью, почему-то зимы стали очень морозные, суровые. Автобус к дому не подходит. Идешь, бывало, к этому дому. Пока доберешься — тут уж ни до каких свиданий, ни до Эдилов, вообще ни до кого. С продуктами плохо...»

29

В семидесятые годы не только Алле было не до Эдика. Но накануне шестьдесят восьмого года всем причастным к футболу было очень и очень до него — до кого же еще? Некоторые опасения, конечно, были, что после сверхудачного сезона шестьдесят седьмого игрок № 1. может дать себе отдых или послабление, захочет провести спортивный год в щадящем режиме. И до начала мая Стрельцов известные основания сомневающимся в нем, что там говорить, предоставил. Но зато в решающей стадии сезона он поломал все

принятые представления о том, что бывает со звездами, когда у них внезапно выбивают почву из-под ног.

Но рассказ о шестьдесят восьмом годе для Стрельцова и «Торпедо» начну с эпизода, малопримечательного для большой футбольной истории. Строго говоря, эпизод этот относится к осени еще шестьдесят седьмого.

В беседе Стрельцова с Винокуровым промелькнуло, что свое будущее форвард представляет, возможно, и в деятельности второго тренера, занимающегося с дублерами, но никак не старшего. Поэтому есть, наверное, смысл задержаться на той части торпедовского штаба, внутри которого Эдуард готов был, как ему казалось, себя увидеть в будущем, опять же казавшемся футболисту в шестьдесят восьмом году еще достаточно далеким.

Борис Батанов — человек серьезный, но не деловой. С торпедовскими капризами к тому же. Освобожденный Марьенко и не допущенный руководством профсоюзного футбола — Боб обращался за помощью к Андрею Петровичу Старостину, но тот не помог, — Батанов вместо того, чтобы принять предложение Александра Александровича Севидова (отца Юрия Севидова из «Спартак») отправиться в Минск, аттестоваться офицером и так далее, взял и уехал в Горький. Конечно, профсоюзы бы его и в «Динамо» не отпустили, но он не особенно и настаивал. Поехал играть за «Волгу», куда пригласил его уважаемый торпедовец Анатолий Акимов. Только Акимова сразу заменили Семеном Гурвичем. А с тренером Гурвичем Батанов не сошелся во взглядах, тот давал ему задания, показавшиеся выученику «Деда»-Маслова неинтересными: «Сплошные задания, когда же играть?» И Борис вернулся в Москву — игроку с его умением и в тридцать два года безработица не грозит. Но из Москвы он неожиданно уехал обратно в Горький — «Волгу» принял тогда толковый специалист Вениамин Крылов.

А осенью в Горьком появился Валентин Иванов, приказом еще не утвержденный старшим тренером, и сказал Крылову, что забирает Батанова к себе вторым. Тот ответил, что куда-нибудь он Бориса ни за что бы не отпустил, но в «Торпедо» — святое дело...

Иванов звал Батанова не в чистом виде «вторым», а на ту же ставку игрока, превращаемую в четвертую тренерскую. Сам Кузьма о своей работе на четвертой ставке никаких свидетельств, похоже, не оставил — отбывал при Морозове номер. Может быть, штатные вторые Горохов с Золотовым и не подпускали Иванова к сколько-нибудь самостоятельной практике.

Владимир Иванович Горохов — идеальный второй тренер. Немножечко поработав старшим в «Спартак» (Горохов — коренной спартаковец, известный с довоенных лет), он больше никогда не претендовал быть первым лицом. И это как раз добавляло ему

авторитета. Он никуда не лез — отвечал за свой организационно-педагогический участок. Своевольничать игрокам не разрешал: помните, как в конфликте со Стрельцовым директор ЗИЛа Крылов тотчас же взял сторону тренера, а не фаворита? И внешне Владимир Иванович был похож на тренера больше, чем любой старший тренер. Пузатый, с лысиной, зычным голосом, категоричный в суждениях, но в меру, чтобы не показаться категоричнее начальства. Юрий Васильевич Золотое — торпедовский игрок, мнивший себя не из последних, при том, что догадывался, что отнести его можно к мастерам до ивановско-стрельцовой эры. Но Золотов пользовался расположением Бескова. Константин Иванович любил вспоминать, как в матче с «Грассхопперсом», когда отсутствовали Иванов со Стрельцовым, он сделал тренерскую ставку на Золотова — и Золотов забил три мяча. Юрий Васильевич работал в «Торпедо» и старшим тренером, но скорее номинально. Тренировал по-настоящему начальник команды Виктор Марьенко. Потом произвели рокировку — Золотов стал начальником. И в таком закамуфлированном варианте второго тренера просуществовал очень долго. Морозов брал его вторым и в сборную.

Но ни Горохов, ни Золотов таким личным чувством фирменной торпедовской игры, как Батанов, похвастаться, при всем желании, не могли бы — и приглашением в свой кабинет бывшего партнера тренером, на первый взгляд без портфеля, Валентин Иванов декларировал, громко говоря, творческие приоритеты. Поэтому, зная дальнейшее, хорошо бы помнить, что, начиная свое тренерство, Кузьма намеревался делать «Торпедо» — родом из начала шестидесятых.

30

Непринужденность Стрельцова во взаимоотношениях с тренерами шла иногда и от скрываемой им застенчивости, неумения жаловаться на усталость и недуги. Он чувствовал, что ему после сезона, закончившегося для основных игроков сборной в середине декабря (матч в Чили, где голы Эдика финансово надорвали нашего любимого поэта, отыграли за две недели до Нового года), требуется отдых, хоть чуточку подлиннее запланированного. И он ничего лучше не придумал, как сказать Михаилу Иосифовичу шутивным тоном: «Ты меня, Михай, в сборную не бери — подведу я тебя». Может быть, по каникулярному времени и выпил для храбрости перед таким разговором, сведенным им, повторяю, к шутке. Но Михай, судя по всему, понял коллегу правильно. И в Мексике Эдуард не играл, а Якушин поэкспериментировал с вариантами состава. Попробовал

людей, на позицию Стрельцова всерьез не претендовавших.

В Москве же в конце апреля на товарищеский матч с бельгийцами Михай выставил тех, кого мы и привыкли в сборной видеть. И Стрельцов играл в молодой компании — с Банишевским и Бышовцем (на семидесятой минуте Бышовца заменил Малофеев).

Малофеева Якушин поставил и четвертого мая в Будапеште партнером Эдика уже с самого начала.

Это был матч одной четвертой финала первого чемпионата Европы. Провал на поле противника ставил под сомнение всю якушинскую работу со сборной. Искать виновников поражения труда не составило. Вратарь — торпедовский Анзор — напортил: оба мяча были на его совести. А в атаке осрамились Численко со Стрельцовым. Игорь словно заразился от Эдуарда безучастностью. Сам же Эдик не использовал к тому же момент, когда еще можно было изменить ситуацию. Тут уж Якушин не придирался — все мы по телевизору видели какой-то тюлений ляп. Стрельцов за предыдущий сезон успел отучить нас от того, что он может быть невыразительным или даже никаким. Все погорчались. И приуныли — в Москве теперь надо было забивать венграм три безответных мяча. Но если мы так играем и сзади, и спереди, то откуда же возьмется шанс?

И все же отсутствие Эдуарда Стрельцова в московском составе оказалось полной неожиданностью. И просто шоком — сообщение, что Михай вообще отцепил Стрельцова. Звать больше в сборную не собирается.

Матч с венграми в Лужниках стал лучшим в биографии Якушина как тренера сборной и едва ли не самой громкой из побед нашей национальной команды.

Венгры, вероятно, ощущали себя фаворитами — и начало матча, где уверенность в себе каждого игрока советской сборной проглядывала в каждом шаге и жесте, выбило их из психологического настроя. Они сопротивлялись с отчаянием обреченных. В мяче, забитом защитником Шаймоши в свои ворота, не было случайности — и ликование победителей, раньше, чем игроков, охватило трибуны. Венгров прижали к воротам, а с трибун переполненного стотысячника форвардам хозяев кто-то громко посоветовал играть на Шаймоши — и в ответ шутнику раздался оглушительный хохот. Как будто два обязательных гола уже забиты деморализованным мадьярам.

И второй гол влетел вратарю Томашу от защитника — на этот раз от защитника наших, от Хурцилавы (виновника проигрыша португальцам в матче за третье место на чемпионате мира), нанесшего проникающий удар. Теперь форвардам надлежало реабилитироваться за Будапешт — и Бышовец за семнадцать минут до конца забил третий гол.

Кто же про Стрельцова будет вспоминать (или, тем более,

сожалеть о его отсутствии) после такой победы?! Еврюжихин закрепился в составе. А торпедовцам оставалось утешаться тем, что позиции Валерия Воронина в сборной очень прочны.

Но мало кто знал о неприятной подоплеке якушинского триумфа.

Накануне игры одиннадцатого мая на сборах национальной команды к ужасу ее начальника Андрея Старостина и старшего тренера Якушина трое ведущих футболистов исчезли из Вишняков. Может быть, всех троих называть и не стоит — кто следил за футболом в то время, легко вычислит их из состава, а кто не сможет этого сделать, тем, наверное, и не надо знать поименно нарушителей — в день игры все трое были на месте. Старостин посоветовал Якушину никуда не сообщать о случившемся. Если проиграем, неприятностей и так не миновать вне зависимости от того, как вели себя лучшие игроки страны на сборе. А если выиграем... Словом, надо выигрывать. Более обстоятельное отступление о пользе и вреде выпивки, когда пьют стоящие люди, я сделаю чуть позже. А сейчас скажу, что в желании смыть вину кровью наши футболисты не знают себе равных в мире. На победу Якушина поработал пафос исправления ошибок.

Штрафного энтузиазма хватило еще и на майский матч в отборочном цикле Олимпиады — в Москве у сборной Чехословакии выиграли — 3:2. Кроме Хурцилавы, превращавшегося прямо в бомбардира, голы забили и Численко с Аничкиным.

Но уже первого июня в Острове проиграли безнадежно — теперь сменившему после Будапешта Кавазашвили Пшеничникову пришлось вынимать из сетки три мяча, а уставшие герои ни одного не отквитали.

Следующий матч сборной удался только 16 июня. Но это была товарищеская встреча — чемпионат Европы уже закончился: в полуфинале свели нулевую ничью с итальянцами, однако по жребию дальше прошли наши соперники, а в игре за третье место нас победили англичане.

В той товарищеской встрече со сборной Австрии в Ленинграде за сборную СССР впервые сыграл Михаил Гершкович. Он отметил дебют голом в своем прежнем стиле — совершил индивидуальный рейд с центра поля, обыграв нескольких из обороняющихся.

Победа над австрийцами не могла спасти Якушина от увольнения.

Но главное: между 21 мая и 1 июня трагически завершилась карьера футболиста номер один в сезонах шестьдесят четвертого и шестьдесят пятого годов Валерия Воронина.

Двадцать первого Валерий и выглядел, на взгляд Якушина, хуже, чем воронинские друзья-динамовцы, и вел себя, с точки зрения тренера, неправильно. Дело еще и в том, что будучи человеком

изрядно пьющим, Михаил Иосифович такого рода наклонностей у действующих игроков никогда не поощрял. Он, возможно, и с Эдиком не так бы поторопился, ходи тот в трезвенниках. Воронин, видимо, давно был на замечании у старшего тренера. Но случай перед ответным матчем с венграми вывел Михея из терпения. Валера из Вишняков, оказывается, никуда и не уезжал, а прятался где-то на чердаке — и выпивал с кем-то из обслуживающего персонала, чуть ли не с истопником. Якушин, как мы знаем, вынужден был смолчать. Но когда увидел, что вдохновленный всепрощением Воронин менять свой стиль поведения на сборах не собирается, велел ему отчаливать в Мячково.

Возвращаться в Мячково, вернее, сосредоточиваться на играх внутреннего календаря Валерий немедленного желания не испытывал. И решил дать себе несколько свободных дней, чтобы разрядиться — и окончательно решить, как ему жить дальше. Не думаю, чтобы он верил в решимость Якушина распрощаться с ним навсегда.

Что было с ним дальше, известно тем, кто интересуется футболом. Воронин на рассвете попал в автокатастрофу — заснул за рулем после всех приключений. От верной гибели выдающегося футболиста спасло романтическое обстоятельство — сиденье в салоне автомобиля не было закреплено: незадолго до того Валерий предавался любви с известной (но для широкой публики оставшейся для сохранения репутации неизвестной) дамой. Врачи вытащили топедовца из клинической смерти.

31

...Из Вишняков Воронин на такси помчался сначала в Мячково — занять у буфетчицы денег на продолжение праздников и забрать свою машину.

Все в команде притерпелись к его приездам-отъездам. И не сделали того, что следовало бы непременно сделать. Стрельцов потом говорил: знали бы мы, что он сразу же соберется уезжать, отобрали бы ключи от машины. Налили бы ему водки — и уложили, когда выпьет, спать...

Чудовищно искореженную черную воронинскую «Волгу» — руль пробил крышу — зачем-то притащили после аварии в Мячково, и она там долго стояла, не давая забыть о происшедшем. И маленькому Мише — сыну Воронина — на всю жизнь запомнился вид той машины, как знак несчастья с отцом.

Воронин два последних сезона отстранялся от командной жизни, но присутствие его, даже пусть и символическое, имело для

всех остальных значение, важность которого они осознали, когда остались без Валерия.

Иванов совсем недавно пережил то, что должен был — в чем у Кузьмы двух мнений не могло быть — переживать сейчас Стрельцов. Совпадение: и тому, и другому исполнилось по тридцать одному году, когда они перестали быть нужны сборной.

И Валентину Козьмичу ничего не оставалось, как примириться с тем, что Стрельцову этот сезон не удастся, а если совсем реально смотреть на вещи, то для «Торпедо» Эдуард как последний лидер может быть и навсегда потерян.

А Володю Щербакова Иванов отчислил — в шестьдесят восьмом году Щербак сыграл за основной состав всего один матч. На это, кстати, тоже надо было решиться. Вчерашнего партнера Иванова и Стрельцова тотчас же согласился взять к себе в ЦСКА Всеволод Бобров.

Вечером того дня, когда на СТК решали вопрос о переходе Щербакова в клуб Армии (следовало бы сказать о возвращении: он же там начинал после ФШМ у Бескова), мы договорились вместе поужинать в ресторане Дома композиторов. В ресторан Кузьма пришел прямо с заседания комиссии, где ждала его Лида, приехавшая раньше. «Пусть теперь с ним Бобров мучается», — сказал он, садясь за стол. И больше в разговоре за ужином к отчисленному форварду не возвращались. Нам нравилось, что мы вот таким образом проводим вечер — культурно выпивая, осуждая тех, кто меня не знает. И все же я чувствовал себя немножечко предателем по отношению к новому игроку ЦСКА. Он ведь стремился к сборищам в нашей, апээновской компании. Кроме ВТО, полюбил и Дом журналиста: пивную в подвале, промежуточный бар на подступах к ресторану, что был в глубине здания. Совсем недавно, попив пивка под краснохрустящих, язык и губы царапающих раков, мы поднялись в бар, перешли на замороженную водку. Откуда-то возник Ефремов, признавшийся, что и раков ему хочется, и пообедать надо бы — сегодня у них открытие сезона. Мои приятели, всегда готовые прийти на помощь знаменитым людям (я тоже тянулся к знаменитостям, только мало чем мог им помочь), в одну минуту всё организовали — и Олегу Николаевичу подали в бар и раков, и обед. А водки пить он не стал по каким-то своим соображениям, которых хмельной Володя Щербаков не мог понять. Он обнял главного режиссера и сказал от души: «Да выпей ты, я угощаю!» Когда Щербак отвлекся на кого-то другого, Ефремов спросил: «А это что за пьяный мальчишка?» Ему объяснили, несколько завышая значение Володи, что это центр нападения нашей сборной (очевидно, Щербак свой единственный матч за сборную СССР против югославов, что покорило Иванова, к тому времени уже сыграл). Режиссер взглянул на гуляку другими глазами, посетовал, что

оторвался от футбола...

...Ужин тогда затянулся: завезли домой на Ленинский проспект Лиду, а сами еще съездили во Внуково, в аэропорт, где пили коньяк. Я возвращался домой, когда уже светало, и в очень приподнятом настроении человека, чья причастность к футбольным делам наверняка показалась бы миллионам болельщиков завидной. Вместе с тем — по ассоциации, вдруг просквозившей, — подумал, что сорвись я по пьяной лавочке, потеряй то небольшое, что есть у меня сейчас, — и никто из сегодняшних собутыльников не посочувствует мне, откажется от продолжения отношений в тот же самый момент, как поймет, что я не на кругу. И я не сильно ошибся в предчувствиях.

А Володя Щербаков вполне мог утереть нос своим критикам из «Торпедо». Бобров с места в карьер поставил его в Киеве против лидеров — и Щербак едва не отличился: очень был близок к тому, чтобы забить динамовцам второй мяч и спасти свой клуб от поражения. Но, как и Шалимову, оставшемуся торпедовцем, ему не подфартило. Заколдованными для них оказались киевские ворота. И пропал вскоре у Всеволода Михайловича интерес к форварду Володе.

32

Мы все — и специалисты, и профаны, и те, кто близко стоял к событиям, и те, кто наблюдал футбольную жизнь из положенного всем далека, — не учли или забыли, что русский игрок (а уж кто, как не Стрельцов, был и остается не только феноменом, но и эмблемой футбола России) сильнее всего проявляется в пограничных, пороговых, экстремальных, грубо говоря, ситуациях.

Встряска заменила ему отдых. Он — против ожиданий — от огорчения не впал в транс. Следуя своей натуре, ничего никому доказывать Стрельцов не собирался. Но, смирившись с вероятной окончательностью якушинского решения, почувствовал неожиданное освобождение от лишней ответственности — и заиграл в ту силу, в какую сейчас он только мог и хотел играть. Сезон с испорченным Эдуарду в самом начале настроением превратился в лучший его сезон — временная симметрия сохранялась: он ведь и после блистательной игры в пятьдесят седьмом году начал следующий сезон лучше, чем предыдущий. Скомканное начало шестьдесят восьмого ничуть не помешало ему по нарастающей повести футбольный год к надолго впечатлившему финалу...

В лучшем для Эдуарда сезоне Михаил Гершкович превратился для него в лучшего из молодых партнеров. Правда, усвоенные уроки выразительнее сказались на будущий год, но сотрудничали они успешнее, удачнее, когда Миша, может быть, не во всем еще понимая

старшего товарища, был всего талантливее в искреннем желании поскорее понять, чего от него хочет Стрельцов. Он забил двенадцать мячей за тридцать одну игру. Трибунам передавалось и его удовольствие от игры в пас, от им сделанных передач, в первую очередь Эдику. И он не боялся, что, изменившись, может понравиться публике меньше — он дорожил мнением о себе Эдуарда, остальное представлялось ему менее естественным. «Я понял, что такое футбол», — говорил потом Миша.

И ген той торпедовской игры, который по всей видимости должен был вовсе исчезнуть с ушедшими из команды, с потерянной фирменностью, все равно напоминал о себе в партнерстве Стрельцова с Гершковичем.

У меня создавалось впечатление, что Эдик так много теперь забивает, что подсознательно желает убедить молодого напарника, что умение играть в пас вовсе не лишает бомбардирской страсти.

Спартакowцы в итоге того сезона встали ступенькой выше, чем «Торпедо», — созревала та команда, что через год станет чемпионом, прервет серию киевских первенств. Но торпедовцы должны были расквитаться за позор предшествующего сезона, когда проиграли «Спартаку» 2:6 — и последним или предпоследним из пропущенных мячей Андреюк, брезгливо вытащив его из сетки, швырнет в съездившегося от стыда Шаповаленко. И вот теперь Маслаченко — вратарю на несколько порядков выше — не хотелось смотреть в глаза своим защитникам, а те, возможно, прятали глаза от него. Стрельцов с Гершковичем забивали по два гола, отдавая пасы друг другу. Эдик особенно хвалил Мишу за мяч, который тот ему предоставил закатить в пустые ворота. А Владимир Михайлов забил еще пятый — 5:1.

Стрельцов говорил потом, что московское «Динамо» они обыграли «весело».

Играли на динамовском стадионе открыто, раскованно, с большой в себе уверенностью. А начиналось их веселье, когда дела в игре еще никак не веселили — проигрывали 0:1. Но Гершкович вдруг сказал Стрельцову: «Ты не беспокойся, Эдик. У них же в воротах Олег Иванов — мы с ним вместе за юношескую сборную играли. Сейчас ему забьем».

И забивали — снова по два на брата.

С ЦСКА «Торпедо» боролось за третье место — и победило их в чемпионате дважды. Игра в первом круге, выигранная 2:0, в памяти несколько стерлась из-за того, что на матч во втором круге наложилось впечатление от проведенных сразу вслед за ней кубковых встреч — тоже двух: после ничьей была переигровка.

Я проявил раз в жизни предусмотрительность — записал, не поленился, рассказ Эдуарда Стрельцова по свежему следу игры с ЦСКА во втором круге: «...никто не ждал, что наш новый защитник

Гриша Янец решится на такой дальний удар. И вот, пожалуйста вам, первый гол, когда самая тогда сильная в стране защита армейская только еще разбиралась с нами, нападающими. Мы, заметив, как на них подействовал Гришин гол, поднажали. Не о сохранении счета заботились, а, наоборот, сколько могли усилили атаку.

Со мной, как всегда, не церемонились. Капличный играл против меня очень плотно. Но и я не тушевался — давал ему работу. В один из моментов он меня, не маскируясь от судьбы, толкнул. И я решил сам и пробить штрафной.

Они выстроили стенку. Я прикинул: вратарь, наверное, побежит за стенку — посчитает, что Стрельцов захочет зарезать мяч. Но я резаным бить не стал — пробил прямо в угол, где Шмуц только что стоял. Тренер Бобров, решив, что вратарь ошибся и начнет сейчас казнить себя за промах, заменил Леонида Шмуца Юрой Пшеничниковым, вратарем, между прочим, сборной, который, как мне говорили, не любил против меня играть. И на замену, по-моему, без большой охоты вышел. Тем более у нас стоял Анзор Кавазашвили — его главный конкурент.

Вратарь-то Юра вообще хороший, но и хороший вратарь в плохом настроении очень уязвим.

Я уже чувствовал, что в такой игре дальше все будет зависеть от психологии. ЦСКА в защите отсиживаться никакого резона нет, им атаковать надо большими силами — шутки, что ли, второе поражение в сезоне от «Торпедо» и снова с сухим счетом? Классная защита в таких обстоятельствах должна своим форвардам помочь. Но легко сказать — помочь, когда в прямой-то своей работе ошибки уже допущены и вратарь нервничает.

А мы во вкус вошли — играем впереди, как нам по нашей марке и положено. Никаких лобовых ходов — все со смыслом. Армейцы, конечно, раздражаются, правила нарушают...

Пенальти в их ворота назначают. Я не большой любитель, вернее, не мастак бить одиннадцатиметровые. Но помнил, какие у нас с Пшеном взаимоотношения — и решил, что сегодня грех мне не пробить. И пробил.

Алик Шестернев потом говорил: «Так бить нельзя, не по правилам». Правда, сам же сказал: «Пеле так только бьет».

Как было: я замахиwaюсь, а Юра, вижу, бежит из угла в угол. Я тогда на замахе делаю паузу, но ногу обратно не отвожу. Держу (фиксирую) над мячом — все, заметьте, по правилам. Жду, когда вратаришка не выдержит — покажет мне, в какой угол метнется. Ну и кинул, наконец, мяч в угол, противоположный тому, куда, как Пшеничников решил, я ударю...»

Представляю, с какими чувствами вышли цесковцы против нас играть на Кубок... Не дай, как говорится, бог нарваться на противника,

только что потерпевшего такое поражение — и тем более от твоей команды. Про кубковый матч Эдик рассказывал с меньшей охотой, страсти по тому давно улеглись ко времени нашей беседы:

«Кто бы поручился, что нас хватит на еще один бой с ЦСКА? Я сам в подобных случаях обычно ставлю на тех, кто жаждет реванша.

Но вот удалось нам в такие суждения не углубляться. И помнить одно — на первое место наши шансы никакие, но вот Кубок нам вполне по силам выиграть. И уж тут нас никакое задетое самолюбие ЦСКА как преграда не пугало. Мы же не столько против ЦСКА бились — против клуба, которому и проиграть не позор, — сколько за Кубок, который без победы в каждом матче не выиграть.

Вместе с дополнительным временем первый матч кубковый продолжался сто двадцать минут. И в общем-то, признаю, что у ЦСКА было преимущество — и к победе они были ближе. Но Юра Пшеничников от прошлой неудачной игры с нами не отошел — и стоял хуже, чем в прошлый раз. И мы ему два мяча забили — я и Саша Ленёв. Ничья — и на следующий же день назначили переигровку. То, что ЦСКА выглядел накануне игры получше, никак не повлияло на нашу решимость. Может быть, самоуверенности и поубавилось, но никто из нас не испытывал страха. Был случай, когда азарт — переигровка очень получилась азартной — нисколько не помешал терпению, нами проявленному до конца. Мы снова забили два мяча — и опять я (в шестьдесят восьмом году игра у меня шла) и Гена Шалимов. А они только один отыграли...»

Про бакинский полуфинал рассказал мне Алик Марьямов. Он был в Баку тогда в командировке, никакого отношения не имевшей к футболу. Но нашел, конечно, наших торпедовских приятелей. Кузьма посадил его к себе поближе на скамейку запасных, не подозревая, что подвергнет знакомого из Москвы серьезному риску. Игроки «Нефтчи» настроились дать бой «Торпедо» не футбольными методами. Это им не помогало. Стрельцов свой гол забил. Потом бакинцы не убереглись от удара Ленёва. И тут началось. То, что проигрывающие на поле вытворяли, торпедовцев мало напугало — народ у москвичей подобрался крепкий. Но на бесчинства трибун футболистам ответить было нечем. С трибун на поле полетели камни. Пластмассовых кабинок для тренеров еще не изобрели. И на скамейке запасных от камней никто не мог укрыться. Куском асфальта едва не угодили в Гершковича — он в этой игре не участвовал. И наш рослый Алик превращался в мишень. И тренеру никто не давал гарантий безопасности. Чтобы не дразнить столь темпераментных и негостеприимных гусей, Иванов заменил Стрельцова — он для «Нефтчи» стал самым опасным...

После игры никак не удавалось уехать со стадиона. Били стекла в автобусе, увозившем «Торпедо».

...Перед финальной игрой с «Пахтакором», занявшим в чемпионате семнадцатое место (что в кубковой ситуации не обязательно в минус: аутсайдер может разочек и выложиться, тем более если фаворит на него должным образом не настроится), Эдуард, возможно, впервые заговорил с начальством, приехавшим в Мячково для накачки и воодушевления игроков, про те блага, которые могут перепасть в случае победы. Директор завода Бородин суеверно прервал Стрельцова: «Надо сначала выиграть!» Но просьба на людях — и не просьба вовсе (о квартире в советское время, не знаю как сейчас, хлопотали при закрытых дверях), а скорее острота, разряжающая тревожную обстановку. И начальству следовало так и понять: раз Эдик заговорил про квартиру, тем более и для матери просит однокомнатную, значит, какие же сомнения в том, что Кубок будет наш?

Но «Пахтакор» сыграл, как и следует аутсайдеру, с большими претензиями (а уж какие премиальные ждали узбекскую команду за победу в Москве, оставалось фантазировать). И не сделал гола Стрельцов, никто бы по такой тяжелой борьбе логичного результата не добился. Решил бы случай, а то и случайность.

Я говорю, что сделал гол Стрельцов — и, не задумываясь, причисляю этот гол к стрельцовским шедеврам. Но забил-то мяч в ташкентские ворота Юрий Савченко. Стрельцов считал его форвардом излишне, как он говорил, деликатным, без должной в современной игре жесткости, но в общем-то хвалил за способности.

После гола Савченко сразу же подошел к Эдуарду — сказать спасибо: теперь Юрий оставался навсегда в торпедовской истории. Но Стрельцов назвал и самого Юру молодцом за то, что «мгновенно понял, что я буду делать... И пошел вперед, когда я спиной стоял к воротам. Я и отдал ему пас пяткой — Савченко смог выскочить один на один с вратарем. Остановись он, пришлось бы нам в стенку сыграть или начать обводить защитников — неизвестно еще, что получилось бы. А так и гол, ставший решающим, забили очень вовремя — на двадцать пятой минуте. И забили по-торпедовски. Все просто, все сделано со смыслом, что, по-моему, самое красивое...».

ЧТО ЖДАЛО НАС ВСЕХ ВПЕРЕДИ?

33

Успехи «Торпедо» в сезоне шестьдесят восьмого, а может быть, и не успехи, а величина фигур, играющих и тренирующих, подвигли киношников на съемки внутри команды, ставшие кратким, но драгоценным свидетельством тех нюансов в отношениях, которые обычно в суматохе буден никого не занимают. И о них потом остается догадываться, проваливаясь либо возвышаясь в домыслах. Прежде чем увидеть фильм про «Торпедо», я прочел в специальном кинематографическом журнале рецензию на эту картину, написанную писателем Юрием Трифоновым.

В очень важном для себя рассказе «Недолгое пребывание в камере пыток», где действие происходит в Тироле, куда он с группой спортивных журналистов приехал из олимпийского Инсбрука на экскурсию, Трифонов вспоминает время, «когда ему казалось, что о спорте можно писать так же всерьез, как, скажем, о гробнице Лоренцо Медичи во Флоренции». Рецензировал фильм о футболистах Юрий Валентинович, по-моему, еще во власти серьезного отношения к людям спорта. И ему интереснее всего показался эпизод, где диалог в раздевалке между игроком Стрельцовым и тренером Ивановым то ли смикширован до полной неслышимости, то ли вообще, что более похоже, не записан — и нам остается домысливать текст по жестике и выражению лиц недовольных друг другом собеседников. Из описаний Трифонова я так понял, что тренер не захотел разговаривать с главным игроком при всех, чтобы высказать ему свои замечания отдельно. Стрельцов активности в разговоре с тренером, как всегда, не проявляет, отвечает односложно, пытается уйти в свое особое мнение без пространных объяснений. Но Иванову явно не безразлично несогласие бывшего партнера — он готов был убеждать его, переубеждать. И выглядел в такой ситуации почти трогательно, во всяком случае к себе располагал...

Потом я смотрел фильм этот неоднократно. И не скрою, что в сцене объяснения тренера с футболистом мне все меньше нравится, как ведет себя Эдуард, играя на руку ивановским недоброжелателям («отмахивается, как от надоедливой мухи»), что Эдика вряд ли бы порадовало. Он не хотел в свои — и в конфликтные тем более — отношения с Кузьмой вмешивать кого-нибудь из посторонних.

Возможно, что на меня влияет и рассказ Эдуарда, как зимой шестьдесят девятого — значит, уже после съемок — на одной из

гулянок на каникулах тренер Валентин Козьмич в узком кругу наиболее приближенных к нему из торпедовцев с шутливой строгостью заявил, что в наступающем сезоне он их всех «погоняет». Стрельцов отозвался с неожиданной обидой и без юмора: «Ну как тебе, Валя, не стыдно — ты же сам не играешь...» Упрек тренеру в том, что он сам не играет, от опытейшего футболиста и в дружески пьяной компании звучит глуповато. Но притом и настораживающе, когда такое говорит Стрельцов — Иванову...

Возвращаясь к фильму — Иванов не отводит Стрельцова в сторону. Стрельцов сам, не дослушав тренерских замечаний, встает со стула и куда-то упрямо шагает, продолжая на ходу выгрызать мякоть из лимона, вынутого из стакана с чаем, а тренер Иванов в той же болонье, в какой разговаривал в позапрошлом сезоне с голым Эдиком возле динамовского душа, необычайно молодо для тренера выглядящий и симпатичный в своем немедленном желании что-то растолковать лучшему игроку, несолидно идет за ним, нарушая мизансцену субординации...

...После все того же — на мой взгляд, в тренерской карьере Валентина Иванова чисто по-футбольному наиболее содержательного сезона (потом бывали победы и погромче, но игра была несравнимо менее торпедовской) — мы были у Кузьмы в гостях на Ленинском проспекте. Накануне он что-то праздновал в ресторане — чуть ли не день рождения — и состояние было у молодого тренера размягченное. Он ждал в гости и Стрельцова, но тот не доехал — отвлекли вероятные соблазны по дороге. А едва узнаваемый после «больницы» Валерий Воронин с женой Валею прибыл. И нам — не менее размягченным — идиллия в отношениях между великими торпедовцами вновь показалась возможной.

34

При Иванове-тренере прекратилась наша культпросветовская деятельность в «Торпедо». Тогда эта, вскоре замаятая, заигранная размолвка представлялась недоразумением, случайностью, о которой и вспоминать ни к чему. Теперь же в случившемся нахожу для себя немало поучительного.

С тренером и его командой встретились еще до начала футбольного сезона в Москве — в апрельском Ташкенте. В тот год мы уже снова работали в АПН — вернулись, как опрометчиво возвращаются во все равно распавшийся брак — и командированы были в «город хлебный». Куда по стечению обстоятельств прибыло и «Торпедо» на матч с «Пахтакором».

Мы встретились на узбекской земле, как и подобает землякам.

Вечером перед матчем долго — хотя выпивали довольно умеренно — засиделись в номере Валентина Козьмича. Кроме нас с Аликом Марьямовым, в посиделках участвовали Горохов и администратор Каменский. Не помню, заходил ли Золотов. Кажется, и он был. А Батанов летал в Алма-Ату — смотреть соперника в следующем туре.

Днем мы ходили на матч дублей. Воронин впервые после катастрофы вышел на поле. И гол забил — мяч вяло переполз линию ворот из толчеи в штрафной, куда Валера полез, чтобы доказать, что он в порядке и не избегает контактной игры.

В Ташкенте Воронин держался подчеркнуто как игрок дубля — в стороне от основных игроков. Мне показалось, что он сторонился Стрельцова и тренера Иванова. Вместе с тем он напоминал мне того Воронина, которого увидел я впервые в Мячково летом шестьдесят четвертого года. Отчужденный, сосредоточенный на себе, с книжечкой. На этот раз он почему-то читал толстый том жизнеописания Жорж Санд из молодогвардейской серии о замечательных людях.

Я тогда не понимал, а сейчас, кажется, догадываюсь, почему в командах не задерживают великих ветеранов, стоит им сойти со своего уровня...

В действующей команде нет пьедесталов для тех, кто утратил свою реальную силу, а ходячий музей боевой славы даже во вред общему делу.

Смело можно было сказать, что из тех, кто входил в шестьдесят девятом году в основной состав «Торпедо» — Стрельцова я, разумеется, отношу к истории, а не к тому составу, — никто не станет Ворониным. И никто в данную минуту не способен сыграть на том уровне, на каком играл он ровно год назад. Но сегодня жизнь «Торпедо» зависела от тех, кто выходит на поле в добром здравии. И Воронин-дублер неуместен был в соседстве с теми, кому завтра идти в бой. Всем до злости делалось неловко рядом с ним — таким. И он сам прекрасно понимал ситуацию.

Уйди Воронин из футбола вообще — к нему бы относились по-иному. Снова бы, наверное, как к иконе — в те времена, правда, никто из футболистов официально в Бога не верил, довольствовались положенным игроку суеверием. И все равно в боевом стане накануне матча и самому ценимому ветерану не место. Словом, Валерий свое место в тени занимал правильно. Играть он жаждал, как Стрельцов в шестьдесят пятом. Но Эдик готов был играть немедленно — и мог не скрывать своих желаний. Воронин же ни о какой готовности пока и не заявлял.

За нашим легким ужином в гостиничном номере Иванов никаких предположений о дальнейшей судьбе Воронина в разговорах с нами не высказывал. А старик Горохов не стеснялся выражать сомнения.

Считал, что и пробовать Валерке не стоит — к максимальному усилию он уже не будет способен никогда.

Мне нравилось, что мы поднимаемся до таких высот — незадолго до игры разглагольствуем на равных в тренерском штабе.

Но я в продолжение всего вечера так и не избавился от душевной неловкости перед Ворониным и Стрельцовым за то, что мы сидим у тренера, а они там где-то, на этом же, скорее всего, этаже, по-разному теперь расселенные, настраиваются на завтрашний день. Хотя Валере и не на что настраиваться — он в своих одиноких мыслях.

В день матча мы и обедали вместе с «Торпедо» — в ресторане гостиницы «Ташкент». Снова вместе с начальством. Близость к начальству — я тогда еще отметил это — заглушает в нас и голос совести, и все прочие внутренние голоса. Администратор Каменский выпил с нами за компанию рюмку водки, за что высмеивающе осужден был старшим тренером. И нам бы пить не следовало, когда рядом гладиаторы. Но мы себя чувствовали не зрителями, а кем-то, кому все за причастность разрешено, хотя элемент прихлебательства создавал во мне некий моральный дискомфорт.

Стрельцов уж не помню с кем из игроков сидел за столиком, помню только, что ел он из вазочки розовое мороженое...

Конфликт произошел на ровном месте. Нас взяли в автобус, который доставлял футболистов на стадион. Мы влезли в салон заранее. Из посторонних, кроме нас, был еще папа нового игрока «Торпедо» Гулямхайдарова, смуглый крестьянин с орденом Ленина на лацкане плохо сшитого серого костюма. Футболисты еще спрашивали Гулямхайдарова: фартовый ли у него отец? Вопрос в том: фартовые ли мы? — вроде бы и не ставился: мы проходили как приятели тренера. В команде совсем немного оставалось наших знакомых с шестьдесят четвертого года.

Иванов вошел в автобус последним. И Алик Марьямов в своей манере шутить громко спросил: «Тренер тоже поедет?» Чем вызвал гневную вспышку Кузмы. Чувствовалось, что он старается сдержаться, но не может. Пригрозив нас выгнать, он все же ограничился язвительным замечанием о качестве марьямовского юмора. Автобус тронулся. Я оцепенел от стыда. Посмотрел на Стрельцова. Он мне улыбнулся. А может быть, и не мне — моему виду ошарашенному. Стрельцову, допустим, было все равно, кто едет с ними, кто не едет. Но остальные игроки, по-моему, выглядели озабоченными: зачем же тренер берет в дорогу на стадион людей, им, как выяснилось, непроверенных?

Нам не следовало ехать в автобусе с командой, как и не следовало пить за обедом в ресторане. Но и деться нам теперь было некуда. Мы остались за кулисами. Иванов — и в подражание ему

остальные штабисты, включая выпивавшего с нами Жору Каменского, — не замечал нас. Мы старались держаться как ни в чем не бывало. Долго беседовали с Ворониным — он тоже, видимо, не знал, куда себя деть...

Валерий Винокуров прилетел на матч как корреспондент «Советского спорта». Он был нашим ровесником, но мы к нему относились несколько свысока. Винокуров закончил, если я ничего сейчас не путаю, институт связи. И работал одно время на «Мосфильме» с первой женой Марьямова Катей. Катя Попова и тогда уже котиrowалась в качестве подающего надежды звукооператора — сейчас она обладательница «Ник» и прочих кинематографических призов — а Валерий Изидорович, влюбленный в футбол, рвался из кино в журналистику. И вот сейчас он находился при исполнении обязанностей — и Валентин Козьмич Иванов терпеливо выслушивал его вопросы, чего-то отвечал ему, а не грозил откуда-либо выгнать. Мы смотрели свысока на Винокурова не из-за завышенной самооценки — при том, что такая самооценка имела место и по сей день сохранилась, — а потому, что близость свою к футболистам мы ставили выше журналистской профессии. Мы считали, что знакомство это дает нам особое знание, выгодно отличающее нас от коллег, которых мы и коллегами-то не считали, если быть до конца откровенным. У нас были иные жизненные планы, чем у пишущих про футбол корреспондентов.

А вот теперь и в степени близости знакомства можно было сильно засомневаться. Винокуров оказался на более правильном пути. Как сказано в советском лозунге еще тридцатых годов: с модели — на планер, с планера — на самолет. Нам же в нашей гордыне — модели и планеры напрасно показались ненужными.

В конце посвященного ему фильма Константин Иванович Бесков, выдворяя из раздевалки победителей съемочную группу, говорит Леше Габриловичу, что не хочет слышать сейчас никаких провокационных вопросов. Что понимает Лешину профессию, но «у меня профессия несколько другая».

Мы тогда, сразу после съемок, огорчались, сердились на невозможность Бескова поддерживать долго с кем-либо хорошие отношения. Обижались, что силы наши оказались понапрасну затраченными — и мы так и не сумели до конца расположить к себе великого тренера. Но, во-первых, эпизод с пожеланием о прекращении съемок получился одним из лучших в картине. А во-вторых, Бесков выразил мысль, как я сейчас думаю, исчерпывающе.

За правду и за близость, разрешающую в эту правду проникнуть, надо обязательно платить ухудшением или даже разрывом тех отношений, что позволили приблизиться к натуре. Если не рисковать, добиваясь максимума выразительности, то ничего,

кроме общих слов и парадного портрета, не получишь.

Но кто сказал, что победители чего-то еще иного хотят, кроме общих (похвальных, конечно) слов и парадных портретов? И согласны позировать добровольно для этого иного?

Спортсмен вообще не признает полутонов. Он действует на соревновательном поле, где существуют лишь «за» и «против». Образуясь с личным опытом каждого, можно сказать, что то же самое присутствует во всех других профессиях. Правильно. Но меньшая экстремальность или вынужденная цивилизованность в развитии отношений и невозможность или необязательность физического контакта с конкурентом иногда легче позволяют маскировать как «за», так и «против». Спорт обнажает суть отношений во всех областях и видах приложения человеческой силы. Может быть, цивилизация коммерчески оконтурировала и оберегает заповедный остров, обитаемый гладиаторами, чтобы они сюжетами своих судеб постоянно напоминали человечеству о том, что ничего не меняется в мире с доисторических времен, когда захотим мы дойти до самой сути во всем нас окружающем и во всем окружаемом нами?

Все ищут сильных союзников. Но и находят их немногие, и коварства в союзе равных несравнимо больше, чем и намек на любовь.

Сильный человек не от хорошей жизни окружает себя ничтожествами, полагаясь в глубине души на самого себя, но и надеясь на большую верность ничтожеств в неравном союзе. Чаще всего он ошибается — и обманывается в преданности приближенных для общей обороны.

Гулливверу не дано покорить или убедить хотя бы в чем-то лилипутов — в самом лучшем случае они его станут терпеть ради пользы. При условии, что польза, приносимая Гулливвером лилипутам, им самим вполне понятна. Преимущества лилипутов еще и в том, что они-то не обольщаются, находя друг в друге равных и одинаковых. А Гулливверу приходится, чтобы не погибнуть в одиночестве или от одиночества, признавать в лилипуте равного себе. И незаметно — а и заметно: какая разница? — начинать жить, помещаясь в чужом размере — не гордясь, а невольнo стесняясь своего роста.

Мир устроен сегодня так, что роль Гулливвера чем дальше, тем чаще исполняют уже не люди, а созданные людьми же (разного во всех смыслах роста) общественные институты. И для мозгов самих создателей подобное редко проходит бесследно. Человек-лилипут, причастный к институту-Гулливверу, испытывает гулливверовский комплекс, в то время как человек-Гулливвер заставляет испытывать лилипутские комплексы целые институты-Гулливверы, запрограммированные влиять на жизнь общества.

Возвратимся, однако, на территорию футбола — благодаря

четкой меловой разметке его образная система общедоступнее.

И в футболе, наверное, возможны непризнанные гении. Но в сравнении с подавляющим большинством других отраслей здесь известность все же закономернее приходит к людям талантливым. Бывает — и нередко, — что талант гибнет от незамеченности, по недосмотру, из-за бездарности или идиотизма селекционеров, тренеров и руководителей. Но знаменитый, однако не талантливый футболист — нонсенс. В прежние времена такого и не случалось. Я чего-то не припомню в футболе прямого аналога дутым величинам в искусстве или литературе, лжеученым и дуракам-начальникам.

И все равно, как за всякую известность, за громкое имя в спорте необходимо особо побороться.

Замечали ли вы, что известность и вызывает больший интерес к себе и ценится тоже выше, чем сам по себе талант? Разве же таланту поклоняются? Поклоняются знаменитости — то есть растиражированности того же таланта.

В ранней молодости я этого совершенно не понимал. Ну как же так: отказывать таланту в самодостаточности, когда он из ряда вон редкость и неоспоримый факт? Но в простой констатации, в признании природного дара нет остроты сюжета. Сюжет заключен в истории достижений успеха или уж, на худой конец, в диагнозе неудачнику. А выше всего в общежитии ценится талант проявить свой талант — пусть не проявленный талант и обещал много больше, чем тот, о котором все узнали.

Большой спорт сплошь состоит из людей, достигших известности — кто на час, кто на день, кто и на десятилетие. Дальше не берем — за бортом, скажем, футбольной истории оставались и остаются десятки, если не сотни лиц некогда первостатейно известных.

Спортивная журналистика зиждется на интересе к самым известным людям, каждодневно подвергающим свой рейтинг испытаниям и конкуренции.

Известный человек спорта органически входит в противоречие с тем, что про него пишут. И с теми, кто пишет. Они в исключительных случаях угождают ему (я сейчас не про желание журналистов говорю, а про результат), поскольку и в откровеннейшем комплименте гладиатор может углядеть, учуять нюанс неабсолютного доброжелательства, а то и отдаленный намек на какие-нибудь достоинства его соперников. Статьи же аналитического характера — они у нас не часты — в девяти случаях из десяти вызывают протест самым тоном, исключаяющим сплошную апологетику.

Людей спорта мало волнует, что прикормленный без меры журналист теряет квалификацию — и спорту служит неэффективно. Интерес к спорту — не все заинтересованные люди почему-то об этом

догадываются — держится на аналитике. Пафос аналитики в любом — самом дилетантском — разговоре про футбол. Я все больше убеждаюсь в прямой зависимости между интересными разговорами про футбол и классом самой игры. Энергообмен между играющими и смотрящими происходит напрямую на стадионе в ходе матча. Но почему бы не поверить, что он возможен на полумистическом уровне — косвенно?

Сегодняшняя футбольная журналистика ближе к сказу, чем к аналитике. Дозированный — в целях самосохранения, ради продолжения доступа к говорящим телам в раздевалке и ее окрестностях — пересказ происходящего за кулисами сегодня более всего ценится в спортивных редакциях и отделах газет и журналов.

Когда-то Лев Филатов, озаглавив свой очерк в «Юности» про Бескова «Дружба без встреч», декларировал свой принцип отношений с футболистами — дистанция, позволяющая быть свободнее в пристрастиях. Спортивным журналистам требуется для самоутверждения свой классик — и они часто ссылаются на покойного Филатова. Но на самом деле сегодняшняя квалификация держится не на мозгах и пере (я не отрицаю, что они у старших и у младших есть, но используют их, на мой взгляд, не по-хозяйски), а на вхожести в футбольное Зазеркалье. Вхожести, а не проникновению. В чем я себе позволяю увидеть существенную разницу.

Высшая удача нынешнего спортивного журналиста — в приватизации того или иного знаменитого атлета.

Для следования нормам цивилизации и у нас введен, наконец, институт пресс-атташе. Информация из команды поступает направленно. Отдельным куском информационного пирога наделяют доверенных людей. Но, боюсь, что аналитику при таком раскладе нечего делать.

Приятно, что закрытость развивает у пишущих фантазию. Слухи не столько просачиваются, сколько сочиняются. Утечки информации из главных клубов меньше, чем можно было бы ожидать. Она взрывоопасно накапливается. И могу лишь вообразить, какую же откровенную книгу про интересующую команду мы бы вдруг прочли, случись ссора между тренером N и его разросшимся до непристойной прежде заметности атташе. Но, может быть, я далеко захожу в намеках — и о границах верности сужу, поддавшись аморальности времени?

Я вообще заговорил обо всем этом только потому, что вдруг сообразил: мы в шестидесятые годы, еще и слова-то «приватизация» не знавшие, полагали, будто «приватизировали» «Торпедо». Правда, к нему вело нас тщеславие без корысти — ни о каких проектах, основанных на приятельстве с футболистами, мы не помышляли.

Не видимой ли легковесностью своего ко всему отношения

некоторые из нас и разочаровали Валентина Иванова, когда ступил он на тренерскую стезю? Для шестьдесят четвертого года наш обратный адрес был привлекателен. Известный всей Москве дом на Пушкинской, нахватанность и шарм не сомневающейся в себе молодости, широта лестных знакомств (с изумлением смотрю из своего сегодняшнего дня на себя, двадцатичетырехлетнего: знаком был почти со всеми, кто потом прославился, превратился в фигуры, можно сказать, исторического значения, всех звал по именам, не замечал за теми, кого звал на «ты», достоинств, какими считал бы себя обделенным, верил в дружбу с известными, знаменитыми, входившими в славу молодыми людьми, вступал за ресторанными столиками в беседы со знаменитостями старшего поколения, а теперь не поручусь, что тем, о ком говорю, знаком; думаю, что и внешне в их памяти стерся, удивляюсь теперь, когда кто-нибудь из популярных лиц при встрече на улице или где-то узнает меня), непринужденность, переходящая в обаятельное амикошонство, и масса, масса всего того, что и на знаменитого футболиста не могло не произвести впечатления... Но впечатление, произведенное в начале знакомства летом шестьдесят четвертого, за прошедшие годы сгладилось, вероятно.

Мы и сегодня не слишком изменились в самоощущениях. А к шестьдесят девятому году мы просто ничем не отличались от себя четырехлетней давности. Но для футболиста четыре-пять лет — иногда полсрока всей спортивной жизни, и у него отношение ко времени и со временем иное, чем у нас. Иванов, успевший стать тренером той команды, за которую играл, — поворот в карьере, удавшийся одному игроку из тысячи, — вынужден был с неодинаковой постепенностью, однако, менять свое отношение к самым близким себе в «Торпедо» людям. Он вынужден был — иначе как же работать и жить? — убедить себя в том, что перерос их, получил право руководить ими и ставить судьбу других в зависимость от своих решений. И я предполагаю, что мы со своей неделовой репутацией переставали быть интересными Кузьме, меняющему кожу имиджа. Он и в дальнейшем не переставал относиться к нам по-приятельски. Но своим топтанием на месте мы его, думаю, разочаровали. Он ведь и Марьямову тогда в автобусе выкрикнул в сердцах: «Завели одну и ту же пластинку — надоело!»

Вскоре Валентин Иванов, если не ошибаюсь, первым в своем поколении футболистов, сел за мемуары. Ну, «сел» — образ, расхожее представление о такого рода работе. Оно не для футболиста. Кипы бумаги он не исписывал. Перепоручил, как водится, человеку, который этим зарабатывает себе на хлеб. Таким человеком стал Евгений Рубин, служивший в «Советском спорте».

Женя Рубин — старый наш товарищ, одаренный человек,

адвокат по образованию — то есть с логикой у него все в порядке, — великолепно знавший спорт, словом, журналист по призванию, не нам с Марьямовым чета. Книга у него получилась одной из самых удачных в предложенном жанре. Поэтому с выбором помощника в таком странном, если вдуматься, деле Валентину Козьмичу очень повезло.

Но я зачем про книгу Жени и Кузьмы вспомнил... Рубин в Мячково не ездил, не пил коньяк с торпедовскими звездами ни в ресторане, ни в аэропорту, хотя вообще-то Евгений Михайлович не дурак выпить и со спортсменами бывал дружен побольше нашего. Но с торпедовцами до начала работы над мемуарами не сталкивался. Ему ничего подобного и не потребовалось. Вернее, потребовалось своевременно. Когда заключен был договор с издательством, когда началась работа, тогда и домами подружились, и выпивать стали для пользы дела.

Рубин выгодно отличался от нас деловитостью. Я допускаю, что Лидия Гавриловна Калинина-Иванова навела о нем справки — и услышала самый благожелательный отзыв. Или же сам Женя, договорившись с издательством, позвонил Иванову — представился. И ничего больше не понадобилось — фамилия Рубин появлялась в «Советском спорте» чуть ли не через номер.

А нас в семье Ивановых держали за веселых и находчивых, когда дело касается развлечений, ребят. Меня-то уж наверняка трактовали только так. Мы же всё надеялись, что за нами — АПН.

...Может быть, мы бы и помирились с Ивановым, выиграй тогда «Торпедо».

Но в Ташкенте больше одного мяча не забили — забил Шалимов после мягкой откидки Стрельцова назад, ему на ход. А тренируемый Якушиным «Пахтакор» (Михей с очень красным лицом подъезжал к гостинице, чтобы предупредить «Торпедо», что тренироваться они могут на поле совхоза «Политотдел», за чью, между прочим, команду выступал теперь Щербак) сумел забить москвичам два.

И наш визит вежливости в гостиницу вечером после матча вызвал у Иванова новый приступ неприязни и сарказма.

Любопытно, что размолвку в Ташкенте, касавшуюся меня несколько меньше, чем моего тогдашнего приятеля, я перенес в чем-то тяжелее, чем он. Мы оба, повторяю, и по сегодня в отличных отношениях с Валентином Козьмичом — и вообще я, как и большинство вспыльчивых людей, отходчив. Но при том, что плохо усваиваю уроки, в том числе и жизненные, о ташкентском уроке не забывал никогда.

...Совсем недавно мы с одним моим знакомым куда-то опаздывали, схватили на Ленинградском проспекте машину — и, не обращая внимания на того, кто за рулем, продолжили разговор, в

котором я предавался воспоминаниям. Но водитель, оказывается, внимательно слушал мою болтовню — и когда знакомый выскочил у табачного киоска, стал меня расспрашивать: кто я и что я? Не желая откровенничать, я уклончиво ответил, что занимаюсь журналистикой, не конкретизируя, с какого рода изданиями сотрудничаю, да и не сотрудничал я в тот момент ни с кем — дописывал эту книгу. Владелец машины — молодой человек — заинтересовался все же: знаком ли я с кем-либо из звезд и знаменитостей? Я про себя подумал, что и пожелай я сейчас вдруг распусть перед незнакомцем хвост, мне некого будет ему назвать. Известность тех, кого я сколько-нибудь коротко знал, осталась в конце шестидесятых годов минувшего века.

Я не поручусь, что полностью излечился от суетности. И, возможно, какими-то знакомствами тщеславлюсь по инерции и до сих пор. Однако стремлюсь к ним несравнимо меньше, а иногда мне кажется, что уже и вовсе не стремлюсь.

Своим увлечением футболистами — не футболом (футболом-то увлекались тогда очень многие и с футболистами знакомились охотно), а вот отдельными в нем личностями, чью роль в обществе я, по мнению, кстати, и ценивших этих ребят граждан, чересчур преувеличивал — я множеству людей надоел и множеству людей представился ограниченнее, чем был на самом деле в молодости. Те, кто хорошо ко мне относился, пытались отыскать в моем поведении здоровые мотивы. Один человек, много сделавший, чтобы я прижился в редакции «Советского спорта», напрямую меня спросил: «Ты все время с футболистами... Что, роман собираешься писать из жизни оболтусов?» Он даже грубее обозвал возможных персонажей — я просто считаю неэтичным в книге о Стрельцове процитировать им сказанное буквально. Я только обращаю внимание, что люди, существовавшие за счет интереса обывателя к спорту, не считали, что такой интерес должен превращаться в безграничный. Я казался оболтусом, который ищет в других оболтусах то, чего нет и не должно быть.

Затрудняюсь объяснить, почему ничего в те годы не писал о футболистах, которые тогда-то и были в славе. Сводил все впечатления к бесконечным устным рассказам. А в своем отделе культуры АПН писал поверхностные — согласно законам принятых в Агентстве жанров — заметки про артисток, про театр и кино. Видимо, считал, что для сочинений про футбол мне не хватает эрудиции, обязательной для проникновения в суть явления — для всех вокруг, получалось, более ясного, чем для меня.

Правда, и устными своими рассказами я кое-кого увлек. И не кое-кого, раз уже завел речь о знакомствах со знаменитостями, а Гену Шпаликова, когда мы встретились в гостях у физиков в Академгородке

под Новосибирском и долгий вечер проговорили про футбол и футболистов. Он тут же сказал, что мне надо написать сценарий, а он его поставит как режиссер. Сразу же пришло тогда в голову название-образ: «Сезон». Про то, что значит каждый отдельно взятый сезон для игрока, я уже догадывался. Но не допер до главного, что сценарий мог и должен был стать автобиографическим. В той молодости, которую я так глупо транжирил, и год собственной жизни следовало уподоблять сезону. И помнить, что в публичных профессиях — все на продажу. И впечатления от знаменитых футболистов следовало положить на бумагу немедленно, пожертвовав хотя бы одним из совместных вечеров в ресторане. А я дожидался, пока провалюсь в роли близкого знакомого. И теперь утешаю себя только тем, что тот невидимый миру провал уберег меня в дальнейшем от некоторых самообольщений.

Но, с другой стороны, живут же люди, самообольщаясь близостью к тем, кто на виду, — и кто-то же из них попадает в стаю, остается в стае? Долетел с ней до завершения века...

Я слышу ропот потерявшего терпение читателя, что слишком уж надолго оставил в стороне Стрельцова. Однако — терпение, терпение — он скоро снова появится. И еще очевиднее — для меня же самого — станет, что никакие отступления в повествовании про Эдуарда не отдаляют его. Он странным образом оказывается всегда причем — он связан с тем, что происходит со всеми нами, сюжетнее и родственнее, чем я предполагал, отталкиваясь от замысла в создании книги...

...В ресторан гостиницы «Советская» Стрельцов пришел вместе с игроками «Динамо» — при всей приверженности к «Спартаку» Эдуард дружил и с динамовцами. Он был на стадионе, где «Динамо» играло уже не помню с кем из приезжих, но знаю, что московские футболисты огорчены были счетом 1:1. Мудрик забил гол в свои ворота. И Стрельцов утешал после игры тезку. Говорил, что виноват Яшин — оставил ближний угол. А мяч в ближний и влетел от своего защитника. «Виктор Александрович нас учил всегда прикрывать ближний угол, — утешал он Мудрика, — забей ты в дальний, ты виноват, а раз в ближний, то — Лева». И с горя отправились в «Советскую» — виновник ничьей (то есть Эдуард Мудрик, а не Яшин), Маслов с Аничкиным и, конечно, Игорь Численко (шутили, что колонна в зале ресторана построена на его деньги, и, когда «Число» бедствовал, негодовали, что официанты не поят-кормят Игоря Леонидовича бесплатно). Ну и еще несколько человек. Футболистов посетители узнали — с одного из столов прислали шампанское. Короленко уже начал откупоривать бутылку, когда в Стрельцове заговорила профессиональная гордость: «Своих, что ли, денег нет?» Купили много выпивки и покатались в Покровское-Стрешнево — домой к Валерию Маслову. И там замечательно гуляли без

посторонних. Ближе к ночи размягченный Стрельцов неожиданно поинтересовался: почему Маслов ничего ему никогда не подарит? Маслов развел широко руки: «Да бери, чего хочешь, Эдик. Все — твое. Вот вазу, например!» — «Ваз у меня своих полно». Сообща стали ломать голову насчет подарка, достойного и значимости гостя, и щедрости хозяина.

Валерий Маслов был же и прославленным хоккеистом — одним из самых великих игроков в хоккей с мячом — у него на стене висела подарочная клюшка с лампочками электрическими, в нее вмонтированными. Динамовец сорвал ее со стены — протянул Эдику. Но тот велел, чтобы все расписались — на память «Игорьку»: Стрельцов вообразил свое позднее возвращение домой и вспомнил про сына. Все с удовольствием расписались на клюшке. И жена Маслова — тоже. Но ее автограф Эдик попросил стереть: нужны известные люди... Он думал о будущем сына в нашем обществе. Сам же он позволял себе роскошь жить вне иерархии. Я столкнулся с этой его особенностью, когда сам уже примирился с иерархической зависимостью от всех встреченных прежде в жизни более или менее знаменитых соотечественников.

35

Десятое место, занятое торпедовцами в шестьдесят девятом году (в финальную стадию чемпионата вышло четырнадцать команд), не помешало им поспособствовать возвращению первенства в Москву.

Перешедший из «Торпедо» в «Спартак» Анзор Кавазашвили провел свой лучший сезон и сделался в преддверии Мексики основным вратарем национальной сборной.

Принципиальный матч из Киева транслировался на всю страну — и вся страна, даже та ее часть, что за «Спартак» не болела, поверила в Анзора.

Уходил он из «Торпедо», демонстрируя свое отношение к старшему тренеру Иванову. А Кузьма — и догадываясь, как им плохо придется без такого вратаря, — не смог заставить себя приложить максимум стараний для удержания его в команде.

Злые языки уверяли, что в бытность Иванова игроком они с Анзором то ли подрались, то ли чуть не подрались на тренировке — и торпедовский премьер не мог простить подобного нарушения принятой в команде субординации. Я при этой сшибке между форвардом и вратарем не присутствовал, но помню, что Кавазашвили держался в «Торпедо» вожаком и с другими авторитетами считался тем меньше, чем больше возрастало его вратарское значение. Он не

был чужд и дедовщине, обращаясь с новобранцами. Сам слышал, как выговаривал он молодому Гершковичу за то, что Михаил грызет в раздевалке яблоко перед началом игры. Гершкович, однако, пришел в «Торпедо», чтобы играть со Стрельцовым, а не подчинять себя установленным там порядкам. Он и бровью не повел на укоризну заслуженного вратаря, поддержанную гневным окриком Андреюка.

Киевляне после трех подряд побед в чемпионатах особой предусмотрительности не проявляли. Конечно, по четыре первенства подряд никто у нас не выигрывал. Но состав у киевлян сохранялся всем на зависть — в семьдесят первом году они себе первое место вернули, — и они спокойно, с отрывом в очках от того же «Спартака», лидировали. И к спартаковской погоне относились без боязни. Матч между ними за четыре тура до завершения сезона предстоял в Киеве. А и самый ревностный почитатель «Спартака» с большим трудом мог бы поверить, что динамовцы проиграют дома. Но догоняющие проиграли перед тем московским одноклубникам чемпионов — и отступать им в Киеве было некуда.

Они и не отступили. В том сезоне много разговоров заходило про искусное выполнение Виктором Серебрянниковым штрафных ударов. Про сложносочиненное вращение мяча, хитроумно нацеливаемого им в раму ворот. Анзор, вероятно, репетировал на тренировках отражение ударов такого рода. А к моменту штрафного, порученного Серебрянникову, успел к тому же поймать кураж после нескольких выигранных им единоборств при выходах один на один с вратарем.

Он отразил первый удар киевского полузащитника. Судья усмотрел непорядок в стенке, выстроенной спартаковцами, — и приказал повторить удар. Серебрянников закрутил мяч в противоположный угол, но и этим Кавазашвили врасплох не застал.

А в киевские ворота эффектейший мяч забил Николай Осянин. Он обыграл всех защитников и уложил на траву Рудакова... На трибунах плакал маленький мальчик, пришедший на матч вместе с дедушкой. Мальчик теперь вырос — и неплохо разобрался в сегодняшней жизни, не поощряющей излишнюю чувствительность. Только его отношения к футболу это коснулось в меньшей степени. Выросший мальчик — младший брат владельца киевского «Динамо» Григория Суркиса — Игорь...

Календарь розыгрыша, как почти всегда у нас, составлен был не без чудачеств. И «Спартак», — которому необходимы были для победы в чемпионате три очка, — пришлось дважды играть против ЦСКА: за первый круг и за второй. После ничьей в первой встрече спартаковским приверженцам пришлось понервничать. По Москве пополз слух, что у некоторых из армейских футболистов нет квартир, а Николай Петрович Старостин — при его-то связях — может помочь в

их получении. Вторая игра проходила в промозглый ноябрьский день, играли вяловато. Гол ударом издалека забил опять Осянин. «Спартак» стал чемпионом. А квартиры?

Квартиры дали. Не знаю, обязательность ли Николая Петровича подействовала, восторжествовала ли абстрактная справедливость?

Календарь и киевских динамовцев поставил перед необходимостью дважды подряд играть с тбилисскими однофамильцами. У грузин появлялась при удаче возможность стать третьими. Для команды Виктора Маслова эти игры ничего не решали. Тренер выставил дубль. Так в большом футболе состоялся дебют Олега Блохина. Следующего раза выступить за основной состав он ждал полтора сезона.

«АХИЛЛ»

36

Отчисляя Владимира Щербакова, Иванов преследовал еще одну педагогическую цель — лишал Стрельцова вероятного собутыльника в команде. И действительно, сотрудничество Эдика с непьющим Гершковичем оказывалось гораздо более перспективным.

Но не таков был Эдуард, чтобы бросить товарища в беде.

Щербак выступал за «Политотдел». И там, разумеется, скучал. Использовал каждую возможность, чтобы приехать в Москву — повидаться со знакомыми в широком застолье: платили в «Политотделе» неплохо. Больше всего Володю тянуло, разумеется, к Стрельцову. Дружба с ним оставляла ему иллюзию возвращения в большой футбол. И в совхозной команде, игравшей по первой лиге, вчерашнего торпедовца уважали еще больше, узнав, что отношения с Эдиком сохраняются.

Стрельцова почему-то очень веселил рассказ, как футболисты «Политотдела» посылают за водкой ишака — привязывают к нему сумку с деньгами, гонец доходит до винного магазина и орет. Эдик со слов Щербакова смешно изображал крик ишака.

Щербак успевал за дни побывки оказать старшему товарищу массу развлекательных услуг, приводивших в ужас тренеров. Теперь Стрельцовым был недоволен и второй тренер Батанов — ему не нравились панибратские отношения между Эдиком и молодыми, ничем не замечательными игроками, находившимися на попечении Бориса Алексеевича. Учительский тон, взятый руководителем дубля в общении с молодежью, плохо ими усваивался, когда Эдуард со всей этой братией держался без чинов.

Режим Стрельцов нарушал, может быть, не больше, чем в прошлом году. Но, пожалуй, откровеннее. На сбор он уже иногда сам к положенному сроку и не приезжал. Помощники Иванова наведывались к нему домой на Машиностроительную улицу — обещанную директором ЗИЛа Бородиным квартиру дали несколько позже — и транспортировали тело форварда в Мячково. И там общими силами выхаживали, парили в бане, готовили к новым боям. Такому состоянию Эдика никто особенно не удивлялся. Но если прежде режимные перепады на форме Стрельцова практически не сказывались, то теперь он бывал после нарушений не совсем боеспособен. И разные болезни о себе давали знать: геморрой, нарушенный в годы заключения обмен веществ; Стрельцов тяжелел, а

плоскостопие никуда не девалось.

Все бы тревожно-недовольные разговоры за спиной — Иванов воздерживался от разговора о нарушениях — прекратились, забей Эдик хотя бы один гол в сезоне. Но Эдик и с верняковых позиций все чаще промахивался. В кубковой игре с николаевским «Судостроителем», тренируемым Юрием Воиновым, после гола, забитого Гершковичем, пропустили два (второй от известного ныне российского тренера и однокашника Стрельцова по тренерской школе Александра Аверьянова). А Эдик имел шанс отквитать аверьяновский гол, но пробил размашисто неточно. «Торпедо» потеряло Кубок на ранней для себя стадии.

В газетном интервью Владимир Иванович Горохов зачем-то сообщил, что в преемники Эдуарду Стрельцову готовят Вадима Никонова — и соответствующим образом наигрывают молодого футболиста. Старый царедворец лукавил — любимец старшего тренера Никонов обещал скорее вырасти в игрока, напоминающего Иванова. А что касается преемника Эдика, то желаемое скорее принимают за действительность.

В своем состоянии образца шестьдесят девятого Эдик, конечно, был подвержен травмам. Но тяжелейшую травму — разрыв «ахилла» — он получил нелепейшим образом. Его поставили за дубль против московского «Динамо». Легко представить себе, как играл в резервном составе Стрельцов. Но на его беду среди динамовских резервистов был и Сергей Никулин — известный костолом, стремившийся поскорее доказать готовность вернуться в основу.

Никулин действовал с палаческим автоматизмом. И подпав под гипнотическое действие пусть и ничем не грозившего воротам «Динамо» Эдуарда, наступил ему в буквальном смысле на пятку, заставив громко вскрикнуть от боли...

Его привезли в ЦИТО прямо со стадиона. Вечером, когда ушли врачи, Игорь Численко деловито втащил в палату ящик коньяка и затолкал под кровать. Все дни, когда «Динамо» не играло на выезде, Число приходил навещать Стрельцова. Приполз и раздавленный геростратовой славой Никулин — Эдик успокоил его, сказав, что в футболе трудно прожить без травм.

37

Снимок, где Стрельцов опирается на костыли, опубликовали через годы и годы. А тогда зима пролетела — и начался в середине марта сезон, в котором главным событием должен был стать чемпионат мира. Прошло несколько туров розыгрыша, и в седьмой торпедовской игре, 18 апреля, в Ташкенте (о чьей исторической роли и

в семидесятом году никто пока не догадывался) вышел на замену Эдуард.

Никто, по-моему, не обратил внимания на известную символику происшедшего — на замену Эдик выходил последний раз шестнадцать лет назад, в своем первом торпедовском сезоне. Стрельцов не показался тренеру Иванову совсем готовым. После Ташкента он некоторое время не играл, а потом провел подряд шесть матчей.

«Торпедо» в семидесятом году заняло неплохое теперь для себя шестое место. Но в борьбе за лидерство даже не участвовало.

Прошлогодний чемпион «Спартак» долго оставался среди претендентов на первенство и на этот раз. За восемь туров до конца у него было столько же очков, сколько у «Динамо» Бескова, вновь вернувшегося в число главных соискателей главного приза, и у ЦСКА, чья игра под руководством Валентина Николаева стала главным сюрпризом сезона. На очко отставали тбилисцы, еще на очко — киевляне. В Киеве сменился старший тренер. От услуг «Деда» отказались с той бесцеремонностью, о которой успел он за годы киевских побед позабыть. Виктор Александрович уехал в Москву — навестить семью. И здесь его нагнало сообщение украинских властей, что назад он может не возвращаться. Руководство подобрало весьма неплохого заместителя Маслову — Александра Александровича Севидова. Севидов вернет динамовцев через год на первую строчку, но перед тем провалит концовку сезона-70: в шести последних играх Киев наберет одно очко.

Льву Яшину шел сорок первый год. Но он до такой степени уверенно играл, что его заявили одним из запасных вратарей на чемпионат мира. Правда, Анзору он уже не составлял конкуренции. Анзор выступил в Мексике очень хорошо. В двух победных матчах группового турнира — с Бельгией и Сальвадором — Бышовец с обнадеживающим постоянством забивал голы, а Кавазашвили пропустил лишь один от бельгийцев. И в четвертьфинале бывший вратарь «Торпедо» (торпедовцев в национальной команде теперь не было) оставался на высоте...

Основное время закончили по нулям. А в добавочное нашим защитникам показалось, что мяч ушел за лицевую линию — мяч действительно ушел за линию, но свистка не прозвучало и следовало играть — они вскинули руки, привлекая внимание рефери, к апелляциям присоединился и Анзор в то время, как Эспарраго перебросил переданный ему из-за черты мяч через голкипера в наши ворота...

Болельщики наши снова были в трауре. Но им, как эстетам, сильно улучшил настроение Пеле. Оскорбленный варварским отношением к себе четыре года назад, он публично поклялся; что

никогда больше не придет на чемпионаты мира, где подло бьют по его бесценным ногам. И все же тридцатилетний бразилец прежде всего был спортсменом — и никакие громкие матчи не смогли бы заменить ему третьего титула чемпиона мира. К тому же Пеле осознавал, что мировые турниры никогда еще не превращались в его бенефис. И в трансляциях из Мексики на все страны мира зритель увидел не только забитые великим футболистом мячи, но и Пеле — организатора игры всей команды, умеющего и назад отойти, чтобы помочь обороне. Впрочем, и от бомбардирской репутации триумфатор, конечно, не отказался. Голы Пеле в Мексике — на загляденье и на все вкусы. Хотел он в довершение к произведенному впечатлению забить мяч из центрального круга, заметив, что вратарь далеко вышел из ворот, но удар пришелся чуть выше перекладины. Одним словом, бразильский футбольный бог продемонстрировал миру чудо самореализации. Впечатление от игры Пеле пришло в полное тождество и со спортивным результатом.

Так и не выступивший на мексиканском — четвертом для себя — чемпионате мира Лев Яшин помог «Динамо» выиграть третий послевоенный (и второй при Бескове) Кубок. Эффект его вратарского могущества в финале был чуточку смазан пропущенным издалика ударом от Хинчигашвили. Мы не знали тогда, что у Льва Ивановича не все благополучно со зрением — и дальние удары ему отражать труднее.

30 августа Яшин провел свой последний матч. И пропустил последний гол — от ЦСКА. Не зная, как завершится сезон, никто особого значения проигрышу 0:1 не придавал. В первом круге с таким же счетом победили динамовцы — почему бы удачливому в тот год армейскому клубу и не взять реванш?

На пути ЦСКА к чемпионству встал другой вратарь — новый голкипер «Торпедо» и старый знакомый Валентина Иванова — Виктор Банников. Он отбил удар Владимира Федотова с одиннадцатиметровой отметки, как шесть лет назад отбил пенальти, пробитый Кузьмой.

Тбилисцы традиционно выдохлись ближе к концу. «Спартак» сбился на ничьи, проиграл два матча. Конкурентами в борьбе за титул впервые после сезонов сороковых годов стали столичные клубы «Динамо» и ЦСКА.

...26 сентября Стрельцов провел двенадцатый в сезоне матч — против минских динамовцев в Москве. Пять лет назад игра с минчанами стала для него счастливой — он забил в ней первый после семилетнего отсутствия мяч и стал забивать в последовавших выступлениях. Но в своем одиннадцатом сезоне он в двенадцатый раз ушел с поля без гола.

38

Дочь Стрельцова Людмила рассказывает:

«Я была в пионерском лагере и уж не помню, кто мне там сказал: „А вот здесь папа твой рядом живет“. Я говорю: „Да? Тогда мы сейчас к нему пойдём“.

Нас пошло, по-моему, человек пять, целая компания. У ворот нас спросили: «Вы куда, девочки?» — «А у меня здесь папа живет». — «А кто твой папа?» — «Стрельцов».

Меня пропустили одну, и я помню, что обступили меня футболисты, все совали шоколадки, привели меня к отцу в комнату. И потом он мне какое-то кино показывал и что-то еще. В общем, целый день мы провели с ним вместе. А на следующий день он еще ко мне в пионерлагерь заезжал и привез большой кулек конфет...»

Я думаю, что для Эдуарда никакое раздвоение — даже самое естественное: между детьми от разных браков — оказывалось невозможным. Той, прежней семьи в его взрослой жизни и не было в сущности. Отношения с Аллой через переписку не наладились. И неостывшая ревность и недоверие к первой жене перенеслись на дочь, которую он толком и не видел. Новый футбол уже не до такой степени отвлекал Стрельцова от всего, как дотюремный, — потребность в своем доме осуществилась. После лагерных бараков он никогда не переставал радоваться тому ощущению защищенности, какое дала ему семейная жизнь с женой Раисой. И незаметно подрос сын — почти ровесник второй его жизни в футболе — с Игорем они дома подолгу вместе били по мячу и как минимум три люстры расколотили на Машиностроительной... И вдруг является дочь — внешне вылитый он. Является в те дни, когда он гнал от себя мысль, что карьера игрока заканчивается — и коттедж, где Людмила нашла папу, очень скоро станет для него чужим. Дочь своим приходом неожиданным и негладным — как могло такое произойти, что неожиданным и негладным? — и о возрасте напомнила, и о жизни помимо футбола, о которой столько бесконечных сезонов удавалось забыть, целиком сосредоточившись на событиях на футбольном поле, что одно только и видел — уж действительно «в беспамятстве дней забывая течение годов», как у Ахматовой. И вот футбол заканчивается, а в остальной — отложенной на время игры в мяч — жизни ничего уже не изменить.

На следующий год, когда ее папа закончил с футболом, Миле Стрельцовой исполнилось тринадцать. Она получила от отца посылку. «В ней было красивое малиновое платье, — рассказывает Мила. — Я его доносила до дыр».

39

Я в ту осень кратковременно служил в спортивно-физкультурном журнальчике на Каляевской. Руководил журналом уже упомянутый в моем повествовании поэт Николай Александрович Тарасов. При нем журнал принял неожиданно литературный уклон. В редколлегию входил Юрий Трифонов. Печатались Андрей Вознесенский и другие знаменитые писатели. Запрет существовал лишь на Евгения Евтушенко — воспитанника и друга главного редактора. Спортивный министр Сергей Павлов, чьему ведомству журнал подчинялся, не мог простить Евтушенко стихи про «румяного комсомольского вождя», каким был он в качестве секретаря ЦК ВЛКСМ.

Тарасов старался быть осторожным, но конъюнктуры все равно не улавливал. Вернее, люди, управлявшие пропагандой спорта, видели в нем чужого — и придирались буквально ко всему. Я написал для журнала вполне безобидную статью про Стрельцова, мало чем отличавшуюся от санкционированных публикаций о нем в других изданиях. И никакого шума она не вызвала. Но когда увольняли пришедшего к Тарасову заведовать футболом Аркадия Галинского, а вскоре и самого редактора, им, в частности, инкриминировав и заметку о Стрельцове — фигуре все-таки не самой желаемой в издании, выходящем под эгидой министерства спорта, относимого к идеологическому фронту.

У статьи, однако, было и нелогичное продолжение. В издательстве комсомольского ЦК «Молодая гвардия» редактор Михаил Лаврик — человек, помешанный на спорте, пьющий, грамотный, начитанный и со вкусом — организовал серию мемуаров наиболее известных спортсменов. Как исключение, в той же серии, казенно озаглавленной «Спорт и личность», издали книгу Галинского (я еще в шутку спрашивал у Аркадия Романовича: в чьей же литературной записи идет его произведение?). Книгу эту разругал печатно враг Стрельцова и Галинского — Мержанов.

Так вот Лаврик, шалея от собственной смелости или даже авантюризма, пригласил меня к себе — и, размахивая тарасовским журналом, потребовал, чтобы я немедленно принялся за литературную запись мемуаров Эдуарда Стрельцова.

Молодогвардейский гонорар вдохновлял, хотя при жалованье и частых публикациях я и так не бедствовал. Но в тридцать лет — особенно при затянувшемся детстве с ненормированными представлениями о жизни — фанаберия дороже денег. Я не без интереса читал книги из серии Лаврика, но сам их печь в качестве

литзаписчика никогда не собирався. Правда, возможность общения со Стрельцовым при условии быть ему полезным увлекла меня сразу — и мыслей о скромности поручаемой мне роли, кажется, не возникало.

Как я уже докладывал, в Мячково с определенного времени я не ездил. Отношения сохранялись с одним отставленным от дел Ворониным. Он мне и дал телефон Эдика — и, созвонившись, я приехал к нему домой. Жил он уже возле Курского вокзала, в доме, где магазин «Людмила».

Начался октябрь. Мне показалось, что Эдуард никуда не торопится, никаких отражений напряженности конца сезона в нем не чувствовалось. Лет через десять он мне признается, что переживал пренеприятнейшие времена. Что-то ему подсказываю, что ехать в Мячково ему больше не нужно. Никто его на сборы не звал. Он спросил по телефону старшего тренера: приезжать ли ему? Иванов сказал: как хочешь. И он остался дома. В неопределенности? Или все ему было ясно? Но ведь и больной, приговоренный врачами, уклоняющимися, однако, от объявления ему диагноза, он не сразу разрешал себе понять намеки, а то и вовсе не разрешал.

В последний свой сезон в футболе Стрельцов неоднократно заводил дома разговоры о том, что вот скоро закончит он играть — и тогда... Но не в драматическом контексте того, что с ним произойдет, а не выходя из бытового пространства. Говорил, допустим, что надо бы успеть выхлопотать на заводе зилковский холодильник. Ведь не дадут, когда он уйдет из команды.

Завершение спортивной карьеры неизбежно несет в себе трагическую ноту. Я не для красного словца провел параллель с безнадежным диагнозом. Закончившему со спортом предстоит — или не предстоит, что и самое-то страшное — другая жизнь. Но и в состоявшейся другой жизни никогда не испытать ничего похожего на то, что постоянно испытывал в прежней — во временной, о чем думал вроде бы непрерывно, а все равно не смог поверить. Почему и похож на смерть уход с арены.

Большому, выдающемуся, знаменитому, великому игроку расставание дается всего труднее. Вроде бы все остается при нем — слава, и почет, и место в истории, необязательно только спортивной. Но звезде спорта неоднократно удавалось совершать чудо. И он не может избавиться от чувства, что он в состоянии совершить еще одно — пусть тогда и последнее...

Эдуард Стрельцов совершил невозможное — совершил то, что никто ни до, ни после него не совершал. Лишний сезон в футболе — пустяк в сопоставлении с им же сотворенным в середине шестидесятых... Неужели за все им перенесенное судьба не подарит ему еще одной весны, одного лета, одной игры, где он свой гол забьет. Гол, о котором будут вспоминать десятилетия...

В такой, согласитесь, неподходящий момент я пришел к нему с издательским предложением.

Но в том одиночестве, какое засасывало Эдика, он мне обрадовался.

И статью в журнале, чего я никак уж не ожидал, он прочел. Только со мной соединил ее сейчас, когда увидел меня у себя дома. Обычно почти равнодушный к тому, что пишут о нем или говорят, он, вероятно, увидел хороший знак в том, что пришел к нему из редакции знакомый человек — и не все, значит, для него закончилось с футболом. Ни про какую книгу воспоминаний он не думал и даже не слышал, что Кузьма чего-то там пишет. Но даже если бы и слышал, сам бы не затеял ничего подобного. А вот втянуть себя в разговор, ни к чему не обязывающий, позволил мне, пожалуй, с облегчением. В неопределенности с футболом ему уж очень было не по себе — и предлагаемая ему любая иная неопределенность, отвлекая от той, что мучила сию минуту, могла и увлечь.

Я просидел у него тогда допоздна. Софья Фроловна возилась на кухне — и со мной была безупречно корректна. Лишь когда Стрельцов во второй раз пришел из продовольственного магазина, где посещал винный отдел, не удержалась от вопроса: «Эдик, обязательно напиваться допьяна?» Раиса, вернувшаяся со службы, не комментировала наше времяпрепровождение, а лишь выразила недоумение, почему Эдуард, если все равно спускался вниз, не сорвал для первоклассника Игоря десять желтых листьев, необходимых к завтрашней школе — детям зачем-то велели принести на урок листья.

Я предвижу замечания — и редакторские, и читательские: не слишком ли много водки льется в повествовании? Много — кто же спорит? И я бы вычеркнул из текста название напитка, способствуй такие купюры воскрешению мертвых и улучшению здоровья пишущего. С удовольствием выкинул бы слово «водка» из песни о нашем поколении. Но кто без упоминания о водке поверит в откровенность тогдашнего общения — время и порядки в нем не располагали к исповедам? А мы не так уж мало знаем друг о друге — другой коленкор: мало кому из нас это знание помогло, пригодилось.

Театральные художники используют иногда в оформлении спектакля обнажение сценической машинерии — проза изнанки обращается в условность, усиливая праздничную природу зрелища. В нашей тогдашней жизни вовсе не водка была самым горьким. И мы за нее платили осознанно всего.

Мы проговорили несколько часов подряд обо всем, что в ту минуту волновало нас — каждого, наверное, свое и по-своему. Я чувствовал готовность — может быть, и обманчивую — сесть за книгу безотлагательно. Мы, как и пять лет назад в Мячково, попали в тон

разговора, когда жизнь в такой разговор вмещается, замедляя под мысленным взором течение...

И еще футбол смотрели по телевизору. Точнее, на экран смотрел один Эдик, а я смотрел на него. С кем-то играл ЦСКА, претендовавший на первенство. Но Стрельцов — уходящая натура, игрок, не попадающий больше в ничего теперь не значащий для футбольной истории торпедовский состав — стократ был интереснее в своих реакциях на посредственное, в общем-то, исполнение игры.

За два последующих десятилетия, буднично прошедших для Эдика с того октябрьского дня, мне неоднократно приходилось видеть Стрельцова и у телевизора, и на футболе — и не переставал удивлять контраст между пусть и обманчивой статикой его на протяжении большей части матчей, в которых он участвовал, и непрерывностью движения ног, когда стоял он у подножия трибун (футбол Эдик предпочитал смотреть стоя, потому и ходил по большей части на свой стадион «Торпедо»: он там меньше обращал на себя внимание) или сидел в мягком кресле дома, стесняясь жены и сына, поначалу удивлявшихся степени соучастия мужа и отца тому, что мелькало на плоскости экрана.

Есть редкие мужчины, в чьей жизни женщины занимают огромное место, но разговоры о них, принятые в мужской среде, они не ведут никогда — и мало кто подозревает о главной их страсти.

И есть женщины (они встречаются чаще, но не всем), о ком и не подумаешь того, что привыкаешь за жизнь думать о других, но они-то...

В отношениях с футболом великий футболист Эдуард Стрельцов для меня ассоциируется отчасти и с теми, и с другими.

И в разговорах о футболе — да и не о футболе только — он бывал точно таким же, как в игре. Молчание, хмыканье могли длиться бесконечно — и вдруг: словечко, фраза, которую потом станут повторять-пересказывать и те, кто слышал сам, и те, кто слышал от других, изредка целый рассказ, если настроение подогрето. Но и слушать он умел — слушать любил больше, чем быть в центре внимания...

Тогда, в семидесятом, с книжкой стрельцовой ничего не сладилось. Как в советские времена повелось, что-то наверху отложили, отменили без объяснений, а внизу — на нашей инстанции — интерес к замыслу пропал бесследно.

Неловко было звонить Стрельцову с отбоем. Но он безразлично принял весть, ответил рассеянно: «Для меня сейчас главное — учеба».

40

Конец сезона семидесятого превратился в подобие римейка событий конца сороковых — последнего матча чемпионата сорок восьмого года, например. Финал Кубка шестьдесят седьмого — с тренерами Бесковым и Бобровым — примеряли к воспоминанию о буме сороковых. Но ни с каким финалом не сравнишь драму одного — тем более сверхпланового, дополнительного — матча, ставшего развязкой сюжета долгого сезона, в котором два знаменитейших клуба подошли к финишу ноздря в ноздю. И за успехом одного — логика эксклюзивной работы выдающегося тренера, а за скачком другого — шанс возрождения репутации, утраченной, по мнению специалистов, навсегда.

В гуле предвкушений и прогнозов незаметно завершился путь в футболе Стрельцова. Гершкович острил, что раз Эдика провожают без малейшей торжественности, то их уж, остальных то есть, в положенный час просто прогонят палкой. Михаилу больше всех, а может быть, единственному из торпедовской молодежи не хотелось, чтобы Стрельцов уходил. Он-то понимал, что теряет. Правда, не догадывался, что теряет всё. Не догадывался, что, проиграв в команде четыре сезона, превратится в последнего хранителя традиций торпедовской игры.

В футболе нет ни прошедшего, ни будущего времени — нет никакой возможности жить каким-либо, кроме сегодняшнего, днем.

Отказавшийся же от Стрельцова в надежде на перспективу строительства новой команды с новыми игроками Валентин Иванов через год потеряет свою должность. Дирекция ЗИЛа захочет реанимировать уставшего от превратностей футбольной жизни «Деда». Виктор Александрович не распознает в Гершковиче последнего из могикан — и, незаслуженно заподозрив в сплавленной игре, отчислит нужнейшего для будущего «Торпедо» игрока, обученного Стрельцовым.

...В Ташкенте мистика опрокинет логику. Фаворит проиграет. Пройрает, выигрывая с преимуществом в два мяча. Но тренерский авторитет Валентина Николаева поддержит сын Григория Ивановича Федотова — Владимир, будущий зять Бескова. Владимир приумножит славные традиции отцовского клуба, а Константиноу Ивановичу нанесет жестокий удар. К своему пятидесятилетию Бесков был в полушаге от дубля с «Динамо» — выиграй он и Кубок, и первенство, не отнять бы у него права на эксперименты, адекватные его тренерской смелости.

В Ташкенте-70, как под копирку, повторилась картина

московского финала десятилетней давности, когда победу приносила интуиция ведущего форварда, решившегося на корявый, но самый коварный эффективный на твердом поле поздней осени удар. Вратарь тбилисцев Сергей Катрикадзе потом говорил, что видел, куда Валентин Иванов метит с неудобной позиции, но угол отскока от промерзшей почвы не сумел угадать. Владимир Пильгуй, сменивший Яшина (Лев Иванович в серебристом пальто сидел на скамеечке рядом с Бесковым: начатый голкипером сезон он завершал начальником команды), к такой нервной игре еще не был готов — и винил после поражения кочку, подправившую федотовский (в стиле Иванова) выстрел...

Бесков, однако, и по сегодняшний день на зятя не в претензии, а винит во всем Маслова с Аничкиным, продавших, как он считает, игру московским картежникам, державшим мазу за ЦСКА. Но зачем тогда Валерию Маслову было забивать в армейские ворота второй мяч — не слишком ли изощренный план продажи решающего матча? Кстати, после третьего гола ЦСКА свободно мог быть забит и еще один гол — от Антоневица (сына другого известного, но не так, как Григорий Иванович, футболиста) — Пшеничников бы не парировал мяч, но выручила перекладина.

41

Насчет учебы Эдик, не особенно преувеличивал — команда дала ему стипендию в размере оклада на все время учебы в институте физкультуры (правда, Раиса называла сумму поменьше, что-то рублей сто тридцать, а платили Стрельцову официально порядка двухсот пятидесяти). И к экзаменам в его Малаховский филиал — ездить на занятия в электричке вместе с приятелями веселее — пришлось готовиться. Миша Гершкович приходил к нему домой — и они занимались. Гершкович вспоминает, что Эдик ловил все на лету, никто бы не поверил, как легко даются ему предметы, по которым экзаменовали их в Малаховке. Но сам процесс занятий Эдуарда утомлял — приходилось через определенные промежутки выходить на кухню: подкрепляться рюмкой-другой. Михаил к спиртному был равнодушен — и просто из вежливости составлял компанию старшему товарищу. А Эдик вскоре стал волноваться — звонил Раисе на службу узнать, где у нее припрятано вино. Но та проявляла несоворчивость: «Занимайтесь!» Когда пришло время провожать гостя, Стрельцов у дверей пнул ногой Игоревы валенки («Понаставили тут!») — и сюрприз: из упавшего валенка выкатилась бутылка. Но выпивать уже не захотелось...

Он вступил в бесцветность и скуку семидесятих годов без

гарантий, что станет свадебным генералом. На его ветеранские погоны ни спортивное, ни заводское начальство лишних звездочек нацеплять не торопилось. Страна со своей анкетной религией согласилась — с оговорками не напоминать ни нам, ни самому Эдуарду о его штрафном прошлом, пока он играет в футбол. Но теперь он в футбол больше не играл — и про свое место обязан был помнить. Семидесятые годы обещали стать строже — или хотя бы внешне ближе к советско-сталинским обычаям — и в национальные герои нельзя было зачислять тех, чья репутация не внушала доверия кадровикам.

По тогдашним нравам происходящее со Стрельцовым в отставке не вызвало никакого удивления. Он разделял положенную ветеранам спорта участь. Равны же перед смертью рядовые и генералы — разница в регламенте и нюансах посмертных почестей.

И то, что кажется едва ли не кощунственным из дали других времен, современниками воспринималось как должное.

Незаметно сходили послевоенные футбольные классики. Даже Федотов. Бобров растянул прощание на несколько лет тем, что был и хоккейным гением. И еще попал в масть своим существенным участием в первых для «шайбы» победах на мировых турнирах. И все равно в новые времена он поначалу входил никому — при всем к нему почтении — не нужным представителем большого стиля с архитектурными излишествами среди хрущевских пятиэтажек.

У нас каждое десятилетие по колориту беднее предыдущего. Но в шестидесятых, при всей жажде радикальности в переменах, при обольщении новыми лицами и фигурами пришедшего времени, тоска по крупным величинам, поразившим в детстве, у нас у всех оставалась. И кроме того, при известном потеплении многие из неисчерпавших себя в прежние времена (тот же Всеволод Михайлович) сумели допеть во весь голос лебединую песню — действительно о главном, а некоторые — и не без настоящего успеха, не без резонанса в будущем.

Но в семидесятые годы кварталы одинаковых домов начинали давить на психику, смех в кинокомедиях над одинаковостью жилья не спасал положение — над одинаковостью и смеялись одинаковые люди. Они же на одинаковых футболистов смотрели теперь уже, как правило, не с трибун, а в телевизионной расфасовке. И будущее представлялось неопределенным, а вспоминать о прошлом как-то не оставалось времени: жили — права была первая жена Стрельцова Алла — действительно слишком тяжело. И с огромной затратой времени и сил, чтобы и на жалком уровне удержаться.

Льва Яшина не просто проводили с неслыханными почестями. Дали всем понять, что он — не ровня прочим ветеранам. Полномочия государственного футболиста остались при нем. Его дальнейшие

жизнь и судьба приведены были в кроссвордную ясность. Поэт — Пушкин, река — Волга, футболист — Яшин...

Я, однако, ни секунды не считал и не считаю, что яшинская судьба могла быть для Эдуарда Стрельцова завидной.

В участи Льва Ивановича есть своя печаль.

В партийно-государственных ризах, даже скроенных специально для него по футбольному фасону, он оставался все в той же несвободе.

Стрельцову в этом смысле жилось намного легче. Я не раз сталкивался с тем, что в пешеходной или пассажирской толпе, не предупрежденной о возможности воочию встретиться с мифом, Эдика не узнавали. После презентации его книги мы прощались с ним излишне эмоционально на станции метро «Площадь Революции», и я опасался обратить на себя всеобщее внимание, но никто наших крепких объятий и не заметил. В зимней шапке и в очках Эдуард не вызывал любопытства трудящихся масс.

После футбольной отставки ему отмерено было прожить два десятилетия — почти столько же, сколько провел он в футболе и в заключении.

Я затруднился бы сказать определенно: быстрее или медленнее прошли для него годы в ветеранах? Без Эйнштейна с его теорией здесь не обойтись. Сюжетнее, конечно, видимая драма, чем невидимая.

Футбольный сезон вмещает в себя целую жизнь. В другом сезоне, в следующем — и жизнь совсем другая, новая.

Жизнь по футбольному календарю ассоциативно ближе всего к воинской службе в дни войны.

Жизнь вне календаря теряет очертания. Но кто может судить — насколько интенсивно происходила она внутри Стрельцова?

К мысли Льва Филатова о непременной фотогеничности видного игрока добавлю, что самые большие из футболистов выразительнее всего выглядят на снимках, сделанных в отдаленные от главных, как мы считаем, времена.

На снимках самого конца восьмидесятых в чертах стрельцовского лица скульптурно прорезались значительность, несомненная твердость, чуть ли даже не суровость человека, принявшего окончательное решение. Конечно, печать смертельной болезни на этом лице можно рассмотреть теперь, когда о ней знаешь. Но в концентрации лицевых мускулов — проступившая наружу жизнестойкость, одушевленная надолго набранным терпением...

А куда же делись всем знакомая добрая улыбка не вполне трезвого человека на раздавшемся, раскрасневшемся лице или, наоборот, ребяческая насупленность, когда бывал Эдик раздосадованным?

Может быть, жизнь, лепившая итоговый портрет, осталась для нас неизвестной? И нам довелось рассмотреть лишь то, что разрешил он нам видеть?

Рассказы о Стрельцове тех, кто последние десятилетия чаще оказывался рядом с ним, проходят обычно по юмористическому разряду. И я в своем повествовании не могу от них удержаться, чередуя свои собственные и чужие наблюдения за теми веселыми сторонами, какими предпочитал поворачиваться к нам Эдик.

Я вот теперь думаю: а не было ли в разрешении задерживаться на том комическом, что превалировало в его видимой всем жизни, в первую очередь проявления великодушия? Великодушия, возможно, и вызванного инстинктом самосохранения, не проявлявшегося во всем прочем — во всем том, где бы ему и необходимо бывало проявиться...

Людей вокруг него могло бы и рассердить особое положение, в котором он по воле обстоятельств пребывал несравнимо дольше всех, кто приближался к его рангу.

Но и не самые добрые и доброжелательные из этих людей предпочитали юмористическую оценку происходящего в их взаимоотношениях и всегдашнем, однако, недостижимом сопоставлении со Стрельцовым. Всех, похоже, устраивало, что нелепостью множества поступков в обыденной жизни он уравнивает свое превосходство над остальными. Задушив в себе комплексы, мы, вероятнее всего, утешаемся тем, как мало, если и вообще применим футбольный гений Эдуарда в быту, где стереотипность действий и поступков рентабельнее странности, которую можно простить, посмеявшись над ней...

...Прежде, чем книга мемуаров Валентина Иванова вышла отдельным изданием, журнал «Юность» напечатал фрагмент из нее — главу о Стрельцове. Это был — я имею в виду сам выбор куска для публикации — образчик смелости по-советски. Негласно запрещенный Эдик возникал на страницах одного из наиболее читаемых журналов. Но возникал в педагогической оконтуренности. В ясном изложении Евгения Рубина Валентин Иванов отдавал должное таланту Стрельцова, утверждая, что никого на поле не было сильнее его. И тут же — в продолжение мысли и развитие предпосланного фрагменту заголовка — объяснялось: но никого не было и слабее, чем Эдик, вне футбольного поля. Формулировка эффектная. И большинство устраивающая — все происшедшее со Стрельцовым становилось понятным.

Через тридцать лет Алла скажет: «Если бы я была знакома с его сыном Игорем, ему бы сказала, что замечательный у него был отец, добрый, хороший, но Иванушка-дурачок, уж извините. Ну что сделать? Таков уж русский характер...» Первая жена Стрельцова, вероятно, забыла, что Иванушка-дурачок поумнее всех остальных персонажей

сказки. И несколько сувенирная, что ли, трактовка русского характера убедить может разве что иностранцев.

И все же Алла, с Иванушкой-дурачком как аргументом, видится мне ближе к пониманию характера Эдуарда, чем его многолетний партнер, по-моему, несколько поспешивший с выводом. Предстояло двадцать лет без футбола — и они должны были ответить: кто сильнее, а кто слабее? Но это ладно — частности, придирки. А вот стоило ли говорить про слабости вне футбольного поля человека, проводшего пять лет в лагерях и себя не потерявшего для всей полноты дальнейшей жизни? Наверное, все-таки не стоило. Чтобы себя не ставить в смешное положение на будущее...

В ЗАФУТБОЛЬЕ

42

В семидесятые годы мы с Эдиком почти не встречались.

Видел, как он в Минске играл за ветеранов. Пробыл Стрельцов на поле минуты три. Потом на футболке расплылось мокрое пятно — и его заменили. Переодевшись в штатское, Эдуард сел на скамеечку за воротами — и казался мне с трибун похожим на какого-то солидного общественного деятеля. Москвичи справились и без него с белорусскими ветеранами — Гусаров отыграл пропущенный мяч.

В другой раз на бегу перебросились ненагруженными репликами на Арбатской площади — Эдик был бодр и весел, сказал, что спешит в Федерацию футбола; я не стал спрашивать: зачем?

И наконец, что помню отчетливо, присутствовали на суде над Валерием Ворониным. Дурацкая история, но когда жизнь не складывается, одна неприятность спешит сменить другую, и все могло плохо закончиться для Валеры. Хорошо вмешался муж сестры — он в КГБ работал, выручил.

На суд явились в основном торпедовцы со стажем. И мне некоторые обрадовались: вдруг я придумую какие-нибудь ходы спасения? Шурик Медакин, ушедший из «Торпедо» раньше, чем я появился в Мячково, тихо спросил у меня за спиной: а это кто? И Олег Сергеев разъяснил: «Наш писатель». До Мустафы никто никогда не называл меня писателем. И если отбросить заведомое сужение читательского электората, мне признание Сергеева было приятно.

Эдик — я впервые увидел его в очках — воспринимался кем-то вроде эксперта по вопросам юриспруденции, как человек, совершивший ходку. Мы с ним, создавая на публике важность своей интеллектуальной миссии, многозначительно обменялись прогнозами.

Воронин, возвращаясь из ВТО, заглянул в «Огонек» — не журнал, руководимый еще Софроновым, а ресторан, расположенный на первом этаже ведомственного дома, где и сейчас живут Батанов с Шустиковым. И там — в торпедовском, можно сказать, ресторане — кинул стакан в докучливого посетителя. В прежние времена любой житель страны подобным знаком внимания был бы только польщен. А в изменившейся ситуации дело дошло до суда...

Когда мы сидели в зале судебного заседания, Стрельцов обернулся и через два ряда спросил кого-то: «Кто вчера у наших забил второй? Храбростин?» Я подивился живости его интереса к происходящему с «Торпедо» — после их ухода с арены за успехами

Храбростина и других сам уже следил вполглаза или вполуха...

В то же бесславное десятилетие Эдуард попробовал работать в штабе Иванова. И невозможность использовать его на должности помощника старшего тренера превзошла все ожидания.

Второй тренер — не должность для звезды. Но для звезды вообще крайне ограничены варианты трудоустройства. И рука голода умиряет гордыню. Да и не только голод гонит людей с именами в помощники — участие в большом футболе и в амплуа поддужного поставляет адrenalина в спортивную кровь несопоставимо больше, чем самое почитаемое ветеранство, угнезденное в литерной ложе.

Работал вторым тренером Григорий Федотов — и ничего с ним в этой должности не случилось. Заболел он от горя и вскоре умер, когда отобрали у него работу в ЦСКА. Стрельцов говорил, что не может забыть, как получил Григорий Иванович в Тбилиси (они там волею футбольного календаря оказались одновременно) телеграмму насчет увольнения: «Никогда не забуду, какое лицо у него было тогда». Был поддужным и Всеволод Бобров — правда, он согласился стать вторым при Борисе Андреевиче Аркадьеве, оставаясь в имидже любимого ученика маэстро... Казалось бы, и Эдуард Анатольевич мог изобразить из себя помощника старого друга Кузьмы, ведомого им, как в давешние годы.

Но сделанная в дни их сотрудничества фотография выдает с головой и помощника, и отчаявшегося подчинить себе Эдика шефа. И в оценке сложившейся ситуации я целиком на стороне Иванова.

Стрельцов, сам того не сознавая, держится с патроном так, что и вязаная конькобежная шапочка, напыленная по-клоунски небрежно, кажется на нем полковничьей папачкой. Руководящая вальяжность в облике помощника подавила бы и габаритного тренера, а уж Валентина Козьмича, тогда еще не избавившегося от юношеской худобы, и подавно. Из снимка непонятно — вернее, понятно — кто кем руководит. Спокойное неповиновение Стрельцова способно было рассердить любого начальника больше, чем если бы проявлял он командирскую инициативу.

Когда-то в Художественном театре то ли Станиславский, то ли Немирович-Данченко, затрудняясь с определением функций одного булгаковского персонажа, остановился на соломоновом решении — обозначить саму должность фамилией замечательного сотрудника. Ничего бы лучше и для Стрельцова не придумать. Но как поступиться субординацией? Должность, поименованная стрельцовой фамилией, предполагает неограниченную самостоятельность.

Мне кажется, что Валентину Козьмичу неприятна была и предыстория назначения Эдуарда Анатольевича к нему в штаб.

...«Дед» выиграл с «Торпедо» Кубок в начале семидесятых. Но не убедил дирекцию и партком, что в шестьдесят три года сможет

вступить в автозаводскую реку (как будто в докиевской жизни Виктора Александровича миллион раз не выгоняли из команды и не возвращали обратно). И когда штаб собрали для беседы с начальством, им объявили, что для пользы дела от своих должностей освобождаются Маслов и Батанов. Борис посмотрел на Кузьму — тот пожал плечами. Иванов оставался. Но насчет того, делать ли его снова старшим тренером, видимо, некоторые сомнения у командиров производства возникали. Кое-кто из них склонялся и к Марьенко.

Стрельцов рассказывал, что его вызывали к заводским и партийным начальникам — спрашивали мнение: кого назначить? И он их уверил, что лучше Иванова никого не придумать. И они, а не Кузьма, предложили ему войти в тренерскую обойму. Но в справочниках фамилии стрельцовской в графе тренеров я, как ни искал, не нашел.

Эдик, однако, считал, что Лида Иванова испугалась, что его и старшим тренером вполне могут назначить, если у Кузьмы дела не пойдут. Я сомневаюсь в малейшей возможности такого назначения, как и в нужности самому Стрельцову быть старшим тренером.

Важнее, мне кажется, что вел он себя по-стрельцовски — и не захотел стать буфером между бывшим партнером и футболистами его команды. Профессиональный кодекс он, не спорю, нарушал. Но зато остался Стрельцовым. Чего и не требовалось доказывать.

...В последующие годы он почти каждое лето приезжал в Мячково, но оставался на той части территории, где разбивали спортивный лагерь для подопечных детей и тренеров, с ними занимавшихся. На дачу к мастерам не заглядывал. Но когда после смерти Эдика я спросил Иванова: ощутимо ли на футбольной даче отсутствие Стрельцова? — он, к моему удивлению, ответил не задумываясь: «Очень». И добавил, что когда равнодушная к реликвиям нынешняя торпедовская молодежь встречалась с Эдуардом на лесной тропинке, то смотрела на него, как на «прекрасную картину» — я дословно привожу слова Кузьмы...

43

Способности настоять на своем, умения подавлять своей волей других Стрельцов не проявлял и в занятиях с детьми.

После данной им на игру установки ученики бывало обращались к нему со встречным предложением: а может быть, Анатольевич (всех тренеров звали по имени-отчеству, а его запросто Анатольевичем), мы попробуем...

Это в нашем-то мире яростных, непримиримых амбиций, где и в дворовом футболе никто бы со старшим не посмел спорить, где на

всех этажах моментально делаешься смертельным врагом заведующего чем бы то ни было, выразив тень несогласия, где гноишь с чистой совестью хоть чуточку иначе, чем ты, мыслящего, когда сам дорвешься до власти, сопливые дети, никто из которых, кроме Сергея Шустикова (тоже, замечу, не Пеле), заметным игроком не стал, вместо того, чтобы расплакаться от счастья общения со Стрельцовым, решаются не согласиться с величайшим футболистом XX века. И величайший футболист не гневается на их своеволие, а только спрашивает: «Справитесь?» И когда не справляются, не колет никому глаза собственной правотой. А разговаривает с каждым, не скрывая своей удрученности игрой подопечных, но совершенно на равных. Спорит с ними, как спорил бы с игроками своего ранга — существуют такие игроки. Раиса недоумевала: «Все они для него Сереги, Мишки, со всеми он по-свойски».

Когда шел прием в торпедовскую школу, он никому не умел отказать. Брал в свою группу до полусотни детей, а в оправдание говорил, что лишние все равно за зиму отсеются...

Нет, был, конечно, случай, когда Анатольевич проявил себя строгим наставником. Сын Воронина Миша притворился в спортивном лагере больным, попросил освободить от тренировки, а сам с девчонками пошел в лес, прихватив винца. И тренер посчитал, что в четырнадцать лет так вести себя рановато — и позвонил отцу нарушителя, сообщив, что отправляет Михаила в Москву для исправления. У младшего Воронина был свой контраргумент — лет шесть назад до случившегося в лагере он как-то вернулся с занятий раньше времени, порадовав родителей информацией, что Эдуард Анатольевич пришел пьяный и сказал, что тренировки не будет.

Ему легко было держаться рядовым, поскольку он всегда знал, кто он, — и в скромности Эдика, о которой всегда все любившие его твердили, выражался жизненный стиль, а не робость или, тем паче, запрятанная вглубь гордыня.

Ему не по нутру было приказывать — власть над людьми ему ни в какой форме не требовалась. Вместе с тем он осознавал, что для него многое готовы сделать и без просьб — и стеснялся злоупотребить этой добровольностью.

Мы снимали на стадионе телесюжет о нем. И режиссерша попросила Эдуарда Анатольевича пересечь поле. Стрельцову неохота было вставать с места — и он попытался ее уверить, что директор никому не разрешает ходить по газону. Но когда стали записывать интервью с ним — и Эдик понял, что стрекот газонокосилки мешает звукооператору, он тут же велел выключить косилку.

Игорь Стрельцов заметил, что в занятиях с детьми совсем уж не секретом становились спартаковские пристрастия отца. В команде мальчиков шестьдесят первого года рождения, тренируемых

Эдуардом, в чести были и «стеночки» накоротке, и все прочие прибабасы, любимые в «Спартаке», чьим болельщиком не переставал быть торпедовский на все времена символ.

44

«Если написать всю правду, то мы с тобой Нобелевскую премию получим», — первое, что сказал Стрельцов, когда я снова, более чем десять лет спустя, завел беседу о книге его мемуаров.

Мне бы обрадоваться, что мы одинаково смотрим на литературу. К тому же занимаем смелую позицию — в те времена книги отечественных нобелевских лауреатов, кроме Шолохова (но я отчего-то догадывался, что Эдик не «Тихий Дон» имеет в виду), у нас в стране запрещались. Я их все равно читал, но уверенности в том, что и Эдуард прочел «Доктор Живаго», у меня не было.

Но книгу Стрельцова, работу над которой никогда не санкционировало комсомольское издательство, в начале восьмидесятых вознамерилась выпустить «Советская Россия» — издательство ЦК КПСС. И не думаю, чтобы директор издательства, относившийся к проекту без энтузиазма (ему редактор Лидия Петровна Орлова, все это затеявшая, до поры и не сообщала, что процесс пошел), обрадовался бы, услышав наш разговор о нобелевских перспективах.

И все же как литзаписчика меня не могли не интересовать литературные вкусы Эдуарда. Однажды он к чему-то заметил, что Шукшин — тоже еще не вся правда. Но по тому, что Эдик читал или смотрел по телевизору, у меня не складывалось впечатления, что правда в искусстве так уж лично ему важна.

Читать он стал гораздо больше, чем в бытность игроком. Из каждой поездки с ветеранами он привозил домой по несколько книг. Дальше я немножечко расскажу о той обстановке, в какой проходили ветеранские гастроли, — и тогда забота Стрельцова о пополнении своей библиотеки покажется еще трогательнее. Книг в семье накопилось огромное количество, сегодня в гараже они уложены в девять ящиков — и сын Игорь собирается подарить их школе, где учится внук великого футболиста Эдик. Игорь с женой детективами увлекаются, видимо, меньше, а отец собирал сплошь детективы.

Стрельцов не из тех людей, что читают в транспорте. Он должен был создать себе условия: наливал чаю в огромную, с отбитой ручкой чашку, чай пил с вареньем или лимоном, усаживался в глубокое кресло, нацеплял на нос очки...

Фильмы Эдуард любил детские или про войну, «где наши побеждают». В последние годы жизни Эдика появилось видео —

Игорь приносил ему кассеты. Как-то в разговоре со мной о своей болезни Стрельцов вертел в ладони пульт дистанционного управления и, между прочим, сказал: «На х... мне теперь видео, если я умираю?» И выключил телевизор...

Как мы работали с ним над книгой? Мне неловко делается при слове «работа», когда вспоминаю об этом. Сидели с утра на кухне — разговаривали в свое удовольствие обо всем, что в голову приходило. Иногда я больше рассказывал, чем слушал. Но и сейчас не считаю, что при таких разворотах беседы узнавал об Эдике меньше, чем когда только слушал его. Завтрак переходил в обед. До позднего вечера обычно не досиживали. При Раисе разговор не клеился — ей темы наших ежедневных бесед казались неподходящими для книги.

Мне кажется, что мемуары Стрельцова внутренне и сложились из моментов, отвлекавших нас от непосредственной над ними работы.

Я говорил, что день, намеченный нами для начала совместной работы, пришелся на панихиду по Харламову. Мы встретились у метро «Динамо» — и дошли до цезковской ограды, где уже сгрудилось множество народу. Мы двигались медленно, вместе с очередью, когда подъехал автобус с командой, мастеров. Валентин Бубукин работал вторым тренером ЦСКА — и он привез в автобусе футболистов проститься с Валерием. Стрельцов сказал: «Бубука, проведи нас...» И Валя провел нас внутрь вместе со своей командой.

Как я уже говорил, большинство спортсменов из ЦСКА явились на панихиду в мундирах. И только партнер Харламова Борис Михайлов, демонстративно надел черную вельветовую «тройку». «Борис — человек», — поощрил его вид Стрельцов.

Потом за стол-экспресс в Аэровокзале к нам подсел какой-то спортивный человек и пригласил через неделю прийти на мемориал Аничкина. Виктора уже года четыре как не было в живых. Умер тридцатипятилетний Виктор при странных обстоятельствах. По официальной версии, он зашел к отцу, плохо себя почувствовал, прилег на диван — и умер. Но тридцать пять и не для самого режимного спортсмена все-таки не срок... В тот день мы не ограничились поминанием в Аэровокзале, куда-то еще ездили, с кем-то еще выпивали. И я был уверен, что Эдик забыл про свое обещание. Но — ничего подобного. Помнил — и настоял, чтобы и я тоже побывал с ним на мемориале.

Сейчас в «Динамо» мемориал Аничкина поставлен на широкую ногу, выпускают программки, печатаются афиши, в поминальном матче участвуют известные игроки. А в начале восьмидесятых это была самодетельная затея закрытого, номерного завода, куда Виктор попал на работу по динамовской линии: у него и папа в органах серьезный пост занимал, и сестра сделалась комсоргом МВД; помню, что она моему отцу зачем-то звонила, представившись сестрой

знаменитого футболиста. По-моему, Аничкин на оборонном предприятии и месяца не потрудился — умер. Но завод что мог для памяти центрального защитника «Динамо» и сборной, то сделал.

Один из организаторов соревнований в честь Аничкина позвонил накануне Эдику и обещал прислать за ним машину — черную «Волгу», как он подчеркнул. Но в положенный час никто не заехал.

У нас вдвоем набралось пять с лишним рублей. И все же такси решили не брать. Сэкономили, а то Эдуард вдруг засомневался: а будет ли банкет? Поехали на трамвае. Вернее, на двух трамваях — без пересадки от дома Стрельцова до стадиона «Авангард», где игрался финальный матч мемориала, не добратся.

Обвыкшись в полупустом вагоне, за раскаленными жарой первых осенних дней стеклами, Эдик вспомнил, что ехать-то нам почти до родных его мест — до Перова.

Я же, оглушенный будничностью поездки с Эдуардом Стрельцовым на мало кому из московских футбольных завсегдатаев известный стадион, вспоминал тесноту не только стадионов, но и улиц перед стадионами, на которых выступал он. И представлял себе своего спутника не только на поле, но и проходящим сквозь толпу, переполнявшую подступы к трибунам, захлестнутого шумом узнавания, в который он запахивался, словно в модный плащ.

Мы молчали дорогой. Я неловко чувствовал себя от тех неотвязно выпретенных мыслей, что вот первый удар его по мячу когда-то в Перово отзовется теперь удивительным эхом, в которое, собственно говоря, мы и въезжаем на трамвае, хотя нам еще и предстояла пересадка. Мне не нравилось и то, что вместо приличествующего разговора я ушел в наблюдение за Эдиком. Я уже догадывался, что для будущей книги придется записывать не одни лишь наши беседы, но и молчание. Считать его молчание бульоном, в котором варится недосказанное, не высказанное впрямую. Я вообразил картину, как он диктует мне свое молчание...

Вслух же Эдик сказал: «Удостоверение заслуженного мастера забыл... Могут не пропустить».

Никаких контролеров мы, однако, не встретили. Мы пришли, как провинциалы, слишком уж загодя.

Присели на скамейку невысоких трибун — и стали смотреть на бегающих по гаревой дорожке школьников. Финал мемориала с участием двух заводских команд назначен был на более позднее время.

Но вот появился не заехавший за Стрельцовым организатор — и повел к директору стадиона. Директор Эдику обрадовался, сказал, что рад познакомиться с Эдуардом Анатольевичем — он, директор, давний болельщик «Торпедо». Потом его отозвали по какому-то делу. Мы снова остались одни. Вернувшись, директор сообщил, что

сотрудницы стадиона просят разрешения взглянуть на Стрельцова — и в кабинет вошли две полные дамы из бухгалтерии, как они представились. Из дальнейшего разговора выяснилось, что не такие уж они заядлые болельщицы футбола, но «кто же не знает Стрельцова»?!

Эдик принял интерес к себе женщин-бухгалтерш как должное. И ничуть не удивился высказанному директором-болельщиком сожалению, что в Перове до сих пор не разыгрывается приз Стрельцова для школьников. Рассказал, что получил откуда-то из-под Донецка письмо от ребят, пригласивших приехать посмотреть турнир, посвященный ему.

Пора было приступать к делу — устроители выразили пожелание, чтобы Эдуард сказал несколько слов и произвел первый удар по мячу. Стрельцов не стал спорить насчет первого удара, а от речи попробовал уклониться. Но мы все на него нажали, стали подсказывать возможные варианты выступления. Наши советы он отмел — и принял решение сказать, «каким Витя был товарищем».

У микрофона он невнятно и тихо скомкал две-три фразы.

А вот с первым — ритуальным — ударом получилось лучше.

Стрельцов шагнул от микрофона на траву футбольного поля. Шагнул буднично, направился к центру валкой своей походкой. Но мне показалось, что, прикоснувшись к непрестижному газону «Авангарда» подошвой обычных своих туфель, он придал открывавшейся нам картинке иное зрелищное измерение — и удар пяткой прочитался автографом на титульном листе открытой книги.

Не поверите, но на поле, где начался финал, он смотрел с интересом. По-моему, никто из сидевших с нами рядом не ожидал, что Стрельцов захочет врубиться в ничего для него не значащую ситуацию, отнесется с уважением к игре, по-любительски беспорядочной. Он смотрел, мне показалось, футбол глазами человека, убежденного, что загадки игры уравнивают в праве на нее фигуры неравнозначные. Капризы мяча в мгновение могут уравнивать возможности самых разных величин. Но, возможно, я сейчас чего-то и досочиняю... Он, может быть, просто смотрел на поле. Ему, однако, было интересно.

В конце тайма к Стрельцову подсел человек, напомнивший, что они вместе играли за команду завода «Фрезер». Бывший партнер говорил возбужденно, напористо, словно приведенные им эпизоды и названные фамилии тогдашних игроков первостепенно важны и что-то могут прояснить, изменить в жизни сегодняшнего Эдика. Эдик помнил все и всех, но эмоций никаких не проявил. Игрок «Фрезера» отошел обрадованный, еще раз убедившись в той жизненной удаче, что ему выпала, — быть в одном со Стрельцовым футболе. Футбол — и на самом деле, и в моем повествовании — людей соединяет и

разъединяет. Но подтверждение факта соединения, наверное, всегда приятно.

Партнера сменил уже неспортивного вида мужчина, попросивший автограф для сына. Этот эрудит захотел уточнить, как забит был гол Стрельцовым на Мельбурнской Олимпиаде болгарам. Стрельцов сказал, что мяч с ноги срезался — бил в один угол, попал в другой... Такая откровенность растрогала эрудита, и ему захотелось продлить разговор. Он спросил о перспективах сборной на чемпионате мира в Испании. Стрельцов ответил, что придется трудно. Уже не в состоянии откланяться мужчина задал самый глупый вопрос, какой только можно задать специалисту: об исходе играемого сегодня «Торпедо» матча против ЦСКА. Стрельцов без раздражения приподнял плечи, что не знает.

На матч своего клуба с ЦСКА он уже не рассчитывал попасть к началу, но посмотреть второй тайм по телевизору все-таки надеялся. Однако и к спортивным новостям программы «Время» Эдик в тот день не успел.

Банкет начали в кабинете директора в перерыве между таймами. И вторую половину игры нам смотреть уже не пришлось. Эдуарда ненадолго отвлекли от стола после матча — вручить приз и сфотографироваться с игроками обеих команд. И банкет помчался дальше по рельсам бесчисленных тостов.

Банкет вполне мог превратиться в чествование одного Стрельцова, а про Аничкина и забыли бы. Но нашелся человек, решительно помешавший такому повороту. Этим человеком стал сам Стрельцов.

Кое-кого из собравшихся в тесном кружке близких к Виктору людей он, возможно, знал и раньше, но не думаю, чтобы слишком хорошо. Я понял, что он любит Аничкина — и в память о нем был совершенно откровенен со всеми, кого собрало застолье.

Воспоминание разбредило, как бережат давнюю рану, важную, очевидно, для Стрельцова мысль — и после первых же рюмок он уже неудержим был в желании высказать то, что совсем не удалось ему перед микрофоном.

Папа Аничкина — плотный человек с офицерской выправкой, с внушительным слоем орденовских планок на груди — высказался в том плане, что беда спортсменов в неумеренности выпивки. В иных устах на мемориале Виктора такое замечание показалось бы вопиющей бестактностью. Но отцовская безутешность вроде бы оправдывала публичность выступления за нетрезвым столом. Кто бы предположил, что педагогические сентенции родителя вызовут столь резкие возражения Стрельцова?

Эдик разразился взволнованной речью, которая, к сожалению, никем не была зафиксирована. Поддавшийся общему настроению, я

не запомнил ее в тех подробностях, что становятся опорами для последующего пересказа. Постараюсь лишь передать суть сказанного Стрельцовым.

Эдик привел примеры естественности и противоестественности отношений, что связывают людей в большом спорте. Говорил о возможности дружбы соперников и вражды между партнерами. О корпоративности, которая, к счастью, со временем сменяет конкуренцию. И еще раз о возможностях дружбы, но и о препятствиях, разрушающих дружбу — отделивающих людей друг от друга.

Волнение разгорячившегося Стрельцова передалось всем собравшимся в кабинетике директора стадиона «Авангард». Эдуард, которого они так ждали и так рады были увидеть в парах застолья, общением с которым они сейчас гордились более всего на свете, открылся им с новой и несколько неожиданной для них стороны.

Предусмотрительно сэкономленные нами пять рублейгодились — по такой глубине разговора банкетной выпивки, конечно, не хватило.

Об иерархии в отношениях живых с мертвыми можно бы в других обстоятельствах и отдельную книгу написать. Но мертвых из этой когорты уже больше, чем живых. И наступает что-то напоминающее гармонию.

...Одним из осенних дней середины восьмидесятых я шел в сторону динамовского стадиона вместе с моим аэропортовским соседом Юрой Авруцким — и многое в приотворившемся мне, пока работал над стрельцовской книгой, представлялось интересным в последующем развитии. Казалось, что понятое около футбола продвинет меня в том, что собрался делать дальше, безотносительно к футболу.

Юрий Авруцкий играл за основной состав тренируемого Бесковым «Динамо» центра нападения. Мог стать в семидесятом чемпионом. Авруцкий был любим женской частью футбольной аудитории, удачлив у чужих ворот. Я не помнил, как завершил он карьеру игрока, но, по-моему, ее притормозили какие-то неприятности... Как сосед я знал, что послефутбольная жизнь Юры не проста, но никакой опущенности в облике не замечалось: красив, одет хорошо, оставляет впечатление физической тренированности. Я и удивился: а почему он не входит в сборную динамовских футболистов? В намечавшемся матче сборная ветеранов СССР должна была играть против тех, кто выступал за «Динамо» разных лет, разных городов и республик. «В команду Лева Яшин людей подбирал, — с улыбкой пояснил Авруцкий, — куда же мне?» Я понял, что, будучи на пятнадцать лет моложе Яшина, мой сосед по молодости чего-то не учел и не додумал в отношениях с бессменным вратарем. И вспомнил Володю Щербакова, так и не пришедшегося ни

к чьему двору после торпедовского. В начале семидесятых я был командирован на международный кинофестиваль в Ташкент — вот уж поистине вечный город контрастов — и видел, как он сыграл тайм за ярославский «Шинник», который тренировал Марьенко. Вторым браком Щербак женился на дочке сотрудницы писательской поликлиники, что неподалеку от метро «Аэропорт» — и в наших с Авруцким краях он иногда появлялся. Некоторое время он играл за команду «Мослифта». Со Стрельцовым отношения прекратились. Наверное, Раисе каким-то образом удалось Володю отвадить от дома. Пережил он Эдика ненадолго. В девяностые годы его зарезали где-то в Кунцево. Как-то видел в поликлинике сына Щербакова — вылитый отец лета шестьдесят четвертого...

Не всех из призванных в сборные страны и «Динамо» футболистов я сразу же узнавал в лицо. Скажем, смотрел на Кесарева — и не мог догадаться, кто это. Но в общем-то те, кого поставили на игру, выглядели неплохо. Миша Пасуэлло говорил мне, что у Вали Денисова — депрессия, никак из нее не выкарабкается. Но мне Денис показался боевитым, одет он был похуже, чем те, кто преуспевал и после футбола, но аккуратненько, в шляпе. Он вышел на поле в майке сборной СССР рядом со Стрельцовым. И гол единственный Валя забил. Играл в атаке у них и Никита Симонян — бежал на незагорелых, «кабинетных» ногах, но хорошие времена чем-то неуловимо напомнил. Маслаченко защищал ворота — пропустил от динамовцев два мяча и старался свести разговор в раздевалке с Гавриилом Качалиным, назначенным тренером ветеранской сборной, к шутке: «Ну, сейчас начнутся упреки, подозрения...»

Второй тайм Эдуард играть и не собирался. Стоял в иностранном кожаном пальто и беседовал с Яшиным — тоже одетым не в телогрейку. Я вообще-то и пришел на стадион потому, что сговорился встретиться со Стрельцовым. Но нарушать лермонтовский — «и звезда с звездой говорит» — расклад не хотелось. Околофутбольной публике, считавшей меня здесь лишним, полезно было бы посмотреть на меня в компании с Яшиным и Стрельцовым. Но мне предпочтительнее показалось, чтобы на публике они подольше побыли вдвоем. Теперь, когда вижу памятники каждому из них, вспоминаю не матчи, а их монументальный разговор друг с другом.

А тем временем в распорядке зрелища произошел явный прокол. На футбол приехало множество высшего начальства из КГБ и МВД. Тренер московского «Динамо» Вячеслав Соловьев прятался в укромном уголке — начальство из органов никак не могло привыкнуть, что их команда так скромно стоит в турнирной таблице. Стадион по случаю приезда генералов был оцеплен — мухе не пролететь.

Но перед самым началом второго тайма, когда тренеры уже

заняли места на своих стульях, на пустом поле Малой арены, где играли сборные, материализовался Численко — клянусь, что я, внимательнейшим образом за всем наблюдавший по роду литературных занятий, не заметил, чтобы выходил он из-под трибунных помещений. Игорь возник странной фигуркой на побуревших остатках газона. В мятом плаще, в мятых брюках, в стоптанных башмаках он — и глазом не поведя по трибуне с начальством и публикой — направился к Михаилу Иосифовичу Якушину, тренировавшему ветеранов «Динамо». Михай, как и Качалин, относился к порученным обязанностям со всей серьезностью — старики профанировать футбол не умели. Появление «Числа» перед тренером было для того совсем некстати. На трибунах послышались смешки и реплики. Острили, что Игорь встретил своего лучшего друга. Мне странным показалось, что специфически футбольный народ в припадке иронии позабыл, кому сборная Якушина конца шестидесятых обязана главными своими успехами. К чести Михаила Иосифовича, он сделал вид, что ничего странного и неуместного в поведении Численко не находит...

После игры для футболистов обеих команд устроили банкет в «Советской». И только Давид Кипиани догадался пригласить туда Игоря Леонидовича.

Численко как-то заходил к Стрельцову домой, явился без предупреждения и тоже в таком виде, что Раиса не удержалась от замечания: «Игорь, но нельзя же так опускаться...» Но пригрели, конечно. Поправил здоровье. Денег занял.

Численко был человеком щепетильным. Болельщики динамовские собрали для него около тысячи рублей, но когда Мудрик передавал ему конверт, Игорь вдруг отказался: «Не надо! Дай мне просто десяточку взаймы». Ему и должность неплохую подобрали, но для ее выполнения требовалось влезть в милицкий мундир — и «Число» предпочел стать штатским, работать в тресте по озеленению.

Встретился Стрельцову неподалеку от торпедовского стадиона в непотребном виде и Валерий Воронин. «Морда, — показывал он руками (и явно утрируя, поскольку Воронин и с испорченной внешностью оставался более узколицым, чем Эдик), — вот такая. И какие-то с ним ханыги, — возмущался Эдуард, ни разу в жизни никому не отказавший с ним выпить. — Я ему говорю, чтобы домой шел, а он отвечает, что дома ему нечего делать. Как же нечего? Супу себе разогрей, водочки замерзшей из холодильника достань, телевизор включи. Как это нечего делать дома?»

Воронин один быть не умел. Тосковал, когда не на людях. И работу ему подобрать подходящую никак не могли. В цехе у него начиналась клаустрофобия — стены давили, не успеет табельный номер повесить. В заводууправлении со скуки умирал. В детской

школе, что носит теперь его имя, тоже не смог прижиться.

А Эдик одиночество переносил спокойно. Часами мог кроссворды разгадывать. Выбирал потруднее — с географическими названиями. Обкладывал себя атласами — и терпеливо заполнял все клетки.

Он и взбрыкивал время от времени — уставая от роли идеального мужа. Недовольство женой мог выразить со стрелцовским размахом. Лиза (Зулейка) рассказывает, что появился Эдик в один из дней у нее в будке пьяней вина, в горсти зажаты Раисины побрякушки, грозился, что собирается нарочно все драгоценности пропить, пусть знает... Зулейка уговорила его все украшения у нее оставить, а ему дала денег на бутылку — и проследила, чтобы он с водкой пошел все-таки домой и там ее выпил...

Ссоры с женой он с годами переживал тяжелее; видимо, душа захотела полного спокойствия в тылу, хотя тылу стрелцовскому ничего, кажется, не грозило. Казалось, что чашу положенных ему на жизнь бед он до самого дна выпил в молодости — заслуживал теперь, чтобы жизнь на остаток дней была к нему полагосклоннее.

...Прилетели в середине восьмидесятых из Болгарии со сборной ветеранов, а назавтра опять предстояло улетать — на Урале намечались какие-то торжества, не вообразимые без футбольных знаменитостей. На аэродроме, откуда еще собирались завернуть в гости, обнаружилось, что Эдик потерял где-то сумку. Утром, когда собирался в новую дорогу, пришлось выслушать от жены укоры за всё разом. По прилете на Урал сели в карты играть, а у Стрельцова на душе кошки скребли — пошел звонить по междугородному домой. Вернулся заметно повеселевший: «Не дозвонился!»

45

Испытываю угрызения совести оттого, что, столько понаписав о «Торпедо» доивановской эры, никак не соберусь и нескольких слов сказать о команде, тренируемой Валентином Ивановым. Уступив совсем ненадолго руководство командой Салькову и собравшись пойти подучиться, он возвращен был обратно — и в истории команды стал самым долгоработающим старшим тренером.

Я очень старался быть необъективным — и продолжал относиться к «Торпедо», как к «Торпедо». Но совершенно точно знал, что приди на место Иванова другой тренер — и у меня никакого чувства к его команде не останется. Кошунственной мысли, что у кого-нибудь другого может получиться с «Торпедо» лучше, чем у Кузьмы, не возникало никогда. И готов уверить себя и других, что

главным торпедовским везением надо считать столь долгое присутствие в этом клубе Валентина Козьмича.

При Валентине Иванове «Торпедо» выступало, судя по результатам — первенство в половинном чемпионате, когда в семьдесят шестом провели два розыгрыша весной и осенью, кубки, бронзовые награды, — ничуть не хуже, чем при Маслове сороковых-пятидесятых годов, хотя меня при моем консерватизме больше впечатляли игроки из компании Пономарева.

Но даже тактично избегая всякого сравнения с неповторимостью образцов начала шестидесятого, нельзя обойти полным молчанием факт, что торпедовское в «Торпедо» семидесятых-восемидесятых и девяностых годов было напрочь утрачено.

Кто-то обидно прозвал тренера Иванова Лобановским для бедных. Перебор. Я не сомневаюсь, что наш любимый игрок в понимании сути футбольного зрелища и в самые свои успешные тренерские времена не бывал счастлив оттого, что не мог своим игрокам разрешить футбол, который единственно исповедовал. Но уж больно огорчительно велики оказывались ножницы между исповедью и проповедью.

Несколько лет назад, когда Иванов уже не работая тренером, а ходил в почетных президентах оторванного от корней лужниковско-алешинского «Торпедо» (при том, что и владелец Лужников Владимир Алешин родом из «Торпедо» времен Иванова, Стрельцова и Воронина, был у них дублером), я спросил его напрямую: не жаль ли ему самому утраченного «Торпедо»? И он ответил, не задумываясь, что жаль, конечно. И тут же категорически сказал о необратимости утраченного. Игроки, приходившие в команду при нем — тренере, в футбол, понимаемый нами, как торпедовский, и не смогли бы играть. Они могли только бежать. И тренер сделал все от него зависящее, чтобы они бежали резво и по возможности без усталости. И команда время от времени добегала до призового столба.

Те игроки, в чьих действиях главенствовала мысль, завязывающая многоходовую игру, попадали в «Торпедо» из других команд: Еськов из Ростова, Сахаров из Минска; сезон в команде провел в конце восьмидесятых Леонид Буряк... Из своих кровных выделяю только двоих — может быть, ушибленный «Торпедо» шестидесятых, я и не по чину строг — Валерия Филатова и Сергея Шустикова. Насчет чистоты кровей Сергея все понятно — известно, чей он сын. А в биографии талантливого Филатова (он и в «Спартаке» поиграл у Бескова, а теперь президент «Локомотива») для себя выделяю подробность, а многим говорящую. Своей неприкаянностью последних лет Валерий Иванович Воронин раздражающе озадачивал игроков позднейших призывов, тоже живших на Автозаводской улице. В его просьбах о спонсировании выпивки они торопились видеть

человеческое падение. Никто из них не представлял, как широк, щедр бывал Воронин, за сколько сотен многолюдных ресторанных столов было им с купеческим удовольствием заплачено, как легко относился он к деньгам — и как вправе был он ждать такого же отношения если не ко всей жизни, то хотя бы к себе от молодежи, выступающей за клуб, во многом ему обязанный своей репутацией.

И лишь «Фил» видел в нем того, кого и полагалось видеть в футболисте Воронине, как бы ни накренилась его судьба.

Воронин зашел к Филатову — и не застал того дома, но жена предложила ему переодеться во все чистое, вынесла ему мужнин костюм. В этом костюме его и нашли возле Варшавских бань. Про костюм я узнал через много лет. А про то, что с Филатовым он отношения поддерживает и Валера-младший к бедственному положению Валерия-старшего не остается безразличным, слышал от самого Воронина. И рассказывал об этом Стрельцову, когда обсуждали мы воронинские дела, — и Эдик кивнул: «Фил» — игрок». Какая вроде бы связь между тем и этим? Но Эдуард ее находил...

46

Раиса не стала скрывать, что ей книга не понравилась. Слишком много Иванова. «У тебя все время: мы с Кузьмой». У меня...

Эдуард про содержание вообще ничего не говорил. Радовался, что книга теперь есть. В толстом глянцево переплете. С портретом во всю обложку.

* * *

С портретом на обложку не обошлось без приключения. Снимок поручили фотографу издательства «Русский язык» — пожилому, культурному еврею, страшно далекому от футбола. Звали его Даниил Яковлевич Дон. Даниил Яковлевич попросил меня как специалиста поехать вместе с ним к Стрельцову.

Эдик сидел у телевизора в халате — любимой домашней одежде. Покорно надел свежую сорочку, пуловер, повязал галстук. Позировал не капризничая. Но фотографа что-то не устраивало, он оставался недоволен ракурсами. Стрельцову захотелось ему помочь — он вызвал меня на кухню и шепотом спросил: «Не налить ему грамм сто пятьдесят?» Дон в ужасе отказался. Эдик закурил — он тогда курил по две пачки в день, а то и больше, если, допустим, смотрел матч своих школьников (его невестка Марина, когда видит теперь по телевизору Романцева, вспоминает свекра Эдуарда

Анатолеевича). И Даниил Яковлевич удачно схватил момент стрельцовой улыбки, продолженной отнятой от губ сигареткой.

Я что-то не припомню рецензий на книгу, но реплики в печати на сигарету, как нечто недопустимое на обложке книги спортсмена, промелькнули. Мало того, что рассказ о жизни, по условиям издания, получился более чем адаптированным, Стрельцову и курить не полагалось...

Благодаря стрельцовой книжке и я — в первый и последний раз — испытал, что такое литературный успех. Мое участие в этой работе справедливо не афишировалось — маленьких буковок сообщения, в чьей литературной записи идет рассказ, было и не различить, но мне непрерывно звонили по телефону знакомые, малознакомые и совсем не знакомые, но решившие теперь завести со мной знакомство граждане с просьбой подарить им книжку: пятидесятитысячный тираж исчез с прилавков, по-моему, в первый же день продажи. Экземпляров восемьдесят или девяносто я раздарил — и все равно осталось немало обиженных на меня людей. В молодости — в сорок с лишним лет я считал себя по инерции молодым, как и сейчас, в шестьдесят, считаю — я был общительнее, коммуникабельнее, чем теперь. Но друзей у меня, как у Стрельцова, не было — во всяком случае, к тому времени я уже знал, что нет — приятелей с десятков набиралось, ну и десятка два-три хороших знакомых. Восьмидесяти экземпляров с лихвой должно было бы хватить. А вот не хватило...

Перед презентацией, как бы сегодня сказали, и в издательстве началась тревога, что экземпляров для дарения нет. Десять экземпляров я привез. С пачкой книг обещал приехать в «Советскую Россию» Эдик.

Организаторы презентации сомневались в ораторских возможностях Стрельцова, я большого общественного интереса не представлял — и для интеллектуального обеспечения мероприятия пригласили Андрея Петровича Старостина, который к тому же рецензировал нашу рукопись.

Однако Эдик успел приложиться к рюмке по дороге, прибыл в издательство с неаккуратно завернутым пакетом — часть экземпляров разбазарил, таксисту подарил и кому-то еще. Зато в артистичном красноречии Ираклию Андроникову почти не уступил. На долю Андрея Петровича выпала короткая реплика с места. Когда Эдуард разглагольствовал о том, что отрывать человека от футбола смертельно для этого человека, он обратился к Старостину за поддержкой: «Вот ты, Андрей Петрович, ведь умрешь, оторви тебя от футбола?» — «Я, Эдик, и так скоро умру, оставь меня в покое», — отозвался Андрей Петрович.

Редакцией поэзии в «Советской России» заведовал Феликс

Чуев. Даже в партийном издательстве он считался чересчур ортодоксальным со своим неизбыточным сталинизмом. Чуев преподнес Стрельцову книжку своих стихов с надписью: «Великому футболисту великой страны!» и альбомчик, куда вклеивал вырезки газетных статей, относящихся к Эдуарду. Я жалею, что не взял тогда альбомчик себе — пригодился бы для будущей работы. А то Стрельцов вряд ли довез его до дому. Подозреваю, что остались эти вырезки забытыми на подоконнике крошечного кафе-кондитерской неподалеку от ГУМа и сапожной будки, где теперь торгует шнурками и ваксой Зулейка.

Мы звали Андрея Петровича пойти с нами — отметить книжку. Но Старостин торопился в Малый театр — на семидесятилетие Евгения Весника...

Но мы и без Старостина справились — выпили две бутылки «Петровской». А на утро Эдик улетел в Адлер — на торпедовский предсезонный сбор. Он там должен был пройти практику в качестве слушателя Высшей школы тренеров.

47

Поступление Стрельцова в школу тренеров никакой необходимостью вызвано не было. И сам он об этом уж точно не хлопотал. Но представилась возможность — почему бы чуточку и не разнообразить свою жизнь?

Окружающие отнеслись к затее учебы на тренера иронически-сочувственно. Хорошая стипендия никому не мешала, а что там дальше будет — посмотрим. Воронин, никогда никому на моей памяти не завидовавший, не счел нужным от меня скрывать, что затею с учебой Эдика считает зряшной, но и не говорил прямо, что лучше было отдать место слушателя ему — на тот момент Стрельцов скорее выглядел положительным героем, чем он. Незадолго до начала занятий в школе тренеров я приходил к Эдуарду в его торпедовский класс: он то ли последний урок давал, то ли бумажки какие-то подписывал, а еще его в машине люди дожидались, приглашавшие подняться наверх (стадион же в низине), в шашлычную. Куда, разумеется, и поднялись. Эдик перед уходом искал в раздевалке свою вязаную шапочку — и найти не мог. А кто-то из детских тренеров, которым никакая ВШТ не светила, сказал: «Да зачем она тебе? В шляпе будешь на занятия ходить!»

В пору ВШТ Стрельцов уже не проявлял того прилежания, которое удивляло преподавателей ВТУЗа в шестьдесят третьем-шестьдесят четвертом. Домашние задания он обычно перепоручал Раисе...

Но в своей учебной группе особенно сдружился с Юрием

Севидовым, взявшимся за дело с интересом и серьезно. Севидов и сейчас, когда занялся другими делами, кажется мне прирожденным тренером. Впрочем, я и в комментаторской профессии не вижу ему равных. Мне он из наших немногочисленных аналитиков футбола представляется самым тонким. Но не поручусь — рад буду ошибиться, — что Юрий обязательно выбьется, пробьется в телезвезды. Для телевизионного муравейника он слишком уж барин. У нас таким людям ходу не дают, как правило. Надо сначала долго шестерить, юлить, а уж потом надуться, напугаться, но при этом зорко поглядывать по сторонам: никто ли не вредит, не подсиживает? И менталитет шестерки остается при внешней самоуверенности и нуворишеском хамстве. Поэтому и хотел бы очень, чтобы Юрий Александрович прославился в телеаналитическом амплуа, но не слишком верю в его скорое признание.

Я не думаю, что со Стрельцовым в школе тренеров их соединяло общее несчастье. Разные они — и судьбы, при всей грустной общности, разные. На Севидове тоже, между прочим, тюремного оттиска невооруженным взглядом не заметишь. Но его ходка в чем-то и трагичнее стрельцовой. У его возвращения в футбол не было хеппи-энда. Правда, и начала такого не было, как у Эдика. И талант, прямо скажем, иного калибра. Севидова я бы не поспешил отнести к выдающимся футболистам. В былом, конечно, контексте — сегодня отнес бы не колеблясь ни секунды. Но развернуться в приметного на долгие времена игрока Юрий мог и должен был. Такая индивидуальность, такие данные, такое понимание игры не каждый день встречаешь.

Севидов вернулся в футбол, который занимал меня гораздо меньше футбола вчерашней еще давности. Стоит у меня перед глазами острый маневр его на фланге, когда выступал он за «Кайрат». Но играл ли он в центре или на край сместился и вообще переквалифицировался из центральных нападающих в крайние — не помню.

Юрий по-школьному, по-тимуровски взял Эдика на буксир. А Эдик привычно платил за опеку видимым послушанием. В общем, в их однокашничестве Севидов олицетворял разумное начало. Что особенно забавно, учитывая, что назвать спартаковца приверженцем строгого режима можно разве что с очень большой натяжкой. И в тюрьму он попал, напомню, не за то, что не вовремя отдал книги в библиотеку...

Юрий Севидов прилетел на практику в Адлер через три дня после Стрельцова. Доложился старшему тренеру «Торпедо»: «Так-то и так-то, Валентин Козьмич, прибыл для прохождения практики». — «Тут уже один практикует», — юмористически заметил Иванов.

В номер, где они должны были жить вдвоем со Стрельцовым,

набилось человек двадцать. От прокурора города до людей вовсе не ангажированных социально. И все пили, и у каждого в руках — книжка, надписанная Эдиком. Автор в трусах сидел на одной из коек.

Практикант Севидов разогнал всю публику. Уложил Эдика спать. А оставшуюся в большом количестве выпивку рассовал со стратегическим прицелом по разным укромным местам в номере: вдруг ночью или на рассвете потребуется толкнуть сердечко...

Но выходить Эдуарда Юре — при всем его огромном опыте — до победного конца не удалось.

В одну из последовавших ночей, часа в четыре, Стрельцов разбудил однокашника: «Севид, придумай чего-нибудь». Всю спрятанную водку он давно нашел и выпил — а сейчас загибался. Просил разбудить врача, чтобы дал спирт. Или найти на улице автомат с пивом.

Юра купил за двойную цену бутылку у дворника. И когда протянул ее Эдику, тот сполз с кровати: «Севид, я буду молиться всю жизнь за тебя».

Отчет о практике Севидов написал за двоих.

Незаметно дожили и до защиты дипломов. Комиссию, принимающую защиту, возглавлял ученый, уважаемый мужик, знаменитый копьёметатель и профессор Владимир Кузнецов — муж нашей советской кинозвезды Татьяны Конюховой. Его ничьей знаменитостью было не удивить. И директор ВШТ Варюшин — кстати, игрок «Пахтакора» в том памятном финальном матче, когда Савченко забил после паса Эдика решающий гол, — занервничал, что Стрельцова нет и нет, а комиссия уже в сборе... Вопросы и ответы на них передали знатному слушателю заранее. Но не заочно же защищать диплом? И директор насел на Севидова: приведи Эдика живого или похмеленного. Директор не сгушал красок — Игорь на строгий телефонный звонок ответил, что отец «влёт». Юрий Александрович велел сыну лить на отца-дипломника холодную воду — и поехал на квартиру к Стрельцову сам. Непроспавшийся Эдик бубнил: «Пошли они с этим дипломом. Что я, тренером, что ли, буду?»

Севидов прибег к самой крайней мере.

Он сказал: «Эдик, ты людей подводишь. Они для тебя столько сделали, триста рублей стипендии платили. А теперь ты на защиту не придешь...»

Такие доводы действовали на Стрельцова безотказно. Он всегда очень переживал, когда кого-нибудь подводил, подставлял...

Вот и с тем же матчем неподалеку от Чернобыля... Он же знал, что другим, может быть, ничего и не делается, а ему, уже получившему облучение на вредных работах в заключении, добавочная доза укоротит жизнь. Так и случилось, когда стали его лечить на Каширке. И у него иллюзий насчет безопасности матча в

зараженной зоне не было. Он шутил, увидев, что Андрей Якубик после игры тщательно моет бутсы: «Этим не поможешь!» Но кто понял, что шутит он уже над новыми собственными неприятностями?

Я заговорил с ним о Чернобыле при неожиданных обстоятельствах. Горбачевские ограничения еще действовали — и мы за водкой ходили в пункт сдачи стеклотары, расположенный на фасаде стрельцовского дома. Пока обходили дом, он устал — из гипсово-белого сделался зеленым. Присели на лавочке у соседнего подъезда — до своего он не мог без передышки пройти. И я в конце рассказа об опасном матче — не удержался — спросил: а зачем за какую-то сотню было так рисковать? Не помирал же с голоду... Он поморщился от моих слов — и пробурчал: «Так ведь уважаешь их... людей».

После слов Юры Эдик поднялся, дал себя одеть соответственно парадной значимости события — и они поехали. В машине Севидов растолковал, что он должен сказать комиссии о функциях тренера: тренер должен определять состояние игроков, быть психологом... Эдуард вошел в дверь зала, где проходила защита, — и через какую-то минуту вышел оттуда довольный: «Я им сказал, что тренер должен быть психологом — и они меня сразу отпустили».

С дипломом ВШТ можно было поехать работать куда-нибудь в провинцию старшим тренером. Но и сам Эдик из Москвы никуда не рвался. И Раиса сказала: «Все равно мы этих денег не увидим — прогуляет. Пусть уж будет под боком...» И он с дипломом продолжил работать в школе «Торпедо».

Алла рассказывает: «...Милашка собралась замуж, и у меня какие-то деньги случайно подошли: и страховка, и ссуду дали долгосрочную, и отпуск один и второй. В общем, у меня откуда ни возмись деньги, а купить нечего, ребенка одеть не во что. Думаю, ну что же это, хоть раз надо ему позвонить. И позвонила. На Раису Михайловну наткнулась, говорю, мне бы поговорить с Эдуардом. Видно, он был хорош, она говорит: „А что вы хотите?“ Я говорю, у меня дочь замуж выходит, деньги-то есть, мне ничего не надо, но вот, может быть, что-нибудь достать может? У него какой-то круг есть. „Да что он может? — говорит она. — Это я вот могу, и я для вашей дочки сделаю, пусть она ко мне приезжает“. Милка с будущим мужем поехали к ней в ЦУМ, и она ее прекрасно одела. И шубку ей французскую, и сапожки, и два платья, и под кожу какой-то пиджак. Спасибо большое».

48

Ничего бы не случилось страшною — стань ветеранские матчи своего рода аналогом Музея восковых фигур мадам Тюссо.

Но мы не любопытны, мы так и живем с не поставленным, не привитым по-настоящему за столько лет футбольным вкусом, да и бедны — способны платить лишь за результат.

Правда, и в самих ветеранах долгие всего не угасает соревновательный дух — и выход наружу ему требуется.

В те давние времена начала ветеранских матчей и гастролей звезд по стране про законы шоу никто у нас не слышал. Но пока таланты были у нас в бесхозно неучтенном множестве, кое до чего и своим умом доходили. Шоу, пришедшие к нам из-за рубежа, просто умело (или неумело) оформили, привели в систему то, что возникало спонтанно.

На меня — если говорить искренне, а не из вежливости и почтения к мифу — ветеранский матч произвел впечатление лишь однажды — году, если память не изменяет, в пятьдесят седьмом.

В Москве на «Динамо» играли сборные ветеранов Москвы и Киева. Матч, как показалось мне, отличался богатым подтекстом. Ветераны в сущности были молоды — и футбол в их исполнении казался не замедленным, а укрупненным сниженным темпом для лучшего рассмотрения. Продолжалось соперничество и внутри столичной ветеранской команды. За Москву выступали динамовцы и армейцы. Во втором тайме Трофимов с Бесковым сменили Гринина с Николаевым — и радовались, когда им говорили, что сыграли они лучше коллег из ЦСКА, из ЦДКА, вернее.

Но первым номером все равно прошли Бобров с Федотовым. Григорий Иванович незадолго до смерти своей в сорок один год забил красивейший гол в федотовском стиле — с плавного разворота в девятку. Забил — к пущему восторгу ценителей — с бобровской подачи...

Вчерашний день не стал еще историей — публика не успела свыкнуться с неизбежным расставанием с главными величинами. А то, что превратилось в историю, продолжало живо волновать.

Но дальше действие и зрелище постепенно перенесли в провинцию — большую глубину — и многосерийность ожившей кинохроники закрутилась безостановочно.

Для сошедших знаменитостей выступления за ветеранов превратились в самый верняковый и веселый заработок. В продление образа жизни, в самоутверждение и необходимое для присутствия духа общение. Пребывание на людях, ими восторгавшихся, искупало

ветеранам ту безнадёгу, в какую большинству из них приходилось впадать в буднях московского быта.

Выступление за ветеранов становилось для тех из них, кто помоложе, исполнением и неосуществленной некогда футбольной мечты — сыграть вместе с теми, кого в детстве брали за образец. И с умом укомплектованная команда могла служить учебником футбольной истории.

Нравы в поездках царили свободные, хотя блюстители принятой строгости общественного поведения — Игорь Нетто, Никита Симонян, в меньшей степени Сергей Сальников — мешали совсем уж развернуться банкетным запевалам. Но генералы, тяготевшие к морали, кроме Сергея Сергеевича, вскоре перестали ездить регулярно — заняли посты, не позволявшие срываться с места то и дело.

Не захотел участвовать в поездках по стране с ветеранами и Яшин. Лев Иванович говорил, что наигрался в футбол под завязку, — и новых приключений не хочет. Но вратарю и труднее поддерживать репутацию. Часто пропускающий голы Яшин разрушал миф о себе. И, конечно, особое положение все-таки сделало Льва и менее коммуникабельным — представить его себе участвующим в проказах, в которых на выездах озорные ветераны не считали нужным себе отказывать, было уже невозможно.

Словом, фигурой № 1, гастролером, гарантирующим постоянные аншлаги, стал начиная со второй половины семидесятых годов Эдуард Анатольевич.

Без Стрельцова администраторы на серьезные гастроли и не решались.

Публика в некоторых городах выходила на улицы с плакатом: «Даешь Стрельцова!» И сам он — при всей уютно проклюнувшейся в нем домашности — полюбил поездки. Ездил и совсем больным, когда просили-умоляли только выйти на поле в трусах и майке...

Севидову показалось, что к работе в школе с детьми он поостыл, удостоверившись, что из Игоря большого игрока не выйдет. Интересно, что бабушка Софья Фроловна, разочек посмотрев, как внук играет, незамедлительно пришла к выводу, что он по стопам отца не пойдет. Раису футбольная будущность сына волновала постольку-поскольку. Она, конечно, спрашивала Эдуарда, когда приезжал он с мальчишеских матчей: «Ну как?» Папа, по словам Игоря, махнет рукой — и воздержится от комментариев. Но примириться с мыслью, что сын игроком не станет, Стрельцов не мог довольно долго. Мне он как-то на мой вопрос о будущем Игоря ответил, что рано еще говорить — надо подождать лет до двадцати пяти, не все созревают рано. Сын поиграл и за торпедовский дубль — я видел гол, лихо забитый им резервистам «Спартак». Ездил он и за

провинциальный клуб играть...

В апээновском архиве осталась фотография, сделанная Димой Донским: на трибуне лужниковской — маленькие сыновья Стрельцова, Иванова и Воронина. Игорь, Валя и Миша. У всех троих находили способности, но и судьбы Володи Федотова никто из них не повторил. До команды мастеров дошел только Валя Иванов-младший, но что-то там тоже не задалось; по словам Валентина Козьмича, начальники не советовали ему ставить сына в основной состав. Зато Валентин Валентинович вырос в судью международной категории. Миша после всяческих метаний стал во главе Фонда Воронина. Игорь Стрельцов — капитан милиции. В милицию его сосватал Михаил Гершкович, когда руководил футбольными командами «Динамо». Неисповедимы пути Господни.

Севидову Эдик самокритично сказал в минуту откровенности, что не может считать себя детским тренером, раз из сына футболиста не смог сделать.

В поездках по стране рядом с Эдуардом всегда оказывался человек, на которого он мог во всех своих беспутствах положиться. Причем опекун не должен был быть трезвенником и монахом, но должен был знать меру, чтобы обязательно подстраховать Стрельцова. В команде торпедовских ветеранов таким «ангелом»-хранителем становился Георгий Янец. В сборной — Юрий Севидов, когда не тренировал команды, а ездил с ветеранами. Но Раиса всего спокойнее себя чувствовала, когда жизнью мужа в разъездах руководил динамовец Эдуард Мудрик. И Стрельцов любил везде бывать с Мудриком — свято верил во всеисилие выданной тому МВД ксивы. Вот, кстати, о парадоксах советской действительности — человек из семьи репрессированных продвигался в динамовской системе беспрепятственно и пользовался абсолютным доверием начальства из строжайших ведомств.

Мудрик очень любил теску. И даже не самым красивым эпизодам, случавшимся с Анатольевичем на выезде, придавал романтическое толкование. Скажем, живут они в люксе; загулявший с комсомольскими работниками Стрельцов отдыхает в дальних покаях — и вдруг динамовскому другу кажется, что у спящего выросли на лысой голове черные волосы, в брюнета превратился. Оказалось, что мухи облепили потную лысину — дело происходило в Молдавии, в жару. И что же на это Мудрик сказал? Русскому медведю лень даже мух от себя отогнать — богатый сон.

На гастроли с футболистами по Молдавии поехал Евгений Александрович Евтушенко.

У Евгения Александровича была своя заветная мечта — сыграть вратарем за команду мастеров. Он когда-то экзаменовался у Якушина — и говорят, что выдержал экзамен, но почему-то предпочел в юности

футболу гуманитарную деятельность. И вот по прошествии лет захотелось наверстать упущенное. В престижные ворота поэта так и не поставили — держали в запасе. Но на банкетах одной всемирной звездой стало больше.

На гулянке у виноделов директор поставил на стол, за которым сидели главные футболисты вместе с Евтушенко, графин драгоценного французского коньяка. И к ужасу винодела коньяк этот выхлестали стаканами. Директор, забыв про величие гостей, стал их отчитывать за преступную простоту нравов. Евтушенко с некоторым опозданием присоединился к нему, подтвердив, что такой коньяк надо целовать, греть в бокале ладонью, дуть на него с осторожностью перед тем, как пригубить... Рассказ заинтересовал Стрельцова — ему захотелось лучше распробовать ненароком проглоченный напиток. И они с Мудриком двинулись вслед за покинувшим собрание директором. Стрельцову директор, разочаровавшийся было в футболистах, не сумел отказать — завел к себе в кабинет, вынул из сейфа другой графин и разрешил выпить, не выходя, однако, из комнаты...

За столом продолжавшегося до петухов банкета Евгений Александрович рассказал и кое-что, относящееся к поездке в Чили, где он был одновременно с футболистами сборной СССР. Не подтвердив во всех деталях стрельцовское воспоминание о том, как у него не хватило денег на премию за голы, забитые центрфорвардом сборной, он задержался на другом эпизоде этой латиноамериканской эпопеи.

Евтушенко позвонил в номер отеля шеф тайной полиции Чили, их Андропов, как перевел мне Мудрик, и настоятельно посоветовал подъехать в бордель мадам такой-то. Предупредил, что находившимся там футболистам грозит неприятность — вряд ли они смогут расплатиться по счету. Они сделали заказ, сообразуясь с теми ценами на выпивку, какие существовали в магазинах. В борделе же существовала значительная наценка. Евгений Александрович сказал полицейскому, что у него нет наличных денег. Местный Андропов порекомендовал воспользоваться кредитной карточкой...

Короче говоря, честь советского спорта была спасена. Фамилий заседавших в борделе господ футболистов Евтушенко и в Молдавии из конспирации не назвал. По ухмылке Стрельцова Мудрик не понял: был ли тот среди спасенных автором забытого к тому времени рассказа «Третья Мещанская»?

Или бенефис Яшина.

Решили провести в Туле представительный ветеранский матч — и денег никому из игроков не брать, весь сбор отдать Леве.

Участие, Стрельцова в таком матче само собой разумелось. Но загодя предупрежденный, он, по обыкновению, чего-то перепутал — и

накануне поездки в город оружейников переусердствовал в каких-то гостях. И Раиса с Мудриком по всей квартире собирали ему вещи в сумку — сам футболист (между прочим, прозвище Эдуарду ветераны придумывали исчерпывающее — Сам: почтение в нем маскировалось иронией, а ирония — почтением) ни о чем не позаботился: ни о трусах, ни о гетрах, ни о бутсах. Внизу у подъезда двух Эдиков ждал Валерий Маслов с приятелем-официантом какого-то ресторана.

Не успели выехать за черту Москвы, как увидевший сельпо Стрельцов потребовал остановки — так рано вином торговать не разрешалось, но страждущий надеялся на эмвэдэшное удостоверение Мудрика. Замок на дверях он не углядел.

На следующем сельпо тоже висел замок. Маслов не выдержал страданий товарища, но для порядка прикинулся непонимающим: «Ты что, Эдик, выпить хочешь? У меня есть — жена завернула. Но давай только до леска доедем, там остановимся...» При виде первых же трех сосен Стрельцов воскликнул: «Все, Масло, лес!»

Стрельцов вышел на поле в полном порядке — порадовал бенефицианта. На банкет оставаться центрфорвард не пожелал: «Мне полегче стало, не стоит заводиться — поехали, Масло!» Но на темном шоссе человека, проявившего характер, посетили сомнения: правильно ли он сделал, отказавшись выпить рюмку за здоровье Левы? К счастью, дорожный буфет Маслова не совсем опустел. И теперь повеселевший Эдик с нетерпением ждал прибытия в Москву — надо было успеть до закрытия магазинов. Валерий сделал вид, что не заметил сделанного ему знака — и они промчались мимо еще не закрытой торговой точки. Подвез Стрельцова прямо к парадному его дома. Но домой никто не торопился. Эдик-старший (Мудрик на год моложе Стрельцова) попросил карандаш и бумагу — и командировал попутчика-официанта с запиской к мясникам за кулисы прекратившего торговлю напитками родного магазина. Подателю письма со стрельцовским автографом без проволочек продали две бутылки водки. Домой Эдуард Анатольевич поднялся в том виде, в каком и ожидали его увидеть после банкета по случаю бенефиса Левы Яшина.

Не выдержал и проявивший чудеса стойкости водитель Маслов. Возле Часового завода он притормозил — и предложил Мудрику зайти в мало кому известное питейное заведение, напичканное кагэбэшной аппаратурой, о чем напомнил одноклубнику Эдик-младший. «Мы лишнего болтать не будем, выпьем коньяку, — заверил Валерий, — а три километра до Покровского-Стрешнево я уж как-нибудь доеду».

За этими веселыми историями (типа: администратора Полякова Стрельцов спрашивает: «Мне раздеваться?» — «Обязательно». — «А играть буду?» — «Ни в коем случае»; или севидовский рассказ, как Эдик, пробудившись поутру, спрашивает: «Был ли вчера матч?» — «Был!» — «А я играл?») можно, как за деревьями леса, не увидеть

Стрельцова — футболиста, на которого и стекался посмотреть народ.

Но вот серьезный парень Евгений Ловчев — игрок № 1 сезона семьдесят второго года и к тому же непьющий (за всю жизнь — два бокала шампанского на свадьбе) — в своих устных ветеранских мемуарах упор делает на ощущения от партнерства со Стрельцовым только на поле: «Не успеешь открыться — мяч уже у тебя». Ловчеву и в мемориальных матчах интереснее всего Эдуард — игрок. И у самого Эдуарда юмор проецировался чаще на происходившее в игре, а не в гостиничных номерах и коридорах. В Германию он ездил в составе, где преобладали киевляне — Блохин и другие. В киевском «Динамо» Стрельцов выделял «умницу Веремеева». К другим относился прохладнее — их игра была ему не близка. И про матч с немцами он рассказывал, выделяя разногласия: «Я им говорил, что для их передач мне нужно лестницу подставлять...»

И все же вряд ли есть резон в академическом ключе рассматривать стрельцовский футбол в его чисто ветеранском варианте.

Мне кажется, что, вспоминая гастроли по стране, лучше сказать о даре общения, проявленном Эдиком. Да, тоже даре, при том, что в общепринятом понимании он далеко не всегда казался общительным. В том смысле, что сам Стрельцов в обществе не очень и нуждался. Но в общении никому не отказывал. На протяжении своего рассказа я давал слово тем, кто видел в открытости и безотказности желанию свести с ним компанию причину преследовавших Стрельцова бед. Но всенародный интерес к нему — в чем-то и оборотная сторона удручавшей многих особенности Эдика.

Он оправдывал надежды всех, кто хотел с ним познакомиться. Он сполна отвечал представлениям о себе всех тех, кто видел его на поле — и разглядел в нем своего человека. Разглядел, может быть, самого себя в несказанно улучшенном варианте. Он оправдывал ожидания и тех, кто знал историю его жизни. В стране, где тюрьмы не избежал едва ли не каждый третий, Стрельцов, потянувший срок, но все равно свое себе вернувший, и с меньшим футбольным талантом претендовал бы на признание национального героя.

Среди тех, кто обступал Эдуарда после матчей ветеранов, обязательно преобладали бывшие зеки. И девять из десяти утверждали, что сидели с Эдиком вместе в лагерях. И он ни от кого не отрекался, не желая огорчать — делал вид, что припомнил, узнал того, кто набивался ему в тюремные земели.

Мудрик и сейчас содрогаются, вспоминая, как согласился он поехать за сорок километров от Бухары вместе с пригласившими Стрельцова господами, уверившими, что делили с ним нары. Приехали в какое-то дикое селение, откуда и не чаяли вернуться, озираясь на населявший его криминальный контингент: кто бы и

догадался там искать пропавших футболистов? И ничего же — попили, поговорили, повспоминали небывшее...

И мог ли Эдуард Стрельцов в русле положенной ему судьбы миновать Чернобыль? Что, скажите, обошло стороной его на коротком веку? Война? Она не убила отца Эдика, но из семьи увела. Суму с послевоенным голодом он узнал. Тюрьму в якобы оттепельные времена — по полной программе...

Ехали на матч — шел восемьдесят седьмой год — мимо мертвых садов. Поле, на котором играли, находилось от Чернобыля километрах в двадцати. Людям, оставшимся здесь жить, платили добавочные пятнадцать рублей — гробовых, как по-черному острили. Посмотреть игру сборной СССР (Пшеничников, Гусаров, Шустиков...) народу собралось достаточно. Но, вспоминает Севидов, казалось, что никого на трибунах нет, так тихо смотрели местные жители футбол. И после матча в тех, кто подошел к футболистам, угнетала полная подавленность эмоций.

49

Алла рассказывает: «Я Эдика и видела иногда, но видела в таком виде, что, думаю, он не захотел бы, чтобы я его видела таким. И я проходила мимо...» Вот такая история, нравится она вам или нет...

«... ДО КЛАДБИЩА НЕ ДОЙДЕШЬ»

50

Перед каким-то праздником в самом конце восьмидесятых, чуть ли не перед Новым годом, Эдик позвонил мне по телефону — поздравить. Единственный за все времена нашего знакомства и общей работы раз. У нас и не было заведено, чтобы звонить без дела. У нас были деловые отношения, просто мы их умели разнообразить — и превращали иногда трудовые будни в затяжной праздник. Стрельцов, когда хотел быть деловым, выглядел, конечно, своеобразно.

Однажды он разыскал меня в писательском Доме творчества — и упрекал, что я вот куда-то запропал, а пришел из Ташкента (снова Ташкент, что же это за наваждение?) договор на перевод мемуаров на узбекский язык. И надо этот договор поскорее подписать. Я знал, что ни в каком договоре не фигурирую, остаюсь за кадром — и для юристов и бухгалтерии требуется одна подпись Стрельцова. Я сказал в телефонную трубку: «Ну прочти, что они там пишут?» — «Они так и пишут: Саша Нилин должен...» — «Ты по бумаге читаешь или сам сочиняешь?» — «По бумаге, но я без очков не вижу...»

В поздравительном звонке мне не понравился его голос — хриплый, как будто Высоцкий звонит. Но говорил он весело, с той ласковостью обращения, какая бывала у него, когда выпивши.

Потом мы встретились в динамовском Дворце на улице Лавочкина. Там проводили шоу с участием спортсменов, актеров и различных деятелей искусства. Чего-то со сцены угадывали-отгадывали. Мне поручили два номера — с Владиславом Третьяком и со Стрельцовым. Иванов с Лидой тоже пришли, но сидели в зале — на сцену не поднимались.

В толпе почетных гостей к нам привязался какой-то седой человек и восклицал: «Вы посмотрите! Мы с Валентином Козьмичом — ровесники. Но как выгляжу я — и как сохранился в неприкосновенности он!» — «Жена молодая!» — подарил реплику знаменитый штангист Воробьев. «Спасибо, Аркадий Иванович!» — поблагодарила Лида.

За кулисами расставили столы с огромным количеством бутербродов с дорогой колбасой разных сортов — в магазинах той поры, напомним, ничего на прилавках не было, — с пирожными, конфетами, фруктами, сладкой водой. Но выпивки не было совсем. Никто этому не удивлялся — Горбачев оставался у власти, хотя с тем,

что алкогольная кампания провалилась, он, похоже, сам уже соглашался.

Стрельцов пришел, когда до начала шоу оставалось минут десять. Бледность его лица сразу показалась мне нездоровой. По той решительности, с какой оставил он спутников — известных футболистов и куда-то потащил меня в глубь закулисья, я предположил, что Эдик бледный с похмелья — и есть у него какой-то план. Так оно и было. В помещении, где почему-то оказалась дверь, ведущая на обыкновенную кухню, Стрельцова встретили обрадованные его приходом женщины. И одна из них завела нас на эту самую кухню с газовой плитой. И вытащила откуда-то — не из холодильника — бутылку коньяку и чашечки. «Разлей, Санюля!» — сказал Эдик. Я стал открывать бутылку. Но тут вместе с женщиной, чей коньяк, подошел к нам солидный господин. Его нам — точнее, Стрельцову — представили как спонсора шоу. Я предупредительно налил дефицитного напитка и спонсору. Он, когда чокнулись и выпили, сказал, что не может забыть про гол, забитый Эдуардом Анатольевичем в Тирасполе. «А я в Тирасполе никогда и не играл», — огоршил любителя футбола Эдик. Коньяк еще не был допит — и я шепнул Стрельцову на ухо: «Тебе трудно сказать, что был?» Он меня понял — и спохватился: «Ну, может быть, играли не на первенство Союза, тогда может быть...» Всем нам сделалось легче на душе. Спонсор извинился занятостью — и оставил нас с коньяком. Мы еще немножечко выпили, но, как люди хорошего воспитания, оставили грамм сто двадцать в бутылке. О чем Эдуард пожалел, не успели отойти мы от кухни и десяти шагов. Но не возвращаться же, правда?

Собственно на шоу Стрельцов не остался — с началом затянули, а он опаздывал на поезд в Горький, еще не переименованный обратно в Нижний Новгород.

...Я не был на похоронах Яшина. Но от тех, кто приходил попрощаться со Львом Ивановичем, слышал, что Эдуард Стрельцов приходил на панихиду из больницы, вид у него был ужасающий — и о том, что и у него рак, шептались по всем углам.

Я узнал, что он на Каширке, — и собрался к нему. Но Раиса сказала, что на выходные Игорь привозит его домой. Я и забыл, что у них снова есть машина. В свое время Раиса тотчас же продала автомобиль, как только, возвращаясь из ЦУМа после работы, застала мужа спящим на газоне возле подъезда — Эдика хватило на то, чтобы мастерски припарковать машину, но уж подняться на одиннадцатый этаж он был не в состоянии. Но когда Игорь поступил в институт — Центральный институт физкультуры, как с выражением и уважением произнес, говоря мне об этом, счастливый отец, получавший образование в Малаховке, — Эдуард счел необходимым опять обзавестись машиной, поскольку в семье вырос еще один водитель. В

те времена и для Стрельцова приобретение автомашины превращалось в трудноразрешимую проблему. Он долго надеялся на благоволение зиловского начальства. Пришла на помощь Раисина сестра — очередь Надежды за шестыми «жигулями» на ее предприятии подошла, и она оформила родственнику доверенность. Но в конце жизни появилась все-таки у Эдуарда и «восьмерка» — и на ней Игорь возил отца из больницы и в больницу.

Я застал Эдика заметно исхудавшим. (Надежда говорит, что похудел он на несколько размеров, с пятьдесят восьмого до пятидесяти второго, а Игорь, вспоминая, как они в старое время не могли вдвоем с матерью на кровать папу переложить — одна его нога казалась сыну неподъемной, — теперь мог отца на руках носить.) Но в первый момент не показался он мне безнадежно больным. При том, что Эдик с места в карьер сказал, заговорив про яшинские похороны, что, подойдя к гробу, непроизвольно подумал: ну вот и я залевой следующим.

Яшин болел долго — и в своей грозной продолжительности болезнь его, разветвляясь, все усиливалась. Ампутация ноги почти не повлияла на привычное нам за столько лет впечатление от образа и облика первого вратаря. Лев Иванович и на протезе ни у кого не вызывал инвалидской жалости. Яшин выглядел воином, потерявшим ногу в знаменитом сражении. Так оно и было — развивавшиеся в спортсмене болезни так или иначе оказывались следствием сверхдолгой футбольной карьеры.

То, что теперь Яшин передвигался на протезе, ни в ком не вызывало мысли, что круг деятельности Льва будет ограничен. Но все очевиднее становилось, что места в действующей футбольной жизни ему не найдено. Ни возраст, ни болезни не освобождали лучшего в истории вратаря от необходимости оставаться и дальше в раме парадного портрета — и тяжелый багет этой рамы давит на Льва Ивановича в будни, мешая справляться с заботами, в которых Яшин приравнивался к прочим. Не думаю, чтобы он совсем уж бедствовал в материальном отношении. Офицерская аттестация в солидном чине (хотя какой чин мог сопрягаться с величием заслуженного имени?), должность, постепенно теряющая практическое очертание функций... Ни на что Яшин не влиял, регулярно представлятельствуя где-либо. Такая жизнь, вынуждая без нужды быть все время на виду, еще больше закрепощала Льва, лишая всякой инициативы в распоряжении своей жизнью и в возможности ее улучшения. Рискну предположить, что и развитию болезней он обязан в равной степени и футболу, и тому, как протекала его жизнь после футбола.

Время от времени в кругу посвященных возникали разговоры об ухудшении Левиного состояния, которое может привести к ампутации и второй ноги. Но прогресс другого заболевания развернул недуг в

другую сторону.

Угасание началось сразу после пышно отпразднованного шестидесятилетия. Праздник Яшина стал одним из последних советских праздников. И время, пощадившее репутацию великого вратаря, омрачило остаток жизни Льва Ивановича недостойной гримасой происходящего со страной. Чуть ли не год тянулась отвратительная комедия с присвоением Льву Яшину золотой звезды героя социалистического труда. Сомнений в том, что он-то в самом большом смысле — герой этого, оцениваемого, как крепостной, труда, ни у кого не возникало. Но с вручением постыдно-издевательски тянули — и достаточно комическому в общественном сознании начальнику Рафику Нишанову пришлось ехать с наградной коробочкой и дипломом к Яшину домой, в Чапаевский переулок. Дотянули до ситуации, когда герою мучительно трудным оказалось надеть на себя выходной костюм. Звезду прицепили к пиджаку страдальца, чьих дней на этом свете совсем уж не оставалось.

...Игорь Стрельцов говорит, что болезнь отца, выражавшаяся сначала в постоянных воспалениях легких, приобрела зримо опасные черты, может быть, в середине восьмидесятых, когда ему пришлось обращаться к врачам с ушибом в области пятого ребра. Он неудачно упал, когда играл в футбол с детьми — и один ребенок неловко под него подкатился, а Эдуард, чтобы не зашибить его тяжестью своего тела, сумел кувыркнуться в другую сторону, приземлившись на левый бок.

Игорь вспоминает, что тогда и был сделан, как он выразился, отщип, не понравившийся онкологам. Но то ли повторных анализов не сделали, то ли не подтвердилось подозрение. Что-то, в общем, по медицинскому недосмотру прошляпили — и лечили потом запущенную болезнь.

После первого же обстоятельного разговора с врачами на Каширке Раиса вернулась в слезах — узнала диагноз. От нее не скрыли, что жить мужу остается месяца три.

Каширка началась осенью восемьдесят девятого — и с короткими перерывами продолжалась до июля девяностого.

Чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь Эдуарда от мыслей о скором конце, высказываемых им прямо, — позже я слышал и читал, что Стрельцов не верил в смертельный исход болезни и говорил, что вот-вот вернется из больницы домой, но это он просто мечтал умереть дома, иллюзий у него не было — я придумал расширение и дополнение вышедшей книги. Никаких издательских предложений и договоров я предъявить не мог. Но ему и не нужны были ничьи гарантии — ему просто надоело оставаться наедине со своими мыслями, и мои мечты о возможном переиздании книги его развлекали. Единственное, на чем он настаивал, — разговаривать о

ней дома, а не на Каширке.

Разговоры о смерти, которых он не боялся — жаловался, что чувствует, как от него пахнет мертвечиной, — ничего не меняли в давно установившемся характере наших отношений. Я не старался говорить ему что-то в утешение, зная, что не примет он моих утешений. Но быть со Стрельцовым неискренним я бы не согласился.

И мы интуитивно пришли к единственно, наверное, возможному на время встреч согласию. К тому, что неизбежное слишком велико, чтобы вмещаться в суету заведенных между нами разговоров. Но эта суета и уведет нас на неопределенное время от темы. И смерть превратилась в наших беседах вроде бы в ту данность, которую и стороной не обойдешь, но и вспоминать поминутно какой же теперь смысл... Смерть незаметно ушла в подтекст ничего не значащих, как вчера еще казалось, слов — слов, противоречащих обыденностью тона тому, чего не миновать.

При одной из наших последних встреч он много выпил, ничем не закусывая, — и барахтался в полудреме, полубреду, из которых вдруг вынырнул, спросив безотносительно к предыдущему бормотанию: «Одного не пойму... за что меня посадили?»

В середине мая я уезжал на два с половиной месяца в Ялту, где вплотную и собирался заняться новой редакцией книги. Эдуард, когда я зашел к нему попрощаться, спохватился вдруг, что в доме нет не только рекомендованного ему врачами красного вина, выгоняющего, как понял Стрельцов, из организма радиацию, но и никакой выпивки вообще...

Антиалкогольный абсурд продолжался — и в чужом (в его то есть) районе я ничем не мог ему помочь. Кто поверит, если я скажу, что пришел за водкой для Стрельцова? Но записки мясникам он почему-то писать не захотел — сказал, что ходим вместе — и не к мясникам, а есть другое место.

И он начал одеваться.

Рубашку, вельветовые брюки, башмаки он натягивал на себя не меньше получаса. Потом, не вставая с табурета, он зажмурил от усталости глаза — и, не размыкая век, попросил меня дотянуться до верха шкафа: «Возьми деньги!» На шкафу лежала зеленая пачечка пятидесятирублевков — заначка умирающего от жены — деньги, скорее всего заработанные Стрельцовым последним в его жизни выходом на поле. А может быть, и нет — просто деньги, полученные по больничному листу. Какая разница?

Мы спустились на лифте вниз — и пошли вокруг дома длинной в полквартиры. Я вспомнил Баталова в фильме про облученного физика. Мы шли вместе со Стрельцовым, но в этом походе он оставался один. От облучения у него вылезли последние волосы — он стеснялся голый головы и носил серый Раисин берет, заливхватски

сдвинутый на ухо...

В пункте приема стеклотары сделали вид, что не замечают изменений во внешности Анатолевича. Он купил две бутылки водки — одной, подумал я, он не обошелся бы и на смертном одре. Но когда мы с продолжительными остановками добрались до квартиры, Эдик сказал, что вот сегодня выпьет, а завтра пить не будет.

И действительно, он больше не курил и не пил. Врачи на Каширке настоятельно советовали ему пить хотя бы по рюмочке коньяку. Но коньяк так и стоял у него в палате, а он за оставшиеся ему месяцы сделал, может быть, несколько глоточков.

У пришедшего к нему Игоря спросил: «Чего от тебя пивом пахнет?» — «Жарко! Выпил кружечку холоденького!» — «Кончай с этим», — сказал папа, решивший наконец заняться воспитанием сына.

Из Ялты я ему звонил. Последний раз мы разговаривали по междугородному в перерыве матча сборной СССР против румын. «Очень плохо играют», — сказал он про наших.

...Посмотрев на свои ноги, потерявшие могучий рельеф, он сказал Раисе, присевшей возле его больничной койки: «Ножки-то стали — до кладбища не дойдешь...»

Алла: «Я знала, что он умирает, но если бы я к нему пришла, то и он бы об этом уже точно узнал, поэтому я и не пошла. Представила себе эту театральную сцену: вот я иду внуков ему показать, ну а ему-то каково? Значит, уж точно пришла с ним прощаться. Я не пошла».

Он лежал в отдельной палате с четырехзначным номером на десятом этаже — с балкона видно было чуть ли не пол-Москвы. Но на балкон Эдик больше не выходил.

Подолгу лежал он теперь с закрытыми глазами, ни на что не жалуясь, но Раиса видела, как из смеженного века выкатывается слеза.

Умирая в сознании, он отказывался от обезболивающих уколов. Но перед проколом легкого, когда собирались откачать оттуда жидкость, спросил у Раисы: «А стоит ли? Это, наверное, больно...»

Пока в силах был говорить, обещал, что в субботу, на день своего рождения, будет дома. Но к двадцать первому июля ему уже было совсем плохо. И по Москве прошел слух, что Стрельцов умер — на стадионе «Динамо» после объявления диктора о дне рождения публика поднялась, преждевременно почтив его память...

Ему в тот день настолько было невольно от страданий, что он вдруг стал срывать путы — трубки капельниц. Дежурившая в палате Надежда закричала на весь этаж, упала на него, прижимая к смятой постели, — прибежали сестры, врачи: всё восстановили. Сестра жены вспоминает, что смотрел он на нее злыми глазами — страдания продлевались.

Раиса называла ему тех, кто пришел к нему в день рождения... не знаю уж, как сказать... поздравить, навестить, попрощаться? Славу Соловьева, Мишу Гершковича, Юрия Васильевича Золотова... И он головой кивал, что слышит, мол, кто пришел. И на прощание руку чуть приподнял. Жить ему оставалось меньше полутора суток.

Ночью врач предупредил Раю и Надю, что Эдик больше не очнется, тихо отойдет в ближайшие часы. Сестры сидели с противоположных сторон у его изголовья. Он сильно выдохнул. Надежда посмотрела на полуоткрытые глаза Эдуарда — и они ей показались застывшими. Она бережно прикоснулась пальцами к векам, чтобы опустить. Но Стрельцов вдруг широко раскрыл глаза — и несколько мгновений смотрел на родственницу светло и пристально. А затем сам сомкнул их...

Я не был и на его похоронах. Телеграмма, посланная мне Раисой в Ялту, запоздала, а без нее с тогдашнего юга смешно было и стараться улететь. Но подсознательно я, наверное, и не хотел видеть его в гробу.

Алла: «Когда он умер, то было ужасно. Мои в деревне отдыхают, я иду на похороны, и так все пока ничего, пока не вхожу в тот зал. Какой-то молодой человек как-то резковато мне так сказал: разворачивайте целлофан, разворачивайте цветы. Я-то думала, что я их еще на могилу понесу, но он заставил меня их там развернуть. Боже мой, когда я его увидела, как мне его стало безумно жаль... Как все несправедливо... Когда я увидела то, что от него осталось, как я плакала... Бедный, бедный, несчастный человек. Я хочу сказать, все-таки мальчики без отцов редко вырастают хорошими. У меня брат тоже закончил свои дни неважно. Мы, девочки, как-то похитрей, а мальчишки, они же самолюбивы, они не могут того простить, что их отцы оставляют. Эдик пьяненьким звонил как-то, говорил: оказывается, внутри у меня... Мне так хотелось, чтобы он приехал к нам в Чертаново. Мальчишка уже такой был красавец. Ромочка. Потом он узнал и про второго внука Захарку».

С местом на Ваганьково помог Аркадий Иванович Вольский — он занимал важный пост в ЦК партии. Успокоил, если можно так сказать, отчаявшуюся в безуспешности хлопот вдову: «Не плачь, Раечка, я все сделаю». И на Писательской аллее выкроили кусочек пространства — Раисе (она умерла через девять лет, за неделю до открытия памятника Эдику) земли не осталось, все занял камень надгробия.

А панихиду кто-то додумался в июльский зной устроить в узкой коробке боксерского зала «Торпедо», примыкающей к футбольной арене. Совпадение: и гроб Боброва в ЦСКА установили на помост из-под ринга. Помню Стрельцова в пиджаке из черной кожи идущим мимо помоста с повернутым к покойному лицом...

КОНЪЮНКТУРА ПАМЯТИ

В том же самом девяностом году отметил матчем-шоу всех мировых звезд свое пятидесятилетие Пеле, незадолго перед тем снова женившийся, почитавший Яшина и так и не узнавший про существование Эдуарда Стрельцова.

Через год я сделал новую редакцию стрельцовских мемуаров. Книга коммерчески провалилась, как объяснил мне издатель, отказываясь платить гонорар. Предстояло привыкать к тому, что мои, говоря по-новомодному, проекты в последние десятилетия ни у кого не вызывали интереса. Но никакого перепада высот я не испытывал — и в предыдущие времена советский рынок редко мог заинтересовать своей работой.

Перед самой кончиной Эдуарда у него в больнице стал подолгу засиживаться редактор «Московского автозаводца» — газета, тридцать три года назад безуспешно занимавшаяся перековкой Стрельцова, жаждала теперь напечатать обширное интервью с ним.

«Как же (или что же) все-таки писать о тебе?» — спрашивал замучившийся интервьюер у замученного интервьюируемого.

«Спроси у Саши Нилина, — ответил Эдик, — он знает». И дал ему номер моего телефона, который, кстати, успел забыть, — пришлось уточнять у Раисы.

Некоторое время я считал его слова, вписанные заводским журналистом в текст, комплиментом. Но чем дальше шло время, тем больше закрадывалось сомнение: а не было ли в словах Эдуарда иронии, не различенной мало знавшим его корреспондентом. Что я знал? Что знает один человек о другом?

Я мог сколько угодно смеяться над тем, что в меняющихся безоглядно временах — сейчас насчет этой безоглядности можно и поспорить, но тогда-то безоглядность и кружила многие головы — конъюнктуры в журналистике и всем прочем много больше, чем при советской власти, умевшей бросить фальшивую кость и тому, кто стопроцентным ортодоксом не казался. Либеральная ортодоксальность побеспощаднее.

Только смеяться над конъюнктурой — зряшное занятие.

Публике — и той даже, что не сходила с насиженных позиций, — нравилась боевая односторонность, с какой чихвостили вчерашних божков. Кое-кто из оборотистых божков сам столь успешно перестраивался на предложенный лад, что происходящее процесса из двусмысленного трансформировалось в бессмысленное.

В театре изменившегося мира и Стрельцову отыскалась роль, отчасти противоречащая начавшейся канонизации.

Ближе к исходу века из Эдика захотели сделать эдакого футбольного Солженицына или Сахарова (не того Сахарова, что играл в постстрельцовском «Торпедо», а который академик)...

Раиса же к тому времени сдружилась с Валентиной Тимофеевной — вдовой Яшина. И Раисе Михайловне теперь больше всего хотелось, чтобы в мемориале Эдуарда «все было, как у Левы».

Я никак не мог себя заставить прийти к стрельцовской могиле, когда узнал об изваянии надгробия. Но вопреки моим скептическим предчувствиям скульптор нашел талантливое решение — и сумел убедить в его правильности родных и близких.

То, что именуют казенно-мемориальной пропагандой, похоже на шахматную партию — иногда трудно поддающуюся анализу (тем более что и анализировать все чаще бывает некому).

«Партия», поставленная в советские времена, по всей вероятности, вообще отложена для рассмотрения дальнейшей историй.

Корректность же некоторых из «ходов», пришедшихся на времена весьма смутной и путаной идеологии, тем более может вызвать сомнения по-разному думающих современников.

И все же в решении о памятнике в столице Эдуарду Стрельцову вижу прозрение — по типу тех, что посещали натуру для изваяния на футбольном поле, — прозрение, редкое во времена, где мысль никак не воцарится.

Я для себя выбрал то изваяние, что у ворот стадиона, где он еще годы простоит в соседстве с теми, в чьей памяти весело живет он настоящий, а потом его бронзу будут обступать их тени... Лужниковский вариант мне больше напоминает музейное соседство восковых фигур — к тому же, когда иду мимо, невольно слышу голос Эдика: «Леве звезду дали правильно, а Николаю Петровичу — за что?» Я не хочу сказать, что согласен с ним. Но в неожиданности таких высказываний и есть Стрельцов. Да и Бог с ними — с тогдашними наградами. Дали — хорошо. Не дали — в каком-то смысле — еще лучше.

Я начал эту книгу вопросом, заданным самому себе: кому поставлен памятник?

Размышления на сотнях страниц привели меня к ответу — и для самого себя неожиданному.

Памятник у ворот стадиона имени Стрельцова — не футболисту. И уж никак не жертве — Эдик и не позволил сделать из себя жертву тем, что не перестал быть футболистом.

Уникальность изваяния чудится мне в том, что на пьедестал взошел человек, сумевший прожить жизнь без помощи локтей — никого на своем пути не оттолкнув и не оттиснув. Ведь даже фразу, за которую сейчас уцепились те, кто добивается посмертной его

реабилитации, — о том, что не он должен был сидеть в тюрьме, — Эдуард сказал матери уже за лагерьной проволокой. Он ни на кого не попытался переложить вину, пока шло следствие.

Людей, живущих без локтей, — и в прежние времена, и в нынешние — великое (я на качественной оценке настаиваю, а не на количественной) множество.

На этом поистине великом множестве все у нас каким-то чудом до сих пор и держится. Но узнать успех и признание людям, не умеющим постоять за себя в мире непрерывно возрастающей жестокости друг к другу, как правило, не дано.

Эдик стоит на пьедестале и за них за всех.

От их имени, но без каких-либо поручений — такие люди ничего не просят и ничего никому не перепоручают.

* * *

Во времена нашего ежедневного общения с Эдуардом в начале восьмидесятых годов, когда занимались мы рукописью его мемуаров и надеялись (я, по крайней мере), что понимаем друг друга с полуслова (а чаще взгляда, если почему-либо бывал он не в настроении подробно говорить), я задал ему давно заготовленный вопрос (из десятка наводящих на внятный ответ) — о смысле и сути игры, заменившей Стрельцову иную реальную жизнь.

Он вдруг просветлел всем лицом. И зрачки распахнувшихся глаз расширились, излучая зигзаги догадки:

— В стиральной машине!

И слитным движением поднялся со стула и протиснулся в приоткрытую дверь ванной комнаты.

Жена Эдика Раиса Михайловна — чтобы работалось без помех — прятала от нас подальше водку. Но муж на этот раз вычислил — куда!

...Эдик жил, доверившись судьбе. Признав свою полнейшую зависимость от полученного от нее дара.

Я и не обещал, что, рассказав о нем все, что знаю, подберусь вплотную к пониманию человека, чья история занимает на удивление многих.

Но чья бы слава ни отстраняла или ни притягивала нас — она прежде всего наш портрет, а не того, кто у нас оказался прославленным. И особенность славы, и ее характер — наша неопознанная особенность и наш неисправимый характер.

Поэтому, надеюсь, что разберись мы хоть немножечко в Стрельцове, с чьей славой вступили из двадцатого века в двадцать первый, — и в себе чего-нибудь занятное распознаем, может быть...

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЭДУАРДА СТРЕЛЬЦОВА

1937, 21 июля — родился в Перово (Московская область).

1950, лето — игрок мужской команды завода «Фрезер».

1953, осень — в группе молодых футболистов, собранных для просмотра тренерами, едет на юг с командой мастеров «Торпедо» (Москва).

1954, зима — играет за команду мастеров в турнире торпедовских команд, проводимом в г. Горьком.

1954, 14 апреля — в матче «Торпедо» — «Динамо» (Тбилиси) забивает свой первый гол в чемпионатах СССР.

1955, февраль — поездка в Индию в составе сборной СССР.

1955, 26 июня — дебютирует в Стокгольме в сборной СССР и забивает три гола шведам.

1956, декабрь — победитель олимпийского турнира по футболу в Мельбурне.

1957, 21 июля — 26 октября — в течение 97 дней в двадцати двух матчах забивает тридцать один гол.

1958, февраль — фельетон С. Нариньяни «Звездная болезнь» в «Комсомольской правде».

1958, июль — суд над Стрельцовым, приговор и этапирование в Вятлаг.

1963, 4 февраля — решение о досрочном освобождении.

1963-1964 — работа на ЗИЛе, учеба во ВТУЗе, выступление на первенстве Москвы за первую мужскую команду «Торпедо».

1965 — снова в команде мастеров. Завоевывает титул чемпиона СССР.

1966 — первый после освобождения матч за сборную СССР, руководимую Н. Морозовым (игра против сборной Турции), и первый выезд (под ответственность А. И. Вольского) за рубеж — в Рим, на матч с «Интером».

1967 — признан лучшим футболистом СССР.

1968 — отчислен из сборной, руководимой М. Якушиным; снова признан лучшим футболистом СССР.

1968, 16 октября — последний гол в футбольной карьере (забит в матче с тбилисским «Динамо»).

1970, осень — завершение карьеры игрока.

1970-1982 — учеба в Институте физкультуры, тренерская работа в детской футбольной школе «Торпедо» и в команде мастеров; поступление в Высшую школу тренеров.

1982 — выход в свет книги мемуаров Э. Стрельцова «Видю поле»; получение тренерского диплома.

1982-1990 — работа в детской школе «Торпедо», выступления за команду ветеранов.

1990, 22 июля — смерть Эдуарда Стрельцова.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Стрельцов Эдуард. Вижу поле. М.: Советская Россия, 1982.

Стрельцов Эдуард. Вижу поле (2-е изд., доп. и перераб.). М.: Современная опера, 1991.

* * *

Сухомлинов Андрей. Эдуард Стрельцов. Трагедия великого футболиста. М.: Патриот, 1998.

Максимовский Эдвард. Кто заказал Эдуарда Стрельцова? М: Юстиция-М, 2000.

Вартанян Аксель. Эдуард Стрельцов. Насильник или жертва? М.: Терра-спорт, 2001.

ФОТОГРАФИИ





Эдику два года.



Эдуард — игрок команды мастеров.



Мама с внуком: Софья Фроловна и Игорь Стрельцов.



Перед игрой. 1955 г.



Команда «Торпедо». С букетами цветов Слава Метревели и Эдуард Стрельцов.



В боях за сборную страны. На «Динамо». Осень 1955 г.



Атака автозаводцев образца 1956 г. «Торпедо» — «Шахтер»: В. Иванов бьет по мячу, Э. Стрельцов готов идти на добивание.



«В одной упряжке»: Эдуард Стрельцов и Валентин Иванов.



Футбольный романс: Э. Стрельцов и А. Медакин.



Сборная СССР 1958 г. Им многое было по силам.



Незадолго до беды.



Первая жена Алла с дочерью Людмилой.



Будущие штрафники в составе сборной СССР: в первом ряду (в центре) — Борис Татушин; во втором ряду (второй слева) — Михаил Огоньков; крайний справа в последнем ряду — Эдуард Стрельцов.



Э. Стрельцов: «...в общем лесоповал».



Трудовые будни в зоне. Крайний справа — Э. Стрельцов.



С думой о свободе и зеленом поле.



«Привет из Вятлага. Здравствуй, дорогая мамочка!!!»



Стрельцов в команде, далекой от футбола.



Валентин Иванов отдувается в атаке за двоих. Первенство СССР: «Спартак» — «Торпедо». 1963 г.



Лев Яшин с очередной наградой.



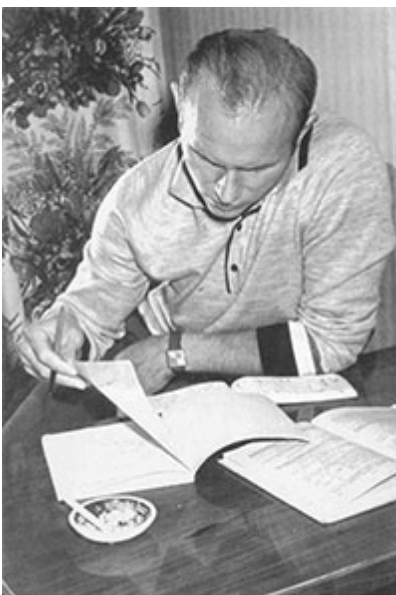
Валерий Воронин против «короля футбола» Пеле.



Футбол в Вятлаге.



На свободе. 1963 г.



Стрельцов-студент: «ВТУЗ бы я окончил...»



Возвращение вперед. Весна 1965 г.



В заводской команде. Футбольный кумир в плену обстоятельств.



Вновь в команде мастеров. Стрельцов — это всегда аншлаг.



Противоборство с Виктором Аничкиным.



Футбольное табло — место его постоянной прописки.



Альберт Шестернёв в погоне за Эдуардом Стрельцовым.



Он не жаждал восторгов — сдавался им как неизбежности.



Новая семья: сын Игорь и жена Раиса.



В торпедовской раздевалке.



Чемпионы СССР! 1965 г.



Партийное спасибо: глава московских коммунистов т. Гришин награждает Эдуарда.



За кружкой пива с Михаилом Гершковичем.



С кубком! 1968 г.



Лесная быль. Лето 1979 г.



Внуки: дети дочери Людмилы и сын Игоря — Эдуард Стрельцов-младший.



С сыном Игорем.



Эдуард Стрельцов и Леонид Филатов. 1980-е гг.



На стройке стадиона, который будет носить его имя.



Легенды отечественного футбола — К. Бесков, Э. Стрельцов, Н. Симонян.



Стадион «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова.



В составе сборной ветеранов.



В мастер-классе у Эдуарда Стрельцова.



Автор и герой снова вместе.

УДК 796.332

ББК 75.578

Нилин А. П. Стрельцов: Человек без локтей. — М.: Молодая гвардия, 2002. — 450[14] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 799).

ISBN 5-235-02438-9.